

|| 2 ||

Н О В Ы Й М И Р

Н О В Ы Й М И Р

|| 1966 ||

2



1966

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLII

№ 2

Февраль, 1966 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Монолог , стихи. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского	3
ВАСИЛЬ БЫКОВ — Мертвым не больно , повесть. Окончание. Авторизованный перевод с белорусского М. Горбачева	7
Л. ГРИГОРЬЯН — Три стихотворения	65
В. КОЗЛИН — Ах, Север, Север , стихи	67
ЕВГ. НОСОВ — Два рассказа	69
ВИКТОР ЯКОВЧЕНКО — Огонь , стихотворение	97
АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА — Из прошлого . Окончание	98
ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ — Из старых стихов . Перевод с грузинского Б. Пастернака	129
Ю. ЮЗОВСКИЙ — Польский дневник	132
ДЮЛА ИИЕШ — Стекланный мир , стихотворение. Перевел с венгерского Д. Самойлов	198
ГЕНРИХ БЕЛЬ — Игра в три листика, край инъекций, боевая группа , рассказ. Перевела с немецкого Л. Черная	200

ПУБЛИЦИСТИКА

И. ВОЛИН — Ко всеобщей выгоде . Заметки о материальном стимулировании	205
--	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«ТОВАРИЩ ГУБЕРНАТОР»	217
----------------------	-----

(См на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. КАРДИН — Легенды и факты	237
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Н. Калитин. Зрелость.— М. Рошин. Книга прекрасной жизни.— Ф. Светов. Повесть об «очарованном деятеле».— Ю. Пименов. Новые иллюстрации к русской классике.— А. Горбунов. Готорн-рассказчик.	251
<i>Политика и наука</i>	
А. Гуковский. Молодость старых большевиков.— Д. Лихачев. Новая наука — берестология.— А. Гиневский. Прежде всего — человек.— С. Семанов, В. Старцев. Между домыслом и наукой.	268
КОРОТКО О КНИГАХ — Мадлен Риффо. От вашего специального корреспондента.— И. В. Шауров. 1905 год.— Генерал-майор Г. А. Вещерский. У хладных скал.— Е. Матеев. Международное социалистическое разделение труда и народнохозяйственное планирование.— В. А. Брыкин. Африканский дипломат в ООН.— Ирина Велембовская. Лесная история.— Анатолий Маркуша. Дайте курс.— Рюрик Ивнев. Избранные стихи.— Юрий Воищев. Я жду отца	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

★

МОНОЛОГ

С белорусского

Памяти белорусских поэтов
Змитрока Астапенка и Юлия Таубина.

1

Когда и где, я уточнять не стану
То, с чем живым смириться тяжело,—
Бесчеловечность выжгла эту рану
На времени, что навсегда ушло.

А чтобы след вины забвенье стерло
С лица земли безмолвной поскорей,
Ковром прикрыта, сотканным из дерна,
Безвестность всех безвременных смертей.

Пусть жесткий дерн забытого кургана
Полынью стал на мертвой почве той,
Не заросла земли живая рана,
Зияет боль под зеленью седой.

И снова ощутив утраты жгучесть,
И раннюю увидев седину,
Я скорбным словом тягостную участь
Тех, без вести пропавших, помяну.

2

Чем сражены вы — хворью или пулей?
Никто на это не ответит нам...
Где двери, что безжалостно сомкнулись
За вами? Как пробиться к тем дверям?

На плитах и на острых обелисках
Прозрачный дождик надписи омыл.
Но я фамилий ваших, с детства близких,
Не отыскал на мраморе могил.

И негде изливать свои печали
Нам — братьям вашим, женам и отцам.

Друзья! Когда мы вместе подрастали,
Не о такой судьбе мечталось нам.

Мы шли за строгой музою, готовясь
К походам дальним, шли своим путем.
Я — память. Вы — моя святая совесть.
Я — дрэвко. Вы — полотнище на нем.

3

Устоишь той, хто варт,
На старт, сябры, на старт!
Юлий Таубин.

Да, вы достойны ваших стартов ранних,
Но слишком ранним финиш был у вас.
Меж финишем и стартом расстояние
Особой меркой мерят всякий раз.

Того, кто мало сделал, судит строго
Забвенья суд за финишной чертой.
Того, кто мало жил, но сделал много,
Дорога ждет в бессмертие длинной.

Друзья, ваш день был краток. Вешней ранью
Вас ветер века, резок и суров,
Со старта смел... Вы — книга без названья,
Ствол без листвы, дорога без следов.

Быть нелегко мне верным продолженьем
И тех следов, прервавших свой разбег,
И тех начальных песен завершеньем,
Что к финишу прикованы навек.

4

Стряслась непоправимая беда
С друзьями незабвенными моими.
Вновь вызывает на свиданье с ними
Та даль, что разлучает навсегда.

Мой конь оседлан. Мне пора! В дорогу,
Труднейшую из всех земных дорог,
Я тороплюсь один, как монолог
На поиски живого диалога.

Но стоит ли? В пути, у переправ,
Тень все длинней и конь сбивает ноги.
А там, куда спешу я, диалоги
Спят непробудно, в рот земли набрав.

Не медли, стих! По назначенью следуй.
Хоть вечер наш прстяжной тенью лег.
Возможна невозможная беседа,
Пока еще возможен монолог.

5

Как мне друзьям поклон отвесить низкий?
Я их надгробий мрачных не нашел.
Единственные памятники — книжки
Посмертные — на мой ложатся стол.

На переплетах дат печальных нет.
Два томика. Две праздничные даты
Их новое рождение на свет
Обозначают радостно и свято.

Не может пуля совладать с пером,
Лопата победить его не в силах.
Бессильна мгла, царящая в могилах,
Стих задушить холодным забвением.

Два памятника. Двух друзей портреты.
Мы дружбе служим, дружбе прежних дней.
И служб иных не надобно поэтам —
Ни ладана, ни траурных речей.

6

Глядите без тревоги и укора
Вы на меня с экранов ваших книг,
Как замершие кадры те, которым
Дано прийти в движение каждый миг

На старте вы. И от погони быстрой
Мне не уйти. А вам не обогнать
Мои морщины и сединок искры —
До финиша и мне рукой подать.

Для тех, кто вас не видел, вы — портреты
Давно отстартовавших лет... Но мне
Вы юность возвратили. Юность эта
Виски не подставляет седине.

Пусть для иных вы жертвы рядовые
Крутых годов, неправедных судов.
А для меня вы — маршалы. Такие
Ведут полки непобедимых слов.

7

Да, мы друзья по крови, по оружию.
Известен арсенал бойцовский наш.
Перо. Бумага. С нами также дружен
Простой или чернильный карандаш.

Мне перед вами нечем похвалиться.
Олин у нас и лес, и луг, и лог.
И наши строки из одной криницы
Один и тот же пили холодож,

Дано мне преимущество однажды
Самой судьбой... Безвременный финал
Не оборвал моей палящей жажды,
С которой я полвека прошагал.

И дальше, дальше я иду, как будто
По битому стеклу — в дыму, в огне...
Но этой жизни каждая минута
Принадлежит скорее вам, чем мне.

8

Ту хворь, что вдруг здоровье подкосила,
Вновь, как быка, мы за рога берем,
Пока еще осталась в теле сила
С таинственной властью над пером.

Уж лучше и не жить, чем бодрым трупом
Прослыть, и жар угасший раздувать,
И запрещать отходную играть
Критическим неумолимым трубам.

Куда вернее вечный сон, чем сны
Подобной яви, жития такого.
Уж лучше пусть кладут, как неживого,
Меня в постель из гробовой сосны.

К чему мне все — и точной мысли нить,
И бег минут, и зоркость глаза, если
Заботы дня, последние известья
Я не сумею в строки перелить?

9

Горячий монолог под стать коню,
Что, бурю услышав, прыдет ушами.
У вечного огня он грелся с вами,
Теперь к живому тянется огню.

Нас разделил рубеж. Но мы — в союзе.
Вы — рук скрещенье. Я — движенье их.
Мужской союз — не тот любовный узел,
Где третий — лишь обуза для двоих.

Нет, не разрубят узел наш единый
Ни отшумевший, ни грядущий бой.
Я — ваша память. Я вас не покину,
А как присягу унесу с собой.

Пыль со слезой, с дорогами дорогу,
С листвою ветвь я вновь соединил.
И в сердце гом, где всей земли тревога,
Я ощущаю втрое больше сил.

Авторизованный перевод Якова Хелемского.



ВАСИЛЬ БЫКОВ

★

МЕРТВЫМ НЕ БОЛЬНО

Повесть *

18

Растянувшись цепочкой, мы бредем по неглубокому снегу в село. Нас немного — человек пятнадцать. Одного несут на шинели. Второй изнеможенно плетется, опершись на товарища. Все молчат. Многие с обнаженными головами. Кто-то прижимает к боку обвисшую, как плеть, руку. Я ковыляю последним. Карабин, который ничем не сослужил мне против танков, теперь заменяет костыль.

Узкой тропкой вдоль тына мы выходим на улицу и сразу натываемся на «виллис» и «додж». Машины аккуратно приставлены к самой завалинке хаты. Возле них несколько командиров. Впереди видна высокая смушковая папаха на маленьком вертлявом полковнике. Этот полковник злым окриком останавливает всю нашу группу.

— Кто командир?

Хлопцы, по одному подходя и останавливаясь, хмуро молчат, полные еще не до конца пережитого страха. Даже не верится, что мы уцелели. А сколько погубло в воронках!.. Полковник нетерпеливо переступает валенками и шелкает себя прутиком по голенищу. Рядом несколько командиров. Все мрачно смотрят на нас.

— Кто старший, я спрашиваю? — выкрикивает полковник.

— Ну, я старший, — подходя, хриплым басом говорит Евсюков. Он по-прежнему распахнутый, из-под куртки видна нательная рубаша. Бинт на шее в крови.

— Кто вы такой? Ваше звание? — тоном, не предвещающим добра, продолжает полковник и сводит над переносицей брови.

— Старший артмастер старшина Евсюков, — рапортует старшина, приставив ногу к ноге.

— Почему ушли с высоты? Кто разрешил? — Полковник в упор приближается к старшине.

Тот весь напрягается и сверлит полковника упрямым взглядом.

— А кто нам приказывал там быть?

Полковника передергивает от этой дерзости, и он деланным басом кричит:

— Что? Я вас спрашиваю: кто разрешил оставить высоту? Вы что — в трибунал захотели?

Евсюков, как-то не в лад с этой строгостью, тяжело и протяжно вздыхает:

— Эх, где вы раньше были, товарищ полковник?

Маленькое бритое лицо полковника краснеет от возмущения.

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 1 с. 6.

— Молчать! Вы с кем разговариваете?..

— Идите вы!..— вдруг говорит старшина и, склонив голову, решительно шагает на улицу.

Кто-то из командиров отступает в сторону, давая ему дорогу. Двое поднимают с земли раненого. Хлопцы медленно идут за своим командиром.

— Старшина! Приказываю вернуться! — кричит полковник, резко повернувшись назад.

Следом за всеми иду я, и когда равняюсь с ним, во мне поднимается •бида.

— Он танки остановил. Если бы не он, немцы уже тут были бы!

Полковник впивается в меня сокрушающим взглядом и минуту бессмысленно смотрит, будто не понимая, что я сказал.

— Вы кто такой?

— Младший лейтенант Василевич! — сразу же выпаливаю я, с вызовом уставившись в его злое лицо. Я не боюсь. Что он мне сделает, раненому? Все, чего мы добились и что сумели, было совершено по нашей доброй воле. Не думая уже остаться в живых, мы легли под самые танки. Действительно, где ты тогда был, товарищ полковник?

— Марш туда, младший лейтенант! Приказываю подразделению оборонять высоту!

— У меня нет подразделения.

— Как нет? Где ваше подразделение? Марш один, сам! Черт вас возьми! Я вас заставлю!..

— Я ранен! Вот, не видите? — кричу я в ответ. Этот тон и этот наскок неизвестного полковника злят до бешенства. Пусть бы шли и защищали — вон сколько их тут, в деревне, здоровых, высокообразованных в военном деле! Зачем заставлять калек?

Полковник что-то кричит и замахивается на меня прутом. Но тут где-то рядом раздается взрыв, который, видно, впервые в жизни меня не пугает. Соломой и какой-то трухой бьет в наши лица, чем-то горелым густо посыпает снег возле машин. Полковник падает. Не убит ли? Черт с ним, пусть бы уж жил. Но я напрасно пугаюсь. Вскоре он поднимается, выползают из-под машин его командиры, и чей-то встревоженный голос предостерегающе вскрикивает:

— Товарищ полковник, генерал!

С улицы к нам сворачивает еще один «виллис». Полковник торопливо стряхивает снег с бекеши, а я бреду в ту сторону, куда пошли наши. Меня никто и не останавливает: им не до меня. Вскоре слышу, как генерал принимается отчитывать полковника:

— Что у вас тут делается? Почему дорога не перекрыта? Почему не выполнен приказ о выдвигении ИПТАПа? Разгильдяйство и голово-тяпство! Я отстраняю вас от командования!..

Оказывается, он сам не выполнил приказ, потому так и накинудся на нас. Но мы не в силах заменить противотанковый полк. Мы не можем искупить его разгильдяйство. Мы уже совершили что-то значительное, к чему не имеет касательства этот полковник, и это дает нам право не подчиниться несправедливости. Еще не вполне осознанно я чувствую незыблемость нашей правоты в этом конфликте.

Я вижу впереди, как какой-то боец с забинтованной рукой спрашивает о чем-то встречного и тот указывает ему вдоль улицы. Я иду за бойцом, стараясь не упустить его из виду. Тем более что уже темнеет: солнце скрылось и между мазанок сгущаются сумерки. Просто странно, как быстро пролетел день, который там, на пригорке, казался нам бесконечным. Танки в другом конце села куда-то уходят. Теперь наши тан-

ки, видно, немцев сюда уже не пустят. Тем более когда появился генерал. Уж он наведет порядок. Так я рассуждаю, ковыляя по улице. Вернее, мне хочется, чтобы было так. Я совершенно выбился из сил, чувства мои одеревенели. Единственное желание — прибиться где-либо к теплу и свалиться.

Боец, идущий впереди, сворачивает к домику с обведенными синей краской окнами. Это, похоже, нежилой дом, может, сельсовет или управа, под жестью, с высоким крыльцом. С помощью своего костыля-карабина добираюсь туда и я. Скрипучая дверь неохотно открывается, пропуская меня вовнутрь.

19

Убивая время, мы с ленивым наслаждением пьем пиво. Горбатюк разделся и сидит в светлой шелковой тенниске. Пиджак он повесил на спинку стула, ему душно. С моих плеч, кажется, спадает гора. Он — не Сахно. Совсем другой характер, другое отношение к людям. Да и вид вовсе не тот. Я только удивляюсь теперь, какая нечистая сила ослепила меня тогда. Это совсем другой человек.

Людей в ресторане становится меньше. Некоторые столики совсем освободились, и официантки стряхивают скатерти. Наши молодые соседи все еще сидят, весело переговариваясь между собой. На столе у них три порожние бутылки с ободранной фольгой. Горбатюк ворочается, сопит, облакачивается на спинку стула и с блаженной сытостью оглядывает зал. Насколько это можно понять за вечер, он немножко с гонорком, но вообще простой и добродушный дядька.

— Знаете, а я вас принял за другого, — признаюсь я. — За одного сволочного человека. С фронта еще.

Горбатюк улыбается.

— За какого-нибудь предателя?

— Нет, он-то не предатель.

— Трус?

— И не трус. Иногда он даже был храбрым. И другим трусить не давал.

— Строгий, значит?

— Строгий — не то слово. Скорее жестокий.

Горбатюк поворачивается к столу.

— Ну, на войне жестокость — не грех.

— Да, но зачем же добивать раненых?

— При отступлении?

— В окружении.

— Как сказать. А если бы они в плен попали? Насчет того, чтобы не сдаваться, дорогой мой, был приказ Сталина. Ничего не попишешь.

Как-то мы теряем взаимопонимание. Похоже, он со мной не согласен. Но это недоразумение. Как бы ему лучше объяснить, что тут не просто выполнение приказа. Тут другое. А Горбатюк тем временем снисходительно ухмыляется: в нашем маленьком споре он чувствует свое превосходство. С этой ухмылкой он доликает в фужеры пиво — сначала в мой, а потом в свой — и придвигается ко мне ближе.

— Я тебе скажу по собственному опыту. На войне там был порядок, где солдаты боялись командира больше, чем немца, — сообщает он и ребром ладони бьет по столу. — У такого командира все: и задача выполнена, и грудь в орденах.

— А люди?

— Что люди?

— А люди — в могилах?

Горбатюк недоуменно моргает глазами и ерзает на стуле. Видно по всему, мой вопрос застает его врасплох. Где у такого командира люди — о том он и не думал.

— Ну, знаешь... На войне с этим не считаются.

Ну и ну! Что-то я совсем перестаю его понимать. Этот танкист начинает меня удивлять. Я давно уже не слышал подобных высказываний. Просто нелепо слышать такое от фронтовика в наше время.

Горбатюк между тем залпом выпивает пиво и снова наклоняется ко мне:

— Вот ты говоришь: люди, люди. Помню такой случай. Под Витебском судили одного. Молодой такой Ванька-взводный. Скороиспеченный лейтенантик. Вел батарею. Отступали. Впереди речушка. Надо найти брод. Ему бы, дурню, послать кого-нибудь. А он пожалел: тот ранен, тот болен, тот стар, а тот плавать не умеет. Ну и пошел сам с ординарцем. Брод нашел, перебрался на другую сторону. А там немцы. Ну и сцапали. Раненого. А у него карта. И маршрут. В батарее же ни одного командира. Так и накрылась батареечка. Лейтенант, правда, вырвался из плена, через неделю приходит. Тут, конечно, и погорел. А как же? Пожалел людей.

— Просто он дурак, этот лейтенант.

— Вот именно — дурак, — добродушно соглашается Горбатюк. — Или вот другой пример. Судили командира танка. Выскочил с экипажем раньше, чем подбили машину. Ударил болванка, ну он и скомандовал: «Покинуть машину!» На суде говорит: экипаж пожалел. Видишь ли, был уверен, что вторым выстрелом его подожгут. «Тигр» стрелял. Поджег действительно. А лейтенант прямо из танка в штрафную загремел.

Горбатюк сладко затягивается сигаретой. Неожиданная догадка осеняет меня:

— А вы не прокурором были?

Он почему-то оглядывается и прищуривает один глаз.

— Председателем трибунала.

Мне кажется, я недослышал.

— Чего?

— Военного трибунала, — тихо, но выразительно повторяет Горбатюк.

Я не знаю, что сказать дальше, и медленно перевожу взгляд на стол. Теперь все понятно. Теперь мне его рассуждения знакомы, как дважды два. Как это ни удивительно, но за двадцать лет они не изменились.

Горбатюк, наверно, замечает мою растерянность и хмурит брови.

— А что это вы так... удивляетесь?

— Да так.

Горбатюк оглядывается на молодежный стол и вздыхает.

— Ты, наверно, думаешь: трибунал — это сплошное нарушение законности? Теперь так модно считать. Модно реабилитировать. Модно валить все на судей. И никто не задумается: во имя чего они все то делали? Распутывали преступления, не спали, недоедали, ездили на передовые, попадали под бомбежку. Во имя чего?

Однако деланный его запал меня не волнует.

— Может, во имя победы?

— А как же? Ты что думаешь, в ней нет и нашего вклада?

Недавнее мое расположение к нему вчистомо исчезает. Я не знаю, что он за человек и каким был председателем трибунала. Но я чувствую, что эта его горячность по отношению к своему прошлому имеет

свои причины. Он явно чем-то обижен, с чем-то не согласен и уже готов спорить.

Но я с ним спорить не буду.

Я не хочу с ним спорить, так как я отказываю ему в этой его правде. Не может быть его правды там, где есть его вина перед людьми. Так неужели теперь, через много лет после войны, неужели не коснулось этих людей чувство вины или хотя бы угрызения совести? Я хочу спросить его об этом, но Горбатюк опережает меня.

— А я и не думаю скрывать, кто я и что я, — говорит он. — Я поступал согласно закону. Если что — можно поднять архивы. Там все налицо. Оформлено и утверждено. Я грехов за собой не чувствую. Можно справиться у сослуживцев, начальства. Я не прохвост какой-нибудь. Бывало, приеду в полк — почет и уважение. Командир полка первым честь отдает. Хотя я капитан, а он подполковник. Вот как!

Я молчу. Он, чувствуя, однако, волнуется: то ерзает на стуле, то откидывается на спинку. На его мясистом лице — выражение обидчивой замкнутости.

— Война — не мать родная. Там твердая рука нужна. На смерть никому не хочется идти. А что же — сознательность? Сознательность — в газетах, а тут принудить надо. Чтоб боялись.

— Слушайте, Горбатюк! А не могло так случиться, что кто-нибудь из осужденных вами теперь реабилитирован?

Горбатюк делает наивные глаза.

— Ну и что ж! Вполне естественно. Реабилитирован — и с богом. Я всецело одобряю и поддерживаю.

— А вы не боитесь с таким вот на улице встретиться?

Горбатюк бросает на меня настороженный взгляд и искренне удивляется:

— А чего мне бояться? При чем тут я? Тогда были одни законы, теперь — другие. — Он оглядывает зал и добавляет уже спокойнее: — Да и не встретятся. Еще не встречались.

— Что, всех — к высшей?

— Почему всех? Не всех. Разбирались, — говорит он и засовывает руки в карманы брюк. В глазах его появляется выражение нагловатой самоуверенности.

Он встает и, отодвинув штору, решительно открывает окно. В зал врывается широкий поток свежего воздуха. Через минуту становится довольно холодновато, и он надевает темный, в мелкую клеточку пиджак с двумя авторучками в нагрудном карманчике.

От соседнего стола встает плечистый, в серой куртке блондин.

— Окошко можно закрыть? Девушки просят.

Горбатюк резко поворачивается и недоуменно смотрит на парня. Тот широким жестом захлопывает фрамугу.

— А ну, откройте! — мрачно приказывает Горбатюк и вскакивает.

Блондин уже подходит к своему столу, и Горбатюк широко распахивает окно.

— Не вы открывали, без вас и закроют.

На лице блондина растерянность. В серых подвижных его глазах вспыхивает острый огонек.

— Девушки замерзли! Вы понимаете?

— Замерзли — пусть дома сидят. В ресторан, как и в монастырь, со своим уставом не ходят.

— Ну, знаете!..

Сделав почти фехтовальный выпад, парень с треском захлопывает окно. Горбатюк с треском его открывает. Молодежь за столом оборачивается в их сторону.

— Игорь, хватит! Нам уже не холодно.

— Игорь! Игорь! Оставь его. Мы сейчас пойдем! — вскочив, зовет Эрна.

Игорь сквозь зубы бросает что-то оскорбительное и возвращается за свой стол. Горбатюк, удушливо сопя, садится на свое место. Хватается за сигарету. Руки у него дрожат.

— Видел? — кивает он мне.— Видел, что делается? Пацан, молоко на губах не обсохло, а гляди ты! Нахальства сколько! — Он прикуривает, бросает на пол спичку, на стол — коробку.— Распустились, умники. Как те в войну. Попадается лейтенант, только что из училища, на губе пушок, а уже философию разводит. Как же — десятилетку закончил! То оружие ему не нравится. То приказ неправильный. Наглецы!..

— Скажите. Горбатюк! А вы убили на войне хоть одного фашиста? — спрашиваю я спокойно, насколько мне это удастся.

— Я? А зачем? Зачем мне их было убивать? Это не мое дело. В двадцатое столетие — полное разделение труда. В том числе и на войне. Кому бежать в атаку. кому стрелять из пушки. Кому летать в небе. А другой всю войну просидел за столом в штабах или варил сталь. У каждого свое дело.

— Ваше было — судить?

— Ну и что же? Судил.

— Несчастных — за плен? Командиров — за невзятие высот и деревень?

Я почти кричу. Он оглядывается, ерзает на стуле и кривит в гримасе губы.

— Случалось. Судили и за это.

— И теперь вы не раскаиваетесь?

Он вскидывает голову. В глазах его ненависть.

— В чем?

Мы уже оба кричим. За соседним столом оборачиваются в нашу сторону. В другом ряду оглядываются офицеры. А перед моими глазами — снова чадный туман. Я вскакиваю из-за стола. Сердце мое делает несколько пропусков, затем судорожных сильных ударов. В груди знающая пустота и слабость. Зал шатается. Я хватаюсь за грудь и, задевая стулья, торопливо шагаю к выходу.

Возле швейцара одеваются двое молодых. Я падаю рядом на стул. Пол плывет из-под ног, стены шатаются. Сердце редкими, сильными ударами бьется в груди.

Старый швейцар облакачивается о стойку и с презрительным осуждением смотрит на меня. Я понимаю его молчаливый упрек и думаю: как глупо все это! И отвратительно. Не хватает разве свалиться на пол и оказаться в больнице. Скажут: с перепоя.

— У вас случайно валидола нет?

Швейцар прежде чем ответить вздыхает.

— Зачем он тут мне? Ресторан — не больница, — ворчит он.— Надо пить, да знать меру.

— Не в питье дело, отец. Вот... понервничал.

— Нервы! Теперь все нервные стали, — смягчаясь, ворчит старик и бредет в угол. Вряд ли он верит мне, но все же возвращается к стойке с какой-то бумажкой. Неторопливо разворачивает ее и прокуренными до желтизны пальцами достает беленький круглячок таблетки.

— Что это?

— А ты глотни. Поможет, если что...

Полумая, я глотаю неизвестную таблетку. Во рту остается неприятный металлический привкус.

— Ну как?

— Немного отходит. Сердце, знаете...

— Эх, сердце, сердце! — ворчит швейцар. — Сердце, оно — мотор. Испортилось — и с пог долой. Не бережете вы, молодые, сердце.

— Не такое время, чтобы беречь.

— Не такое? А какое же вам еще нужно время? Деньги есть, квартиры государство дает. Должности. Почет. Что вам еще надо? Какого рожна не хватает? Мы, бывало, в ваши годы — лишь бы поест вволю. А вы?

— Видите ли, к еде вволю хочется еще и справедливости.

— Справедливости? — с иронией переспрашивает швейцар и упирается в меня маловыразительным взглядом выцветших, видно немало повидавших, глаз. — Вон побелел как. В поту. Вот тебе и справедливость. Ты возле окна сядь. На ветерок. На ветерке лучше будет.

Я пересаживаюсь к окну. Фрамуга немного приоткрыта. Ночной ветер шевелит занавеску. За окном где-то неподалеку на путях слышно пыхтит паровозик. На запасных — длинные составы зеленых вагонов. Несколько женщин со шлангом моют их блестящие железные бока. На виадуке торопятся редкие пешеходы. По ту сторону станции светится длинный ряд уличных фонарей.

Сердце мое медленно и неохотно успокаивается.

Горбатюк выбегает из зала и в чем был — в пиджаке и без шляпы — бросается в другую дверь, к выходу. Но дверь закрыта, он дергает ее, и тогда из-за перегородки выходит с ключом швейцар.

Я недоумеваю, что там случилось? Почему он не оделся и даже не оглянулся? Может, и не рассчитался? Удрал, что ли? Но тогда взял бы пальто и шляпу.

Несколько оправившись от внезапной слабости, я возвращаюсь в зал. Сразу же замечая, что ребята из-за стола поворачивают головы в мою сторону. Все смотрят на меня. Там же, ожидая, стоят две официантки. Когда я подхожу к своему столу, одна торопливо выдирает из блокнота страничку.

— Одиннадцать тридцать с вас.

Оказывается, он не рассчитался. Я отсчитываю половину. В кармане у меня остается трешка, как раз на дорогу. Официантка недобольно косит взглядом.

— А вы разве не вместе?

— Нет. Не вместе.

— Пить так вместе, а платить...

Она уходит, оставляя во мне отвратительное чувство униженности. Связался на свою голову. Надо было.

Садиться за этот стол мне больше не хочется. Видно, надо уходить отсюда. Перехватив мой взгляд, из-за соседнего стола оборачивается Игорь.

— Ну и товарищ у вас! Сплошной пережиток.

— За милицией побежал, — дружески, как союзнику, улыбается Эрн. — Сейчас приведет. Посидите с нами.

Так оно и должно было случиться. Это вполне логично. Старая привычка взяла верх. Но черт с ним! Пусть ведет милицию. Не те времена, чтобы бояться.

— Садитесь, садитесь! — приглашают девушки.

Я сажусь за их стол — между Эрной и блондинкой с густо начерченными ресницами. Говорить мне ничего не хочется — только слушать. Они все возбуждены происшедшим, но, кажется, несколько не теряют своей беззаботной шутовности.

— Чуть не подрался с Игорем, — сообщает Эрн.

Соседка с другой стороны спрашивает:

— Он ваш сослуживец? Или бывший однополчанин?

— Однополчанин,— подумав, говорю я.

— Сволочь он!

Игорь привстает и тянется ко мне с бутылкой.

— Раскричался, будто я у него планки сорвал. А я не видел у него никаких планок. Разве у него были какие-нибудь планки?

— Не в планках дело.

Игорь наливает полбокала шампанского.

— Ладно, черт с ним! Пусть ведет. Давайте выпьем. А то посадят еще.

Эрна, хлопнув в ладоши, подпрыгивает на стуле.

— Ой, как здорово! Я буду тебе носить передачи. Игоряшка! Медовый месяц в тюрьме!

— Пятнадцать,— поправляет парень в черном костюме,— больше не дадут.

— Смотри чего. Суток, а может, лет?

— Черта с два — лет! Не то время!

Я тихо сижу, как гость на чужом пиру, и начинаю улыбаться. Мне хорошо. А они бурно радуются, как дети. Хотя, конечно, давно уже не дети, особенно Игорь. Рослый, рукастый, широкий в кости. И все же мне в два раза больше, чем каждому из них. Мы — разные поколения, у нас разный жизненный опыт, образование, да, видно, и отношение к тому, что здесь произошло. И тем не менее я их понимаю. А это главное.

— Ну так взяли? — Игорь поднимает бокал и, заметив мою нерешительность, поясняет: — Есть небольшой повод: мы с Эрной женимся.

— Вот как! Ну, поздравляю!

— Благодарим! — Он левой рукой нежно притягивает к себе Эрну. — В годовщину Победы. Так сказать, по семейной традиции, как дети военных родителей. У Эрны — генерал-лейтенант. У меня — просто лейтенант. Небольшая разница.

— Почти никакой,— вставляет Эрна и нетерпеливо пригубливает бокал.

Я по справедливости оцениваю ее иронию.

— А где же... ваши отцы-лейтенанты? Или вы без них?

— К сожалению, без них,— вздыхает Игорь и, разлив в бокалы остатки вина, садится.— Лейтенанты далеко. Ее — под Харьковом, мой — в Демянске. На вечной прописке.

Поначалу я не нахожу, что ответить. Это очень грустно. Только свою печаль они, видно, давно пережили, и после полуминутной паузы Игорь поднимает бокал:

— Значит, салют!

— Ну что ж! За ваше счастье, лейтенантские дети! — говорю я. Что-то светлое шемящей добротой наполняет меня. На минуту я забываю и о Сахно, и о Горбатуке, и обо всех моих сегодняшних заботах.

Все за столом выпивают. Игорь отставляет бокал и срывает обертку с конфеты.

— Только этот дурень вечер испортил. Все шло хорошо...

— Ничего. Это еще не самое худшее...

Я не успеваю закончить мысль, как рядом вскакивают девушки:

— Вон идут! Идут! Девочки, два милиционера. Задний, смотри, какой бравый! Симпатыга!

По проходу к нам быстро шагает Горбатук. За ним, несколько приотстав, со служебной степенностью идут два милиционера в белых ките-

лях и красных фуражках. Передний, довольно уже пожилой, с морщинистым лицом дядька, задний действительно симпатичный малый. Горбатюк останавливается возле нашего стола и поворачивается к милиционерам:

— Вот, пожалуйста! Пьяные. Нахальство, хулиганство и наконец политические выпады. Вон тот высокий. И этот в черном.

Старшина милиции официально бесстрастным взглядом окидывает всех за столом, осматривает бутылки, дольше задерживается на мне.

— Так. Попрошу названных пройти с нами.

Вскакивает Эрн. Встают и остальные девушки и ребята.

— А мы?

— Вы можете оставаться.

— Нет. Если забирать, то всех. Я Игоря одного не пушу! — заявляет Эрн.

Я тоже встаю.

— Все же они — свидетели. Если уж вести, то всех.

Горбатюк пронизывает меня ненавидящим взглядом.

— В свидетели вы не набивайтесь. Вы мне тоже ответите. За оскорбление.

— Ах, за оскорбление! Ну что ж! Я готов! Пошли!

Я первый выхожу из-за стола. За мной остальные. Младший милиционер проходит вперед. Вдоль ряда столов мы идем к двери. Из зала на нас глядят люди. Откуда-то слышится:

— Достукались!

— Хулиганье!

— Тунеядцы!

— Банду разоблачили. Наверно, валютчики!

Подавляя в себе неловкость, мы как можно скорее проходим мимо швейцара, спускаемся по ступенькам. Передний милиционер открывает дверь, от нее испуганно шарахается в сторону женщина. Девушки позади тихо посмеиваются. Вообще-то это не смешно.

Мы выходим на площадь.

20

В хате совсем темно (или, может, так кажется) и очень людно. Так людно, что несколько секунд я не знаю, куда ступить от порога. И я стою, вглядываясь сквозь сумрак в неясные пятна лиц, бинтов, темные фигуры людей на скамейках и на полу. В нос бьет острый запах лекарств — значит, медик тут есть, будет на кого понадеяться.

— Вот еще один защитничек! — отзывается кто-то у стены. — Ну как там: турнули немецких захватчиков?

Я вовсе не расположен к разговорам, тем более в таком вот тоне. Но легкая игривость в его голосе дает понять, что где-то тут женщина, и я всматриваюсь в полумрак, не Катя ли?

— Отбились, — говорю я.

От черной круглой печки, возле которой копошатся бойцы, на мой голос оборачивается кто-то в полушубке. Действительно, под шапкой знакомое лицо Кати.

— А, младшой! А тут дружок твой совсем нос повесил. Думали, крышка тебе.

Катя встает, и тогда я, уже несколько привыкнув к темноте, вижу на разостланной шинели Юрку. Он лежит на спине, без гимнастерки, по груди туго перевитый бинтами, и еле заметно пытается улыбнуться мне уголками губ.

На кого-то наступив, не обращая внимания на ругань, я неловко опускаюсь возле него на пол.

— Юра! Юр!.. Ну как тебе? Легче? А, Юрка?

Я всматриваюсь в его серое, без единой кровинки лицо с острым, каким-то не Юркиным носом. Не дождавшись ответа, чувствую: дела его плохи. Плохо Юрке, и еще как плохо!

— Так, ничего... Легче,— шепчет одними губами Юрка. В его запавших глазах на секунду вспыхивает радость, которая, однако, тут же исчезает. Я все это вижу. Я понимаю и хочу его ободрить.

— Знаешь, отбились! Танки подошли. А то была бы нам хана. Теперь мы тебя, Юра, в госпиталь. В первую очередь,— говорю я, всря, что отправлю его. Теперь уж я этого добьюсь.

Но тут кто-то недоверчиво сопит рядом:

— Гляди, отправишь! На самолете разве?

— Почему на самолете? — в недоумении спрашиваю я, эта реплика меня настораживает. Я поворачиваю голову — у стены возле двери с винтовкой меж колен сидит посасывая сигарку, какой-то боец. И рядом (гляди ты: снова тут как тут) дремлет «мой» немец. — Почему самолетом? — спрашиваю я. — Машиной, подводой отправим. Видите, тяжелораненый?

— Гм!.. Мы-то видим. А вот ты?..

— А что? Чего я не вижу?

Я уже готов взорваться. Что тут еще произошло?

— Влопались, вот что. Промеж молотом и наковальней.

— Ну, ты там! — строго раздается из угла от стола знакомый голос. — Прекращай разговорчики!

Ну, конечно же, тут и капитан Сахно. В темном углу. Его отсюда почти не видно, — он же, наверное, видит всех. И что-то он уж чересчур начальственно покрикивает — видно, здесь старший по званию. Боец у порога умолкает, подмигнув мне одним глазом. Понял, мол?

— Ладно, хватит вешать носы,— говорит Катя, пробираясь от двери. Она несет котелок с горячей водой. Из-под крышки густо идет пар. — А ну, славяне, у кого полушубок лишний? — обращается девушка к раненым. — Тут тяжелого согреть надо.

— Бери мой,— слышится в темноте. — Все равно не надеть. Вот только рукав оторван.

Кто-то с забинтованным плечом подает ей полушубок. Катя заботливо укутывает им Юрку. Затем, проливая воду, поит его. Зубы Юрки тихо стучат о край алюминиевого котелка. Напившись, он часто, тяжело дышит.

— Вот так... Теперь легче...

— Ну и хорошо,— говорит Катя. — Согрейся и усни. Сон лечит лучше любого профессора.

— Ладно, спасибо... — шепчет Юрка, и его посиневшие веки смыкаются.

Катя поворачивается ко мне:

— А как твоя нога, младшой? Ну-ка покажи.

Она бесцеремонно берет на колени мою беднягу-ногу и ругается:

— И это называется повязка? Погляди, что тут у тебя делается!

Я и без того знаю, что там делается. Бинты мои раскисли от снега, сползли, размотались. Все там в крови, мокро. Вдобавок ко всему нога, кажется, еще и обморожена. Пальцы вовсе уже онемели. Чтoб не растревлять себя ее видом, я, сжав зубы, отворачиваюсь. Напротив у стены пленный. Держится он тихо, несколько даже пугливо, с покорным выражением на лице. На его плечах все та же шинелька, на голове —

шапка с козырьком. Обхватив руками колени, он будто бы дремлет. Его конвоир, заросший щетиной дядька, сидя возле порога, докуривает сигарку.

— Сороковочку оставь, браток, — просит его кто-то из сумрака.

Боец еще раза два торопливо затягивается и, ступив между ранеными на полу, тянется к выставленной навстречу руке. Мои глаза уже начинают кое-что видеть в этой темноте. Среди бойцов я различаю на скамейке под окном вывезенного нами летчика. Он неподвижно лежит, словно неживой, под бинтами и время от времени сдержанно стонет. Но тихих стонов, вздохов и охов полна хата.

— А ну назад! — сразу же раздается из-за стола команда Сахно. — Не забываете, к кому приставлены!

Боец вяло оправдывается:

— Да не сбежит! Я же вижу.

— Плохо видите!..

В это время рядом со мной начинает шевелиться кто-то в полушубке с поднятым воротником. Кажется, он до сих пор дремал, прислонившись к стене, и теперь голосом, осипшим от сна, говорит:

— Не беспокойтесь. Я присмотрю.

Затем прокашливается и, будто самый настоящий немец, скороговоркой обращается к пленному. Это меня удивляет: гляди-ка, знает немецкий! Пленный тихо что-то отвечает, и сосед, заметив мое любопытство, объясняет:

— Он говорит, что сам сдался в плен и обратно перебежать не собирается.

— Прижали — так сдался. А вообще я не спрашиваю, что он там говорит! — обрывает его Сахно. — И вы бы лучше помолчали, лейтенант.

Лейтенант умолкает, а мою ногу вдруг пронзает острая боль, я вздрагиваю, и Катя незлобиво прикрикивает:

— А ну тихо! Что брыкаешься, как девчонка?

— Ого! Так рванула!

— Ладно, выдержишь. А голова как? Ничего?

— Голова ничего, — говорю я, лишь бы не трогать раны.

Катя начинает туго забинтовывать стопу, и я снова поглядываю на лейтенанта, который не спеша свертывает сигарку. Такие люди всегда вызывают во мне уважение, так как есть в них что-то интересное и значительное. И хотя мне неловко теперь навязываться со знакомством, все же я спрашиваю:

— Вы не из сто одиннадцатой?

Лейтенант слюнявит сигарку и не очень сноровисто обрывает ее концы. Видно, что с самокрутками имеет дело недавно.

— Нет. Я из управления армии. Из газеты.

— Из редакции?

— Ну да. А что вас удивляет?

— Да так, ничего, — отвечаю я, несколько даже смутившись от такого знакомства.

Мне еще не приходилось встречать журналистов, тем более на фронте, и я уже не могу скрыть моего любопытства. А он, кажется, безразличен ко всему тут, сосредоточенно прикуривает от спички и смачно затягивается. Щеки его, колючие от густой черной щетины, кажутся болезненно запавшими. Хотя по званию этот человек почти ровня нам, по возрасту он старше нас лет на пятнадцать. Во взгляде Юрки я также ловлю слабенький огонек любопытства. Понятно, конечно: я помню, как Юрка рассказывал когда-то о своем намерении стать после войны журналистом.

Но лейтенант молча курит, и разговор у нас не вяжется.

— Ну вот и все,— говорит Катя, наконец обрывая бинт.— Береги рану, а то столько грязи набилось.

Она поглядывает на Юрку, но глаза у того уже закрыты, и девушка тихо, только мне одному, сообщает:

— Слаб он. Смотреть надо. Чтоб ненароком не...

Я вздыхаю. Кажется мне, Юркины веки тихонько вздрагивают в темноте. Наверно, он чувствует наше внимание к себе.

— Ничего, как-нибудь.

— Сестра! Перевязать надо! — зовет кто-то Катю.

— Раньше мне. Я уже давно жду.

— Сейчас, сейчас, родненькие. Не всем сразу.

Катя пробирается меж людей дальше, а Юрка, заметно напрягаясь, чтобы сдержать стон, спрашивает:

— Что, пехоты у немцев много?

— Знаешь, пехоты не было, Юра. Если б пехота, нам бы не удержаться. А так с дюжину танков. Два подожгли.

Юрка раскрывает глаза и неподвижным взглядом уставляется куда-то в невысокий сумеречный потолок.

— Знаешь, десант — это сила. Если придется участвовать, старайся как можно... ближе подъехать. Главное... не спешить соскакнать. Чем ближе к ним, тем... лучше. Я знаю...

— Ну, конечно,— соглашаюсь я, хотя в танковом десанте еще не участвовал. Но я вижу, как тяжело Юрке говорить, его запекшиеся губы едва шевелятся.

— Так... Дай воды... Жжет, холера...

Я приподнимаю его голову и наклоняю котелок. Юрка пьет маленькими частыми глотками.

— Плохо? Ты лежи. Молчи лучше.

— Ладно...

Юрка вздыхает.

— Теперь я не скоро. Кажись, долбануло как следует. Теперь поваляюсь. А когда будут машины?

— Машины? Будут, Юр... Ты потерпи немножко. Я слышал, там генерал обещал.

— Ну что ж... — терпеливо соглашается Юрка. — Что-то я хотел сказать?.. Будешь воевать... раздобудь эмге сорок два. Не смотри... что немецкие. Это пулеметы... классные. Научишь ребят... Лучше станкачей будут. Патронов... в наступлении хватит. У меня четыре было. Подобрал...

Смысл его последних слов наводит меня на некоторые подозрения. Похоже, что он уже потерял надежду использовать свой опыт и хочет передать его мне.

— Хорошо, Юрка. Еще повоюем. И «дегтярями» и эмга. Не унывай, Юра.

— Та-ак! И еще — надо стрелять. В наступлении, а то... они нас уничтожают, а мы... Слабый у нас огонь. Стрелковый. Понимаешь? Слабина...

Он умолкает, и я не отзываюсь. Кажется, он засыпает. Я рассеянно всматриваюсь в его похудевшее за этот день лицо, которое неподвижно сереет на помятом сукне шинели. Выберемся ли мы отсюда? Я-то кое на что способен еще, а вот Юрка... Эх, Юрка, Юрка!..

Я начинаю прислушиваться к сдержанным разговорам в хате, к звукам снаружи и думаю, что раненых пора бы уже отправить в тыл, если бы была дорога. Но коли никто об этом не заботится, то, видно, действительно ходу отсюда нет. Тогда надо ждать. Только чего дождемся?

За окном как-то сразу светлеет — это всходит луна. Край ее ярко врезается в стекло, подернутое слабым морозным узором. В хате тоже становится светлее. Только в углах и под потолком еще сохраняется мрак.

Лейтенант у стены все же переговаривается с немцем. Я прислушиваюсь, и корреспондент, заметив это, сообщает:

— Он говорит, что вы его в плен взяли?

— Не взял. Только вел. Да не довел.

— Почему?

— На танки наскочили. Было трое. Один вот остался.

Лейтенант обращается к немцу с какой-то длинной фразой. Немец охотно и подробно отвечает. Из их разговора я понимаю только несколько слов: «лерер», «Бунцлау», «ефрейтор». Лейтенант объясняет:

— Его фамилия Энгель. Он сельский учитель из Силезии. А его камарад был нацист. Тот случайно попался в плен. Обычно такие не сдаются.

И они вполголоса переговариваются снова.

Правда, понимаю я по-немецки немного и не могу разобрать смысла их быстро произнесенных фраз.

Однако они упускают из вида Сахно, который немедля напоминает о себе.

— Лейтенант, подойдите сюда! — приказывает он из-за стола.

— Вы хотите мне что-то сообщить? — спрашивает лейтенант. Но Сахно замолкает, и лейтенант, помедлив, неторопливо встает.

С минуту у стола происходит не очень приятное для обоих объяснение. И когда лейтенант возвращается на свое место, я догадываюсь по его виду, что разговора с немцем у него уже не будет. Лейтенант многозначительно вздыхает.

— Да, странная командировочка!.. Поехал за очерком о наступлении. Да вот так все обернулось, что сам на карандаш попал.

— А вы напишите и про это. Про все напишите, — говорю я.

Лейтенант сдвигает брови.

— Про это не напишешь. Не тот материалчик.

21

Должно быть, я начинаю дремать, так как вдруг тревожно спохватываюсь — кажется, что-то говорит Юрка. Действительно, он беспокойно мотает головой. Полушубок сбился с его груди, глаза закрыты. В тревоге я прикладываю ладонь к его лбу. Он сухой и пылает жаром. Юрка на мое прикосновение не реагирует.

В хате по-прежнему светло. Разговор, впрочем, утихает — видно, раненые спят. Хотя вряд ли все спят — у порога шевелится конвоир. На неподвижном лице соседа-лейтенанта у стены напряженно раскрытые глаза, и в них знакомое мне беспокойство: чем все это обернется?

— Юр... Воды, а? На́ воды, Юра...

Юрка не отвечает, только мотает откинутой головой и лихорадочно дышит. Я слышу, как он шепчет:

— Ну!.. Что ты? Мамочка!.. Не надо!.. Не надо... Ну что ты! Так!.. Иначе нельзя...

Я понимаю: Юрка бредит.

— Почему ты не идешь?.. Оля!.. Оленька! Прости!.. Я все понимаю... Оленька!.. Мама!..

Какое-то время я невольно стараюсь проникнуть в смысл бессвязных Юркиных слов. И в это время отзвук новой беды доносится до нашей хаты.

Сначала кто-то будто спросонок, неуверенно замечает: «Гудят, а?» Затем слух начинает различать знакомый высотный гул. Он быстро усиливается, и вот земля под нами вздрагивает от первых взрывов. Это бомбежка. Правда, бомбят где-то далеко. Во всяком случае не в этом селе. Но бомбят, слышно по всему, немцы. Кто-то, напустив в помещение холоду, выходит на улицу. За ним к двери пробирается второй. Сонное спокойствие в хате нарушается. По углам начинаются разговоры, кашель.

— Налетели коршуны проклятые. Теперь дадут прикурить.

— Хоть бы не сюда. Чтоб их черт... Страх не люблю бомбежек.

— Кто их любит!..

И вдруг гул вверху прорывается грохотом. Где-то, уже совсем близко (не на окраине ли села?), раскатисто рвется подряд несколько бомб. Наш дом вздрагивает. В углу с лязгом падает на пол пустой котелок.

— Дождались! — выпаливает кто-то, и по резкому голосу я узнаю нашего знакомого-летчика.— Дождались, черт бы их побрал! Где начальство?! — почти в отчаянии выкрикивает он.

Но начальства нет. Мы все тут одинаково рядовые — раненые. И только Катя, как и всегда в таких случаях, грубовато прикрикивает:

— А ну все вниз! Прочь со скамеек. Все на пол!

Раненые неохотно слезают со столов, скамеек и размещаются на полу.

Я поглядываю в угол — за столом уже никого нет. И только на середине хаты — полуосвещенная луной фигура Кати в накинутом на плечи полушубке.

— Ложись, ложись! И чтоб тихо. Никакой паники.

Вблизи за селом начинается громовой грохот бомбежки. Затаив дыхание, мы жмемся к полу, вслушиваемся и напряженно ждем, когда же наконец кончится это проклятое испытание. Кто-то зло и гадко ругается. Кто-то тихо про себя стонет. На улице беготня и встревоженные редкие выкрики. А возле меня дрожит, бьется в горячке Юрка.

— Мам... Мамочка, стой! Не иди. Огонь... Куда он? Куда катится... Держите ж вы...

Над хатой — тяжелый вой. Ночь сотрясают два близких взрыва. Огненные вспышки в окнах на несколько секунд ослепляют нас. Кажется, разлетится вдребезги хата, и даже странно, когда через мгновение оказывается, что она стоит, как стояла. Только почему-то с запоздавшим скрипом открываются на крыльцо двери. Но это не от бомбы. Это в наше пристанище врывается какой-то боец.

— Эй, славяне! — запыхавшись, кричит он с порога.— На том конце немцы!

В хате на секунду все онемевает. Нас сковывает растерянность. Затем кто-то ругается:

— Погибать, что ли? В конце кошцов..

— Почему нас бросили? Где справедливость? Где забота о раненых?

— Тихо! Ти-хо! — прерывая шум, снова раздаётся голос Сахно.— Я запрещаю! Прекратить разговоры!

— Кто там запрещает? Ты вон запрети нас бросать! Где начальство? Давай начальство!

— Надо к начальству!

— Генерала сюда! — гудят встревоженные голоса.

Кто-то, хромая, быстро выходит из хаты. За ним к двери пробираются еще двое. Тогда на порог откуда-то из угла торопливо лезет сутулая фигура Сахно.

— Стой! Прекратить панику! Я приказываю!

Хата становится как разъяренный, растревоженный улей.

- При чем тут паника?
- Пошел ты...
- Нашлось пугало! Не таких видали!
- Ты начальство давай сюда!
- Давай транспорт! Нам тоже жить хочется!

Люди встают, кто может. Остальные лежат. Бомбежка, кажется, утихает. Гул удаляется. Видно, самолеты поворачивают назад. Зато усиливается пулеметная трескотня. Из раскрытой двери в хату ползут клубы холодного воздуха.

Негромко по-мужски выругавшись, к выходу пробирается Катя.

— Нет, уж вчерашнего не будет! — говорит она. — Я сейчас...

Девушка хочет выйти, но путь ей преграждает Сахно. Упершись ногой в косяк, он стоит в раскрытых дверях. В здоровой его руке пистолет.

- Назад!
- Ты что — очумел? А ну пусти! Я к начальству.
- Назад! — в каком-то остервенении кричит Сахно.

Катя вдруг с силой толкает его и, пригнувшись, шмыгает в дверь.

— Назад! Застрелю!

Он и в самом деле стреляет, неожиданно оглушая всех нас. Господи, не сошел ли с ума этот законник? Рядом поднимается с пола лейтенант.

— Послушайте, — говорит он, — что за спектакль? Надо же доложить начальству. Надо спасти раненых. Что вы уперлись?

— Молчать! Я приказываю замолчать!

Широко расставив ноги, Сахно серой неподвижной глыбой стоит в дверях. Пистолет его направлен в хату. Из раскрытой двери всюду валит морозная стужа.

— Ему лишь бы молчать! — зло бросает кто-то.

Понемногу, однако, в хате умолкают. Кто знает, чего можно ждать от этого человека?

Сахно стоит так довольно долго, и мы все молчим. Только обожженный летчик сильнее чем прежде стонет под лавкой. Юрка стихает, но в груди у него что-то часто и мелко булькает. Автоматные очереди за окнами то притихают, то снова густо рассыпаются в ночной тишине.

Но вот на улице слышится гомон. За окном — чьи-то торопливые шаги: там группа людей. Не за нами ли? Скрипит крыльцо, и луч фонарика ярко упирается в настырную фигуру Сахно.

— Тут кто?

— Тут раненые, — с недовольством отвечает Сахно и не сходит с порога.

— А вы кто? Что вы тут делаете? — осветив пистолет в руке капитана, строго спрашивает командир.

— Я пресекаю панику! — все тем же тоном говорит Сахно.

— Панику?

— Так точно. Панику.

— Какую там панику! — вставляет кто-то из темноты. — Нас в госпиталь надо. Тут тяжелораненые есть.

Неизвестный командир поворачивается к людям. Его сильный фонарик обегает сидящие и лежащие на полу фигуры людей. Повсюду — шинели, полушубки, бинты и ожидающие, настороженные лица.

— Я не уполномочен насчет эвакуации, — твердым голосом объявляет опоясанный ремнями человек. — Село обходят немцы. Полковник Гордеев приказал: всех в строй. Кто может — прошу за мной! Незамедлительно!

— Это другое дело, — после короткой паузы отзывается голос в углу.

— По-людски. А то пистолетом грозит...

— А ну выходи, кто может!

— Известно, выходи. А то всем крышка.

Из угла вскоре выбираются двое. Встает кто-то от порога. Вздохнув, нелегко поднимается лейтенант из редакции. Я не знаю, как быть мне. Неловко отставать от других и не хочется бросать Юрку. Чувствую, что без меня он погибнет. И проклятая нога остро разболелась к ночи.

— Стой! — будто вспомнив что-то, кричит Сахно. — Майор, остановите людей. Тут непроверенный элемент.

Майор, который уже хотел было уйти, останавливается и коротко сверкает на Сахно фонариком.

— Какой элемент?

— Антинастроенный элемент. Тут разговоры...

— Да бросьте вы, капитан! Какие разговоры...

Майор выключает фонарик и исчезает на крыльце. За ним выходят четверо бойцов. Сахно несколько секунд удивленно стоит у двери, потом бросается за ними следом.

— Майор, вы будете отвечать! Я уполномочен... — доносится уже снаружи.

Кто-то в хате снова зло ругается.

Лейтенант у стены не спеша готовится выйти. Сначала он тщательно отворачивает уши своей шапки. Потом достает из кармана трехпалые рукавицы и натягивает их на обе руки. Все его движения неестественно замедлены, вроде он чем-то озабочен. Я вижу все и понимаю, как ему не хочется идти туда, откуда, кто знает, суждено ли будет вернуться. У его ног покорно сидит, ожидая чего-то, немец. Лейтенант смотрит на меня, потом на Юрку. И я думаю, если только он скажет «пойдем!» — я встану. Но он аккуратно заправляет рукавицы и улыбается в полумраке.

— Ну, счастливо оставаться. Желаю как-нибудь выбраться отсюда.

— До свидания! — говорю я почти растроганно.

Не знаю почему, но в моей душе незаметно созрело какое-то неосознанное еще расположение к этому человеку. И теперь, когда он уходит туда, мне оставаться здесь более чем неловко. Наверно, чтобы смягчить эту неловкость, я предлагаю:

— Возьмите мой карабин.

— Нет, спасибо. У меня пистолет. — Он трогает свою кирзовую кобуру на ремне. — Впрочем, все равно. Там танки.

Затем, переступив через мою ногу, выходит в раскрытую дверь. Я же остаюсь, мучительно раздумывая над невеселым смыслом его последних слов. В хате становится тоскливо и пусто.

На полу одни тяжелораненые. У порога на прежнем месте, кутаясь в шинель, сидит немец. Конвоира возле него уже нет. Исчез Сахно — видно, сбежал и конвоир. А немец не убегает. Съежился и чего-то ждет, забытый и покинутый бедолага-пленный, до которого тут никому нет дела. Под топчаном у окна дрожит обожженный летчик. Я подтыкаю под Юрку края полушубка и на коленях подползаю к нему. Хоть, по правде говоря, этот крикун уже изрядно надоел нам. Но и ему не сладко.

— Как вы? Может, помочь чем?

— Да. Ты должен помочь! — настойчиво просит летчик. — Друг! Не дай мне погибнуть. Меня командующий знает. Я к Герою представлен. Ты должен связаться с командующим. С самим командующим. Ты понимаешь?

— Как тут с ним свяжешься?

— Ты должен связаться. Или пусть выделят танк. Пусть отвезут в танке. Я не должен погибнуть...

Он боится погибнуть! Будто остальным тут безразлично: жить или умереть. Как будто оттого, что он представлен к Герою, его жизнь при-

обрела большую ценность. А Юрка представлен к «Отечественной». Так что же ему — погибать? Сочувствие к нему вдруг сменяется во мне досадой.

— Друг, ты понимаешь? Иначе я погибну. Ты слышишь?

Да, я слышу. Но я возвращаюсь к Юрке, так как уже не хочу его утешать. За околицей вовсю гремит бой — и танковые выстрелы, и автоматы. Я чувствую: будет плохо! Хотя бы вернулась Катя, с ней как-то спокойнее. Мы уже привыкли за эти сутки к ее грубоватой заботе о нас. Я удивляюсь: действительно, всего одни сутки, как я встретил ее, а кажется, знаю давно. Странно, она некрасивая, резкая, а в общем, такая надежная. Я прислоняюсь спиной к стене возле Юрки. Вслушиваюсь в трескотню боя и начинаю ждать Катю. Вскоре кто-то взбегает на крыльцо, потом шарит рукой по двери. Я уже готов обрадоваться, но вместо Кати на пороге появляется Сахно.

— Так. Кто днем был на высоте? — сухо спрашивает он тоном командира, который получил незаслуженный нагоняй от начальства.

Люди настороженно удерживают стоны.

— Я спрашиваю: кто оборонял высоту?

— Какую высоту? — спрашивает кто-то с обвязанной, в шинах рукой. — Ту, где танки?

— Да. Ту.

— Ну и я оборонял. А что?

— Фамилия? — настойчиво спрашивает Сахно.

— А зачем? Орден дадите, что ли? — совсем не в тон капитану шутит раненый. — Цвиркун, ну?

— Как?

— Ефрейтор Цвиркун.

— Младший лейтенант Василевич, записывайте! — приказывает мне Сахно.

Не хватало забот, думаю я. И откуда его пригнало на наши головы? В оборону, гляди ты, не пошел, а снова уже что-то расследует. Кого-то уже подозревает и обвиняет. Тоже воюет!

— Еще кто? — снова спрашивает Сахно. Но больше, кажется, защитников того бугра тут нет.

— А вы, Василевич, там не были? — поворачивается он ко мне.

— Ну, был. А что?

— Почему скрываете? Записывайте и себя.

— Я и так не забуду.

— Вы все помните, да? А где старшина Евсюков? — вдруг многозначительно спрашивает Сахно. — Вы же, кажется, вместе были?

— Вместе. Да тут разошлись. В селе.

Все молчат, глядя на капитана. Он также молчит. Становится тихо, и в этой тишине появляются новые звуки. Где-то по улице идут танки. Их грохот придвигается все ближе и ближе... Хоть бы свои, не немецкие! Но если и наши, то куда они идут?

— А что, капитан, случилось?

— Что случилось? — въедливо переспрашивает Сахно. — Не знаете, что случилось? Оборону бросили, вот что случилось!

Ну, ясно: где-то неполадки, кто-то проворонил и теперь ищут виноватого. Но при чем тут Евсюков?

Заглушая грохотом недалекую беспорядочную стрельбу, мимо наших окон проходит один танк, затем второй. Кто-то в шапке с растопыренными ушами ползет к окну и всматривается в светловатое, тронутое морозцем стекло. Первые танки, слышно, удаляются. Но с другого конца села снова нарастает грохот.

— Вот тебе, кума, и Юрьев день! — громко говорит от окна боец. — Танки-то уходят.

— Как уходят?

— Куда?

Я также бросаюсь к окну. Действительно, наполнив село грохотом, несколько танков быстро катятся по зимней улице.

Сахно, вдруг забыв про нас, молча выскакивает на улицу. Я подползаю к Юрке. Что же это делается? Я торможу его, думаю: может, очнется, иначе как бы не угодить в новую западню. Раненые торопливо один за одним выползают из хаты. Кто со стоном, а кто молча. Теперь только бы на улицу, по которой уходит последняя возможность спастись.

— Братцы, добейте! — глухо стонет кто-то в углу. — Лейтенант, браток, сделай одолжение, пристрели!

По улице бегут люди, фыркают танки. У них свои заботы, свои боевые задачи — что им раненые? Летчик, ругаясь, встает на колени и слепо ползет к выходу. В это время в углу раздается выстрел, и глухой стон там обрывается. «Так лучше», — говорит кто-то. Сам или его кто-нибудь? — не могу понять я. Да долго думать об этом и не приходится. Снаружи под самые окна подлетает и, очевидно, останавливается танк. Грохот его сразу затихает. Кажется, следом останавливается еще один. Хоть бы успеть, может, возьмут..

Кое-как надев на Юрку полушубок, я хватаю его, чтоб тащить к двери. И тут в хату, запыхавшись, врывается Катя. Я сразу чувствую: это за нами! И действительно, Катя громко выпаливает:

— А ну — на машины! Быстро! Кто сам не может — крикни!

Я подхватываю Юрку под мышки, немец услужливо поднимает его за ноги. Катя уступает нам дорогу и сама бросается к летчику, котрый копошится у порога. Мы вытягиваем Юрку во двор и там натыкаемся на высокого и неуклюже толстого командира в комбинезоне и танковом шлеме. С шутливой легкостью он притоптывает валенками и хлопает рукавицами.

— Живее, орлы! Живее, всаднички! А то коники остынут. А ну давай пособлю.

И подхватывает за полушубок Юрку. К нему подскакивает второй в шлеме.

— Товарищ подполковник, дайте я!

Они вдвоем принимают из моих рук Юрку. И я чувствую шемящую благодарность к этому подполковнику. Какой молодец — остановил для раненых танки! Видно, это постаралась Катя? Они вдвоем с помощью немца взволакивают Юрку на броню танка, следом, неуклюже цепляясь за боковой трос, взбираюсь и я. А подполковник легко соскакивает, чтобы помочь Кате.

— Давай этого туда, на тройку. Эй, герой, подсоби! — обращается он к немцу. Тот сквозь шум мотора не слышит или не понимает. Стоит внизу возле танка, видимо, не зная, можно ли ему сюда влезть. И тут между танков откуда-то появляется Сахно.

— Товарищ подполковник, немца надо ликвидировать. Немедленно.

Подполковник, неся с Катей раненого, удивленно вскидывает голову. Сахно тем временем расстегивает кобуру. Он уверен, что подполковник не возразит. Не от жалости к немцу, а чтобы досадить Сахно, я кричу:

— Не слушайте! Товарищ подполковник... Это язык. Его к генералу приказано доставить.

— Какому генералу? — спрашивает подполковник и тут же машет рукой: — Пусть едет, черт с ним. Шлепнуть успеете.

«Ага, выкуси!» — злорадно думаю я и кричу всмцу:

— Ком! Быстро!

Сахно, вижу, хочет возразить, но танкисты спешат. Башенный люк за моей спиной, лягнув, закрывается. Оба танка, лихо заурчав, увеличивают число оборотов, и Сахно, сдвинув кобуру, бросается к нам на броню.

— Ты имей в виду: сбежит — под трибунал загремишь! — взобравшись, кричит он мне в самое ухо.

«Пошел ты к чертовой матери!» — с ненавистью думаю я.

22

Лунная морозная степь. Грохот танков, смрад газойля, колючий ветер в лицо и — тепло. Да, тепло. Правда, греет больше у ног, где поддувает нефтяным жаром сквозь жалюзи. И все же рай! Надо только держаться, чтоб не свалиться от танковой качки.

И мы держимся за башню, вцепившись руками в ее настывшие поручни. На моих коленях лежит голова Юрки. Я одной рукой придерживаю ее; немец же, сидя сбоку, видно, занят собой и безразличен ко всем нам. Возле него, прислонившись к башне, сидит Сахно. На боках и закрылках танка какие-то ящики (наверно, снаряды), рядом со мной скользкое окоренное бревно. Следом грохочет второй танк. Там Катя. Ее плотная фигурка высовывается из-за башни. Кажется, нам наконец повезло — теперь-то уж мы вырвемся.

Но мы несколько отстали от головной колонны и быстро нагоняем ее. Морозный ветер обжигает лица. Резкие синие тени от придорожных столбов тянутся до самой колен. Вокруг видно далеко-далеко. Позади остались немцы — на горизонте то и дело взлетают в небо молнии трасс. Там бой. Там те, что по приказу полковника остались на бугре, чтобы дать нам возможность вырваться из беды. Только куда? Кажется, мы едем дальше на запад, не в свой тыл, а туда — глубже, в немецкий.

Это, конечно, опять вселяет тревогу. Но я не хочу думать плохо. Там войска, там мощь боевых частей, там начальство, там не дадут пропасть. Правда, сзади, пожалуй, не отстанут от нас и немцы. Им, окруженным, также надо прорываться на запад.

Я отворачиваюсь от встречного ветра, глубже в воровник втягиваю забинтованную голову. Мощно ревя на подъеме, танки обходят балку, проскакивают клин полегшего, не убранного осенью подсолнуха. Искры-трассеры вдали постепенно исчезают, только изредка короткая очередь невысоко взлетит над горизонтом и гаснет. Кругом же спокойно, и все было бы хорошо, если б не Юрка. Он без сознания. Я плотнее прикрываю его полушубком. Тело его кажется неуклюжим и длинным, сапоги едва не достают выхлопных труб. В качке того и жди — может сползти и свалиться в снег. Хоть бы живым довести его до какого-нибудь санбата. Наш танк, однако, нагоняет задние в колонне машины, качка и толчки становятся меньше.

Неожиданно ко мне наклоняется Сахно.

— Что?

— Говорю, приедем, пойдете со мной! — кричит он прямо в лицо.

— Куда?

— Неважно. Куда прикажу.

Вот тебе и радость! Не успели вырваться из одной беды, как впереди уже маячит новая. И — странное дело — эти сдержанные слова Сахно действуют тут куда больше, чем все его угрозы там, под носом у

немцев. Тут он сила. Тут уже не пошлешь его, куда не следует,— должен подчиняться.

Я сижу, прислонившись плечом к шершавому боку башни, и поглядываю в заросли подсолнуха, что снова обступают дорогу. Я чувствую себя совершенно измотанным за эти сузки. Ноги мои согрелись, и в раненой стопе будто шевелятся муравьи: зашласть или отходит — не поймешь. Зато мерзнет рука на башне. Я хочу согреть ее, но не успеваю расстегнуть крючок шинели, чтоб сунуть руку за пазуху, как громовой взрыв раскалывает землю. Танк становится на дыбы и на мгновение словно повисает в воздухе. Какая-то бешеная сила подхватывает меня с брони и швыряет в снежную пропасть.

Сначала я не понимаю, что произошло, и, только почувствовав под собой землю, догадываюсь: мина! Выплюнув изо рта хлопья обжигающе-морозного снега, вскакиваю среди стеблей подсолнуха на колени и снова падаю. На дороге, сбоку от нее и еще где-то впереди почную тьму разрывают огненно-красные взрывы.

Гр-р-р-рах! Гр-рах! Грах-х-х-х!..

Нет, это не мина... Но тогда что? Откуда? Почему? В горячке я никак не могу сообразить. Я только чувствую: мы опять попались! Где же Юрка? Спотыкаясь о комья, я бросаюсь к танку. Он стоит наискось дороги. На башне чья-то фигура — кто-то будто выскакивает через люк. И вдруг до слуха моего доносится тяжелый гул.

Бомбежка...

А тут такая светлая ночь. В степи хоть собирай иголки. И на дороге — танки. Хотя ясное дело, чего еще было ждать? На что надеяться? Все очень просто. Иначе и не могло быть...

Я добегаю до танка. Обсыпанный снегом, он все же уцелел. Сверху на прежнем месте лежат раскинутые ноги Юрки. «Неживой!» — пугаюсь я и бросаюсь к борту, чтобы залезть наверх, но тут же едва не падаю, споткнувшись о немца. Тот сжался на земле, притиснувшись к опорным каткам, обхватив голову руками. Наступив на каток, я взваливаю грудь на танк.

Снова вверху грохот и визг. Но в звездной черноте не видно ничего. Тогда я ужасаюсь, что не успею, и глупо кричу немцу:

— Фриц! Фриц!..

Он понимает и сразу же вскакивает. Я хватаю за плечи Юрку. Немец, протянув снизу длинные руки, принимает на них Юрку. Оба они сразу же падают в снег. Совсем рядом землю сотрясают мощные бомбовые взрывы. Я не успеваю соскочить с танка, как самый ближний из них швыряет меня в яркую, на полнеба огненную бездну. Я опять оказываюсь где-то в снегу. Однако тут же чувствую: цел и на этот раз. Сразу же вскакиваю на четвереньки. Только почему-то я ничего не вижу — ни танка, ни Юрки. На минуту я теряюсь, не понимая, что со мной и где я. Руками отчаянно гребу снег, хватаюсь за мерзлые стебли, ползу куда-то в сторону. В рукавах до локтей снег, снег и за воротником, в ушах.

Новые взрывы снова укладывают меня ничком. Снежным пластом заваливает спину, голову, ноги. Но я жив и снова вскакиваю на колени. Ничего не видя, я верчусь на снегу, не зная, куда податься. И вдруг из темноты прорезывается что-то яркое и острое — какой-то огонь. Это горит танк. Нет, не наш, дальше на дороге. Мрак в моих глазах постепенно редет. Я вижу заброшенный землей снег, черное небо и знакомый силуэт нашего танка. С внезапным облегчением бросаюсь к двум ближним фигурам — к немцу и распластанному на дороге Юрке.

Юрка лежит на боку. Я запахиваю на нем полы шинели и рыском перемещаю его отяжелевшее тело ближе к гусенице. Потом, припад

к нему, переживаю новую серию взрывов. Они продолжаются вечно. Я жду, подавив в себе все — и страх и надежду, — полагаясь только на выдержку. Взрывы, даже не верится, будто стихают. Задыхаясь от тротиловой вони, я несколько секунд жадно хватаю ртом воздух и жду нового взрыва. Но его что-то нет. Пауза увеличивается, в ушах усиливается звон. Я не могу сообразить — то ли это тишина, то ли я оглох... Но вот впереди слышатся неясные голоса, брань — кажется, там что-то кричат или, может, командуют. Танк рядом, словно живое существо, вздрагивает. Неужто уже можно ехать?

Немец сноровисто вскакивает на танк. Напрягшись изо всех сил, я поднимаю Юрку. Немец с натугой взволакивает его за воротник на броню.

И тут танк, резко взревев мотором, срывается с места.

Обида и злость придают мне силы. Танк проскакивает мимо, но я в последнее мгновение бросаюсь сзади в горячие струи его выхлопов. К счастью, под руки попадает петля троса и я хватаюсь за нее. Но она вдруг подается и вытягивается. Я тяжело сползаю с брони и какое-то время отчаянно волочусь в дымной трескотне выхлопов. Я хочу крикнуть, но в грохоте дизеля не слышу даже своего голоса. И вдруг вверху — согнутая фигура немца. Он наклоняется и с силой подхватывает меня под мышку. С его помощью я взбираюсь на танк и распластываюсь на жалюзи.

Немец молча перебирается к башне, а я остаюсь лежать. Мне как никогда за сегодняшний день хочется кричать, выть, ругаться: что же это делается? Но я молчу. Рядом лежит Юрка. Его голова, мотаясь, бьется об угол запорошенного снегом ящика. Я чувствую, как мной овладевает безразличие. Ко всему. И так соблазнительно поддаться ему. Сахно, кажется, тут уже нет, видно, достучался. Черт с ним: у меня ни радости от этого, ни горя. Мне все осточертели и немец тоже. Остается один только Юрка. Роднее его у меня нет никого на свете. Встав на колени, я поддвигаю его к башне, он стонет. Значит, еще живой.

— Юрка!.. Юрочка!.. Юр!.. — кричу я, не зная, что сказать, чем утешить его. Но я вижу — он узнает меня, только не улыбается, как прежде, а скашивает взгляд в сторону и секунд пять, будто напряженно припоминая что-то, смотрит на луну. Видно, он только что пришел в себя и еще очень слаб. Губы его тихо шевелятся, я низко наклоняюсь — кажется, он что-то спрашивает.

— Все хорошо! Все хорошо, Юра! Скоро приедем! Скоро! Потерпи, браток!..

— ...куда?

— Куда едем? В госпиталь, Юра! В Знаменку! Там армейский госпиталь, ты же знаешь! — отчаянно вру я.

Нас резко бросает в сторону, я хватаюсь за башню. Рядом пылает разнесенный бомбой танк. Грудой железного хлама перегорожена дорога; крутыми рывками мы поспешно объезжаем ее. А там горит снег, резина, броня. В колесах перекрутились гусеницы. за канавой валяется сорванная взрывом башня. В воздухе гарь, дым, смрад. По обе стороны дороги — густые, вывороченные глыбы мерзлой земли, и повсюду — глубокие ямы воронок. Я осторожно поглядываю в небо, не ударят ли еще? Неужто они отцепились от нас?

На башне лязгает люк. Видно, чтобы лучше видеть дорогу, оттуда вылезает черная фигура в шлеме. Человек оглядывается на огонь и кричит нам:

— Ну что? Целы?

— Целы, — отвечаю я, хотя он вряд ли слышит меня.

— Ну-ну! Держитесь! Это вам не пехота-матушка. Танки!

Пошел ты со своими танками, думаю я. Хорошо тебе в стальном ящике, а какво́ нам? Но я не успеваю что-нибудь ответить, как на башне открывается второй люк и из него высовывается сбитая набок кубанка. Сахно?

Да, Сахно. А я уже думал, что он пропал. Но он не пропадет! Он сразу окидывает нас молчаливым взглядом, будто считает, и, видно, довольный тем, что все на месте, отворачивается, чтобы смотреть вперед.

Только долго глядеть не приходится. Я, наверное, первый замечаю, как в звездном небе что-то мелькает, или мне кажется так. Но сразу же вдоль дороги в снегу снова — несколько высоченных взрывов. Правда, в этот раз они слабее, чем прежде. Может, потому, что дальше? Я клюю головой о броню. Рядом размеренно лязгают люки. Танк прибавляет газу.

Как можно плотнее мы жмемся к броне. Танк бешено мчит нас, и мы едва удерживаемся наверху. А кругом начинается ад. Земля перемешивается с небом, гаснут все до единой звезды. Над дорогой, густо начиненной осколками, бушует снежно-земляной смерч. Я пластом лежу на броне, тесно прижавшись к выступу башни, и обеими руками держу Юрку. Будь что будет, лишь бы только не сбросило с танка. Пусть убивает сразу — черт с ним! Если суждено погибнуть от бомбы — не страшно. Не такая она драгоценная, наша жизнь, чтоб за нее столько бороться. Гибнут и не такие!.. И все же мучительно ждать момента, когда в твое тело врежется зазубренный стальной черепок, способный перебить рельс.

В воздухе сплошной гром. Взрывы, грохот танков, бомбовый визг, истошный скулеж осколков. Хорошо еще, что с одной стороны нас прикрывает башня и наша машина последняя. Достается больше передним, но перепадает и нам. Особенно с боков. На шинели летят крупные щепки от бревна. Раз за разом осколки высекают из брони горячие искры, на нас брызжет окалина. Но танк молодчина, не останавливается. Он мчит по дороге, кое-где сворачивая. В одном месте обходит подбитую машину с откинутыми люками, цифрой «20» на башне и резко тормозит. Несколько человек цепляются за борта, за трос сзади и взбираются к нам. Я боюсь, что затопчут Юрку, они и в самом деле не очень осторожничают. Один из них ранен и прижимает рукой окровавленный бок. Второй, что в расстегнутой телогрейке, ругается и, взобравшись, сразу запускает автоматную очередь в небо.

— Огонь! Всем огонь! Чего горбитесь, огонь! — кричит он на нас с немцем.

Танк бросает с боку на бок, я одной рукой снова хватаюсь за скобу на башне, а немец вместе со всеми начинает палить в небо. Я не сразу соображаю, что у него мой карабин, и удивляюсь: неужто по своим?

Они то беспорядочно, то залпами палят в воздух, и, видно, никому невдомек, что крайний возле них — немец. И я молчу: пусть стреляет. Теперь я не боюсь, что у него оружие. Я почти уверен: нам он плохого не сделает.

Я теряю ощущение времени и не знаю, сколько продолжается бомбежка.

И все же в какую-то минуту самолеты наконец уходят. Становится вроде тихо, и в этой тишине слышен только рев танковых моторов и стрекот гусениц. Видно, скоро утро, небо становится особенно черным. (Проклятое ночное небо, от которого мы столько натерпелись сегодня!) Три машины из двенадцати остались на дороге.

Под утро девять танков въезжают в какое-то большое, по-ночному пустынное село.

Я думаю, что мы его быстро проскочим и где-нибудь наконец присоединимся к передовым частям. Но танки почему-то сворачивают к плетням и по одному останавливаются.

Что дальше?

23

Нас ссаживают с танков и сводят в одно место на улице. Набирается человек десять — здоровые, что ночью присоединились к нам из других частей, и раненые. В том числе трое тяжело — Юрка, автоматчик с простреленным животом и все тот же летчик. Странно, какой он живучий! К счастью, с нами опять Катя. Грубовато покрикивая, она тут же распоряжается перенести лежащих в хату.

Остальным приказано ждать, и мы молча стоим под глухой, искромсанной стеной мазанки, пока от головных танков быстрым шагом к нам не подходит знакомый подполковник. С ним Сахно. Пустой рукав его полушубка слегка болтается при ходьбе.

— Ну как, орлы? Дали жару? — живо спрашивает подполковник и сам себе отвечает: — Дали, сволочи! Лучшие экипажи угробили. Значит, так: дальше пойдете сами. Нам предстоит контратака. А вы до Лелековки. Восемь километров. Ясно?

Мы все молчим. Восемь километров — немного, но при условии, если здоровые ноги. А если прострелены? Да еще трое тяжелораненых? Как их дотащить? Только о чем спрашивать — и так спасибо этому человеку за его доброту. Не оставил, как другие, — выхватил почти из огня. Теперь у танкистов свои заботы.

— Ну, ясно, не ясно — ничего не попишешь. С собой я вас не возьму. Сами понимаете. Тут оставаться не советую. Утром они снова могут ударить. — Подполковник машет рукой по дороге. — Вот так: старший над вами капитан, — кивает он на Сахно, тот переступает на снегу. — Он поведет.

Здорово! — думаю я. Как говорят, всю жизнь мечтали иметь такого старшего. Но черт с ним, пусть ведет. Командиров, к сожалению, не выбирают.

Подполковник поворачивается и скорым шагом уходит к передним машинам, которые уже заводят моторы. Сразу же они начинают срываться с мест, и вскоре мы остаемся одни. Луны в небе уже нет, вверху гаснут звезды, гускнеет неровная полоса Млечного пути. Кажется, скоро начнет светать. Непривычно тихо и пусто становится на улице этого молчаливого села, в хатах которого кое-где слепо просвечивают окна.

Когда танковый грохот на улице глохнет, к нашей приунывшей группе подступает Сахно.

— Так... Все тут? Раз, два, три, четыре, пять...

— Трое тяжелых в хате, — говорит кто-то из раненых.

Сахно снова начинает считать.

— Почему это в хате? А ну всех сюда!

Несколько человек идут по снегу через улицу в хату и вскоре выволакивают оттуда двоих. В одном я еще с улицы узнаю Юрку. Его несут немец и танкист в телогрейке — мешковатый, плечистый парень, видно, один из немногих, кому ночью посчастливилось, потеряв танк, остаться в живых. Второго несут двое разведчиков в рваных маскхалатах, которых подполковник присоединил к нашей группе. Сзади идет Катя. Сахно нетерпеливо шагает навстречу.

— А где третий?

— Там, — кивает на хату Катя. — Не стоит трогать.

— Это почему?

— Почему, почему... Безнадежный. Кончается.

Сахно минуту молчит, видно, что-то решая, а потом оглядывается и указывает на меня:

— А ну давайте за третьим.

— Я не могу.

— А если через «не могу»? Я приказываю!

— Зачем его брать? — огрызается Катя. — Умирает человек. Для чего мучить?

— Не ваше дело. Берите раненого! — ледяным тоном приказывает Сахно, стоя в надвинутой на лоб кубанке, выставив наперед квадратный свой подбородок.

Катя вполголоса говорит ему что-то обидное и возвращается во двор. За ней, прихрамывая, иду я. Скрипнув дверью, мы влезаем в хату.

Раненый, весь мокрый от пота, неподвижно лежит на кровати. Над его головой чадит коптилка. У порога кутается в полушубок испуганная, с заплаканным лицом женщина.

— Ой, диточки, ой, лышэнько! Куды ж вы йёго? Вин таки слабы...

— А ну помоги, тетка, — безучастно к волнению этой женщины говорит Катя и приподнимает больного. — Дайте какое-нибудь рядом.

Покопавшись в тряпье, хозяйка расстилает на полу одеяло, и мы перекаладываем на него раненого. Но он раздет, весь в бинтах и без шинели. Как его нести?

— Цэ ж вин змэрзнэ, помрэ, а у йёго ж маты е дэсь, — едва не причитает женщина и скидывает с себя полушубок. — Натэ, ухутайтэ, все тэплишэ буде.

Тетка светит над головами коптилкой. Катя укутывает автоматчика в полушубок и невзначай наступает на мою неуклюже обинтованную ногу. Я едва не падаю от боли.

— Еще не отморозил? Ну так отморозишь! — твердо обещает Катя. — И гангрена еще прибавится. Жди! — И вдруг прикрикивает: — А ну, рвани! Хватит корчиться!

Наступив ногой на рукав полушубка, она пробует его оторвать, но не справляется и бросает в мои руки. Я рву сильнее, она придерживает, и рукав с треском отрывается.

— Ой, што вы робытэ? Што вы рвитэ мою одэжыну? Штоб вам руки одирвало. ноги пэреломало! — сварливо причитает женщина.

Катя строго прикрикивает на нее:

— Замолчите! Вам не все равно? Одного жалко, а другого нет?

— Нелюдска ты людына! Лайдачка! Моя свитка, шо вы наробылы?

Черт, связались еще с этой женщиной. Раскричалась, будто ее ограбили. Но Катя, не обращая внимания на перепалку, приказывает:

— Вот и натягивай. Тепло и мягко будет. На морозе спасибо скажешь.

В рукаве ноге действительно становится тепло и мягко, немного, правда, неудобно, но не беда. Главное — тепло. К боли я уже притерпелся.

Мы выносим человека на улицу, где нас ждут, и Сахно подходит к Кате.

— Все?

— Все.

Капитан еще раз окидывает бойцов продолжительным молчаливым взглядом (наверное, считает) и, ничего не сказав, идет в хату. Когда шаги его стихают на снегу, Катя опускает раненого на снег.

— Гад!

Я не спрашиваю — я уже знаю, про кого она это, и молчу. Теперь, конечно, он пошел проверять, не остался ли кто-нибудь в хате. Нам он не верит. Ну и как раз кстати, там расплачется эта женщина, поднимет скандал. И действительно, вернувшись, Сахно строго объявляет:

— Вот что! Без моего разрешения в хаты не заходить! Каждый отвечает за себя и за соседа также. Раненых не покидать, чтобы там ни угрожало. Населению излишне не доверять. Половина из них националисты — немцев ожидают.

— Неужто? — с иронией говорит кто-то сзади.

Сахно оставляет реплику без ответа.

— Если в случае припечет, живыми не сдаваться. Ясно? Оружие есть? У кого нет — я помогу. Слабонервным тоже. Вопросы будут?

— Ясно. Не на лекции. Быстрее надо, — говорит танкист.

— Это не лекция! — мрачно объявляет Сахно. — Это приказ, и я требую его исполнения.

24

Мы долго бредем притихшей ночной улицей, пока выходим из села. Настает утро. Небо окончательно растворяет в себе предрассветную синеву и яснее. Из серых сумерек проступает пестрота сельской околицы. Возле моста через ручей стоит покосившийся, с открытыми люками танк, подбитый или брошенный — не разберешь. Поодаль, остро воняя разлитым на снегу бензином, валяются два мотоцикла с колясками. Еще дальше на обочине — конский труп с вмятой в снег гривой. У дороги несколько зияющих чернотой воронок — значит, и тут бомбили. За околицей начинается поле, большое село кончилось. На столбе указатель с готической надписью «Gruskoe».

Вместе с танкистом и Катей я несу Юрку. Он тихо качается на треугольной немецкой палатке и даже не стонет. Мне кажется, что он просто утомился и спит. Впрочем, хочется, чтобы было так.

Дорога за селом круто заворачивает по склону вверх. Намотав на руку парусиновый угол палатки, я устало ковыляю по снегу. С другой стороны плетется танкист — черный, как грач, чубатый парень в промазученной телогрейке. На его голове добротный, подбитый мехом танковый шлем с ларингофоном, провод от которого болтается на плече. Дорога на подъеме разогрела танкиста, и он то и дело сдвигает шлем на затылок. А у меня уже, кажется, ооченела голова. Катя придерживает палатку сзади. Двое разведчиков впереди волокут автоматчика. Позади всех, согнувшись едва ли не до земли, несет на себе беспомощного летчика немец. Это его заставил Сахно. Впрочем, иначе и не понесешь — некому. И летчик, видно, поняв что-то, уже не требует, как прежде, убить немца. Один только капитан налегке шагает сбоку. Но он тоже ранен, и к тому же — начальство.

Наконец, выбравшись по косогору на степной простор, небольшая наша группа останавливается. Не сговариваясь, мы кладем раненых на снег и сами падаем рядом. Сахно немного медлит, но соглашается:

— Пять минут!

Мой напарник-танкист, широко расставив в колее свои «кирзачи», с легкой завистью говорит про него:

— Строгий!

— Дурной, а не строгий, — поправляет Катя. Лежа на боку, она заботливо укутывает Юрку полушубком. Юрка часто дышит.

Танкист поворачивает к ней голову:

— Ну почему? Не знаю, как кто, а я люблю строгих. С ними в бою уверенней.

— Неделю ты, видно, в бою пробыл,— замечает Катя.

Танкист снова поднимает разгоряченное лицо. Взгляд его темнеет:

— Да уж больше тебя. Из-под самого Курска газую.

Катя иронически хмыкает:

— Из-под Курска! Вояка! Ты бы в сорок первом погазовал. Или в сорок втором. А теперь что газовать!..

— Ты уж с сорок первого!

— Вот именно! С августа сорок первого. Насмотрелась таких вас... Строгих и ласковых.

— Оно и видно! — замечает танкист и одним глазом подмигивает мне.

Я не разделяю его иронии: Катя в моих глазах уже прочно утвердила свои человеческие достоинства, которые не может унижить ничто из того, что он имеет в виду.

Впрочем, мне не до разговоров. Мокрая, в поту спина начинает мерзнуть, а в груди по-прежнему все горит от усталости. Опять же — нога. В стопе будто дергает кто-то за нерв, нога на снегу сама собой заметно подрагивает. Боли я, однако, не чувствую, холода тоже. Нога постепенно становится чужой.

Проходит значительно больше пяти минут. Ребята устало сопят, развалившись на снегу. Я поглядываю вперед, где сидят двое разведчиков. Может, это подло — желать смерти товарища, но иначе мы тут, видно, засядем. Однако там, кажется, что-то происходит. Один разведчик копошится над беднягой и вскоре зовет Катю:

— Эй, сестра! Глянь-ка сюда...

Катя устало приподнимается и идет к разведчикам. К ним же подходит Сахно. Они там еще что-то возятся, но и без того ясно: автоматчик скончался.

Но что это время от времени гудит? Будто где-то невдалеке прогазует и стихнет мотор. В селе или дальше? Очевидно, в степи. Я всматриваюсь в кривизну сельских улиц, но ничего подозрительного там не видно. Правда, дальний конец села скрывается за поворотом балки. Не подходят ли уж туда немцы? Я напрягаю слух, только гул вскоре гложет. Или это мне кажется так?

Тем временем над селом, над широкой балкой и степью в утренней морозной дымке всходит солнце. Какое-то оно сегодня удивительно большое и красное. Просто непривычно видеть такой его ярко-багровый шар, который выкатывается из-за горизонта и не спеша движется вверх. Что-то недоброе чудится в этом сегодняшнем восходе...

Стараясь подавить в себе тревогу, я поглядываю на Юрку. Он в забытьи, и, если бы не редкие тихие стоны, можно было бы подумать, что неживой. Танкист спокойно хрупает снег, будто вокруг ничего особенно не происходит. Я же прислушиваюсь к голосам тех, кто возле автоматчика, и понимаю: Сахно приказывает нести покойника дальше. Разведчики отказываются, Катя молчит. Конечно, негоже покидать его на дороге, но и мы не железные. Я встаю и, больше чем до сих пор нахрамывая, подхожу к капитану. Сахно, откинув полу полушубка, засовывает в карман документы умершего.

— Надо о живых больше думать!

Капитан поворачивается ко мне:

— Что вы имеете в виду?

— То, что слышали. Пусть бойцы берут младшего лейтенанта.

— Вашего дружка?

— Дружка, ну и что ж? Или того,— киваю я в сторону летчика, который молча лежит возле немца.

— Что, немца жалко?

— Не жалко. А гадко.

— Ах, гадко! А я думал, жалко. Сочувствие, так сказать,— сжав квадратные челюсти, цедит Сахно. И вдруг приказывает разведчикам: — Взять труп!

Потные и усталые разведчики переступают с ноги на ногу. Перепачканные их халаты подпоясаны кожаными немецкими ремнями. И у одного из них возле пряжки я вижу знакомые гранаты. Так и есть: на одной чем-то острым выцарапано «М. Коваль». Я не могу сдержать своего удивления и делаю шаг к разведчику.

— Слушай, ты где их взял?

Вместо ответа разведчик почему-то дергает головой, клонится, клонится на меня и вдруг всем телом грузно валится на дорогу. В следующее мгновение я также падаю. В воздухе над головами проносятся пули: жви-у, жви-у, жви-у... Немцы?

Ну, конечно, мы проворонили — в селе немцы! Четыре или пять автомашин или транспортеров (а может, и танков) двигаются по улице, и с передней в нашу сторону сверкают блеклые поуэру трассеры.

Поняв все, я рывком кидаюсь к Юрке. Рядом вскакивает танкист. Сразу же к нам подбегает Катя. Танкист оглядывается и матерится.

— Гад, с ума сошел, что ли? Наверное, свой...

— Свой! Нашел свояка! Держи палатку! — кричит Катя.

— Бегом! Бегом! — торопит издали Сахно.

Мы втроем неловко хватаем Юрку, но тело его тут же соскальзывает с узкой палатки наземь. Новая очередь брызжет нам в лица снегом. Чтобы прикрыться от пуль, я резко толкаю друга в колею, где глубже, и валюсь туда сам. Когда очередь минует, подхватываю Юрку под мышки. Сзади тоже из колеи поднимается танкист. Ругаясь, он помогает. Над головами снова стремительно проносится огневая струя, но мимо. Кажется, мы целы. «Быстрее!» Больше я не оглядываюсь, все мое внимание устремляется только вперед. Сахно и разведчик, пригнувшись, уже далеко впереди бегут по дороге. За ними — немец с летчиком на спине. Второй разведчик лежит между колеями, рядом с трупом автоматчика. Конечно, те их бросили, но и нам некогда задерживаться — быстрее! Хотя бы шагов сто за пригорок — там бы мы укрылись.

Пули то взбивают снег под ногами, то проносятся в воздухе рядом. Ветер обдаёт нас снежной пылью. Мы вскакиваем и сразу же падаем, но изо всех сил волочим Юрку. Наконец, в который уже раз распластавшись в колеях, видим — скрылись. Село остается за пригорком, пули идут верхом. Тогда мы поднимаемся. Юрку у меня забирает танкист, который за воротник сильно тянет его за собой. Я плетусь последним и жду: вот-вот загрохочут моторы.

Ах, черт, если бы гранаты! Как теперь нужны нам гранаты! И я ругаю себя, что не взял их у разведчика. Только как было взять?..

Впереди снежная гладь, по которой пролегает дорога. Дальше два ряда столбов, какая-то постройка — кажется, там железная дорога. Туда бредут Сахно и разведчик. Разведчик останавливается и, подождав, начинает помогать немцу Юрка в надежных руках танкиста и Кати. А я уже не могу. Я достаю из-за спины карабин и ложусь в колею.

Умереть, что ли? Пожалуй, это было бы блаженством — так вот тихо закрыть глаза и умереть. Только, знаю, такая смерть — роскошь.

В магазине у меня четыре патрона. Я перезаряжаю карабин и начинаю ждать. Колея подо мной мелкая и широкая. Грубые следы «студебеккера» ползатерты Юркиным телом. Комья снега. Следы. Лошадиный помет. Если хорошо прицелиться — я могу подстрелить пару фрицев. На большее рассчитывать трудно. Но и для этого надо отдышаться, успокоиться.

Но немцы нигде не показываются. И из-за пригорка не слышно ничего. Что-то уж больно они медлят. А может, им наплевать на нас? Может, повернули на другую дорогу?

Я оглядываюсь. Танкист с Катей несут Юрку. Остальные уже возле постройки. Похоже, там переезд. Как-никак укрытие. А значит, и жизнь.

Возможно, и я успею?! Немцев все нет. Тогда я вскакиваю и, сильно хромая, быстро иду по дороге. Карабин в который раз служит мне костылем.

Хоть бы успеть!

25

Я пересекаю шоссе, которое по эту сторону бежит рядом с железной дорогой, и подхожу к переезду. Но это не переезд, а скорее будка обходчика — кирпичное строение, сарайчик, штабель шпал и несколько присыпанных снегом рельсов на невысокой подставке.

Ребята лежат в снегу за редким, поломанным штакетником. Сквозь его щели торчат на дороге два автоматных ствола. Ждут. И ругаются. Впрочем, ругается один Сахно:

— Какое вы имели право? Я вас спрашиваю?

Его сосед — разведчик, ворочаясь в снегу, оправдывается:

— Так ведь убит! Что я слепой, что ли? Прямо в голову пуля.

Доковыляв до хлопцев, я боком падаю возле танкиста и просовываю в дырку свой карабин. Впереди никого нет. Видно, в самом деле плевали на нас немцы. Напугали, убили одного, тем и ограничились.

— Василевич! — зовет меня Сахно.

— Я!

— Вы убитого видели?

— Ну, видел. А что?

— А вы уверены: он убит, а не ранен?

— Я не смотрел. Вы же там стояли. Могли поинтересоваться.

Сахно минуту молчит, размышляя. Потом решительно встает на колени.

— Вот что! — объявляет он и поворачивается к разведчику. — Сейчас же пойдете и посмотрите еще раз. Поняли?

Разведчик тоже встает.

— А зачем?

— Чтобы я точно знал, что он убит! — кричит вдруг Сахно. — Вы понимаете или нет? Или вам это нужно пистолетом внушить? Ну!

Он размахивает пистолетом, и я не завидую парню. Уставившись в лицо капитану, видно, понимает это и разведчик. Немного помедлив, он зло плюет в снег и ни на кого не взглянув, идет на дорогу.

— Сопляки! Разгильдяи! — бушует Сахно. — Я вам покажу, как надо приказы выполнять!

Накричавшись, Сахно стискивает, словно замыкает, свои челюсти и ложится в снег. Мы смотрим на дорогу. Разведчик быстро идет с автоматом под мышкой. Справа, где-то совсем близко, Кировоград. В небе над ним расплываются дымы. От близкой канонады под нами мелко дрожит земля. Но в какой стороне передний край — не понять: кажется, грохочет повсюду. Невысоко, обрушив на землю круто замешанный гул, проносится стая ИЛов — пошли на штурмовку. На небосклоне бледным пятном сквозь реденькую дымку блестит холодное солнце.

На дороге по-прежнему пусто.

Я начинаю мерзнуть. И голова и нога. В овчинный рукав набилось снега, там мокро.

— Младшой! А младшой! Друг зовет,— слышится сзади. Я оборачиваюсь — возле угла будки стоит Катя. Я вскакиваю.

— На минуту,— говорю я Сахно и ковьялю за угол.

В будке полумрак. Выбитые окна завешаны одеждой. На полу слезавшаяся солома. (Пожалуй, за эти сутки заходим сюда не мы первые.) Но тут тепло. Меня встречает пожилой, сгорбленный человек в черной телогрейке. В углу на соломе уныло сидит немец. Рядом на какой-то дерюжке дрожит в грязных бинтах летчик. Немец прикрывает его шинелью. Ближе к окну тихо лежит мой Юрка.

— Сядь,— едва слышно говорит Юрка. Я опускаюсь подле него на солому и молчу.

— Тебя там не ранило? — тихо спрашивает он.

— Нет, Юра. Обошлось. А ты слышал? — спрашиваю я, затаив дыхание. Неужели он все слышал, что делалось на дороге?

— Я понимаю,— имея в виду что-то свое, говорит Юрка.— С нами возни!.. Самим столько горя! Но знаешь... Не оставляй. Очень прошу. Я-то черт с ним... Но мать... Ты же знаешь.

— Юр! Ну что ты! — Я чувствую свою неискренность. Я ведь еще не знаю, куда мы подадимся, как выберемся из этой западни. Сумеет ли вынести его живым? И все же с внезапной уверенностью говорю: — И не думай даже: не оставим!

Юрка вглядывается в потолок и вздрагивает.

— Знобит, холера. А вообще сегодня мне лучше. Я теперь чувствую: выживу. Вчера, признаться, думал хана.— Он извиняюще улыбается уголками губ и снова становится печально-серьезным.— Выбраться бы только.

— Выберемся, Юрка. Тут уже недалеко. Вот немец поможет. Еще есть двое здоровых. Не беспокойся.

Я поглядываю на Катю, которая стоит сзади, и вдруг вижу кого-то на полу в другом углу. Покрытый шинелью, он лежит в тени. Только ноги в немецких, аккуратно подкованных сапогах вытянулись к порогу.

— Кто это?

— Немец, кто же еще,— говорит Катя.

— Немец, сынок, немец,— подтверждает старик — видно, хозяин этого домика. Разбитой походкой он шаркает от порога и садится на край топчана. Потом в раздумье снимает шапку. На белой голове топорщатся спутанные поседевшие космы.

— Откуда немец?

— Да тут вчера... Помирал на дороге. Ну, подобрал.

Я встаю, отворачиваю край шинели. На окровавленной соломе — пожелтевшее, молодое еще лицо. Полураскрытые неподвижные глаза. Худая кадыкастая шея. На погонах по офицерскому знаку. Обер-лейтенант вермахта.

— Всю ночь бился. И плакал, как дитя. Нелегко отходил, не дай бог. Теперь уже что?.. Теперь царство небесное.

— Ты что: у немцев служил? — спрашивает Катя.

Человек поднимает глаза и снизу вверх глядит на нее с упреком.

— Почему так говоришь, дочка?

— Больно уж жалостливый.

— Ну и пусть жалостливый. А немцам я не служил. Я работал. Двадцать лет в этих местах работал на железной дороге,— обиженно говорит он.— Себя кормил. Невестку с детьми да еще ваших двоих в сорок первом выхаживал. Пока раны затянулись. Что же, сам солдатом был. Знаю.

— А этот? — киваю я на немца под шинелью.

— А что этот? Когда умирал — бога вспоминать стал. Гота, по-ихнему. Перед кончиной-то? Смерть она всех уравнивает. Теперь он человек просто. Покойник.

— Очеловечишь его! — говорит Катя. — Мало ты, наверно, повидал их!

— Да уж сколько пришлось, — говорит старик и облокачивается на колени. Потрескавшиеся его руки сцепляются в узел.

Мне кажется, что у немца на ремне оружие. Нагнувшись, я дергаю за язычок кобуры — действительно, там маленький вороненый пистолет. На боку надпись какой-то бельгийской фирмы. Удивительно удобная рукоятка словно вливается в ладонь. Что же, оружие пригодится. Тем более что магазин полон патронов. Ударом ладони я загоняю магазин в рукоятку и ловлю на себе взгляд Юрки.

— У тебя есть? Нету? На, возьми. Пусть будет.

Юрка ослабевшей рукой берет пистолет. Но в его глазах уже нет и капельки интереса, обычного в таких случаях. Я уже заметил, что за время ранения во взгляде его появилось что-то новое, неведомое мне прежде. Какая-то отчужденная настороженность все настойчивее овладевает им, делая почти неузнаваемым такого знакомого и привычного мне Юрку. Единство меж нами нарушается, бессловесная связь исчезает. И я молчу. Молчит, переобуваясь на полу, Катя. Молчит старик на скамейке. И вдруг под окнами раздается голос Сахно:

— Василевич!

Немцы? Я бросаюсь к двери и на пороге сталкиваюсь с капитаном. Едва не сбив меня с ног, он хватается за карабин.

— Дай сюда! — И бежит за угол к штакетнику.

Я выскакиваю из-за угла. После сумерек слепит снежная яркость, однако мне кажется, будто по полю кто-то идет. Далеко и вроде один. Сахно быстро перезаряжает карабин и, приткнув его к штакетнику, целится. Вскоре раздается выстрел.

— Что такое? — спрашиваю я танкиста.

Тот оглядывается, однако во взгляде его нет тревоги. Парень кивает в степь:

— Да вон тот драпанул.

Разведчик? Ну так и есть. Далеко, под самым пригорком, шевелится одинокая белая фигура. Видно, порядком отойдя от нас, он свернул с дороги и теперь напрямик шпарит куда-то по снежной целине. Но куда же он направляется? Если к немцам, то не надо было сворачивать с дороги, немцы ведь так близко в селе. Сахно стреляет опять.

— Стойте! — кричу я. — Что вы делаете?!

Капитан, не слушая, стреляет еще, только все же далеко и попасть трудно. Разведчик, наверное услышав его выстрелы, останавливается и раза два взмахивает над головой: мол, черта с два вы меня достанете!

— Что вы делаете? Разве он к немцам?

Сахно, как затравленный волк, оглядывается и вскакивает на ноги.

— А вы замолчите! Замолчите! — кричит он. — Вы разгильдяй! Вас в штрафную надо. Вы разлагаете дисциплину. Я в трибунал вас передам!..

Напугал! Трибунал! Дурень ты, хочется мне сказать, но я знаю — теперь с ним лучше не связываться. Я наклоняюсь за карабином, который он одной рукой бросил мне под ноги, и отхожу. Сахно торопливо идет к помещению. На углу встречается с Катей. За ней ковыляет старик. Катя встревожена:

— Что за пальба?

Не отвечая, капитан вскидывает подбородок.

— А ну, собирайте манатки. Марш отсюда!

— Куда марш? Кругом немцы,— спокойно говорит Катя.

— Туда! Вперед! К своим! — Он машет рукой в направлении поля. Девушка вздыхает и отворачивается. К Сахно, кутаясь в телогрейку, подходит старик.

— Там мины, сынок. Недавно немцы раскладывали. Сам видел, тут аккуратно грузовики стояли. А они по полю разносили.

Катя застегивает полушубок. Танкист, подойдя сзади, сдвигает на затылок свой шлем и прислушивается к разговору. Сахно пронизывающе смотрит на старика.

— Где край минного поля? Где обход? Будешь показывать! — приказывает Сахно.

Старик разводит руками.

— А разве я знаю? Сперва так видел, а потом они меня в город отвезли. Сколько они тут разбросали — леший их знает.

Наступает тягостная пауза. Слышнее становится самолетный гул. Несколько воробьев слетает с крыши на снег и проворно суетится у наших ног. Сахно оглядывает окрестность.

— Так,— решает он.— Раненых оставить. Немца шлепнуть. Хотя нет! Немец пойдет с нами.

Подавшись вперед, я останавливаюсь перед капитаном.

— Младшего лейтенанта также возьмем!

Мой голос дрожит. На этот раз я ему не уступлю. И Сахно, кажется, понимает это.

— Только при условии, что сам его понесешь.

— Помогут. Они помогут,— говорю я и умоляюще гляжу на Катю. Та, однако, направляет свой взгляд в поле. Тогда я поворачиваюсь к танкисту:

— Друг, ты же pomoжешь?

Танкист недовольно хмыкает:

— А я что — лошадь?

Я едва сдерживаю слезы. Сволочи оба! И Катя тоже. А я надеялся!.. Конечно, своя рубашка ближе к телу. Трусы проклятые! Ну, да черт с вами! Еще поглядим — кто выиграет.

Надо было бы им что-то сказать. Но я не нахожу слов и бросаюсь к крыльцу.

Дверь за собой я не закрываю — теперь мне плевать на все в целом мире. Юрка с усилием поднимает запавшие веки.

— Юр, ну как ты?

— Так, ничего,— тихо, пересиливая стон, говорит он и спрашивает: — Почему выстрелы были?

Я не отвечаю.

— Юра, ты можешь? Берись как-нибудь, а?

С внезапной тревогой в глазах он послушно протягивает ко мне руки. Я поворачиваюсь боком, чтобы подставить ему плечи. В это время в помещении неслышно входит Катя. Рядом на полу я вижу ее валенки.

— Ну как раз! Только тебе и нести! — Она злится, и от этого ее тона что-то во мне расслабляется. Катя оглядывается: — Эй, фриц, а ну подоби!

— Яволь. Айн момент!

Немец с готовностью вскакивает. Я слышу, как стучат по полу его подкованные сапоги. С помощью Кати он снимает с моих плеч довольно-таки тяжелое Юркино тело. Палатки на этот раз нет, и они берут Юрку за воротник и полы полушубка. И тогда на полу спохватывается летчик.

— А я? А меня? Бросаете? Завели в окружение и бросаете? Сволочи вы! Пехота! — дико кричит он, размахивая в воздухе руками-култышка-

ми. И вдруг истерически всхлипывает: — Братцы! Что же вы делаете! Спасите! Я же командующего возил. Я его личным шофером был. Он из вас души повытрясает! Вы слышите! Сволочи! Я не прощу!

— Ах вот что! — приостанавливаясь, говорит Катя. — Вот ты какой летчик!..

— Я не летчик! Я личный шофер командующего. Поняли? Вы меня не оставите. У меня военная тайна. Я тайну имею!

В растерянности я не знаю, что делать. Противно и одновременно странно слышать все это. Но он такой здоровенный — нам его не поднять. Впрочем, может, поднимет танкист? Надо бы перенести его отсюда куда-нибудь в более подходящее место.

Мы выносим Юрку на крыльцо, и я кричу танкисту, который вместе с Сахно стоит на дворе. Оказывается, они тут все слышали.

— Эй, слышишь? Возьми!

Танкист без слов закидывает за плечо автомат, но Сахно грубо отстраняет его:

— Стой! Я сам... — И решительно протискивается мимо нас в хату.

Сгибаясь, мы выносим Юрку во двор и удобнее берем снова втроем: я, немец и Катя. В помещении недолго слышится ругань, и вдруг раздается выстрел.

Танкист бросается к двери и сталкивается там с Сахно. Капитан с окаменевшим лицом на ходу запикивает в кобуру ТТ.

— Вот так будет с каждым! — объявляет он и, заметив наши неодобрительные взгляды, кричит: — С каждым паникером и нытиком! У меня не дрогнет рука! Ясно?

Холодным ветром повеяло в душу — такого мы не ожидали. И все ясно чувствуем: это не пустые угрозы. Решимости у него хватит.

Сахно выходит со двора.

— Ну! Шире шаг!

Подавленные и умолкшие, мы быстро идем по дороге в поле. Сзади в воротцах остается старик. Он молча и долго смотрит нам в спины.

В милиции нас, видно, не ждут. Пока мы по одному пролезаем через узкую дверь, за столом в комнате доигрывается партия в шахматы. Играют младший лейтенант в серебряных погонах, который сидит за столом, и миллионер, стоящий сбоку. При нас они поочередно делают несколько торопливых ходов. Но до мата, пожалуй, далеко, и милиционер осторожно убирает со стола доску. Младший лейтенант встает и, хмуря светлые бровки, окидывает нас взглядом, в котором начальническая придирчивость борется с обычным юношеским любопытством.

— Сюда! Сюда! Не толпитесь у двери.

— Не убежим! — говорит парень в черном.

Выдерживая определенную дистанцию во взаимоотношениях, офицер сухо бросает:

— Охотно верю.

Он совсем еще молод, видно недавний выпускник милицейского училища, но деланной строгости на его лице предостаточно. Старшина, привелший нас, становится у двери. Мы все выстраиваемся в ряд, в трех шагах от единственного тут стола, и младший лейтенант опускается на стул.

— Ну, в чем дело? Кто объяснит?

Горбатюк подходит к столу.

— Они оскорбили меня. Кроме того, планки...

— Вас мы уже слышали,— довольно решительно перебивает его офицер и кивает на меня:— Говорите вы!

— Что говорить? Планок у него не было. Я их не видел.

Младший лейтенант бросает беглые взгляды на остальных и оставливается глазами на Игоре.

— А вы что скажете?

— Я присоединяюсь к товарищу. К сожалению, не знаю фамилии.

— Так. Значит, не признаетесь. Тогда будем писать.

Он разворачивает на столе канцелярскую книгу. Из кармана кителя достает авторучку.

— Та-ак! Пишем. По порядку. Вас первым. Фамилия, имя, отчество?

— Василевич Леонид Иванович.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот двадцать четвертый.

Ручка его почему-то не хочет писать, царапает бумагу, и младший лейтенант стряхивает ее в сторону. На красной скатерти, заляпанной чернилами, появляется новая клякса.

— Ч-черт! Дальше?

— Ковалев Игорь Петрович. Тысяча девятьсот тридцать четвертый.

— Так. Дальше.

— Теслюк Виктор Семенович, тридцать восьмого.

Ручка у офицера снова царапает, и он, повернувшись, резко стряхивает ее в этот раз над полом.

— Теслюк. Дальше?

— Фогель Эрна Дмитриевна. Тысяча девятьсот сорок второго.

Младший лейтенант поднимает лицо.

— А вы что — свидетель?

— Она ни при чем,— объявляет Горбатюк и с мрачным выражением закладывает руки за спину.

— Нет. Я при чем. Пишите и меня.

Офицер с недоверием спрашивает Горбатюка:

— Она, значит, не оскорбляла вас?

— Нет. Она нет.

Младший лейтенант колеблется, и Эрна с внезапной решимостью на лице подскакивает к столу:

— Пишите, пишите! Я еще оскорблю.

— Фогель?..— с удивлением спрашивает младший лейтенант.

— Фогель Эрна Дмитриевна. Тысяча девятьсот сорок второго года рождения. Так? Записали? А теперь я скажу.— Повернувшись от стола на тонких каблучках, она оказывается лицом к лицу с Горбатюком.— Вы подлец! Слышали? Подлец и провокатор! Поняли?

Игорь, шагнув к девушке, хватает ее за руку.

— Эрна!

— Эрна! Брось ты! — с другой стороны подскакивает к ней Теслюк.

— А я не боюсь,— кричит Эрна.— Ваше счастье, что их у вас не было. Я бы их сама сорвала. Вы их недостойны.

— Вы слышите? Вы слышите, товарищ младший лейтенант? Я прошу записать.

Младший лейтенант вскакивает из-за стола и становится перед девушкой.

— Замолчите!

Эрна умолкает, все еще дрожа от возбуждения. Горбатюк тычет в ее сторону пальцем и кричит офицеру:

— Вы видели? Она пьяна! Они все пьяные! Прошу записать!

— А ну, ведите себя пристойно. Тут не ресторан,— строго приказывает младший лейтенант.

Эрна постепенно успокаивается. Я изо всех сил стараюсь сдержаться, чтобы выглядеть спокойным. Хотя — чувствую — моей выдержки хватит ненадолго.

Хмура редкие брови, младший лейтенант заходит за стол. У порога стоит милиционер. Горбатюк оживляется.

— Вот видите! Вот видите! Ведь это прямые выпады! Да! Да! Правительственные награды есть акт Советского правительства. А она что сказала? Попрошу все записать. Я эти награды заслужил в боях!

— Безусловно! — нарушает напряженное молчание офицер. — Никто не дал права оскорблять то, что заслужено на фронтах Великой Отечественной войны.

С окаменелостью, которая вовсе не идет к его молодому лицу, он садится. Еще раз бросив осуждающий взгляд на Эрну, сильно встряхивает ручку.

— Ну, не все, что блестит на груди, в бою заслужено, — говорит в тишине Теслюк. Этот парень все время держится как-то удивительно ровно и спокойно. На его полных, симпатичных губах, кажется, постоянно блуждает добродушная улыбка. Будто все, что тут происходит, его ни капельки не касается.

Младший лейтенант замирает с занесенной над бумагой ручкой.

— Вы не мудрите мне тут.

— А я не мудрю, — во все свое кругловатое лицо улыбается парень. — У меня дядя — отцов брат — подполковник в отставке. Всю войну просидел в тылу, в военном училище. Фронта и не нюхал, а уволился — четыре ордена.

Младший лейтенант недоверчиво хмыкает:

— Расскажите это кому-нибудь другому.

— Вполне вероятно, — говорю я. — Может и так быть.

— Бувае, — поддерживает меня старшина. Он прислоняется к стене и достает портсигар.

— Факт! — говорит Теслюк. — За выслугу лет и безупречную службу.

Горбатюк круто поворачивается к старшине.

— Это не ваше дело. Если командование считает, что у вашего дяди должны быть ордена, то справедливо.

— Вы за высокие слова не прячьтесь! — говорит Игорь.

Я наседаю дальше:

— А когда сажали в тридцать седьмом, вы тоже считали это справедливым?

— А это не нашего ума дело! — трясет головой Горбатюк и сам начинает дрожать. — Такая была линия. Что в ней не так — партия поправила.

За столом снова вскакивает младший лейтенант.

— Прекратить эти разговоры! Прекратить сейчас же!

Он раскраснелся и волнуется. Я также волнуюсь. И все же жалко, что нам не дают тут скрестить шпаги как следует. Я бы его вывел на чистую воду.

— Товарищ младший лейтенант! Я попрошу это записать в протокол! — Горбатюк тычет пальцем в бумагу. Красное, вспотевшее его лицо пышет возмущением.

— Запишем! А как же? Это так не пройдет! — с угрозой говорит младший лейтенант и начинает торопливо излагать на бумаге нашу стычку. В конце каждой строки он стряхивает ручку. Горбатюк с мстительной важностью поджимает губы. Похоже, что он победил.

— Сволочь ты, Горбатюк! — говорю я.

— Гад! — поддерживает меня Игорь. Его глаза также полны ненависти к этому человеку.

Горбатук хочет что-то ответить, но сзади через широко открытую дверь в комнату входят двое. Оба офицеры милиции.

— Э! Что за грубость? Молодые люди! По какому поводу?

Лейтенант за столом вскакивает и отдает честь.

— Товарищ капитан!..

— Так, что случилось? — миролюбиво спрашивает капитан и снимает фуражку. Потом, приглаживая редкие волосы, поворачивается ко мне: — По какому праву вы обругали этого гражданина?

— По праву фронтовика! — говорю я слишком твердо и, возможно, слишком возбужденно.

Но благодушно настроенный капитан на мой ответ никак не реагирует. Он переводит взгляд на Игоря.

— А вы, молодой человек, по какому праву? Вы то уж, пожалуй, не фронтовик?

Серые глаза Игоря становятся жесткими, тугие скулы выпирают еще больше.

— По праву сына фронтовика.

Капитан сцепляет на животе пальцы и поворачивается к Горбатуку.

— Ну да ведь и вы, наверно, фронтовик?

Горбатук подбирается всей своей довольно осевшей фигурой.

— Так точно. Гвардии майор запаса.

— Ай-яй-яй! — притворно сожалеет капитан. — Товарищи фронтовики! В День Победы и такие оскорбления! Как вам не стыдно! Что у вас такое случилось? А ну, Семенов, дай-ка протокол.

Младший лейтенант подает лист бумаги и поясняет:

— Политические выпады, товарищ капитан.

— Так, так, так... Так, — приговаривает капитан и быстро пробегает глазами по строкам протокола. — Так! Гм! Да глупости это все! Чепуха! Глупая ссора. Курам на смех...

Младший лейтенант хмурится и смущенно краснеет.

— И такими пустяками вы морочите мне голову? — наконец спрашивает у него капитан. — Пустячное дело. Согласен, Семенов?

— Так точно. Я думал...

Поскрипывая новыми сапогами, капитан подходит к нам.

— Ну что ж вы как дети? Ай-яй-яй! Фронтовики! Стоит ли сводить старые счеты? Да в такой день? Мало ли что, может, и было в войну. Так стоит ли вспоминать? Столько лет! Миритесь и — с богом. Даже протокола писать не будем.

— Нет! Пишите. Раз мы тут оказались, то все пишите, — говорю я. Меня поддерживает Игорь:

— У нас не ссора. Мы принципиально.

Капитан подходит к нему и останавливается.

— Бросьте вы! Какие там принципы! Ну, выпили и поспорили. Завтра проспите — самим стыдно будет.

— Мы не пьяные.

— Ну, тогда просто вы злые. Молодые и злые... Ай-яй...

— Мы не злые! — говорит Эрна. — Мы за справедливость!

— Справедливость? Это похвально. Почему же тогда вы оскорбили этого гражданина? Он же вам в отцы годится.

— Не обо мне разговор! — отзывается от порога Горбатук. — Я докладывал и просил записать: они допустили выпады против органов.

Капитан умолкает и, осторожно шагая блестящими сапогами, направляется к Горбатьюку.

— Каких именно органов?

— Органов! — твердо произносит Горбатьюк. — Вы понимаете каких.

— Враки, — говорю я. — Этого не было.

Капитан останавливается посреди комнаты. Губы его строго поджимаются.

— Нет, было! — горячится Горбатьюк. — Я не могу тут при всех повторить, что он говорил в ресторане. Но я напишу. Если вы не примете соответствующих мер, я напишу куда следует.

Капитан делается строгим:

— Свидетели есть?

— Я свидетель! Я человек особого доверия. Этого достаточно.

— Вы ошибаетесь, гражданин. Этого недостаточно. Не те времена. Ага! Черта с два он нас съест. Подавится. Он только играет на нервах. Из какой только щели он выполз? Прилив гнева и решимости подхватывает меня из ряда и толкает к злему, раскрасневшемуся Горбатьюку.

— Слышал? Не те времена! Ты немного опоздал!

Я едва владею собой. Сзади кричит младший лейтенант:

— Гражданин! Прекратите! Сейчас же отойдите на место!

Горбатьюк подсакивает ко мне.

— Возможно! Твое счастье. Я опоздал! А то бы я сломал тебе хребет!

Мои кулаки становятся вдруг тяжелыми. В глазах туман, и в этом тумане не Горбатьюк — Сахно. Сзади требовательный, суровый окрик, которого я уже не слушаю. Кто-то подсакивает сбоку, чтоб схватить меня за руку, но я опережаю и, подавшись всем корпусом, бью его в челюсть.

Дальше — крик, визг. Горбатьюк бросается на меня. Не его уже хватают. Меня схватили за руки раньше. Возле плеча нахмуренное лицо старшины. Я не вырываюсь. Я его больше не ударю. Это один раз. И — странно — мне становится легче. Я быстро успокаиваюсь. Рядом слышу одобрительное «правильно». Это Эрна.

А он еще рвется из милицейских рук. Но напрасно. Хлопцы держат крепко.

— Это безобразие! Дайте мне начальника отделения! Я буду жаловаться!

Молодежь возле стенки оживляется:

— Сколько влезет!

Горбатьюка сажают в угол на табуретку. Его держит молодой милиционер. Капитан строго обращается к молодежи:

— А ну, марш отсюда!

И ко мне:

— А вы останьтесь. Мы вас оформим.

Хлопцы и Эрна нерешительно топчутся у стены. Капитан повышает голос:

— Вам ясно или нет? Освобождайте мне помещение! Живо!

На его лице исчезает и след недавнего благодушия. Теперь это лицо не обещает добра. Но это уже касается только меня.

— Ладно, счастливо, — говорю я ребятам.

Игорь первый делает шаг в мою сторону.

— Давайте вашу руку. — Он молча и твердо жмет мне пальцы и отходит.

Эрна, улыбаясь, подает мягкую теплую ладошку.

— Не бойтесь!

— Пустяки! Я не боюсь. Счастливы вам!

С заметным облегчением они пропускают девушку и закрывают за собой дверь. В комнате сразу становится просторно. За стол садится капитан. Сосредоточенно прикуривает от зажигалки. Подвигает к себе бумагу.

— Ну, фронтовички! Подали пример молодежи! Очень красиво! Что ж, теперь я разберусь с вами.

27

«Міенен» — предупреждает надпись на доске, прибитой к палке, что торчит на краю дороги. Надпись не сняли — значит, наших тут еще не ждали, мы первые. Это, конечно, добра не сулит. Но танковые части все же где-то прошли. Об этом свидетельствует грохот боя, который слышится недалеко, впереди. Где-то в той стороне низко над горизонтом вьется карусель Илов — это штурмуют немцев. Слева далеко за балкой видны длинные строения пригородного совхоза. Под их стенами стоят машины и повозки. Понятное дело — там немцы.

Мы останавливаемся, кладем на снег Юрку. Сахно выдергивает из снега палку, отрывает от нее доску, которую швыряет в снег. Затем с палкой поворачивается к своей притихшей четверке.

— Так... Пойдем через минное поле! — объявляет он и по очереди, будто испытывая, исподлобья оглядывает нас.

Катя вскидывает голову:

— Вы что? Вы в своем уме?

— Не ваше дело. Я с вами не шучу. Я приказываю! — уставившись на дорогу, мрачно объявляет Сахно.— Впрочем, если кто не согласен, говорите сразу. Для того я найду другой выход.

Минуту мы все молчим. Я не совсем понимаю его. Если бы он отправлял нас одних, то все было бы ясно. Но ведь наверняка по минному полю придется идти и самому. Это удивляет.

— Пошли вы к черту! — ругается Катя.— Вы нас угробите. И раненых!

Сахно терпеливо выслушивает девушку, стоя к ней боком, и брови его все ниже оседают на холодные глаза.

— Я для вас командир. А в армии полагается выполнять приказы. Кроме как через мины, дороги у нас нет. Немцам живыми я вас не оставлю.

— Почему это немцам? Если оставлять, то обязательно немцам? — говорит Катя.

Сахно, сжав челюсти, что-то обдумывает. Наступает мучительная пауза, и, чтобы разрядить ее, я говорю:

— Поподрываемся же!

Сахно отвечает не сразу:

— Подорвется один — вперед пойдет другой. А вы как думали?

Самонадеянности у него хоть отбавляй. Будто перед нами не минное поле, а учебный плац. Но податься больше действительно некуда: с трех сторон немцы. Авось проскочим. Капитан тем временем, бережно держа за пазухой свою раненую руку, поворачивается к нам.

— Ну! Кто первый!

Мы все притихли и молчим. Каждый глядит себе под ноги. Одна Катя, нисколько не теряясь, злым взглядом меряет немца.

— Если так, пусть фриц! Их мины. Пусть по ним и топает. Сахно бьет палкой по снегу.

— Ну да! Фриц тебя заведет!

Может, и так. Может, и заведет. Или бросится наутек. Догоняй тогда по минам. Может, и вправду пускать его первым нельзя? Но тогда кого? Не Катю же! И не меня. У меня нога сразу две мины зацепит. Остается танкист.

Исподлобья я тайком поглядываю на этого чернявого парня. Сахно же почти в упор смотрит на него. Танкист нерешительно топчется, смотрит в сторону, но, видно, чувствует, что первым придется идти ему.

— Вот так! — говорит Сахно. — Берите палку и шагом марш.

Танкист вяло закидывает за спину автомат и промазученной рукой молча берет палку. Капитан, посторонившись, пропускает его на снежную целину.

— Так. Дистанция пятьдесят метров. За ним пойдете вы! — тычет он в меня и прикрикивает на танкиста: — Быстрее! Не взорвешься!

Мы сворачиваем в степь, к трем скифским курганам, что возвышаются поодаль на снежной белизне. Юрка на этот раз достается немцу, который без приказа взваливает его на себя. Внизу начинается поземка. Снежные пряди, вырываясь из-под ног, далеко расползаются по полю. Повсюду в степи мелко дрожат на ветру стебли бурьяна. Я старательно шагаю по следам танкиста. За мной идет Катя. За ней — согнутый под тяжестью ноши немец. Сахно замыкает пятерку.

Внутри у меня все напряжено. Идешь, как по лезвию бритвы, как по горячим углям. Все время надо вглядываться под ноги, чтоб ступать след в след. А глаза невольно устремляются вперед, туда, к танкисту, где — неизвестность и смерть. На заметенной снегом земле действительно кое-где видны старые следы, они еле заметны. Мины же все в снегу, который тут совсем неглубокий — до щиколотки. Отличная маскировка. Хорошо еще, что у переднего палка. Снег мягкий.

Уже порядком отойдя от дороги, танкист останавливается и, поворотив палкой в снегу, вываливает на поверхность что-то круглое. Это мина. Сзади кричит Сахно:

— Не трогай! Не трогай! Марш вперед!

— Противотанковая, — басит танкист и, пренебрежительно толкнув ногой этот смертоносный кругляк, идет дальше.

Если мины противотанковые, то еще полбеды. Под нами они не взорвутся. Если только нет противопехотных. Тогда, считай, нам повезло.

Танкист впереди, вижу, оживляется. Движения его делаются менее скованными. Видно, и у него поубавилось страху. Парень шагает шире. Я же, хромая, не могу поспевать за ним и постепенно отстаю. Но сзади меня подпирает Катя. Танкист замечает, что он слишком вырвался вперед, и останавливается.

— Шире шаг! Ни черта тут нет! — уверенно говорит он издали.

Я стараюсь шагать быстрее. И вдруг громовой взрыв, кажется, низвергает небо. Нечаянно я приседаю, вскинув над головой руки. Что-то со свистом пронесется вверх. Впереди зияет черное рваное пятно на снегу и клубится пыль. Облако дыма и пыли, быстро редая, стелется по полю.

В следующую секунду я оглядываюсь. Сзади все лежат, но, кажется, живы. Приникли к земле и замерли. А танкиста нет. На том месте, где он только что был, — вывороченные комья мерзлой земли и груды снега.

Меня обдаёт холодным потом. Во рту полно горькой слюны. Вокруг становится тихо-тихо, и в этой тишине откуда-то из-за балки, от совхоза, доносится далекая пулеметная очередь.

Первой вскакивает Катя. Снова, как и в хате, она решительно, по-мужски ругается:

— Растакую вашу!.. Куда завел? Куда ты нас завел, сволочь?

Капитан поднимается на одно колено и стоит, вобрав голову в плечи.

— Молчать! Вперед! — неистовым басом заглушает он крик Кати. — Вы, вперед!

— Ах, я вперед? Меня гонишь! Самому страшно? Не хочется умирать? Детей жалко? Ласковой жenuшки?

Сахно грозно ждет. Катя кричит. Я чувствую, что по справедливости идти первым теперь надо мне. И я растягиваю время. Мне нужен приказ. Но приказ он отдает Кате. И, видно, не намерен его менять.

Не сводя осатанелого взгляда с девушки, он дрожащей рукой вырывает из кобуры пистолет.

— Гад ты! Душегуб! Думаешь, я боюсь? За себя дрожу? Догоняй, гад! — кричит Катя и срывается с места. Бегом она достигает воронки и, ни секунды не медля, бросается дальше. На сером, запорошенном землей и гарью снегу пролегает ровная цепочка ее свежebelых следов.

Какое-то время мы еще стоим, не в состоянии преодолеть нерешительности. Но вот из совхоза снова длинно строчит настырная очередь. Несколько пуль, взвизгнув, пререзают воздух, и мы дружно срываемся с места.

Я снова напрягаюсь, стараясь как можно ровнее ступать в Катини следы. Под пулеметный стрекот добегаю до неглубокой воронки. Тут мин нет. Но тут хуже, чем на снегу. Тут уже не возможная, а реальная смерть. Смерть товарища.

Но Катя почти обезумела. Что она делает? Без палки, не разбирая дороги и даже не оглядываясь, она быстрым шагом, иногда бегом, без всякой предосторожности приближается к недалекому уже кургану. Будто ей известно, что там конец минного поля. Сахно что-то кричит ей, но она даже не оглянется. И мы идем по ее следам. Мы должны идти.

И происходит чудо. Катя целой и невредимой достигает кургана. Останавливается, поворачивается к нам и стоит. Во всей ее маленькой фигурке — упрек и вызов. Нас связывает спасительная цепочка следов, проложенных ею.

Повеселев, я прибавляю шаг и вскоре догоняю ее. За мной спешит немец с Юркой на спине. Он умирился и прямо-таки шатается. Видно умышленно отстав, сзади за всеми бежит Сахно.

— Разминировано! Куда дальше? — спокойно говорит Катя.

И мне неловко смотреть на ее покрасневшее, злое лицо. Конечно, мы виноваты перед ней, перед ее безрассудной смелостью, которой теперь обязаны жизнью. Но в этом не хочется признаваться даже себе.

Минуту мы ждем, пока нас догоняет хмуро сосредоточенный Сахно. В пятидесяти шагах он останавливается и командует сорванным голосом:

— Василевич, вперед!

Да, теперь ничего не скажешь. Теперь должен идти я. Только куда вперед?

Приплюснутый пригорок от кургана покато спускается вниз. Из совхоза нас уже не видно. Несколько в стороне и сзади в неглубокой низине пролегает насыпь железной дороги. В насыпи чернеет круглое отверстие трубы.

— Вперед! — с пистолетом в руке требует Сахно.

Иду, иду. Я и сам чувствую, что надо идти. Надо вырваться из этого проклятого поля. И как можно быстрее.

С еще большей, чем прежде, осторожностью я шагаю по снегу. Мой сапог грузнет до голенища. Раненая стопа в рукаве неуклюже загребает снег. Катя отправляется следом. И тогда сзади подает голос Сахно:

— Дистанцию! Дистанцию держи!

Девушка огрызается, но приостанавливается, давая мне отойти дальше. Правда, мне вовсе не хочется отрываться от них. Как-то вместе со всеми спокойнее. Стараясь шагать как можно осторожнее, внимательно всматриваюсь в снег. Чужих следов тут, кажется, нет. Кое-где снег спрессован метелью до твердого наста. Я невольно выбираю ногами эти более твердые места. Перехожу гривку бурьяна, в которой неслышно шуршит снег, и оглядываюсь. Уже не видно и будки обходчика. Мы в ложине. Надо бы идти быстрее, но боль в ноге не дает шагать шире. К тому же со стопы сползает рукав. Остановившись, чтобы подтянуть его, я наклоняюсь и вдруг застываю в ужасе. Моя рука сама по себе, словно обжегшись, испуганно отдергивается. Из снега возле ноги, смертоносно напрягшись, торчат в стороны три проволочных усика. Между ними, словно шляпка гриба, выпирает из-под снега круглая зеленоватая крышка «шпрингмине».

Я резко отстраняюсь. Но выпрямиться уже не успеваю. Трескучий взрыв гулко раскатывается сзади. Осколки или комья снега жестко хлещут по полам моей шинели. Я едва удерживаюсь, чтобы не опрокинуться на те предательски вытянутые усики.

Я уже знаю, что произошло страшное. Но я не могу оглянуться сразу, это свех моих сил. Смысл того, что случилось, будто издалека, медленно доходит до моего сознания. Только через какое-то время, преодолев оцепенение, я поворачиваюсь. Невдалеке с Юркой на сторбленной спине, широко расставив ноги, стоит немец. За ним, ссутулясь, ждет чего-то Сахно. А между ними и мною корчится на снегу Катя.

Ноги мои вдруг наливаются неодолимой тяжестью. С усилием и необыкновенной осторожностью я вытягиваю из снега раненую стопу, затем сапог здоровой. Переступаю назад — след в след. Затем, высоко поднимая колени, ступаю еще. Нет, пока не рвет. Тогда, немного осмелев, бросаю взгляд на Катю. Там снова черная копоть на снегу. Комья земли. Катя, беспорядочно перебирая вокруг себя руками, кажется, пытается встать.

Меня охватывает ужас. И гнев. Гнев против Сахно. Ведь это он погнал нас на минное поле! Он погубил Катю! Я бросаюсь к нему, но меня останавливает Катя. Девушка судорожно поднимает навстречу свое широкое, теперь особенно некрасивое лицо. Его перекашивает гри-маса боли. Зубы у нее сжаты. И внутри гложет стон.

— Катя! Катюшенька! Катя!..

Упав перед ней на колени, я хватаю ее за плечи, потом за талию. И вдруг понимаю: ноги! Из рассеченного осколками валенка льется на снег теплая кровь. Другого валенка совсем нет. Впрочем, нет и ноги до колена. Измочаленный взрывом мокрый обрубок. Ватные штаны и полы полушубка безжалостно иссечены осколками. Из дырок торчат клочья ваты и шерсти.

К нам подбегает немец. Он бросается мне на помощь. Дрожащими руками я приподнимаю девушку. Но что с ней делать? Кровь льется по моим рукам, в рукава, на шинель. Немец также беспокойно суетится и бормочет:

— Римен, римен!¹

Он подает мне узкий ремешок, и я понимаю: надо наложить жгут.

¹ Ремень! (Нем.)

Катя, сжав зубы и подавляя стон, закидывает голову, но молчит. Ее лицо на глазах белеет и быстро покрывается мелкими капельками пота.

Суетливыми движениями озябших рук я кое-как перетягиваю над коленом то, что осталось от ее ноги. Немец тем временем отстегивает ремень от моего карабина. Этим ремнем мы обкручиваем вторую ногу, в валенке. Потом я поднимаю голову. Напротив, опираясь рукой о колено, стоит Сахно.

— Ну, доволен? Доволен? Ты этого хотел?

Сахно резко выпрямляется. Быстро оглядывается вокруг и молчит. Но я вижу — глаза его расширяются и как-то глупеют, теряя свое всегдашнее выражение властности. Он растерялся. Но тут же преодолевает себя и опять становится прежним.

— Замолчи! — с тихим бешенством шипит он и приказывает: — Бери Катю! Живо!

Конечно, ничего другого не остается. Немедленно надо уходить. Два взрыва на минном поле вряд ли остались незамеченными. И я подчиняюсь Сахно, уже зная: на мины мы больше не пойдем.

Опершись на карабин, я наклоняюсь. Сахно с немцем взваливают на меня обмякшее тело Кати. Затем они подбегают к Юрке, который покорно лежит на снегу. Его берет на себя Сахно. Я не совсем понимаю, что он задумал. Видно, не понимает этого и немец, которому капитан что-то объясняет.

Наконец, поняв, немец налегке отбегаёт полсотни шагов и оглядывается. По его следам медленно двигается Сахно. За ним, опираясь на карабин, — я.

По неглубокой впадине мы направляемся назад, к железной дороге.

28

За железной дорогой по шоссе идут немцы.

Мы их не видим за насыпью, однако еще издали слышим, как множество машин рвется из Кировограда. Они отступают. Но куда деться нам?

На счастье или на беду, нам попадается труба.

Мы заползаем в ее бетонный туннель и все враз падаем в самом начале. Труба широкая, почти в рост человека. Внизу пласт спрессованного снега. Очень ветренно и пронизывающе холодно. Однако с шоссе нас тут не видно.

Опустившись на колени, я сваливаю с себя Катю. Затем падаю сам и судорожно дышу. Сзади на свежем снегу — мелкие пятна крови. Полы моей шинели также в подмерзшей крови. Катя просто истекает кровью. Глаза ее широко раскрыты, но зрачки все время закатываются. Ее надо перевязать. Но перевязать нечем. Санитарную сумку мы в спешке оставили в поле, на месте взрыва. Чтобы чем-то помочь, я в конце замерзшими руками начинаю расстегивать снизу ее полушубок. Там также все в крови. Но Катя почему-то сжимается, руками упрямо придерживает полы. Глаза ее умоляюще, почти в страхе глядят на меня.

Я снова настойчиво расстегиваю полушубок, но она сводит колени, подтягивает их к животу и сжимается.

Я не понимаю ее и вопросительно гляжу на немца. Тот, стоя на коленях, пристально смотрит в другой конец трубы, где с пистолетом в руке замер Сахно. У его ног тихо стонет Юрка.

— Капитан! Капитан! — приглушенно зову я.

Катя вдруг начинает дергаться и протестующе мотать головой. Кажется, я понимаю ее. Но это уже черт знает что!

— Перевязать надо! — говорю я. — А ну пусти руки!

Пригнувшись, по трубе пробирается Сахно. Катя еще больше сжимается и дрожит всем телом.

— Вот, не дается. Что делать?

— Да? — поглядывая на выход и, видимо, думая о другом, спрашивает Сахно.

Катя расслабляется. Серая тень ложится на ее еще недавно красное лицо. И тут я понимаю: она умрет! Но это нелепо и естественно: почему погибает девушка, если мы, трое мужчин и солдат, остаемся живыми?

— Катя! Катя! Что ты делаешь? Ты что — стыдишься?

Катя прерывисто, тяжело дышит и умоляюще смотрит на меня. Кажется, она слышит, только говорить не может. Потом взгляд ее устремляется куда-то в сторону и задерживается на немце.

Я догадываюсь.

— Он, да? Пусть он перевяжет? Да?

Глаза ее медленно закрываются. Однако раздумывать некогда, я зову немца:

— Ком! Перевязать! Бинтовать, ферштейн?

— Я, я.

Немец торопливо расстегивает ее одежду: полушубок, ватные брюки, окровавленное, иссеченное осколками ключье. Катя тихо лежит, безразличная к его прикосновениям. Я начинаю помогать ему.

Мы еще не заканчиваем перевязку, как где-то поблизости раздаются немецкие голоса. Сахно с пистолетом в руке сразу бросается в дальний конец трубы. Я хватаю вдавленный в снег карабин и ковыляю туда же. Сзади пробует приподняться Юрка.

Мы прислоняемся спинами к настывшему бетону трубы и вслушиваемся. Я медленно снимаю затвор с предохранителя, то и дело поглядывая на второй выход. Пока там пусто. Юрка держит в кулаке пистолет и не сводит с нас полного тревоги взгляда. Его глаза резко горят на бледном, каком-то уже не юношеском, слишком сосредоточенном на чем-то своем лице. Немец в неудобной позе настороженно ждет возле Кати.

Голоса где-то близко умолкают. Наступает тишина, в которой разноголосно гудит, грохочет шоссе. Сахно осторожно выглядывает из трубы и тут же отскакивает.

Совсем рядом слышится:

— Верден унс ди панцер ниht бис цум абенд цердрюккен, зо шлюпфен вир дурьх¹.

И в ответ несколько дальше:

— Мит дем оберст фон Майер верден вир унс шон дурьхшлаген. Об тод одер лебендиг цвинтер унс дацу².

Это уже плохо. Они возле самой насыпи. На дороге, слышно, бряцают дверцы кабины — значит, машины стоят. Но другие идут — видно, остановилось несколько. Только зачем?

И вдруг меня пугает наш немец. Его лицо напряженно вытянуто, в глазах не то страх, не то последняя степень решимости. Руки ладонями лежат на снегу, как у спринтера на старте. Того и гляди бросится наутек. Я круто поворачиваю карабин.

— Хальт!

Немец бессмысленно бросает на меня испуганный взгляд и опускается. Ноги его подкашиваются. Черт, наверное, его надо бы пристрелить. Да стрелять нельзя...

¹ Если нас до вечера не раздавят танки, то мы проскочим.

² С полковником фон Мейером проскочим. Он нас заставит, живых или мертвых.

И тут все оттуда же, от насыпи, долетает новый звук — слабое бряцанье солдатской пряжки. Оглушенный обидной догадкой, я осторожно выглядываю. Так и есть. Сделав свое дело в кювете, два немца торопливо сворачивают к шоссе. На ходу застегивают амуницию. Они увешаны катушками с кабелем. Очевидно, снимали связь.

Шатаюсь, я бреду к Кате. Возле нее падаю в снег. Катя умирает. Напрягается. дергается, выдыхает. Голова ее неестественно запрокидывается, русые волосы разметаны на снегу. Глаза полуоткрыты. Рукой она раза два машет возле лица, словно отгоняя мух. И вдруг говорит:

— Отойди. Не темни.

Так трезво и так внятно! Невольно я оглядываюсь. Кто темнит? Я? Или немец? Она говорит снова:

— Митя! Митенька! Темно очень...

— Катя!

Но она выдыхает и успокаивается. Глаза ее задерживаются на чем-то сверху, взгляд постепенно угасает. Опершись на руку, я сижу рядом. С другой стороны сидит немец. Лицо у него окаменело. И не удивительно: через каких-нибудь двести метров свои. Стоит ему закричать — и нас схватят. Но он не кричит. Мне даже кажется, что он боится не меньше, чем мы.

Смерть Кати меня ошеломляет. Сколько уже погибло на моих глазах — знакомых и неизвестных, но я никогда не раскисал так. Возможно, потому, что они были мужчинами и солдатами. Смерть на войне — очень простая штука. Но почему умирает эта девушка? Кто ее послал на войну и зачем? Разве что сама напросилась? Но что она знала о войне? И вот умирает в какой-то трубе, по нелепой случайности растерзанная миной, и мы ей ничем не можем помочь. И зачем это нужно? Разве у нас мало мужчин? На передовой, в тылах, в стране вообще? На каждый десяток в цепи — добрая сотня в ближних тылах. И каких мужчин! Сильных, грамотных, сознательных. Зачем под смерть подставлять девчат?

— Документы забрали? — спрашивает Сахно и опускается на колени рядом.

Я не отвечаю. Кому что, а этому первое дело — документы. Но кому они теперь нужны? Ее жизнь он не берег, а вот о бумажках гляди как заботится.

Сахно тем временем засовывает руку под Катин полушубок и долго там шарит. Я на него не гляжу. Равнодушно я не могу видеть это. Теперь она мертвая, и ей все равно. А была бы живая, засветился бы у этого капитана фонарь под глазом.

Вынув из нагрудного кармана красноармейскую книжку, Сахно заглядывает в нее.

— Щербенко Екатерина Ивановна. О, знакомая фамилия! — с ухмылкой сообщает он.

Действительно, фамилия и мне кажется знакомой. Только где я ее слышал? Я вопросительно смотрю на Сахно. Тот запикивает в карман документы и замечает мой взгляд.

— Не припоминаете? Пэпэже комбата Москалева из девяносто девятого, — говорит он и направляется в другой конец трубы. — Приказ по дивизии был.

Похоже, это его забавляет. Что она пэпэже и что был приказ насчет ее недозволенных отношений с комбатом Москалевым. Он доволен, что хоть после смерти нашел чем упрекнуть ее.

— Ну и что? — спрашиваю я. И срываюсь. — Ну и что, если пэпэже? Ну и что? — кричу я.

— Замолчите! Вы что — очумели?

А немец тем временем встает и идет к Сахно. Я уже заметил, что с недавнего времени он вообще старается держаться поближе к капитану. Жестикуюлирую костлявыми руками, он произносит какую-то длинную фразу. Сахно устрашающе взмахивает пистолетом.

— А ну назад! Назад!

Немец отступает, но все еще что-то старается доказать капитану. Тот, разумеется, не понимает, но настораживается.

— Что он говорит? — вполголоса спрашивает он у меня.

— Он же в а м говорит. Вы и должны понимать.

Капитан хмурится.

— Ну, знаешь!.. Я институтов не кончал. Этой гадости не учился.

Конечно, этой «гадости» он не учился. Чему он вообще учился? В школе я тоже не увлекался немецким, но горе и война научат всему. Нескольких слов, произнесенных немцем, я все же понимаю. Про остальное догадываюсь. Немец доказывает, что надо куда-то убегать, ибо если начнется штурмовка, то солдаты побегут сюда, в укрытие.

Это похоже на правду. Но пусть начинается штурмовка. Хуже, если штурмовики не налетят и колонна прорвется к своим. А может, и хорошо? По крайней мере для нас. Черт знает, что делается в моей голове? Я уже не могу разобраться, что хорошо, а что плохо.

Немец возвращается от капитана и молча садится около Юрки.

— Вот налетят ИЛы и сделают из вас мясокомбинат! — не скрывая своей злости, говорю я немцу. Тот, неожиданно соглашаясь, кивает головой.

— Я, я.

Скажи, какая покорность! Может, этот фриц сейчас скажет, что он коммунист? Что с колыбели был против Гитлера? Бывало же такое. Сорок четвертый — не сорок первый. Самые горячие нацистские головы успели уже остыть.

— Мы же вас перещелкаем, как вшей! Понимаешь? Как лойзе к ногтю! — красноречиво показываю я пальцами. — Варум гебт ойх ниht gefанген? ¹

Немец, кажется, понимает, но почему-то морщится и тихо про себя бормочет:

— Вир зинд айнфахе зольдатен! Ден криг бефильт дер фюрер унд ди генерэле! ²

Эта их песня мне уже знакома.

— Ах, фюрер? А сами? Сами вы что делаете? Пленных добывать вас тоже заставляет фюрер? Посылки с награбленным в Германию посылаете тоже по приказу фюрера? Вон целый эшелон в Знаменке остался. Фюрер разрешает, вот вы и рады. Вас это устраивает. Вы айнфахер менш, конечно.

Немец смиренно вздыхает — может, чувствует мое бешенство и побаивается. И он сидит так, надувшись, в русской помятой шинели, надетой поверх широкого в воротнике мундира. Его зимняя, с длинным козырьком шапка сбилась набок. Вдохнув, он соглашается:

— Я, я, их бин айн айнфахер менш!

— Что он говорит? — издали опять спрашивает Сахно.

— Говорит, что он маленький человек.

— Задушить его надо, — просто решает капитан.

Я не возражаю. В конце концов черт с ним: пусть душит. Теперь мне его не жалко. Хорошо, если мы просидим тут до ночи. Ночью мы,

¹ Почему вы не сдаетесь в плен?

² Мы простые солдаты. Войной командуют фюрер и генералы.

может, и вырвались бы, а днем-то уж вряд ли. Разве что откуда-нибудь появятся наши. Я прислушиваюсь: кажется, на дороге стало тише — колонна вроде прошла. Теперь бы не двинулась пехота. С ней будет хуже.

Сахно тем временем разряжает пистолет. У него, вижу, что-то не в порядке с магазином. А я уныло сижу возле Кати. Она уже, видно, остыла, скорчившись на снегу. С другой стороны синее восковое лицо моего Юрки. Тут все же очень холодно, в этой проклятой трубе.

— Василевич! — тихо зовет Сахно и умолкает, то ли прислушиваясь, то ли что-то обдумывая. — Залазь-ка на насыпь и понаблюдай. А то накроют еще. Как цыплят.

Помедлив, я беру карабин и вылезая из трубы. Солнечная яркость степи ослепляет. Освещенный солнцем, сияет широкий откос насыпи. Сбоку от него из-за дальнего пригорка проступают крыши строений. Там какое-то село. А что, если попытаться вдоль насыпи проскочить туда? Если там нет немцев? Только вот Юрка...

Прежде чем лезть на насыпь, я говорю в трубу:

— Немца не трогай пока. Пригодится.

Сахно оглядывается, но не отвечает.

29

Присыпанный снегом откос шуршит под локтями жесткой от мороза прошлогодней травой. Обжигает лицо северный ветер. Ноги скользят, и я, упираясь руками и коленями, лезу вверх. Позади осталось минное поле с курганами и длинной цепочкой наших следов. Правда, я туда не смотрю — кажется, я чувствую его спиной. Нелепая попытка Сахно перехитрить смерть обошлась нам слишком дорого.

Достигнув бровки, я поочередно поглядываю в оба конца железной дороги. Кажется, на полотне никого. Тогда, приподнявшись, выглядываю из-за широкого промазученного рельса.

О, шоссе прямо гудит от движения — правда, теперь там вместо машин — обозы. Немецкие фуры, открытые и под брезентом, двуколки, кухни, какие-то повозки, доверху набитые имуществом и туго увязанные веревками. Ржут, бряцают удилами кони. Две черные легковые машины, настойчиво сигналив, медленно прокладывают себе путь по обочине.

Хорошо, что от железной дороги до шоссе не очень близко, а то бы они уже добрались до нас.

Немного присмотревшись, я прячу за рельс свою забинтованную голову. Снова высовываюсь, услышав какие-то крики. Одна повозка разворачивается поперек движения. Какой-то немец в короткой шинели хватается за удила коней. Толстозадые неуклюжие битюги высоко вскидывают головы. Он бьет их снизу по мордам. Но к нему тут же соскакивает с повозки ездовой, и вот на шоссе — драка.

Правда, они не успевают как следует надавать друг другу, как между повозок появляется всадник. Плотнo сидя в новеньком желтом седле, он без лишних слов размахивается из-за плеча кнутом и хлещет по обоим. Это незамедлительно действует. Тот, в короткой шинели, куда-то исчезает, а ездовой, ругаясь, начинает сворачивать повозку с обочины.

И тут, заглядевшись, я едва не попадаю в беду — со стороны будки по линии идут немцы. Они уже близко и, видно, заметили меня. Кругнувшись на мерзлой земле, я соскальзываю по откосу вниз, до самой трубы. Над трубой задерживаюсь. Немцы идут по другой стороне линии. Отсюда мне видны только винтовочные стволы на их плечах да каска переднего. Заметили или нет? Если заметили, тогда все кончено: надо

стрелять. Драться и погибнуть. Возможности спастись у нас почти нет. А может?.. А может, не увидели?

И вдруг будто с другого света доносятся из трубы голоса. Сначала я не понимаю их смысла. Затем слышу слова, которые повергают меня в замешательство:

— Ленька! Лень!..

Меня зовет Юрка. Что с ним? Но ведь там Сахно. И действительно, я слышу, как капитан раздражительно шикает:

— Что ты заблажил? Он ушел.

«Я тут, Юр!.. Я не ушел. Почему он говорит: ушел?» — шепчу я про себя, грудью вминая снег возле трубы. Головы немцев скрываются. Остается только одна — последнего. Это на той стороне. Еще немножко — и они все пройдут. Еще секунда...

Но из-под насыпи снова прорывается крик:

— Василевич!

И тут же его накрывает более громкий — Сахно:

— Кончай к чертовой матери! Имей мужество!..

Они обезумели! Что они делают? Я вскакиваю со снега, и тут неожиданно и дико в трубе бахает выстрел.

У меня темнеет в глазах. Что он наделал?! В кого это он? В немца? В Юрку? А вдруг это пленный? Охваченный ужасом, я скатываюсь под насыпь. Вскрываю на одну ногу. В другой тупая боль, от которой занимает дыхание.

В трубе возле Юрки стоит Сахно.

— Что вы наделали? Немцы!

Сахно с маленьким, не своим, пистолетом прытко отскакивает в конец трубы. Зацепившись за Катину ногу, я нечаянно падаю чуть не на Юрку. У самого моего лица — его голова. Из разбитого виска торчит маленькая острая косточка, и красная струйка из-под нее быстро заливает ухо. На снегу возле плеча расплывается большое розовое пятно.

— Кто? — кричу я. — Кто его?

Но я не слышу собственного голоса. И мне никто не отвечает. Что же это делается? Кто это? Немец?

— Кто? — кричу я во все горло. Но из моей груди вырывается лишь чужой сдавленный хрип. Сахно в том конце оглядывается и машет рукой. Я едва различаю его голос:

— Замолчи! Разве не видишь?

Пожалуй, действительно я чего-то не вижу. Впервые я бросаю на друга более осмысленный взгляд. Юрка мертв. Перекошенное смертью лицо. Один глаз с силой приплюснут. Второй бессмысленно смотрит мимо меня куда-то в бетонный потолок. И тут я окончательно понимаю, что произошло. Он застрелился.

В следующую секунду, словно гром с неба, в трубе раздается выстрел. Снаружи бешено бьет автоматная очередь. Я скидываю карабин. Сахно в том конце почему-то падает на снег. Там, где он стоял, о бетонную стену лязгает что-то круглое и отскакивает к стенке напротив. Граната! Я падаю головой к Юрке. Громовой взрыв сотрясает насыпь.

Все в трубе поглощает горячий, удушающий смерч. Легкие захлебываются от снега, пыли и резкого смрада серы. Жгучая боль клещами сжимает колено. И все увеличивается, растекается по ноге. И охватывает ее всю, от бедра до мизинца. Бедная, несчастная моя нога! Кажется, ее доконали. От боли я не могу пошевелиться и мычу, сжав зубы.

Снежный вихрь тем временем утихает. Я поворачиваю голову. Во рту снег и песок. В ушах и в рукавах тоже. Я лапаю вокруг руками. На пальцах теплая липкая мокредь. Это от Юрки. Рядом чья-то нога в валенке... Где мой карабин? Становится немного светлее. Напротив

проступает исцарапанный и закопченный бок трубы. И светлый круг недалекого отверстия. И вдруг в этом светлом пятне — неподвижная тень. Отставленный в сторону локоть. Тонкий, как щупальца осьминога, автоматный ствол. Немец!

Что-то во мне подламывается, и я вытягиваюсь на снег. Весь ужас положения уже не воспринимается. Я плохо понимаю, что происходит. Что-то тошнотворное и соленое подступает к горлу. Инстинктивно я сплевываю на снег. Кровь.

Тем временем тень у входа в трубу широко и неслышно шагает ближе. Я лежу ничком и ошеломленно гляжу на нее. Я вижу только силуэт. Знакомый и безликий, как, бывало, зеленая мишень на стрельбище. Ступив шага четыре, он останавливается перед Катей. Он — воплощение испуга и отгаки одновременно, этот призрак. Словно сомнамбула в полуреальной среде. Оживляется он, когда сзади появляются еще двое. Тогда он совсем по-земному кричит:

— Отто! Зи маль! Айне руссише Валькюре!¹

И поддевает ногой Катину тело. Оно податливо переворачивается на бок, спиной к свету. Рассыпаются по снегу ее волосы. Одна рука неестественно заламывается за спину. Вдвоем они наклоняются над телом девушки. Первого, однако, тянет дальше, и он, присмотревшись, переступает через единственную Катину ногу. И тут встречает мой взгляд.

— Хенде хох! Ауфштэен!²

Он испуганно отскакивает назад. Однако, тут же осмелев, решительно шагает вперед и тычет мне в лицо автоматом. Удивительно, но я ничуть не боюсь. Постепенно ко мне возвращается чувство реального. Но я уже не могу его убить. Не могу ударить. Я не могу ничего. А он может все. И пусть! Пусть убивает скорее!

Однако он не убивает. Он что-то приказывает:

— Рус! Ауфштэен! Бистро!

Возле меня уже все трое. Один коротко и больно бьет стволом карабина в плечо. Напрягась, я приподнимаюсь на руках. Дальше не позволяет боль. Да и незачем стараться. Один из них замечает близости Юрку. Смазанными чем-то чужим и вонючим сапогами он переступает через меня и наклоняется к покойнику. Я вижу, как он шарит в Юркиных карманах, что-то достает и швыряет наземь. Потом подбирает из-под ног отброшенный взрывом карабин. Черный мой карабин возвращается к своим хозяевам — немцам.

Они хватают меня за руки и рывком, как мертвеца, волокут из трубы. Я понимаю, что все уже кончено. От боли, от солнечного света, а больше от невыразимой обиды я прищуриваюсь. Оказывается, вот он где был — последний мой Сталинград. Выигранный фронтом, страной и навсегда и непоправимо проигранный мной.

Вскоре меня больно бросают на твердые под снегом комья земли. Чья-то рука расстегивает и снимает с шинели трофейный офицерский ремень из желтой кожи. Обшаривает мои брючные карманы. Я слабо приоткрываю глаза и промеж чьих-то расставленных ног недалеке вижу Сахно. Он стоит в гимнастерке. Забинтованную в локте руку он прижимает к животу. Его нахмуренный взгляд растерянно бегаёт по немцам. Вид какой-то оглушенный. Короткое удивление оттого, что и он в плену, на момент заглушает мою боль. Как же это он не застрелился? Он же должен был застрелиться. Ведь не мог же он сдаться в плен.

¹ Отто! Глянь сюда! Русская Валькирия!

² Руки вверх! Встать!

Я чего-то не в состоянии понять. Очень болит нога. Немцы молчат. Молчат те двое, что победили меня в этой войне и выволокли из трубы. Теперь я хорошо вижу их перед собой. Один весь какой-то рыжий — рыжая щетина на щеках, рыжие брови, рыжие, даже золотистые ресницы. Через плечо у него перекинута чем-то набитая сумка с привязанным к ней котелком. Второй значительно моложе, почти мой ровесник, с прыщеватым лицом и в очках, прикрепленных черными тесемками к ушам. Чуть дальше от них стоит еще один — широкоплечий, в длинной шинели и каске. Флегматичное лицо его едва заметно брезгливо кривится, черная кобура парабеллума на животе расстегнута. Мне кажется, что он тут главный — возможно, офицер. За его спиной стоят и ждут еще несколько солдат. Никто из них не обращает на меня никакого внимания.

Невеселое зрелище... Я не сразу догадываюсь, почему они все молчат. Однако какая-то тень, что шевелится рядом на снегу, заставляет меня поднять голову. И тогда я вижу позади себя нашего Ангеля, о котором почти уже забыл. Неловкими движениями озябших рук он пытается расстегнуть на себе шинель. Но его пальцы не могут совладать с непривычными для них крючками русской шинели. Лицо у него какое-то растерянное и виноватое. И мне вдруг кажется, что они собираются его расстрелять. Офицер из-под сурово сведенных бровей терпеливо следит за ним. Потом, сделав три шага вперед и коротко размахнувшись, бьет его по обеим щекам. Ангель выдерживает пощечину, не шевельнувшись. Наконец, с силой дернув полу, он выдирает крючок и торопливо сбрасывает с себя шинель. Прыщеватый в очках, поддев ее концом карабина, швыряет дальше в снег.

Кажется, то, что занимало их, кончилось. На минуту я расслабляюсь от неподвластного мне напряжения и перестаю их видеть. Слышу только, как офицер, отчетливо произнося каждое слово, ругается и что-то приказывает. Солдаты, бряцая пряжками, поднимают с земли какие-то зеленые ящики на лямках (наверно, инструменты или приборы). Поскрипывая морозным снегом, ко мне кто-то подходит. Немалым усилием раскрываю глаза. Это Ангель. Теперь он снова в своем мундирчике с отвисшими пустыми карманами. В его виноватых глазах терпеливая покорность и опасение. За ним кто-то толкает в спину Сахно. Капитан, видно, не сразу понимает, чего от него хотят. Тогда рыжий бьет его сапогом в зад, и Сахно оказывается рядом с Ангелем. Вдвоем они берут меня под мышки. В моих глазах вдруг темнеет, и я едва удерживаюсь, чтобы не потерять сознание.

30

Около часа я хожу вокруг привокзальной площади и не могу успокоиться. Над городом — глубокая ночь. Площадь непривычно пуста и огромна. Ровно и дремотно горят вверху матовые шары фонарей. Скамейки на бульваре пусты. На троллейбусной остановке никого. Пусто и на стоянке такси. От пережитого сегодня и от переутомления я стал словно контуженый. Ноет в ремнях протеза остаток моей натруженной голени. Я хожу от фонаря к фонарю.

Особенный интерес вызывают ночью книжные витрины. Целые роты самых различных изданий. Когда-то я любил рассматривать витрины именно ночью. Ночью они выглядят совсем иначе, чем днем. Книги в них в это время, как умные люди в жизни. Каждая в себе. Из-за всех стекол киоска они смотрят на меня со скрытым глубокомыслием мудрецов. В каждой — свидетельство эпох, бесценный сплав разума. Но ни в одной — того, что так болит во мне.

— Который час — не скажете?

Невольно я вздрагиваю, не сразу сообразив, что это — сторожика. Одета в грубый брезентовый плащ, тетка подозрительно смотрит на меня. Чего-то ждет. Ах, времени! Я поглядываю на руку — половина четвертого.

Тетка не уходит, а прислоняется к железному пруту возле стекла и зеваает. Я медленно бреду дальше.

Надо успокоиться. Пора успокоиться. Ничего по существу не случилось. Гнался за одним подлецом, напал на другого. Ну и что? Разве их всего двое на свете? Протокол? Глупости, что мне протокол! Попугают — не больше. Что им с меня взять? Не посадят же.

Как бы там ни было, я ни о чем не жалею. Правда, я не победил. Он ушел несломленный и даже необезоруженный. Уверенности в своей правоте ему хватит, пожалуй, на всю жизнь. Как он разошелся! Уже с порога кричал милиционерам: «Распустили народ! Демократию развели! Опытных работников шельмуете!»

Вообще это смешно. Он еще на что-то надеется! Но вместе с тем это заставляет задуматься.

Я забредаю в самый темный угол на площади. В густой тени под деревьями на скамейке притаилась какая-то пара. Замолчала, насторожилась и ждет. Нет, я туда не пойду. Им нужно уединение, мне тоже.

Сильно ипряно пахнет молодая листва тополей. В переулке на недалекой стройке сверкают отсветы электросварки. Начинает накрапывать дождь. Со временем он густеет, асфальт пахнет сыростью и пылью, капли мерно барабанят по крыше киоска. Я не спеша иду по краю площади вдоль сквера. Видно, надо возвращаться на вокзал. За железной оградой слышится шорох газетных страниц — укрываются от дождя. Зимой, весной, летом. В жару, ночью, в дождь — там пары. И это вечно.

На вокзале объявляют посадку. В вестибюле и на ступеньках начинается беспорядочная толчея, усиливается гомон. Спешат женщины с сумками. Бредут заспанные дети. Свесив с плеч связанные чемоданы, проталкиваются к выходу дядьки. Обходя встречных, я взбираюсь на второй этаж — там теперь свободные скамейки. Неплохо бы подремать. Мой поезд еще не скоро.

Свободных мест тут, однако, не много. У окна в самом углу половина незанятой скамейки, и я с наслаждением вытягиваю ноги. Спину подпирает подлокотник. Не очень удобно, но можно отдохнуть. Рядом клюет носом какой-то парень в черном пиджачке и клетчатой рубашке. Кепка его уже на паркете, а голова все ниже и ниже клонится к коленям, и, когда, кажется, прикасается к ним, парень просыпается. Испуганными глазами бессмысленно бросает по сторонам два-три взгляда и снова начинает дремать.

Неизвестно, выжил ли в этой войне Сахно. Хотя такие люди, будучи не слишком разборчивы в средствах, живучи. И если случилось, что он остался в живых, я уверен — он опять тот же. Всю жизнь он совершенствовался в одном ремесле — принуждении — и на другое попросту не способен. Я знаю, встреча с ним мне тоже не дала бы радости. Он из породы горбатуков, для перевоспитания которых десять лет, видно, недостаточный срок.

Однако я все же устал. Глаза сами собой закрываются, приглушенный гомон как бы усиливается и сосредоточивается в мозгу. Сон не приходит, а тело погружается в оцепенение. Только мысли, образы, обрывки неясных фраз... Они упрямо возвращают меня в прошлое.

Эх, Юрка, Юрка! Ты — самая большая моя боль в жизни. Ты — незаживающая моя рана. Другое уже все зарубцевалось, а ты кровоточишь и болишь.

Да, я виноват. Виноват перед тобой и перед твоей матерью. Я не забыл ее адрес, но что я мог написать ей? Каюсь, я долго колебался и где-то года через два после войны послал ей открытку с сообщением, что ты без вести пропал под Кировоградом. Это была маленькая хитрость, которая помогла мне сделать выбор, чтобы поступить лучше. Я знал твою мать по письмам к тебе, каждое из которых было на четырех листах и под номером.

Вскоре я получил от нее ответ. Небольшой листок, несколько скупых слов. Не без гордости писала она, что ты геройски погиб на фронте в единоборстве с фашистскими танками. Будто два из них ты подорвал гранатами, а под третий бросился сам и погиб в этом неравном бою.

Мог ли я после этого сообщить ей всю правду о твоей гибели?

Что ж, я виноват перед тобой и каюсь. Но мы умнее с годами, а воевать нам пришлось почти пацанами. Теперь бы я поступил иначе. Я бы постарался не отдалиться от тебя, как это случилось тогда на кировоградском переезде. Наверно, нельзя было оставлять тебя одного и в трубе. Будь я с тобой, я бы раньше понял твое отчаянье, и, возможно, оно не обернулось бы тем чудовищным выстрелом, на который тебя подтолкнул Сахно.

Правда, так я рассуждаю теперь. Я жив, и мне обидно, что путаются под ногами горбатюки и лежат в земле Стрелковы. Тогда же все было иначе. Тогда я люто тебе завидовал. Если бы ты видел, что было дальше со мной, ты бы простил мне и мою не слишком удавшуюся жизнь, и свою преждевременную смерть.

Да, тогда мне досталось. Такое не забывается и, будто вчерашнее, до мелочей долго будет жить в памяти.

31

В голове все кружится и плывет. Однако я понимаю, что меня волокут по откосу в гору. Потом моя здоровая нога больно ударяется о рельс. Я касаюсь ею земли и начинаю прыгать по заснеженным шпалам. Каждый прыжок отзывается нестерпимой до оупения болью. Другая, мне уже неподвластная нога судорожно поджимается и лихорадочно дрожит.

Порой я раскрываю глаза и вижу, как внизу плывут-качаются присыпанные снегом шпалы и два черных рельса с обеих сторон. Рядом мелькают сапоги. С одной стороны — кирзовые, потертые на шиколотках — Сахно, с другой — тупоносые кожаные — Ангеля. Возле кожаных висит черный приклад карабина, и я догадываюсь: им вооружился мой штрафной конвоир. Значит, его не расстреляют. Это почему-то отзывается во мне удовлетворением, появляется даже надежда: а вдруг поможет? Если только мне еще можно чем-либо помочь. Я понимаю, что меня ведут в плен. Ведут два человека, которые менее всего подходят для этого. Действительно, одного сутки назад я сам должен был сдать в плен, а второй... Не хочется даже и думать, кто этот второй.

И вот теперь они — мои конвоиры.

Но зачем я понадобился немцам? Разве чтобы выведать от меня что-то, прежде чем расстрелять? Тогда почему я иду? Пусть убивают сразу.

Голова моя раскалывается от путаных мыслей и непонятных, неодолимых для моего состояния вопросов. Чего-то очень важного я никак не могу понять. Временами я забываю, где я и куда иду. Невольно кажется, что рядом Кагя. Даже слышится где-то поблизости ее голос. Я не могу себе представить, что ее нет и никогда уже не будет... Не сон ли это? Бывало же сколько раз во сне, что попадал в руки немцев, которые даже пытались меня убить. Но затем наступало пробуждение, и все

становилось на свои места. Может, и теперь будет так? Вот только невыносимая, нечеловеческая боль. Такая не может присниться.

Да, я хочу умереть и не хочу идти в плен. Я не буду давать им никаких показаний. Я не хочу и не могу больше страдать. Мне даже трудно сказать, где и что болит. Боль самовластно хозяйничает во всем моем теле. И я завидую Юрке. Ему уже не больно.

Я раскрываю глаза и оглядываюсь. Вокруг простирается степная гладь, прорезанная железной дорогой с рядами телеграфных столбов по сторонам. Мерно и настойчиво гудят провода. Впереди по шпалам шагает немец. Коробка закинутого за спину противогаза лягает по затвору его карабина. Я поднимаю голову и вижу сведенные челюсти Сахно. Неужели и он идет в плен?

— Убей меня!

Сахно каким-то незнакомым взглядом смотрит на меня. Видно, в эту минуту я ужасен, и в глубине его зрачков мелькает испуг.

— Убей меня! Будь человеком!

Я и сам понимаю нелепость своей просьбы. Но это кричит моя боль. И мое истерзанное тело. Я им подчиняюсь. Единственная моя нога подкашивается, и я окончательно повисаю на чужих руках. Сахно сильно дергает за плечо и, склонившись, дышит предостерегающим шепотом:

— Если что — ты меня не знаешь. Понял?

В отчаянии я дергаюсь в их цепких руках. Энгель недовольно ворчит что-то и удобнее перехватывает меня за руку. Сахно же одной рукой не удерживает. Упав, я плечом ударяюсь о шпалу и лежу. Сзади раздается суровый гортанный крик. Сахно пугливо заглядывает мне в глаза, дергает за рукав:

— Ты что? Вставай!

— Не встану! Убивайте! Не встану!

В этом теперь мой выход. Другого уже нет. Пусть стреляют. Но они не стреляют.

Энгель несколько раз незлобиво дергает за руку, старается подхватить за другую Сахно, но я им не поддаюсь. Тогда напротив появляется тот, в каске. Его взгляд круто упирается в меня где-то между бровей. Сильный удар сапогом в живот прерывает мое дыхание.

— Ауфштэен!

Нет, уж черта вам, а не ауфштэен. Задыхаясь, я хватаю ртом воздух и, к сожалению, ничего не могу им сказать. Мир снова проваливается в какую-то сумеречную бездну. Они подхватывают меня за руки, за ногу, за рваные полы шинели, и земля подо мной исчезает.

Прихожу в себя также от удара. Кажется, чем-то жгуче-холодным тупо бьют по лицу. Я понимаю, что они бросили меня в снег. Неторопливо и вяло, едва преодолевая слабость, в которой растворяется боль, поворачиваю голову. Подо мной наезженная зимняя дорога, ноздреватое желтое пятно лошадиной мочи, натрушенные клочья сена и рядом ноги. Много ног в сапогах, ботинках, в коротких кожаных и матерчатых крагах. Двое или больше в валенках. Ближе других узнаю выскользненные в снегу сапоги Сахно. На их кожаных головках пятна крови. Кажется, это моя кровь. Однако немецкая речь заставляет меня взглянуть дальше, и мой взгляд упирается в узенькую, грязную снизу подножку «опель-капитана». Один край ее украшен блеклой полоской никеля, конец пригнут случайным ударом. На середине подножки шаркает подошвой хорошо начищенный хромовый сапог.

С усилием я перевожу взгляд выше, догадываясь уже, что это — начальство. И действительно, в машине какой-то важного вида офицер. Худощавый, молодой. На голове новая высокая фуражка. Выбритый

подбородок покоится на меховом воротнике кожаного реглана. Глаз не видно, вместо них поблескивают стеклышки пенсне. Я впервые вижу такого важного немца. Но теперь он мне безразличен. Мне плевать на его высокий чин. Я ему сразу же это и скажу. Рисковать мне уже нечем.

Но почему они все молчат? Молчит чин. Молчит, «поедая» его взглядом, знакомый офицер в каске. Вывернув от себя локти, он навтыжку стоит перед машиной. И я думаю: может, сейчас они решают нашу судьбу?

Напряжение мое кончается. Я без остатка выдыхаю грудь и закрываю глаза. Снова все подо мной плывет и кружится. Последним усилием воли удерживая себя в сознании, думаю: они будут допрашивать. Им нужно что-то узнать и потому они ведут нас обоих. Второй для контроля. Для того они приволокли нас в село. Это улица. В морозном воздухе пахнет мешаниной дымов — бензинового и от соломы. Слышится далекая стрельба, гомон и топот ног. Рядом идут и бегут солдаты. И вдруг в этой сумятице звуков я начинаю различать настырный воздушный гул. Так вот почему они замолчали: в небе идут наши. Это штурмовики, наши родные ИЛы. Они идут сюда! Они устроят им кровавое воскресенье.

Напрягшись до боли, я переворачиваюсь на спину. В глаза ударяет высокая голубизна неба. До боли в глазах я всматриваюсь в белесую дымку. Но напрасно. Там пусто. Потом я вижу неподвижные головы — в пилотках, в шапках, в касках. Они также устались в небо. Самолетов нет. Есть только гул. Гудит где-то поблизости. И этот гул на минуту возвращает мне силы. Я рад, что еще живу. Я еще поборюсь с ними. Я им ничего не скажу. Не на того напали! Я плюну в глаза этому оберсту или как там его величать. Пусть стреляют!

Однако гул скоро глохнет. Видно, самолеты проходят мимо, куда-то в другую сторону. Короткая радость моя кончается. Их лица уже не задираются в небо. Они поворачиваются к легковушке. Немец в машине сбрасывает с себя неподвижность, щелкает портсигаром, деловито прикуривает. Худые щеки его то проваливаются, то снова полнятся, и подбородок опускается на мех воротника. Он что-то приказывает.

— Яволь! Яволь! — щелкает каблуками офицер и коротко, скороговоркой докладывает. Кажется, это о нас.

Вот когда все решится. Я впиваюсь взглядом в бритое холодное лицо. Сейчас он определит нам кару. Но он вроде не спешит. Тонкими губами стискивает сигарету и небрежно машет рукой в серой перчатке.

Я не понимаю. Что это значит? Расстрел? Или, может, вести дальше по улице? Видно, чего-то не понимает и офицер в каске. Во всяком случае я не слышу его «яволь». Я только вижу, как трогается в колее заднее колесо. На ходу закрываются дверцы.

Офицер круто оборачивается к солдатам и уже другим тоном — зло и решительно — что-то приказывает. Все слушают. Потом разом берут оружие и имущество, что лежало на обочине. Снова звякают пряжки и застежки их желто-зеленых ящиков. Резко скрипит снег. Кто-то сильной рукой хватает меня за шиворот и ничком, как собаку, волочит поперек улицы. По снегу, через колеи, разгребая моим телом мерзлые катыши. Крючок шинели впивается мне в горло, я задыхаюсь. Я никогда не верил в бога, однако теперь он мне нужен. Хоть настоящий, хоть выдуманый. И я умоляю его помочь мне.

Рядом скрипят на снегу окостеневшие от мороза сапоги, движется мимо плетень, калитка, брошенная пустая канистра и прислоненная к завалине автопокрышка. Возле нее охапка соломы, на которую они меня

и бросают. Ударившись головой о тугой резиновый бок покрышки, я не сразу открываю глаза. Лежу как пласт, от боли закусив губу, и дрожу. Рядом, слышу, опускается на завалинку и также дрожит от стужи Сахно.

32

Проходит, видно, немало времени, пока я, притерпевшись к боли, раскрываю глаза.

Во дворе шум.

Хата, возле которой мы оказались, пустует. В выбитых окнах торчат осколки стекла. Двери — настежь. Немцы все во дворе. В полах шинелей они приносят откуда-то сухой паек и принимаются за обед. На все тех же составленных вместе ящиках делят галеты и отдельно консервы. Оставив нас без всякого внимания, они толпятся на середине двора и дружно разбирают свои порции. Энгель тоже там. И кажется, никто ему ничего не говорит, ни в чем не упрекает. Он забирает с ящика свои галеты, и вдвоем с рыжим, что выволок меня из трубы, одной ложкой поочередно начинают выскребывать консервную банку. Сахно, скорчившись на завалинке, зорко следит за ними исподлобья и ежеминутно глотает слюну. И дрожит. А я уже не дрожу. Я медленно, неотвратно замерзаю. Ног своих я уже не чувствую. Чужие для меня и руки, на которых давно нет рукавиц. И еще нестерпимо хочется пить. От потери крови внутри у меня все сохнет.

«Ну где же, где их начальство? Неужели никому здесь мы не нужны?» — уныло думаю я и жду, когда кто-нибудь наконец подойдет к нам.

И один подходит. Молодой, вполне симпатичный с виду солдат с насмешливым взглядом голубых глаз. Шагнув от ящиков, дожевывая галету, он распахивает полы шинели. Делая свое дело в двух метрах от завалинки, немец невзначай встречает мой взгляд. Я жду злого слова, ругани, может, и выстрела, а он вдруг озорно вихляет задом. Рыжая струя перечеркивает рядом снег, мелкой дробью пробегает по моей спине — раз и второй. Немчик довольно ржет, застегивается и отворачивается, поправляя на спине автомат.

Первый раз я не смог сдержать стоны. От мук другого рода, чем те, что донимали меня прежде. Это ни с чем не сравнимые муки. Их нельзя понять, не претерпев хоть однажды. В отчаянии я вспоминаю все мои фронтовые неудачи. Как я стрелял из «дегтяря», впопыхах не поставив на планке прицела, и десяток немцев успел скрыться в траншеях. И как мы под Знаменкой промедлили с атакой и дали их машинам выскочить из села. И тот вечер, когда мой взвод захватил шестерых пленных. У ребят были мокрые валенки, но я не разрешил им разуть немцев, обутых в исправные кожаные сапоги. Если бы тогда знать, что ждало меня в будущем!

Но, видно, все мои муки напрасны. Ни одного из них я уже не убью и ничего им не сделаю. На меня им наплевать. Они уходят. Дожевывая хрустящие галеты, они поудобнее прилаживают на спинах сумки, противогазы, закидывают на плечи оружие и один за другим выходят на улицу. На нас даже ни один не глянет. Во дворе остаются знакомые ящики и возле них трое. Наш Энгель, молодой очкарик и еще один, новый. Он худощав, хорошо сложен, с вьедливыми темными глазами и ефрейторским шевроном на рукаве. Судя по всему, этот здесь старший.

Я уже не знаю, что и думать. Обидно погибнуть, как гибнет подстреленная собака. До ночи, пожалуй, мне не дожить. А она совсем

близко. Солнца в небе уже не видно, в прозрачные синие сумерки медленно погружается земля. Под крышами густеет, устанавливается мрак. Кажется, ночь обещает быть звездной и лунной, как и вчера. Только мне ее уже не увидеть.

Немцы, усевшись на ящиках, курят. И молчат. Вижу — чутко вслушиваются в звуки, которые долетают сюда с окраины села. Однако те, кого эти трое ждут, наверно, задерживаются. На улице становится пусто. Немцы уже выехали отсюда. Чего же тогда ждут эти трое?

И тут у меня появляется нелепая мысль: а может, они ждут наших? Чтоб сдать! И спасти нас!.. Тут же я, однако, понимаю: глупая надежда. Не для того они оставлены. Да и Энгель, подлюга, даже не подойдет ни разу. Ни разу не взглянет на нас, точно боится. Но ведь совсем недавно еще не боялся. А я так хочу попросить у него воды... Зато Сахно как-то неестественно оживляется. Будто наконец преодолевает замешательство, которое владело им с момента пленения. Он позволяет себе встать с завалинки и начинает часто приседать — греться. И на него не кричат. Только очкарик что-то ворчит, но ефрейтор помалкивает, и тот тоже смолкает. Сахно, усевшись, громко стучит сапогами. Мерзлая земля тупо дрожит под ним и болью отдается во всем моем теле.

Полуокоченевший, я не сразу замечаю, как с этой дрожью сливается дальний знакомый треск. Я только вижу, как немцы враз поворачивают головы. Очередь повторяется раз, второй, третий. Немцы вскакивают. Двое поглядывают на ефрейтора и снова слушают.

Неужели наши? Сахно опять замирает, сведя на переносье брови. Мне кажется — это «максим». Нет, пожалуй, скорее похоже на танковый. Только какого танка?

Очереди, однако, умолкают. Немцы продолжают слушать. Потом ефрейтор тихо ругается и вынимает из кармана похожую на гусиное яйцо, с ободком поперек гранату. Попробовав чеку, планкой цепляет гранату за ремень.

— Их коме бальд!¹

Он куда-то теропливо уходит со двора. Энгель и очкарик снова садятся на ящики. Энгель, понурив голову, начинает ковырять прикладом в снегу. Очкарик то всматривается в огороды с вишенником, то оглядывается на улицу. Сахно снова осторожно начинает разминку. Я уже не могу терпеть. Жажда, кажется, добьет меня раньше, чем это сделают раны и мороз.

— Энгель,— говорю я и не узнаю своего ослабевшего голоса.— Энгель! Вассер! Тринкен! вассер!

Энгель чуть ли не в испуге скидывает голову.

— Вассер! Ферштейн? Вассер!

— Швейг²,— говорит очкарик.

Энгель, вижу, в задумчивой нерешительности смотрит на меня.

— Вон же колодец! Дай воды, если ты человек! — Я показываю на улицу. Там под заснеженной крышей вытянул шею колодезный журавль.

Энгель встает и нерешительно топчется возле ящиков. Оглядывается. Прислушивается. На одном ящике сумка и возле нее плоский котелок — видно, ефрейтора. Энгель отстегивает котелок и, еще немного прислушавшись, идет к воротам. Карабин он держит под мышкой. Очкастый, сидя на ящике, поворачивается к нам всем телом и с лязгом взводит затвор автомата.

— Швейг!

¹ Я сейчас вернусь.

² Молчи.

Сахно садится. Тихо про себя ругается. Немец на это не обращает внимания. Он слушает. Я вслушиваюсь также.

Кругом все тихо. Но издали все же доносятся звуки. Их не сразу и поймешь. Не то крики, не то топот множества ног. Кони или люди? Выстрелов нет. Гремит где-то артиллерия, только это в другой стороне и далеко. А переполох — за селом. Не больше, чем в километре отсюда.

Проливая из котелка воду, во двор входит Энгель. Значит, все-таки еще человек, думаю я. Мое представление о немцах несколько поколеблено. Я уже склонен думать, что среди них бывают разные. И так себе. И ничего. И сволочи. Впрочем, как всюду. Люди есть люди. В общей своей массе не плохие и не хорошие — разные. Он протягивает мне котелок. Я приподнимаюсь. Одной рукой беру его за борт. В голове шаткая карусель.

И тут за спиной тяжелый топот бегущего человека. Что-то случилось. Но я не обращаю внимания. Я пью. Хоть бы взрыв — прежде чем умереть, я напьюсь. Но раздается немецкая ругань. Бешеный удар сапога выбивает у меня котелок. Звякая, тот катится по двору. Второй удар — в ухо — получает Энгель. Во дворе беснуется ефрейтор. Захлебываясь словами, он выкрикивает ругательства.

Я хочу пить. Но кажется, уже не напьюсь. Энгель виновато моргает подслеповатыми глазами. Ефрейтор что-то кричит, размахивая перед ним кулаком. Очкарик берется за ящик.

Вскоре все они хватают ящики. Ефрейтор, ругаясь, бежит к хлеву за своим котелком. Очкарик один ящик взваливает на спину, второй — продолговатый и чуть поменьше — берет за ручку. Самый большой поднимает на плечи Энгель. Торопливо цепляет на себя почти кубической формы зеленый ящик ефрейтор. Но на снегу остаются еще два. Ефрейтор, запыхавшись, оглядывается на нас. И тогда — о чудо и подлость! — с завалинки вскакивает Сахно. Я даже не понимаю — куда? Видно, не понимают этого и немцы. А он без единого слова хватается за ящик, второй и оба вскидывает за ремни на свое правое, здоровое плечо. Ефрейтор удивленно раскрывает рот, а потом с силой хлопает его по плечу:

— Гут, офицер! — И хохочет.

А я перевожу взгляд вверх. Я не удивляюсь и не возмущаюсь. Я уже все пережил. Я только гляжу в небо.

Там прорезалась и блестит маленькая одинокая звездочка. Она, пожалуй, как раз над Кировоградом, до которого я не дошел. Как не дошли многие. Интересно, сколько тысяч жителей в том городе? Получится ли хотя бы по одному на убитого? Было бы здорово на минутку взглянуть на его улицы. Наверно, когда-нибудь там будут цвести цветы, зеленеть тополя. И на бульварах будут гулять девушки. Ребята будут поступать в вузы и увлекаться футбольными матчами... Туманом заволакивает взгляд. Это мороз. Он, кажется, меня добивает. Видно, скоро меня не станет. А Сахно будет жить.

Все остальное доходит до меня будто с другого света. Немцы торопливо закуривают и выходят за ворота. Я все это слышу. Но я вижу только ту малюсенькую звездочку в зеленоватой голубизне. Веки мои смерзаются, и я закрываю глаза.

Кажется, немцы меня оставляют.

Однако в воротах они вдруг задерживаются. Слышится голос ефрейтора. Сначала тихий, потом приказной, властный. И сразу же резкий скрип сапог по снегу.

Я открываю глаза.

Сгорбившись под ящиком на спине, надо мной стоит Энгель. Он нерешительно, словно боясь, заглядывает мне в лицо. Взгляд у него испу-

ганно настроженный. И я вдруг догадываюсь, зачем он вернулся. Я знаю.

Но почему Энгель?

На руках я откидываюсь к завалине. Упершись каблуком в землю, поворачиваюсь к нему лицом.

— Ты?

Энгель отступает на шаг и дрожащими пальцами берется за рукоятку затвора. Он с усилием загоняет в патронник патрон и бормочет:

— Эс тут мир зер ляйд...

Я понимаю. Он просит извинения. Это чудовищно. И невообразимо. Это ужасно. Видали ли вы этаких убийц? Читали ли о них в книгах?

— Эс тут мир зер ляйд. Абэр их хабе айнен бефель!¹

Да, конечно, он имеет приказ! Это уже знакомо. Это безусловно.

Ну что ж! Надо кончать. Мне нечего плакать. Тщетно также и просить. Стреляй, гадина! Только в самое сердце. Чтоб долго не мучиться!

— Беайльт ойх!..² — кричит с улицы ефрейтор. Оказывается, они пошли. Ему теперь их догонять. Они спешат. Может, через час тут будут наши?

— И ты меня убьешь? — кричу я в растерянные подслеповатые глаза Энгеля.

Я же его не убил. Я его защищал. Неужели он не вспомнит об этом?

На одном колене я подаюсь от завалины к Энгелю. Он на шаг отступает. Похоже, он боится меня и почему-то оглядывается. Глаза его округляются. Рукой он снова дергает рукоятку затвора. Из карабина туго выщелкивает и падает в снег патрон.

— Их хабе айнен бефель! — дрожащим голосом, словно оправдываясь, говорит он и быстро отступает еще на два шага.

Выстрел, как гром, пахнув в лицо красным пламенем, валит меня на снег.

Какое-то время затем я еще чувствую непонятные удары под собой — дуг-дуг-дуг... Я не знаю, что это — его шаги или замирающий стук моего сердца. Постепенно они затихают.

33

— Гражданин! Гражданин! А ну встаньте!

— Что разлеглись? Не дома!

— Вставайте! Сейчас же встаньте!

Между скамеек ходит дежурная с красной повязкой на рукаве и с ней милиционер. Они будят пассажиров, так как спать в зале не разрешается. Женщины, мужчины и парни, кряхтя и сопя, поднимаются.

После бессонной ночи тупо болит голова. Надо бы таблетку пирамидина, но аптечный ларек, конечно, еще закрыт. В огромных вокзальных окнах — синева рассветного неба. Начинается погостее майское утро.

Парня на скамейке возле меня уже нет — наверно, отправился своей дорогой. На его месте сидит женщина в цветастом платке. Подперев рукой щеку, она сосредоточенно смотрит в пол. Видно, также не вздремнула за ночь. Из другого ряда скамеек к нам забредает ранний на подъем малыш с побрякушкой в руках. Широко расставив искривленные ножки, доверчиво всматривается в меня, затем смотрит на женщину. Выражение лица у той не меняется. Малыш, неловко повернувшись, торопливо убегает за скамейку. Нас он побаивается.

Мне больше тут не сидится, и я иду к двери.

¹ Я очень сожалею... Но я имею приказ!

² Поторапливайтесь!

На площади еще по-ночному прохладно и пусто. Фонари уже не горят. В чистом просторном небе над городом быстро светает. Вот-вот должно взойти солнце. Напористый майский дождь быстро пронесся по улицам, крышам и бульварам, оставив после себя ароматную свежесть утра, мокрую листву и зеркальные лужи-озерца на асфальте. Лужи быстро округляются — сохнут.

Запах мокрых тополей наполняет сквер. Весенней сыростью и прелью пахнет набрякшая влагой земля. С ночи листвы на деревьях будто прибавилось, и она густо зеленеет, отрясая на землю холодные крупные капли. На пустой крайней скамейке — просиженная мокрая газета. Я опускаюсь рядом.

Энгель все же оказался нерадивым солдатом фюрера. Не очень целясь, он выстрелил всего один раз. А надо было бы два. Один выстрел меня не убил. Только на многие годы наделал забот докторам. И если я сейчас жив, то земной им поклон. Но первейший поклон тетке Гарпине. Это она, пожилая деревенская бобылка, не дала мне изойти кровью и замерзнуть. И теперь вместе с ненавистью к подлости в моей груди живет великая благодарность тысячам тысяч наших женщин — девушек и старушек, которые и кормили, и обогревали нас, и, случилось, спасали от костлявой.

Струи свежего воздуха вливаются в мою грудь. Кошмарно долгая и беспокойная ночь позади. Мне хорошо. И даже, неизвестно почему, становится радостно. Должно быть, оттого, что я все же избежал гибели и теперь вот, как ни странно, — живой. Хоть и с протезом вместо левой ноги. С недавно залеченным очагом в легких. Растеряв по больницам молодость, недоучившись, недолюбив. С двадцати лет инвалид. И все-таки жизнь — главное.

С привокзальной площади в сквер входит молодая пара с вещами. Впрочем, вещей немного: у высокого длиннорукого парня — чемодан с металлическими наугольниками и пальто. У нее — маленькой и остроносенькой, с виду совсем еще девочки — громоздкая дорожная сумка. Из-под простенького поношенного плащика сильно выдается живот. Щеки и переносье густо усыпаны веснушками.

— Вот давай гуг и присядем, — говорит она, ставя на скамейку напротив сумку. И вдруг спохватывается: — А где плащ?

Он, угловатый и неуклюжий в своей громоздкой несоразмерности, недоуменно оглядывается.

— В зале оставил?

— А! — догадывается парень и опрометью бросается из сквера.

— Маша ты растеряша, — бросает она вдогонку и смеется. Потом садится рядом с вещами на скамейку. Заметив мое к ней внимание, торопливо запакивает полы тесного в ее положении плащика.

— Такой забывака — страсть.

— Ничего. Привыкнет, — говорю я.

— Третий уже раз забывает. В деревне у моих оставил, когда отъезжали. Потом в автобусе забыл. Прямо беда. Как профессор какой-то, — охотно, будто даже с затаенной гордостью сообщает она.

— Далеко едете?

Она серьезнеет.

— Ой, на целину едем. В Кокчетав и дальше еще километров двести. Первый раз из дому — прямо страсть. Говорят, там ни деревца нет, а я так лес люблю. У нас такой лес дома!.. Вот поехала и все сомневаюсь: вдруг плохо будет?

— А он как? Хороший?

— Кто? Сашка-то? — Она поднимает глаза и смущенно улыбается. — Он — хороший. — говорит она нараспев, разглаживая полу пла-

щика.— Хороший. Шибутной только. После армии на целину завербовался. Комбайнером. Вырос в степи, так уж больно простор обожает.

— Это хуже.

— Что?

Она настораживается. В ее взгляде прямо-таки тревога. Я стараюсь улыбнуться.

— Да нет, ничего. Свыкнетесь. Со степью, разумеется.

— Правда? Ну что ж! Как-нибудь надо. Семья ведь теперь.

Она вздыхает и нетерпеливо поглядывает в сторону вокзала, откуда с плащом на плече уже бежит ее Сашка.

Вскоре они устраиваются на скамейке завтракать. Она деловито достает из сумки еду. Чтобы не смущать их, я отворачиваюсь. Мимо — по дорожке сквера, ползгивая каблуками «кирзачей», проходит солдат. Наверное, опаздывает из увольнения. Щеки его покраснелись, лоб потный. Спешит. По себе знаю: очень нелегко это — совмещать службу с любовью. Тихо переговариваясь о чем-то только одним им понятном, соседи мои начинают завтракать. Я слышу, он ее называет Катей, и мне очень хочется обернуться. Но нет, я знаю, той Кати не будет. Это другой человек, иная судьба. Впрочем, что ж — жизнь продолжается.

Я гляжу в дальний конец сквера, где появляется еще одна пара. Тесно прильнув друг к другу, они медленно идут к последней в ряду скамейке. Он бережно укрывает ее своим пиджаком. У самого плечи облегает мокрая рубашка. Но что там рубашка, если темноволосая головка преданно и счастливо льнет к плечу. Глядя на них, я слушаю быстро удаляющиеся солдатские шаги и думаю: кто бы и какие бы эти люди ни были — им принадлежит будущее.

Так пусть же они будут счастливее нас!

Авторизованный перевод с белорусского М. Горбачева.



Л. ГРИГОРЬЯН

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Но что же все-таки мы значим,
Когда нехстати и не впрок
На себялюбие батрачим
И зависти несем оброк?

Когда, тщеславьем полыхая,
Бежим от прямоты в кусты
И, гужась, корни извлекаем
Из неделимой простоты?

Нам проще охать у божницы,
Копаться в стынувшей золе,
Но только бы не очутиться
На отрезвляющем нуле.

Мы тычемся, как иностранцы:
Куда нам ехать? Как нам плыть?
И нам всего важней казаться,
И нам уже не важно быть.

А за окном светло и чисто
Шумят дожди, растет трава...
И разве страшно стать статистом,
Как облака и дерева?

И, не заботясь о преданье,
Войти народом в свой народ.
Влететь крупинкой в мирозданье
И капелькой в круговорот.

ЮЖНЫЙ ГОРОД

Как негаданно и нежданно
Прилетел ко мне на порог
Твой медлительный и гортанный,
Черноземный твой говорок.

Снова пробую снеди базара,
Снова трогаю улиц торцы

И радушные камни вокзала,
По которым идут пришлецы.

И халупы окраин саманных,
И укромность твоих площадей,
И щедротно летящую манну
Августовских твоих дождей.

Снова вижу сизые воды,
Где торжественно и светло
Нескончаемую свободу
Ощущаешь, схвативши весло.

Преломивши на бочках краюшки
В желтых метинах чешуи,
Беззаботно болтают у кружки
На закате трудяги твои.

Я иду к ним, не отличая
Их от кровного, своего,
Каждой клеточкой ощущая
Победительное родство.

* * *

Нет пророка в своем отечестве.

Из Евангелия.

Твердит суровые строки из века в век человечество.
И всё же пророки — пророки для своего отечества.

Пускай оно рывкало строго, пускай озирало зло,
Мытарило по острогам и головы им секло,

Плевало на них, как на шатию, клеймило, крестило, иначе,
Сначала голубило матерью, потом прогоняло мачехой.

Не ставило ни в полушку, от века считало нахлебниками...
Они ж оставались Пушкиными, Моцартами, Коперниками.

Они оставались двужильными, вокруг ног обвивались
жимолюстью
И пуще всего дорожили сладчайшей неотторжимостью.

Они пеклись не о вечности, когда на кострах полыхали,
А горький запах отечества вдыхали, вдыхали, вдыхали...

Ростов-на-Дону.



В. КОЗЛИН

★

АХ, СЕВЕР, СЕВЕР

* * *

Ах, Север, Север,
Снег да камень,
Неприютная сторона,
Не людьми — ветрами
Истоптанная целина.

Я пришел к тебе с Юго-Запада
В большой не по росту шинели,
У меня на губах города запахи,
А в глазах реклам карусели.

Я пугался, когда пурга
Завывала в стволе карабина,
Когда приходили в движение снега,
Покрывающие Хибины.

Но к тебе прислушивался,
Приглядывался.
Ах, Север! Я верил — ты лучше,
И радовался,
Когда затихала пурга
И над тундрой суровой
Величаво шли облака,
Похожие на сугробы.

ВЕСНА

Подстригают деревья —
Пойду и я подстригусь.
И, весенний,
Буду слоняться по городу,
Разглядывая витрины,
Афиши, газеты.
Крышевые капли
Засучат о мою голову
Прохладно, шекотно.
Я куплю мороженое
Не себе — солнцу,

Позвоно знакомым,
Скажу:
— Зима осталась
Лишь в ящиках мороженщиц.—
А к вечеру
Принесу в квартиру коммунальную
Сотню веснушек —
Солнц
На лице.

В ОКТЯБРЕ

В октябре деревья желты,
Пахнет спиртом палый лист
И резиновые боты
На ногах у разных лиц.

Прихожу домой с работы,
За учебники сажусь,
Интеллектуально до зевоты
В четырех стенах тружусь.

Выхожу из дома поздно
Подышать и посмотреть,
Есть ли нынче в лужах звезды
Или дождик на дворе?

А на дворе, а на дворе
Чернеют лужи в октябре
И Кировский завод
До звезд трубою достает.

Ленинград.



ЕВГ. НОСОВ

★

ДВА РАССКАЗА

Объездчик

1

В междуречье верхних притоков Днепра и Дона, по сухим увалистым водоразделам еще и теперь сохранились клочки дикой, непашаной степи, некогда уходившей от порубежных русских земель к Черному и Каспийскому морям — и дальше, за Волгу, в необозримые киргизские кочевья.

Места эти издревле заселялись полупахарями-полувоинами, «с конца копыя вскормленными», которым назначено было принимать на себя налеты бесшабашных половецких орд. Позже здесь обживались стрельцы и пушкарни, казаки и ямские люди и тоже пахали и сеяли промеж главным делом. С тех пор и остались во многих городах этой полосы, как память о беспокойной старине, стрелецкие и пушкарные, ямские и казацкие слободы. Правда, слободы уже не те: с кинотеатрами и кафетериями, с больницами и школами-десятилетками, а там, где раньше были ямские подворья и ночлежные станции с запасными тройками, стоят железнодорожные депо и вокзалы. Но до сих пор еще жителей называют по старинке — стрельцами и пушкарями, казаками и ямщиками, хотя ямщики уже давно пересели с облучков на поезда, да и стрельцы с пушкарями нашли себе новое дело. Русь раздвинула свои границы, и никто из теперешних слобожан не страшится, что вдруг наскочит дикий кочевник и отсечет кривой саблей иную зазевавшуюся стрелецкую голову или красавицу на модных шпильках уведут в полон в Крымское ханство. Теперешние стрельцы и стрельчихи и сами валят в Крым в несметном числе — полежать на южных пляжах. Бежит время!

Острова же тех прежних, первозданных степей затерялись теперь в безбрежном море паханых и перепашанных полей, окружены селами и деревеньками, опутаны шоссевыми и проселочными дорогами, по которым снуют автобусы и «волги» или катят грузовики со всякой колхозной пожитью — зерном и картошкой, молоком и сахарными бураками.

Но странная, непривычная тишина охватывает всякого, кто после каждодневной сутолоки, житейских дел и забот шагнет вдруг в дикие травы. Как и сотни лет назад, шумят, переливаются седые ковыли, одиноко, в вечном сне дремлют курганы, подернутые синеватой марью, и все так же кружат над дикой равниной отрешенные от всего степные орлы, под крыльями которых проносятся столетия: прошли когда-то Игоревы полки «испытать Дону широкого», прошла и конница Буденного — «от Касторной на Тихий Дон»...

Ранней весной рушится и оседает под щедрым солнцем серый торосистый снег, пробивают себе путь к земле талые воды, обнажая бурые, взъерошенные от прошлогодней травы пригорки и холмушки, а сквозь старую дернину уже востряты зеленые пики ковылей и типчаков. Едва зазелснев, степь сплошь золотится адонисом и сон-травой. В мае она уже бело-лиловая от диких ирисов и анемонов. В июне душно и густо синееет шалфеем, а к концу лета вдруг просияет ромашками, вымечет пуховые ковыли и заволнуется, засеребрится на ветру. Потом все это побуреет и поникнет, солнце иссушит, а дожди прибьют к земле мелко-травье, и только жестко и неприветливо будут торчать ржавые стебли конского щавеля да черные скелеты татарника. И побегит по степи проволочным клубком бездомное перекасти-поле. А вскоре падет снег, степь замрет, затаится до весны, а там снова — адонис и сон-трава, ирисы и анемоны... И так год за годом, века, а может быть, и тысячелетия в неумном и неистощимом круговороте.

Дикая вольница!

Пройдут краем степи мужики из соседних деревень, остановятся, любуясь ширью, и в который раз подивятся слепому неразумию этой праздной, еще ни разу не служившей человеку земли, что сама сеет, щедро и без усталости родит, сама пожинает свои плоды, ни с кем не делась, разве что с птицами. беспечно и расточительно обращая все, что породила за лето, в прах и тлен. Постомят, подышат пьяным полынным ветром и пойдут к себе, на соседние косогоры, к своим стократ паханым и перепаханым полям...

Остановился у пограничной канавы и сапрыковский мужичок Яшка — маленький, узкогрудый, в сером мешковатом пиджаке с отвислыми карманами. По-рачьи красное, безусое и сморщенное Яшкино лицо непривычно мало, будто так с самого детства и осталось, не обретя зрелых мужских черт, так и состарилось, подобно не набравшему силы, преждевременно оброненному деревом яблоку. То ли за эту детскость, то ли за терпеливую безропотность считали Яшку на деревне дурачком. В колхозе он не имел твердо определенной должности, посылали его на всякие работы, обычно невыгодные, на которые другие шли с неохотой, он же брался за все, был исполнительным, хотя по хилости своей охотнее всего прибивался к бабам — полел с ними бураки, сажал капустную рассаду, собирал долгоносиков. Все это не помешало ему, однако, жениться и наплодить кучу ребятишек.

Прикидывая сухонькую ладоньку к белесым детским бровям, Яшка глядел на буйный неприворот степных трав и бормотал:

— Ай-я-я... Зазря как... Ай-я-я...

— Чего уставился? — раздалось вдруг за его спиной.

Яшка пугливо вздрогнул и оглянулся. Большой, грузный, в армейской, сбитой набок фуражке, с круглым и сонным лицом, со следами отпечатавшихся на щеке травинки, к нему поднимался с бруствера пограничной канавы объездчик Игнат Заваров. Игнат тоже был сапрыковский, Яшку признал и потому особенно строго и нравоучительно изрек:

— На чужой каравай рот не раз-зевай.

— Поглядеть, чай... а что ж тут, если я из любознательности, — пролепетал Яшка.

— А чего глядеть? Трава — и трава.

— А трава она ноне тоже хитрось. Не стало-ть трав-то... Вот и люблю... Сена-то какие... Ай-я-я...

— Какие тут тебе сена?

— Да я так только... Предположительно. А вот и тут чернобыльник завелся. Почистить али как...

— Не твоего ума дело,— неохотно, разморенно отозвался Игнат.— Нам чернобыльщик не помеха.

— Дак ведь забьет, забьет...

— Науке все нужно,— вяло, будто показывая, что Яшке с его умишком все равно этого не понять, пояснил Игнат.— Науке что плохие травы, что хорошие.

Яшка поднял сухой ком земли, швырнул в суслика, любопытно и нахально разглядывавшего его с рассыпчатого холмика. Суслик сварливо заверещал, юркнул в дырку, мелькнув светло-желтыми подштанниками.

— И не швыряй,— наставительно и сурово сказал Игнат.

— Дак я суслика...

— Небось на столбе читал? Сказано: что произрастает и обитает на территории, охраняется законом.

— Какой суслик — закон? — усмехнулся Яшка.— Мы их на своем полю почем зря давим. А вы подбираете... Под закон приют даете.

— Давай, парень, налаживай лапти.— Игнат нахмурился, поигрывая крученой ременной плетью, пошлепывая ею о начищенную голяшку сапога.— Нечего мне с тобой попусту брехать. А то схлопочешь соли в штаны.

— А я канаву не переходил,— сощурился, скосив набок голову, Яшка.— На нашенской земле стою. А конь твой хрумкает запретную траву... А на столбе написано...

— Вот я те сейчас пропишу! — Игнат топнул по брустверу сапогом, в канаву посыпались комья.

Яшка отпрянул и пошел, опасливо оглядываясь.

— Давай-давай, чеши! — помахал вслед плетью Игнат.— Шляются тут...

Отойдя к придорожным тополькам, Яшка еще раз оглянулся. Игнат вразвалку, будто в морскую пенную волну, забрел выше колен в ковыли и ромашки и, тихо посвистывая, принялся ловить жеребца. Рослый, грудастый жеребец красивой буланой масти со светлой рассыпчатой гривой поднимал из трав узкую сухую морду, косился на Игната, откликнулся сдержанным радостным ржаньем. Игнат подходил к нему с вытянутой рукой, и конь то, косясь на ладонь, тянулся к ней с опасливым любопытством, то, будто передумав, взметывая шею, прижимал уши и бочком отходил, не даваясь, играя с Игнатов.

— Но, балуй мне, балуй! — добродушно сердился Игнат и, вдруг крупно шагнув, схватил повод, откинутый на луку. Конь приседал, рвал мордой, плясал, часто перебирая ногами, но объездчик легко, одним броском взлетел в седло и, будто сбросив лет пятнадцать, весь подобранный, помахивая плетью в прямо отставленной руке, пустил жеребца размашистым галопом по невидимой со стороны степной тропе. И Яшка, затаясь в жидкой тени тополька, невольно любовался и конем и седоком, завидуя вольному Игнатову делу.

2

Игнат появился в степи лет пятнадцать тому назад, вскоре после демобилизации.

Побывав в Берлине с казаками, поглядев на вражье логово и снявшись на искромсанных ступенях рейхстага, Игнат о четырех медалях на бравой груди летом сорок пятого воротился в свою Сапрыковку. Еще издали увидел он родные кровли, но в деревню сразу не пошел, а, как бы отдавая удовольствие, сбегал на луг под деревней, стащил гимнастерку, поплескался в торфяной копани, смыл дорожный пот. Улегшись

на мягком ковровом кочкарнике как раз против своей хаты, он вдыхал знакомый кизячный дымок, долетавший из трубы, вглядывался в отчий плетень, в поникшие, затяжелевшие головы подсолнухов и, растравляя себя ожиданием, смотрел, не выйдет ли кто из хаты. Со двора в огородную калитку вышмыгнул огнисто-красный петух, кукарекнул, будто по приветствовал, и пошел на грядки — должно быть, клевать огурцы. Петуха этого Игнат не знал, видно, завели уже без него, но все равно было приятно глядеть и на петуха — как-никак тоже родственник.

— Погоди ж ты! — радовался Игнат. — Вот я тя...

Снисходительно, с теплой усмешкой думал Игнат и о своих стариках. Мать небось топит печь, раз дым из трубы. Отец тюкает топориком махру в деревянном корытце. И не знают, не ведают, что сын их Игнат, целый и невредимый, старшина казачьего эскадрона Кременчугского, Белостокского ордена Суворова первой степени гвардейского имени Котовского кавалерийского полка лежит у них перед самым носом. И стоит только ему, Игнату, подняться и перелезть через плетень, как в доме и во всей Сапрыковке начнется великий переполох.

Обмахнув вересковым пучком легкие старшинские сапожки, шитые ему на заказ полковым сапожником, он достал из чемодана шпору, приладил, обдергал гимнастерку и, предвкушая столпотворение, суматоху, ахи и слезы, разговоры и выпивку, пошел по приседающим под ним кочкам к огородному плетню.

Все вышло так, как и хотелось Игнату. Мать заголосила, обхватила сухими руками его шею, бессильно повисла, уткнувшись впалым виском в Игнатовы медали.

Сестренка Нюска, вытянувшаяся за эти годы, с робкими пупырышками грудей, онемев, глядела из-за двери на брата, потом, точно опомнившись, шмыгнула из хаты, побежала в колхоз за отцом. Повалил народ — старики и бабы. Невесть откуда набилось полно ребятишек, босоногих, в выцветших и выгоревших рубашонках. Прибежал отец, протолкался к сыну, на ходу снимая кепчонку и крестясь. Запахавшийся, со струйками пота в седых висках, сел с Игнатом рядом на лавку и тут же трясущимися, непослушными пальцами стал крутить сигарку, будто затем только и бежал, чтобы закурить. Игнат обнял его за плечи и, чувствуя под пальцами худое, невесомое тело, проникаясь доброй, снисходительной теплотой к старику, на секунду привалил его к своей груди.

— Ну, батя, как жизнь?

— Дак как... Вот дождался. Вся тебе и жисть...

— Ну-ну...— Игнат шелкнул трофейной зажигалкой и уважительно, под ревностными взорами окружающих поднес отцу огонька.

Меж тем мать в окружении баб уже затеяла на кухне стряпню. На всю кухню запахло мокрым горячим пером. Разомлевший от духоты, Игнат протиснулся к ведру с колодезной водой. Напившись из старого, с детства еще памятного медного ковшика, постоял над корытом, у которого присевшие на корточки бабы ошипывали кур. Мать сноровисто обдергивала ошпаренного кочета, того самого огненного петуха, что давеча первым выбежал навстречу Игнату и голосисто приветствовал его.

— Откукарекался, — усмехнулся Игнат.

— Да уж все огурцы издолбил, — с радостной готовностью отозвалась мать. — Не чаяла, как избавиться.

Кто-то принес бутылку самогона, к ней донесли другую, наташили соленых огурцов, капусты, у кого что нашлось на скорую руку. Игнат, со своей стороны, выставил две бутылки припасенного спирта, достал кусок сала, селедку, и пошло накатываться, как снежный ком, веселье — до свету и от свету допоздна. Все перемешалось: и день и ночь. Игната поздравляли с благополучным возвращением, плакали по своим невер-

нувшимися, зарытым — какой под Орлом, какой под Варшавой, а то и просто неизвестно где,— расспрашивали Игната, когда должны отпустить домой, ежели служит в артиллерии или еще где. Люди приходили и уходили, и только один Игнат сидел в красном углу бесменно, упрямо не покидая стола. Невыспавшийся, с оплывшим лицом, он чокался с вновь прибывающими, пьяно целовался, не выпуская стопки из руки, обнимал односельчан.

— А во — видели? — говорил он в который раз, беря со стола камень.— От самого рейхстага.

— Скажи ж ты! — Бабы пугливо пялились, разглядывая обломок, и почему-то все до одной прикидывали его на ладони.— А вроде как обыкновенный...

На второй день на таратайке с железными ходами от плуга в передке подъехал Васюхин, сапрыковский председатель. Длинный, с пустым рукавом, желтым сухим лицом язвенника, выбывший из войны в самом ее неинтересном месте — осенью сорок первого, без медалей,— Васюхин уважительно и заискивающе глядел на целого и невредимого Игната и даже наперекор донимавшей его язве с охотой выпил с ним стопку.

— За благополучное возвращение — это можно,— радостно сказал он.— Это мне никто не воспретит.

— А вот это — видел? — Игнат подсунул обломок к Васюхину.— От самого этого самого...

— Пошабашили, значит.

— В пух и прах расколошматили.— Игнат захохотал и стукнул кулаком по медалям.

— Н-да...— Васюхин задумчиво повертел обломок.— Оно, сказать, и у нас кирпича набито порядочно. Ох и набито! И не только кирпича... Из нашей Сапрыковки за все годы почитай рота ушла. А возвратились Захар Зуев, Ванек Чугунов да вот ты.

— Смертью храбрых, значит! Выпьем за смертью храбрых!..

— И в колхозе тоже,— сказал Васюхин.— Один трактор и семь пар волов осталось. На бабах до сево дня пашем...

— Ну, это все ерунда. Свои кирпичи...— Игнат, красный, потный, весь словно пропитанный хмелем, обнял, положил свою тяжелую лапу на остренькие плечи Васюхина, жарко и пьяно запел ему в шею:— И по камушку, по кирпичику...

— Да уж как-нибудь сообща залатаем...— закивал Васюхин.— Я небось больше отца-матери тебе рад.

Походив еще недели две по родным и знакомым, Игнат наконец выбился из сил и несколько дней отсыпался. Постепенно интерес к нему пошел на убыль. Мать больше не рубила к завтраку курицу, перевела все до единой в первые дни приезда и теперь виновато ставила на стол пустой суп, заправленный черными шкварками лука, и неизменную картошку с огурцами. Отец пропадал на конюшне, и Игнат, вяло позавтракав, в томлении топтался по знойному, заросшему просвирником двору или, опершись о плетень с торчавшими на кольях жаркими, раскаленными на солнце горшками, в которых заунывно трубил ветер, смотрел на деревню. Глядел он на серо-пыльную дорогу улицы, безлюдную об эту пору дня, на унылые ряды соломенных крыш, не перекрывавшихся еще с довоенных лет, обветшалые, посеревшие от дождей, придавленные старыми боронами и лемехами, глядел на низкий, сырой луг в черных рябинах нарезанного торфа, слушал кудахтанье кур, забившихся в крапиву, в сухую жаркую тень от плетней и сараев, и поднималась в нем тяжелая и мутная тоска и раздражение.

Иногда он забредал к отцу в конюшню. В длинном приземистом сарае было сумрачно и пусто, тянуло гнилой соломой, било в нос крепким.

как спирт, запахом застоялого, забродившего в духоте навоза. В косых столбах солнечного света, сквозившего в дыры на крыше, носились и зудели бронзово-зеленые мухи. Игнат, в начищенных сапогах, праздно-брезгливо пробирался по истыканному копытами вязкому проходу, заглядывая в пустые стойла, на которых остались еще дощечки с кличками когда-то стоявших здесь лошадей. Теперь в конюшне ютилась вся колхозная живность: несколько коров, десятка два овец, семь пар волов и единственная лошадь — председательский мерин. Но днем конюшня была пуста, скотина паслась или работала, лишь в одном стойле лежал, уткнувшись мордой в пах, с намазанной дегтем холкой маслятый большерогий вол.

В каморе с узким длинным оконцем и кой-какой сбруей на деревянных гвоздях отец, ссутулясь, ковырял шилом хомут. Игнат присаживался рядом на раковитовом чурбаке, оба закуривали и молчали.

— Для чего хомут-то? — спрашивал Игнат.

— Как — для чего?

— Лошадей-то нет.

— Жив живое гадает. Про запас. Все равно так сажу. До вечера.

Игнат сосредоточенно дымил сигаркой, пуская струю себе в сапоги, оглядывая нехитрый упряжный скарб каморки.

— Вот у мадяров хомуты... Серебром отделаны. И с рогом. На каждом хомуте рог торчит.

— Рог-то для чего?

— А так. Для красоты... И скрипки любят. Как цыгане. Усы почти у всех. А сало — крашеное. И хлеб белый. Круглыми ковригами на полпуда. Огромные рундуки, а там овес... А в овсе — сало и коврига. А то и сливянки перепадало... Крепкая, зараза.

Игнат хотел было рассказать, как он выменял у одного поляка за десять тысяч таблеток сахара турецкого жеребца. Поляк тот у одного графа кучером был. Граф с немцами бежал, а жеребца бросил. Весь кипенно-белый, со змеиной шеей и злыми фиолетовыми глазами. И как потом он, Игнат, градевал на нем, когда проходили города, и как полячки забрасывали эскадрон тыльпанами. А одна, особо выделив Игната, подбежала и воткнула в стремя белую яблоневую ветку...

Но, вспомнив, что обо всем этом уже рассказывал, Игнат вздыхал и, скучая, поглядывал в оконце, за которым пустынно голубело выцветшее сапрыковское небо. И опять ему становилось невмоготу тоскливо. В такие минуты он чувствовал себя не просто демобилизованным, а выбитым из седла, несправедливо разжалованным, как-то сразу потерявшим свою старшинскую власть, чин и все привычные привилегии.

— Ну, я пойду,— бросал он, вставая.

— Зашел бы к Васюхину,— говорил вслед отец.

— Зачем?

— Наказывал, чтоб зашел. Может, дело какое?

— Какое у него дело? Сам на железных ходах ездит...

По вечерам, позвякивая шпорами, с резной ивовой тростью Игнат шел на деревню, выпивал где-нибудь самогонки и уже подвыпивший, повеселевший вваливался на девчачий пятачок. Собирались обычно возле сельсовета. Сельсоветский сторож дед Леонтий приносил с собой на ночное дежурство старую, залатанную ливенку, и вокруг него собирались позоревать ребятишки, девки и бабы. Игнат беспечно балагурил, плясал, иногда, разойдясь, посылал ребятишек на эгород за огурцами и, подбрасывая один за другим огурцы высоко над головой, вдрызг разбивал их тростью, отдавая всех огуречными семечками.

Ребятишки млели перед Игнатовой ловкостью.

— Это что! — говорил он небрежно. — Вот бы шашку. Рубал бы на заказ: кому на скибки, кому от пупка до хвостика.

— И не надоело тебе шашкой-то махать? — говорил дед Леонтий. Игнат хмыкал.

— Теперь, знай, косу вострить надо.

Под осень заезжие плотники подрядились сладить обветшалую конюшню. Игнат сошелся с ними, бегал для них за самогоном, а когда пошабашили, ушел с бродячей артелью в город. Где он пропадал потом, никто не знал, только через год Васюхин, проезжая мимо, встретил его в степи — с ружьем и в седле.

— Стало быть, в городе не понравилось? — спросил Васюхин.

— А! — Игнат неопределенно махнул рукой.

— Промеж городом и деревней обосновался?

— Опять в казаках!

— Что ж фуражка-то не казачья?

— Ту потерял. Вот новую купил в военторге.

— Дак эта ж летчикская, — заметил Васюхин, поглядев на голубой околыш.

— А! Хрен с ней! Дело не в фуражке, а — что под фуражкой, — усмехнулся Игнат. — Так, что ли, земляк?

— Так-то оно так...

— А ты все на железных бегунках катаешься? Поди, тряско?

Васюхин не ответил, тронул вожжи.

— Так что кланяйся отцу с матерью, — уже вслед Васюхину сказал Игнат. — Передай — мол, опять в казаках. А я как-нибудь наведаюсь.

3

С той поры уже пятнадцать раз по весне степь зацветала золотой сон-травой и пятнадцать раз, отковылившись, бурела и замирала под снегами.

За это время ушла из Игната дурашливая бесшабашность прежних лет, когда он, бывало, подвыпив, особенно на праздники, устраивал для сотрудников заповедника — ботаников, почвоведов — и студентов-практикантов «рубку лозы»: натыкал вдоль степной дороги ракитовых шестиков с пучками травы и, лихо гикнув, припав к коню, пускался поддевать их и сбрасывать через себя самодельной деревянной шашкой. Ботанички смеялись до слез и в знак восхищения его удалью надевали на разгоряченную Игнатову голову холодный венок из одуванчиков. По вечерам на центральной усадьбе танцевали под трофейный итальянский аккордеон или играли в волейбол. Игнат тоже пристраивался и все норовил попасть кулаком по мячу изо всей силы. Ботанички принимались обучать Игната правилам, и ему льстило, что эти ученые барышни, диковинно тоненькие, в узких наглаженных брючках, похожие на полек, которые осыпали его эскадрон цветами, обращали на него внимание. И вообще против сапрыковской жизнь здесь в степи была не в при- мер интереснее.

Вскоре, однако, Игнат соблазнил-таки «рубкой лозы» здешнюю кассиршу. Для молодых устроили свадьбу с речами, тостами и подарками и даже выделили комнатку в только что отстроенном коттедже. Но жить у всех на виду Игнату быстро надоело, и он попросил разрешения поселиться отдельно.

Для жительства Игнат облюбовал глухой лесистый лог на краю степи, поросший дубняком, дикими грушами и лещиной. Когда ходил выбирать место, спугнул волчий выводок и выстрелом из ружья уложил матерого.

— Хватит, пожил. Теперь я тут жить буду,— посмеялся Игнат, подняв за хвост взъерошенного зверя.

Срубил крепкую дубовую избу, выложил камнем погреб, на вольные сена завел корову, поставил во двор казенную лошадь, купил батарейный приемник, индюков расплодил... Все пошло своим чередом. Приосанился, посолиднел. Однако по старой привычке по-прежнему носил военные фуражки. Фуражки и теперь были его страстью, он перепробовал все рода войск и, хотя чуб его давно вытерся до звонкой арбузной плешу, носил их с фасоном, свалив на левое ухо. Фуражки придавали его калмыцкому лицу, багрово-глянцевому на скулах, вид внушительный и весьма административный. Мужики из соседних деревень давно уже почтительно именовали его Игнатом Степановичем.

Перекинув через плечо ружьишко, казавшееся за его широкой, заметно погрузневшей спиной игрушечным, он неспешно объезжал степь, глядел, чтобы не забредала скотина, не шастали за ягодой ребятишки и вообще чтоб не было никакого баловства. А укачавшись в седле и притомившись на солнцепеке, отпускал коня побродить и приваливался в тень подремать.

Иногда, особенно по воскресеньям, в степь наезжали туристы или так просто любопытствующие. Побродив по степи с экскурсоводами и наудивлявшись, они просили разрешения перекусить на лоне природы. Игнат выжидал, пока гости войдут в азарт, чинно подъезжал к компании и, не слезая с коня, предупреждал:

— Только прошу, чтоб все аккуратно. Бумажки, окурки...

— Конечно, конечно! Мы понимаем...

И почти всегда в таких случаях Игната приглашали перекусить.

— Благодарю,— степенно отказывался Игнат.— На службе. Никак нельзя.

Гости умилялись Игнатовой строгости к самому себе, наливали стопку, подавали в седло.

— Ну разве что одну... За знакомство.

Игнат запрокидывал голову, выпивал, благодарил, брал с протянутой вилки кружок колбасы и, еще раз предупредив, чтоб «все было в аккуратности», с достоинством отъезжал.

— А цветов можно сорвать?— спрашивали гости.

— По букету — это можно,— разрешал Игнат.

Выпадали и особенно урожайные дни, когда Игнат по стопочке «за знакомство» к вечеру набирался-таки порядком. В общем, служба была сносная.

Иногда Игнат наезжал в свою Сапрыковку, привязывал под окнами лошадь и с торжественным видом ставил на стол бутылку водки — выпить с отцом. Отец, теперь даже летом не вылезавший из валенок, выпивал самую малость, и Игнат потихоньку приканчивал всю поллитровку.

— Ну как вы тут живете-можете? — снисходительно расспрашивал он, подразумевая, что в сравнении с ним в Сапрыковке никто крепче не живет.

— Да как живем...— неопределенно говорил отец, глядя слезящимися глазами на свои корявые кисти рук, казавшиеся непомерно большими по сравнению с худеньким его телом, будто они еще продолжали расти и узловатеть.— Вот по троице схоронили Васюхина. Царство ему небесное.

— Что так?

— Сгорел мужик. Не поест, не поспит вовремя. Все мотался по полям. Думал поскорее сладить дело. А выходит, одной-то жизни и не хватило.

— Другого дадут,— успокаивал Игнат.— Свято место пусто не бывает.

— Дак больно душевный был Иван-то. Жалко.

— Кого теперь метят?

— Дак кого... Чепляют нас теперича к Алябьевке. И Сосновку туда же. Ихний и будет теперь над нами. Теперь мода на укрупнение пошла. Сказывают, и другие деревни так же одна к другой лепят. Как бы не вышло: где широко, там и мелко...

— Стало быгь, невесело живете...

— Дак пока плясать не из чего... Пока все гармонь ладим.

Игнат скучающе смотрел в окошко, на все тот же кочковатый луг в черных рябинах торфяных копаней.

— Что ж ко мне не заглянешь? — спрашивал он под конец.— Внуков бы поглядел. И вообще как живу.

— Теперя вот, видагь, совсем к лавке прирос. Ноги не шастают... Свез бы — дак почему же не посмотреть.

— Свезу,— обещал Игнат.— На Октябрьские.

Отец с первыми осенними дождями слег и вскоре умер. Похоронив его, Игнат все реже навещался в Сапрыковку, а когда мать уехала жить к Нюске в Кокчетав, свез старую хату к себе в лог, сладил из нее амбар и с тех пор больше в деревне не бывал.

4

Весь этот день нещадно парило. По всему горизонту зыбился перегретый воздух, вместе с ним текла и струилась степь, а к полудню в белесом небе появились тяжелые гряды облаков. Казалось, вот-вот дело кончится оглушительной и разгульной грозой с ливнем, который снимет с земли тяжкое бремя удушья. Но, так ничем и не разрешившись, небо вскоре очистилось, облака скатились к востоку и там, потеряв свою пышность, слеглись над курганами в плоскую, длинно вытянувшуюся пепельно-сизую завесу. И только к ночи в той стороне стало глухо погромыхивать. Показавшаяся было огромная багровая луна исчезла. Мгновенными вспышками далеких молний все чаще выхватывало из темноты тяжелые хребты поворотившей обратно, в степь, тучи.

Отпустив поводья, с бездумно приятным звоном в голове от выпитого вина Игнат возвращался домой с объезда. Жеребец размеренно шлепал по мучнистой дорожной пыли, укачивая Игната в седле, и тот временами задремывал, по старой привычке чувствуя коня одними только коленями.

Иногда он поднимал голову и, поглядывая на острые конские уши, проступавшие из темноты при вспышках далеких молний, přátельски говорил жеребцу:

— А я, брат, опять нынче выпимши... Служба, брат, такая... А ты вот меня вези теперь... Потому как я тебя, стервеца, можно сказать, из смерти извлек. Была бы из тебя колбаса по рупь сорок с чесноком. А теперь ты как в царстве небесном... Никаких хомутов и трава до пуза. Понял? Ну и хозяин один...

Гола три назад из соседних колхозов вдруг валом погнали лошадей. Из одного колхоза гонят, из другого. Заинтересовался Игнат, вышел на пограничную канаву спросить мужиков, что за оказия.

— Бумага такая пришла,— говорили мужики.— Чтоб гнать, стало быть, на мясо.

— У вас что ни год, то новые указы,— посмеивался Игнат.— То зайцов пускаетесь разводить, а теперь вот лошадей изничтожаете.

— А мы — что? Нам как скажут, — оправдывались мужики. — Говорят, что дармоеды лошади-то. Вот их за это и побоку.

— Худому плясуну завсегда свой зад мешает.

Выходил Игнат и в другие разы к канаве, приглядывался к лошадям, порешив воспользоваться удобным случаем и обменять у мужиков своего застаревшего мерина на молодого конька. Им-то что? Им все едино, лишь бы счет головам. Примеривался внимательно, по-хозяйски и выглядел-таки себе вот этого буланого, в ту пору еще не объезженно-го, дурашливого стригунка. Шел буланый за медленно каившими дрогами в табунке таких же молодых кобылок и жеребчиков, не подозревая, какая ему уготована участь, игриво гнул шею с коротко подстриженной светлой гривкой, пружинисто и мягко вытанцовывал высокими, еще не стоптанными восковыми копытами — гибкий и легкий, с нежно вздрагивающей при каждом переступе грудью. Шел. льня и ластясь к кобылкам, западал ушами и скалил чистые зубы на соперников, дружков и сотоварищей по лугу, по вольной ночной пастьбе, а мужик, сидевший в дрогах, время от времени досадливо хлестал молодняк кнутом:

— Ну, разыгрались тут!

Погонщик, оказавшийся сапрыковским конюхом Иваном Чугуновым, даже обрадовался, когда Игнат предложил ему обмен.

— Выбирай любого, Игнат Степаныч. Все едино в распыл пойдут.

Игнат обошел коней, присматриваясь.

— Бери вот этого, со звездой. Отец его полторы тонны возил, как машина. И без поломок, не пробуксовывал, лопатой не откапывали.

— Нет, мне порезвей бы... Под седло чтоб.

— Бери под седло.

— Буланого возьму, — решил Игнат, но все еще продолжал шарить глазами по стригунам: не прогадать бы.

— Буланого так буланого, — одобрил Иван. — Войдет в лета — зверь будет конь.

Игнат достал специально припасенную бутылку перцовки, отъехали в сторонку, выпили прямо из горлышка.

— Говорят, теперича все машинами будем делать, — заговорил Иван, сразу охмелев и слезливо заблестев глазами. — А я так скажу: конь машине не помеха, а наоборот, подмога. Машина машиною, а конь завсегда исправен и на мази. Вдруг развезет, носу не кажи, или завьюжит. Да и по мелочам, по деревне — торфу воз, мешок ли на мельницу, картошку выпахать. Семьсот дворов в колхозе — на каждый машину не напасешься. Так ведь, Игнат Степаныч? Рассуди.

— Им с горы виднее, что делают.

— И опять же, уж больно жалко лошадей-то. Корову не жалко, свинью. Этих и сами били, и возить возили живым весом. А лошадь в жисть никто не трогал. Лошадь ведь!.. Как бумагу-то получили, чтоб, значит, в распыл, мужики весь день на конюшне колготились: глядели, какую свести, а какую приберечь. Выведем на свет, глядим-глядим, да и опять поставим. Жалко! Этак раза по три каждую выводили и заводили. Поначалу наскребли десятка полтора, каких постарее да если где подшиблена. А теперь вот и до малолеток добрались, потому как звонят, укоряют.

Игнат курил, глядел на выбранного жеребчика и, уже считая его своим, любовно примечал, как тот бойчится, задирается с одногодками.

— А жеребчик пусть у тебя, Игнат Степаныч. Это я с радостью. Во степу пусть гуляет. Была б моя воля — всех бы тебе отдал. Дети ведь еще... Вон и балуются, как дети малые... Эх!

Игнат, сняв седло, пристегнул своего мерина к телеге и отвязал буланого. Телега тронулась. И долго еще буланый рвал из рук Игната

повод, останавливался и тревожно, тонко ржал вослед пылившим по дороге лошадям, не хотел отделяться от товарищей.

Конь, как и прочил Иван Чугунов, на вольной степной траве, под хозяйской рукой получился добрый, и Игнат баловал его и холил, любя ревнивой цыганской любовью.

Между тем гроза обкладывала степь широкой огненной подковой. Глухо, настороженно темневший восток где-то по ту сторону плотной завесы внезапно вспыхивал на полгоризонта, мгновенно становились видны аспидно-синие хребты тучи, на мертвенно-призрачной, белесой от ромашек плоскости степи черным разломом прорезалась дорога, будто в этом месте треснула земля и разошлась, раздвинулась глубоким провалом. Потом все снова тонуло в глухом, беспросветном мраке, и уже в темноте тягуче прокатывался запоздалый гул грома.

Игнат, однако, не торопил коня, ему даже нравилось вот так одному ехать под громами, чувствуя себя в этот поздний час единственным властителем заповедного степного царства. Правда, в степном этом мире, кроме него, обитали еще и другие, но у тех было свое дело, которое они называли наукой, а у него свое — объезд. Заповедных сожителей Игнат не принимал всерьез и про себя думал о них снисходительно и скептически. Вся их наука казалась ему детской игрой: то они, прогннув через кусок степи рулетку, высчитывали, сколько на ее протяжении встречается злаков, а сколько белых и красных клеверов, то детским совочком выкапывали какие-то корешки и, чему-то радуясь, укладывали их в папки, а то набирали в пробирки землю и потом у себя, на главной усадьбе, долго разглядывали ее под микроскопом. Люди они были вежливые, к Игнату относились уважительно, ничем ему не докучали, тем более что свою службу он нес исправно, со строгостью, без какого бы то ни было панибратства даже с мужиками из своей Сапрыковки.

Игнат дремотно прислушивался к далеким раскатам грома и лениво думал о том, что ночь нынче будет тоже жаркая и душная, что в хату он не пойдет — блохи, да и жена заругает, а лучше всего спать ему в сарае на сеновале, где никаких блох и где духovitый воздух от свежего сена и хорошо протягивает сквозняком в чердачное окно...

Жеребец вдруг остановился, и задремавший было Игнат поднял отяжелевшую голову. Под конем заплескалось, запахло взбитой пылью и теплым пивным запахом конской мочи. Ленясь слезть с коня, он и сам помочился — прямо из седла. И, справив нужду, ощущая под рукой теплую, вздрагивающую от прикосновения холку жеребца и проникаясь к коню дружеским расположением, добродушно сказал:

— Во... А теперь, брат, давай покурим.

Он полез в галифе за папиросами, но вдруг насторожился, задержал руку в кармане. Повернувшись в седле, вытянул в темноту голову, прислушался.

Справа, из душной, туго натянутой тишины явственно донеслось: ж-жик... ж-жик...

— И-и... — в неожиданном замешательстве потянул Игнат горлом воздух, и враз взмокло у него под фуражкой темя. Косят!

Наливаясь яростью, он бесшумно свалился с коня, зашарил руками у края дороги, нащупал куст чернобыльника, сгреб его снопом, захлестнул вокруг повод, чтобы жеребец никуда не ушел. Дождавшись, когда между грозных раскатов снова осторожно завжикала коса, все еще не веря и удивляясь этому звуку, Игнат определил направление и, крадучись, ступил в траву.

— Ах мать твою... — бормотал он, по-петушиному пригнувшись, вытянув шею и прокрадываясь по рослой густой траве. — Ах ты зараза! Косит!

Небо полыхало, на миг мелькнули перед Игнатом седые космы ковылей, и ему вдруг почудилось, будто увидел он сразу несколько человек, рассыпавшихся по траве.

Он упал и затаился. Часто дыша в липкую паутину ковылей, стал соображать, что ему делать. Выждав молнию, сторожко высунулся из травы: перед ним чернели метелки конского шавеля, которые он принял за людей.

«Померещилось...» — подумал он. Но тут же явственно донеслось: ж-жик... ж-жик...

— Нет, косят. Один косит... — определил Игнат, прислушиваясь. — Где ж ты есть?

Пробежав несколько шагов и остерегаясь, как бы его не увидели, он при очередной вспышке снова упал в траву. Грохнул оглушительный, разломистый раскат грома. Игнат тотчас подскочил и, пока грохотало, перекатывалось из конца в конец неба, пользуясь наступившей темнотой, сделал перебежку. Снова присел, затаился, дожидаясь света, нетерпеливо вытягивая голову поверх трав. И когда небо пронизали сразу в нескольких местах пучки молний, увидел впереди себя, шагах в тридцати, темную фигуру косца, увидел в его руках белое, новое, недавно выструганное косье.

— А-а, сволочь! — злобно обрадовался Игнат.

Примериваясь, как его взять, как налететь сзади и заграбастать поперек вместе с руками, чтобы не успел замахнуться косой, Игнат, весь напрягшись, изготовившись к прыжку, привстал, но вдруг в тишине залившимся, протяжным ржаньем его позвал жеребец. Косец, выхваченный молнией, замер, лицо его, мертвенно-голубое, с черными провалами глазниц, было повернуто к Игнату, но тот не успел разглядеть, как тотчас, поглощенное темнотой, видение исчезло.

— Будь ты неладен... — обругал Игнат нашумевшего жеребца, вскочил на ноги и побежал, тяжело давя траву и уже не стараясь пригибаться. И когда степь снова полыхнула, увидел, как впереди верткой серой мышью улепетывал косец.

— Сто-о-й! — закричал Игнат. Запнувшись о что-то, с размаху грохнулся на землю, нащупал рукой мешок, туго набитый травой. — Стой, паразит! Стрелять буду!

Ружья в этот раз при нем не было, и он, досадуя, что нечем пальнуть, напрягая все силы, стервенея, пустился вдогонку, засекая в мгновенных вспышках мелькавшую перед ним призрачную фигуру, чтобы гнаться потом за нею в темноте по памяти. Косец и не думал останавливаться на окрики, и Игнат, загораясь неукротимым охотничьим инстинктом, яростной гончей жаждой догнать во что бы то ни стало, хрипло подбадривал себя, до боли сжимая кулаки:

— Ну, поймаю... Ну, поймаю...

Почувствовав, что его догоняют, косец заметался, запетлял по степи, появляясь при внезапном свете в неожиданных местах и своей заячьей верткостью еще больше распаяя Игната. Наугад прикинув, куда должен на этот раз вильнуть беглец, Игнат скакнул наперерз и чуть не столкнулся в крошечной тьме с мужиком.

— Ну... Вот он... я-а-а! — запаленно и вызывающе заверещал мужик.

Игнат молча с разбегу ударил его давно стиснутым и занемевшим от налитой свинцовой ярости кулаком в голову. Мужик ойкнул, и Игнат, не давая ему опомниться, торопливо навалился на него, как на недорезанного барана. Чувствуя под собой хлипкое тело, не способное всерьез сопротивляться, он стал поспешно ловить его руки, захватывая вместе с руками траву, сгоряча выдирая ее с корнем. Мужик, придавлен-

ный к земле, колотил ногами. Игнат сел ему на ноги, сдернул с живота ремень, обхватил мужика, как вязанку хвороста, ремнем, туго застегнул, заломив ему за спину руки.

— Бо-ольна-а! — заскулил мужик, уткнувшись лицом в траву.

— А-а, п-пара-зит,— злорадно прохрипел Игнат, еще не отдышавшийся от бега.— Знал, куда шел, а? Знал, что делал?

— Бо-льна-а! — стонал мужик.— Ногам больна-а... Не сиди...

— У, ворюга! Да я из тебя душонку вытряхну! — Игнат сгреб в кулак пиджачишко на груди мужика и остервенело потряс.

Голова мужика безвольно заболталась, ударяясь об Игнатово плечо.

— Все равно ведь прахом,— заскулил из темноты мужик.— Через месяц дожди... Снега покроют... Ежели б я в мае...

— Не твое — не тронь! — отрезал Игнат.

— Не тронь?! — вдруг взвизгнул мужик.— А где мне косить? Где? Луга позапахали, в колхозе без сенов бедуют. Пасти негде, косить нечего... А у меня их пятеро, кроме самого да бабы... Я и так по болоту по горло с косой... Осоку да хмызу... Оттого и ревматизма... А ты на ноги сел... Да еще кулаком...

Игнату почудилось, будто где-то он уже слышал этот голос, хотя не мог припомнить где и когда... В деревне он давно уже не бывал и даже с прежними своими друзьями не водился. Разве что иногда, встретясь у канавы, перебросятся парой слов.

Мужик замолчал.

По степи внезапно пронесся горячий, перемешанный с брызгами близкого дождя ветер. В черной утробе тучи, уже заслонившей полнеба, вдруг сверкнула слепяще-белая молния, распустилась огромным сучковатым, корявым деревом и на миг задержалась, четко проступив на черном небе каждой веткой. Сухо, оглушительно треснуло, будто дерево это, надломившись, полетело из поднебесья вниз маковкой и тяжело, обламывая сучья, грохнулось о землю где-то совсем поблизости. В темноте испуганно заржал Игнатов жеребец, и от дороги донесся торопливый топот. Игнат догадался: жеребец вырвал куст и поскакал ко двору.

Степь глухо, прибойно зашумела растревоженными травами. В мертвенном свете новой вспышки всколыхнулись, заметались вокруг Игната ромашки. Игнат взглянул на мужика и увидел его скорченного, судорожно вздрагивающего в беззвучном плаче.

— А ну ты! Пошли, хватит! — прикрикнул Игнат.— Меня слезами не возьмешь. Знаем мы...

Мужик не отозвался, и тогда Игнат, матерясь, схватил его за ремень, рывком оторвал от земли и, как сноп, поставил на ноги.

— Думал: гроза, нету Игната? — злорадствовал Игнат.— Что — выкусил? Вот закатаю, паразита, под статью...

— На, веди, веди! — бабым голоском, визгливо вскрикнул мужик и дернул связанными руками.— Веди! Я и сам пойду. Пойду и скажу... На суде скажу! Перед всем людом... Сам ты паразит, Игнатка!

— Давай-давай, топай! Огрызайся мне! — Игнат подтолкнул мужика в лопатки.

Тот пробежал несколько шагов, остановился и вдруг пошел на Игната.

— Я не бег... Не бег... — кричал он, подступая к самому лицу Игната.— Я с колхозом жил. Хорошо ли, плохо, а жил... Помогал... Все делал... Моего поту там полито...

— И там воровал.

— Нет, брешешь... Былки не тронул... А ты...

— Что — я? — усмехнулся Игнат.

— А ты — убега... Укрылся... В овраг спрятался... А только от людей не спрячешься. Люди видят твою жизнь... Наблюдают, какой ты есть...

— Что люди видят? — заорал Игнат. И, зверея, ткнул мужика в грудь. — Что твои люди видят? Говори, гад, что за мною видно? Воюю? Чужое хапаю?

— Сам ты гад! — отчаянно выкрикнул мужик, и опять в его голосе Игнату послышалось что-то знакомое. — Мне теперь все равно. Бей! А только гад ты и есть. Канаву перебега и спрятался... Как серая козуля, под закон...

Пальцы Игната сами собой стиснулись в кулаки.

— А теперича мы тебе не товарищи! — кричал мужик. — Разве ты степь стерегешь? Ты себя стерегешь... Свое жительство... Власть над собой не знаешь... Сам на других покрикиваешь... Кому дозволить, кому не дозволить. Ружьем на своих грозисси... Логово свое в овраге ружьем оберегаешь...

Жарким толчком кровь ударила в виски Игната.

«Ведь ушибу, враз ушибу... как клопа...» — поостерег себя Игнат, беленея от выкриков мужика.

— Волк ты овражный, вот ты к...

Не помня себя, сам не ожидая того, только безнадежно, с сирым придыхом вскрикнув: «А-эх!», Игнат из-под низу сунул кулаком в темноту. Под кулаком хлопнуло, мужик, захлебнувшись какими-то словами, опрокинулся и исчез под ногами в шумящей траве.

— Я вам догляжу!.. — дрожа плечами, ярился Игнат.

Лил крупный, косой, шквалистый дождь. Игнат и не заметил, как он налетел. Тяжелые, будто свинцовая дробь, капли стегали его по голому вспотевшему темени.

— За мной нечего доглядать... Судья нашелся.

Поискав оброненную в схватке фуражку, Игнат напялил ее и, успокаиваясь, остывая, обтер лицо ладонью. Мужик больше не кричал. Он словно растворился в хлюпающей непроглядной темноте. Вытянув ногу, Игнат пошарил ею перед собой, нащупал лежащее тело, пнул сапогом.

— Ну ты... — окликнул он.

Мужик не отозвался.

Игнат подумал, что следовало бы составить акт о потраве... Но как его составлять, когда льет и темень... Придется тащить потравщика на главную усадьбу и запереть до свету... И опять же, как его тащить такого? А ежели сильно харю расквасил или какие метины? Кричать станет: ударил, мол... И пускать жалко...

Дождь шквалисто шумел, стегал траву, полыхало и грохотало небо, Игнатова гимнастерка промокла, текло по расстегнутой груди. Он еще раз нетерпеливо пнул мужика сапогом:

— Ну, поднимайся. Хватит дурака ломать. Попался.

Мужик не копыхнулся.

Игнат присел перед ним на корточки, скользнул рукой по намокшему пиджаку. Под пальцы попало теплое мокрое горло. Игнат почувствовал, как судорожно вздрагивал костистый кадык. Брезгливо отдернув руку, Игнат отстегнул и вытащил из-под мужика свой ремень.

— Притворяйся мне... — прикрикнул Игнат. — Не будешь зря гавкать...

Мужик не отвечал.

Досадуя, Игнат сумрачно, нетерпеливо глянул в темноту — вправо, влево, в ревущую стену дождя, потом достал коробок, согнувшись, запалил спичку в неприятно дрожащих после удара ладонях, поднес к мужику. Спутанные мокрые космы закрывали его лицо до самых ноздрей.

Из разбитого, изуродованного рта пузырилась кровавая пена. Дождь тут же размывал кровь, и она мутной жижей стекала по морщинистой щек.

— Сам на рожон попер,— пробормотал Игнат.

Он запалил новую спичку, пальцем сковырнул со лба мужика налипшие волосы, осветил в самые глаза. В сморщенном, безусом, недвижно запрокинувшем свою маленькую усохшую голову мужике Игнат, невольно вздрогнув, признал сапрыковского дурачка Яшку.

Отдернув спичку, он гадливо отстранился.

«Ужли ушиб? — мелькнул вдруг брезгливый испуг. Но тут же успокоил себя: — Да не... не должно... Кадык-то телепается...»

Застегнув на животе ремень, Игнат осторожно отошел от дурачка. И, еще раз оглянувшись, крадучись, будто его могли увидеть в этом ночном ливне, пошел прочь...

— С дураком свяжешься — сам дурак будешь,— бормотал Игнат, испытывая гадливое чувство, будто нечаянно раздавил клопа и теперь все время чуюл его ядовитую вонь. Он шел по колени в тяжелой от дождя траве, и в его ушах неотвязно стоял Яшкин крик. Припоминая все, что кричал ему Яшка, думал, что для Яшки слова эти были не так уж полоумны: связно кричал...

— Моду взяли во степену косить,— успокаивал себя Игнат.— Дурак-дурак, а воровать соображает... Да еще орет... Огрызается... Мне слова никто по службе не сказал... А они — доглядать за мною...

Дождь шумел, подталкивал Игната в спину, гимнастерка студено обхватывала тело, в сапогах чавкала вода, сбегавшая со штанов в голяшки. Косые зигзаги молний то здесь, то там втыкались в равнину, и на мгновение становились видны стремительные нити дождя, густо обступавшие Игната, будто кто-то невидимый поспешно вколачивал на его пути прямые стальные прутья.

«Отойдет... дождем отмочит»,— опять подумал Игнат о Яшке, тревожно прислушиваясь к степи после каждого раската грома: не бежит ли Яшка, поняв, что его отпустили...

«Ждет небось, пока отойду подальше...»

Он шел, машинально убыстряя шаги, в ту сторону, где, как ему казалось, должна была быть дорога, и все прислушивался, спиной чувствуя позади молчаливое Яшкино присутствие. Неприятное ощущение от оставленного в степи дурачка толкало его прочь, подальше от того места.

— А что, если пришиб? — вдруг первый раз не на шутку испугался Игнат. Перед ним предстало в мокрых ковылях под ногами сморщенное, безусое, безобразно окровавленное Яшкино лицо с налипшими на глаза волосами, и он, сам того не замечая, вдруг побежал.

«На суде скажу... Перед всем народом...» — вспомнил Игнат Яшкины слова.— Накаркал, дурак... Вот тебе и суд теперь...»

Он бежал, пробиваясь к дороге, но ее все не было, и, поняв, что сбился, он стал забирать правее. Но трава показалась ему выше, чем была, ноги, ощущая внезапную пустоту, сами побежали в какую-то низину, травы спутанными петлями охватывали ноги, и он, тяжело ломаясь сквозь заросли, продирал их коленками. Ага-га-га-га-а-а! — злорадно и торжествуя прогрохотал над Игнатом гром. Выскочив из ложбины, он забрел по шею в жилистые, холодно брызжущие пригоршнями воды и липкими семенами бурьяны, яростно разгребая их, будто тонул в топком болоте, пробрался на открытое место и стал забирать левее, надеясь пересечь дорогу или какую-нибудь тропку. Но под ногами все путалась трава, и он, много раз уже поворачивавший то вправо, то влево, совсем перестал понимать, в какой стороне должен быть его лог. Тяжело дыша,

отирая ладонью лицо, Игнат остановился. Кровь гулко отдавала в висках, туманила глаза. Первый раз за все пятнадцать лет объездов Игнат не узнавал места, не знал, куда ему идти. И, не решаясь больше шагнуть дальше, боясь, что в любое мгновение может наступить на лежащего в траве дурачка, загнанно, по-волчьему ощерясь, он повел по сторонам втянутой шеей.

— Если что — ничего не знаю... А то — конец... Отказаковался.— И он вдруг явственно осознал, что все эти годы ждал каких-то неприятностей от Сапрыковки.— Вот оно...

Небо грохотало над Игнатом тяжкими обвалами, полыхала и шумела седая, вспененная степь, и казалось Игнату, что нет ей конца и краю, нет за ней ни дорог, ни деревень, ни людей...

За долами, за лесами

1

На рассвете меня будили журавли.

Я просыпался в пепельном полусвете северного утра. Свет этот всю ночь брезжил в окнах. Казалось, истекал он отовсюду: светилось серенькое и ровное, будто натянутая волглая холстина, небо, светились из моренных глубин тихие озера — и те, что были на виду, и те, что таились за темными гривами лесов.

Деревянная кровать, высокая, прочно срубленная, нечто вроде Контики, на которой и в самом деле при случае можно было нуститься в дальнее плавание, стояла на мощных ногах посередине просторной, теперь пустой и гулкой избы.

Я, житель соломенной и плетневой полосы России, не переставал удивленно преклоняться перед этим царством дерева, в которое попал.

Проснувшись, я лежал еще некоторое время на теплом, свалывшемся длинными косицами романовском полушубке, который нашел в темной клетке вместе с жестяной лампочкой и остатками керосина на дне пузатой бутылки, оплетенной берестой. У ног моих, на подвешенном к потолку шесте, парами висели сухие, в листьях, березовые веники. В полусвете они были похожи на убитых глухарей, привязанных за тонкие шейки. И опять я с невольным уважением задумывался о человеке, срубившем из могучих стволов эту высокую звонкую избу с дюймовым крюком для детской зыбки в двухобхватной матице и эту кровать-ковчег — для себя и своей молодухи. Я силился представить неведомого мне лесного жителя за его повседневным делом — на скудной подзольной пашне, с певучим топором на стропилах только что срубленной избы, на медвежьей обкладке в февральском завьюженном лесу, в дымном зное баньки под горою, за праздничным столем с рыбными пирогами и круто соленными рыжиками.

Но человека, который жил в здешних укромных местах, уже нет в живых. На шестке его очага невесть сколько лет и зим чернеют навсегда остывшие угли — печальные следы покинутого жилья.

Молодого наследника этой лесной хоромины, отпрыска третьего, не то четвертого колена, я случайно повстречал в Железногорске, в сердце Курской аномалии. На своем бронированном КРАЗе в бесконечном потоке самосвалов он много раз за день спускался по бетонному серпантину на восьмидесятиметровую глубину карьера.

Вечером мы сидели в новеньком стеклянном кафе с модной небрежной росписью на оранжевых стенах. Было видно, как над карьером дымилось зарево прожекторов, сверливших глубину котлована. Черный от карьерного зноя, с белобрсым ребячьим боксом, еще мокрым после душа, в пестрой фланелевой рубаше с закатанными рукавами, он по-свойски окликнул:

— Зиночка!

Подошла юная официанточка, тоненькая, с подведенными под японку уголками глаз.

— Зиночка, золотце, коньячку.

— Разве ты сегодня не в ночь? — удивилась Зиночка.

— Голуба, ты плохо следишь за графиком.

— Больно нужно!

Он добродушно захохотал и проводил Зиночку счастливо-озорным взглядом здорового и свободного парня.

Проходившие к столикам шоферы приятельски толкали его в плечо, и он, усмехаясь, обнажая белые крепкие зубы, приветливо кивал, а иных норовил толкнуть ответно. Было видно, что знали его здесь хорошо и жилось ему суматошно, молодо и весело.

— А братья у меня тоже — один в Красноармейске на Волге, другой — в Сумганте. Слыхал про такой? Ну вот там. А меньшей в Мурманском, во флоте.

— Значит, разлетелись кто куда.

— Разлетелись! — засмеялся он. — Написал меньшому, чтоб после службы сюда махал. Но дело его.

— Может, домой поедет?

— Не! — убежденно сказал он. — Не! Чего там ему...

— Сам-то давно дома был?

— Да годов восемь... Как бату похоронил... А ты живи! Поезжай и живи, если нравится. — Он хлопнул меня по колену. — Какой разговор! Можешь и совсем остаться. Напилишь дров и живи, пописывай. Вашему брату тишина больше подходит. Это нам надо пошумнее... А то прямо и двором топить можно. Ковыряй по бревну. Все едино погниет.

...И я поехал. Два часа самолетом — над Рыбинским туманным морем, над кучерявой зеленью тайги. От Вологды — поездом до какой-то станции за Сухоной, сплошь забитой сплавными кряжами. Потом расстрепанным на лесных корчах автобусом, а там — на двуколой молоковозке, под звон пустых фляг и гуденье оводов. У дальней колхозной фермы я расстался с молоковозкой и пошел пешком через лесные поскотины и белесые северные ржи, проросшие понизу, у корневищ, маслятами, пока не показалась зелено-мшелая колоколенка с осыпавшимися шатрами и седые крыши изб на высоком взгорке между двух озер...

Ключей от дома он, разумеется, мне не вручал. Приехал, отодрал от сенных дверей наискось приколоченную плаху, робко поднялся по рассохшейся лестнице, вошел в избу, вздохнувшую навстречу стылой печью, толкнул створки ставней и присел на пустую кровать.

2

Где-то на болотах кричали журавли. Перед восходом солнца крик их был так гулок, что казалось, будто птицы кружатся над коньком избы. В который раз поддаваясь обману, я вскакивал с кровати, отдергивал забытую хозяевами, надувавшуюся внутрь избы занавеску и выглядывал из высокого, словно леток скворечни, окна.

Говорили, что журавли прилетали на гороховое поле — совсем близко. Но я их так ни разу и не видел. Кричали они все-таки за гривой на

болотах. Лесное эхо подхватывало их клич, и он, усиленный и многократ отраженный гулкой органной звучностью сосновых стволов, окружавших болото, метался над топью. Крик этот не был резок или тороплив, нельзя было назвать его и «трубным кличем». В нем было что-то глубинное, грудное, как в сильном женском меццо-сопрано — какой-то русалочий полувоплъ, таинственный и печальный, невольнo уносящий воображение в мир полузабытых сказок детства.

Да и все из моего окна виделось мне здесь сказочным: и эта горстка высоких теремных изб на горке между двух озер — иные заколоченные, иные еще с живыми красными гераньками в нешироких резных оконцах; и поленницы березовых дров, сложенные у стен задымленных бань, заросшие вместе с баями высокой крапивой; и округлые, еще свежезеленые стожки, похожие на островерхие шлемы былинных витязей; и бесконечные изгороди-прясла с белобокими сороками на березовых кольях; и звон коровьих колокольцев, и мягкий голос рожка, искусно закрученного из длинного берестяного ремня, того самого старинного рожка, которым здешний пастух до сих пор скликает разбредшуюся по лесным тропам скотину. И леса, леса... Леса, в какую сторону ни глянь: черные, отвесные, с белыми мазками берез, с малинниками по сухим волокам, с россыпями рыжиков по опушкам, боры-брусничники, боры-моховики, глухаринные и медвежьи заломы, журавлиные топи...

Я глядел из окошка своей избы, слушал журавлей и думал, что, конечно же, не в степной соломенной Руси рождались сказки моего детства — про медведя, у которого березовая нога, про колобок, который выставили поостыть вот на такое именно окошко с замысловатой вязью по козырьку наличника, про репку, сладку и крепку, которую «тянут-потянут — вытянуть не могут» и которая так и мерещилась мне среди капустных кочнов, про сестрицу Аленушку и ее братца Иванушку и про то, как жили-были дед да баба и как у них была курочка-ряба...

Все это у меня на родине осталось только в памяти людей да в книжках. А здесь продолжало жить.

В этой деревеньке и на самом деле жили дед да баба. Только дед Михайла жил в хоромине по правую руку от моей, а бабка Евдокия — по левую, через две избы. Были они одни-одинешеньки, каждый сам по себе. В доме же напротив жили сестрица Верушка-сорожка с братцем Митькой. При них — и курочка-ряба, серенькая в белых крапушках, с цыплятами. Огец у Верушки-сорожки — Семен Лутков, колхозный бригадир, мать — телятница. Через несколько пустых изб, у самой околицы, окнами на раздерганный горбатый мосток стоял Марьин терем. Марья, надо считать, тоже сама по себе жила, поскольку меньшей сын Васька был шофером в колхозе, там при гараже и ночевал и завертывал домой разве что сменить засаленную рубаху.

Кроме этого люда — восемь душ на двенадцать изб, — в деревеньке больше никого. Но и то, рассказывают, густо. За соседним волоком, в Тарутине, и вовсе один старец остался. Уж и деревеньку ту из всех бумага повычеркивали, и мостков туда не ладили, уличные тропки позарастали и по брошенным огородам ельник прорезался, а он, старец тамошний, все еще держится.

Из окна в окно через дорогу было видно мне, как Семен Лутков пил чай. Поблескивал самовар, белела суровая скатерка, стучала чашками Семенова жена Параскева. Семен, еще в майке, прихлебывал из блюдца и читал перед закужкой листок из календаря-оторвыша. Потом, уже одетый, в пиджаке и сапогах, с дерматиновой сумкой-бригадиркой

через плечо, выводил из ворот чалого мерина, бросал на него вчетверо сложенную попону, пристегивал широким брезентовым ремнем и нетерпеливо кричал в окно:

— Парань!

— Сейчас...— отзывалась Семенова жена.— Малого угомоню...

Из глубины избы доносился капризный хнык братца Митьки и зашпанный, просительно ласковый голосок сестрицы Верушки-сорожки:

— Спи, Митька. Чего куксиси-то? Будешь ревить — по горох не возьму.

Наконец выбегала повязанная белым платочком Параскева, забиралась на сваленные под окном кряжи и уже оттуда, пока Семен придерживал повод, задрав повыше юбку, плюхалась животом на спину мерина.

— Подвинь-кось,— просил Семен и тоже садился на мерина.

Каждое утро Семен подвозил Параскеву до ее телятника в четырех верстах за лесом и уже оттуда ехал бригадирствовать. Удельное княжество его состояло из шести — восьми сильно поредевших посадов, спрятанных друг от друга за долами, за лесами, и Семен, не слезая со своего мерина, объезжал пашенки и сенокосы до закатного солнца. В не столь давние времена в здешних местах был свой самостоятельный небольшой, но крепкий колхоз, объединявший ближайшие деревеньки. Но потом его влили в другой, а другой в третий... Колхоз все уходил и уходил куда-то от здешних людей, как уходит вода, оставляющая после себя пересыхающие бочажки с кос-какой рыбешкой. Иные перебирались поближе вслед за непоседливым, кочующим колхозом, а иные, оказавшись на мели, разъехались. Один Семен, стародавний бессменный бригадир, продолжал жить из упрямства на прежней насиженной кочке. А может быть, и не из одного только упрямства, а из тихой, бессловесной любви к здешней земле в надежде, что когда-нибудь опять полюдует и заполнятся новыми избами поредевшие посадки.

— Верушко, цыплятам яичко скрошить не забудь-то,— уже отъезжая, говорила Параскева.

Завидев меня, оба кланялись: Семен чинно приподнимал кепку, выговаривал, припадая на букву «о»: «Доброго здорovia», Параскева — мягко, певуче, застенчиво: «Здрасьте».

— Бригадирствовать? — спрашивал я.

— Надо! — говорил Семен, и было видно, что нес он свою службу с обстоятельной деловитостью, подобно бывалому, втянувшемуся сержанту, которому доверили держать растянутый фланг порядком поредевшими силами...

Несколькими минутами позже прошмыгнула мимо моего окошка Марья. На ней Васькина пропачканная мазутом стеганка, перехваченная какой-то красной опояской, резиновые сапоги торопливо вышлепывали по икрам: фр-фр. На сгибе руки у локтя — старый, почернелый берестяной короб, на дне которого перекатывалась краюха хлеба. Марья тоже кланялась со словами:

— Побежать рыжички побрать.

— Уже есть?

— Как не быть... Вчера бежала одной палестиной — будто кто денежки просыпал. Приходи угощаться.

— Так ведь рыжички солить лучше всего. А мне уж и ехать скоро...

— Чего — солить-то! Рыжик долго не раздумывает. В день и просолится.

Марья прошлепала, профыркала большими сапогами, а вслед за нею посялся через березу над окном мелкий дождичек.

Мне было видно из окна, как курочка-ряба спряталась от дождя под прикрытие Семеновой избы и оттуда, из-под стены, из-за мелкой дождевой сетки, озабоченно принялась скликать свой непоседливый выводок, разбежавшийся по траве.

Из своего оконца высунулась Верушка, выставила под дождик руку, засмеялась. Потом увидела внизу курицу с цыплятами, убежала и вернулась с ножом и яичком. Высунулся и Митька, стал глядеть, как Верушка расколупывала яйцо и потом крошила его на подоконнике.

— Цып-цып,— приговаривала Верушка, брала щепоть желтой крошки и бросала вниз.

Митька тоже неловко, горстью, загребал крошки, выставлял из окна руку, разжимал кулачок, но яичко, прилипшее к пальцам, не сыпалось, и тогда он совал пальцы в рот.

— Митька, не смей есть! — говорила Верушка. — Я тебе другое расколупаю. А это цыплятам. Цып-цып-цып...

Желтые пуховички, тонко попискивая, копошились в просвирнике, гоняясь за едой, и курочка-ряба, вся распушенная, растопыренная, гомонила над каждой крупницей.

А дождик все сеялся, и по-прежнему печально выкликали кого-то за лесом журавли.

4

Как-то перед завтраком пришла ко мне баба Евдокия, принесла иконку.

В соседних деревнях попадались любопытные иконы лет по двести — по триста каждой. Иногда встречались и того древнее: суздальского письма, забредшие сюда с юга, и беломорские, сохранившие в росписи еще следы византийской манеры — пышной и торжественно парадной. Суздальцы же писали своих святых и апостолов свободно и просто.

Расспрашивал я об иконах и бабу Евдокию с дедом Михайлой как самых стародавних обитателей деревушки. Но дед Михайла оказался неверующим и сказал, что иконок в доме давно уже не держит. Когда померла его старая, то иконки он, правда, не стал изничтожать ни топором, ни печкою, а пустил их по реке. Баба же Евдокия сказала, что есть у нее пресвятая дева с младенцем удивительной работы и чтобы я непременно зашел посмотреть на ту деву. Но я никак не мог собраться, и вот она, стукая по лестнице посошком, пришла сама.

— Уж и не взойду,— сказала она с порога. — А бывало, бегала в эту вот избу-то... Козой! — Она была в веселеньком платочке с иностранными фестивальными словами по голубому полю.

Баба Евдокия присела на лавку передохнуть после лестницы. Кофта на бабе Евдокии трикотажная, длинная юбка — с белым старинным передником. На ногах малонадеванные сельповские парусиновые туфельки с кожаными носками.

— А ты что так... батюшко... не идешь? Обещался, поди...

— Да вот... — Я развел руками.

Баба Евдокия оглядела избу: видно, давно тут не была. Глаза у нее на удивление молодые — голубенькие и ясные, не вылиняли, не заслезнились. Видать, в молодости очень была собой пригожа. Да и теперь еще по-стариковски чем-то хороша. И седина под платком, и большие шишковатые руки с пергаментно-прозрачной коричневой кожей, под которой видна каждая синяя прожилка, — все к месту, ко времени.

— Принесла я тебе... батюшко... иконку-то... раз любопытно. — Голос у бабы Евдокии чистый, напевный, как в далеком детстве: «В некотором царстве, в некотором государстве, за долами, за лесами...» — И вареница принесла дак...

Баба Евдокия развернула на коленях белый узелок, вынула баночку с вареньем, поставила на окошко, а потом уж показала и саму иконку.

— Ну, это и есть пречистая с младенцем. Погляди-ко.

Я взял в руки тяжелую дощечку, взглянул и смутился: на ней была наклеена огоньковская репродукция «Мадонны Литты» работы Леонардо да Винчи.

— Кротости и скорби необыкновенной...— сказала баба Евдокия, ревниво заглядывая из-за моего плеча в картину.— Знать, великий мастер писал так... Не иначе...

— Великий, бабушка, великий,— сказал я.— И давно она у тебя?

— Да годов восемь-девять... Наши ребятенки в озере изловили... Волнами в камыши прибило-от... Вот и мокла невеста сколь времени, а краски не потухли...

Я разглядывал икону, а про себя думал: кто это так подшутил над бабой Евдокией? И не деда ли Михайлы эта иконка, некогда пущенная им по реке, а затем изловленная и заклеенная репродукцией деревенскими озорниками?

— Бери так... ежели надобно,— мужественно сказала баба Евдокия и вздохнула.— У меня еще Микола-угодник остался... Хватит мне, однако, и Миколы...

Я опять принялся разглядывать склонившуюся над младенцем мадонну, от которой и на самом деле оторваться не было никакой возможности, а баба Евдокия, сидя на лавке и опершись подбородком на руки, крест-накрест лежащие на конце посошка, тем временем с горестной пристальностью разглядывала меня. Я спросил:

— Что, бабушка, так разглядываешь меня?

— Да что разглядываю... Пошто один в избе живешь? Живи у меня... Чаю взогреть али стряпню. Я бы с превеликою охотой... А то во всем дому моем токмо и звуку что ходики.

И мне стал понятен горестный взгляд бабы Евдокии, стосковавшейся по будничной домашней заботе о другом человеке. Великая потребность матери, не оставляющая ее до последнего дыхания, то самое священное чувство, которое и изобразил да Винчи в своей Литте.

— Что ж это мы, как тараканы по углам: каждый сам по себе,— сказала баба Евдокия.— Чай люди-от...

— Спасибо, бабушка. Только уж и перебираться ни к чему — уезжать мне скоро...

— Ну хоть так заходи.

— Так — зайду. А что же сыны — пишут?

— А у меня, батюшко, не сыны, а дочки. Три, и все дочки.

— И тоже в разъезде?

— Одна, старшая, в Москве. За инженером замужем. Была я: справно живут. Прислугу содержат. Хотели меня при себе оставить. Зять было и прислуге отказал, чтобы, значит, ее койку мне отдать. Квартера у них хоть и об двух комнатах, а поглядели-поглядели — некуда еще одну койку пристраивать: все углы заняты. Вот и хотели было прислугу расчитать-то... Ну я и возвратилась. Это Таисья. А Ольга за военным, на островах, уж и не выговорю названия. У тех не была: далеко. Самолетом надоть, а потом уж парходом, да и то токмо летом — парходом-то... Далеко. Ну, а меньшенькая, Августа, при мне все жила. А как заневестилась, тоже полетела искать свою долю. Парней-то у нас тут и вовсе на погляд ни единого. Ну и полетела, голубушка, потому как что ж сидеть?.. Ну и я теперь одна, как труба погорельская на пепелище... А ты, батюшко, заходи... Попиши-попиши свое, да и заходи...

Баба Евдокия расслабленно встала и потопала к двери. Я проводил ее по лестнице до самого низа.

— А журавли-то все кричат,— сказал я.

Постояли, послушали.

— А я и не слышу,— сказала баба Евдокия.— Глуха стала. А то, может, и обвыклася. Всю-то жисть кричат дак...

5

Дождик тихо отсеялся. В окно дохнуло мокрыми стогами и по-весеннему горьким благоуханием осин. Мне было слышно, как моя соседка Верушка, выбежавшая на улицу после дождя, напевала:

В жизни раз бы-ва-ет
Восемнадцать ле-е-ет!

Когда я приехал в деревушку и поселился напротив Семеновой избы, Верушка-сорожка, узнав про свежего человека, весь день толкалась с братцем Митькой на улице, стараясь привлечь мое внимание. На другой день она осмелела и пришла ко мне в избу. Она вошла неслышно — только качнулась занавеска на окне — и остановилась у порога, держа брата на закорках. Смущенно переступая на пороге тонкими, гусяно покрасневшими босьми ножками, облепленными мокрым травяным крошевом, она глядела на меня вопрошающе-пытливо, глядела как-то одним глазом, потому что второй ее глаз был закрыт свалившимися набок волосами, которые она не могла поправить, придерживая обеими руками Митьку под голый зад. Верхняя губа ее подковкой приподнялась над двумя редко расставленными зубами. На Верушке, худенькой и невесомой, висело не по росту старушечье-длинное бумазейное платье. Митька насупленно выглядывал из-за ее плеча. Оба вели со мной как бы негласный разговор: «Ну вот мы и пришли. Прогонишь или не прогонишь? Ты не прогоняй нас, потому что отца с матерью нету дома, и нам скучно одним в пустой деревне. Мы посмотрим на тебя, на твои вещи, на то, что ты тут делаешь, и уйдем себе потихоньку».

— А! Это вы! Ну проходите, проходите.

Верушка неловко потопталась.

— Как зовут-то тебя?

Она зарделась, потупилась и себе под ноги торопливо проговорила что-то вроде:

— Вершкасоршка.

— Как-как?

— Верушка-сорожка,— повторила она медленней и внятней.

— А почему же — сорожка?

— А я плаваю баско... Меня размахнут, кинут в озеро, я и плову...

Как сорожка.

— Ах ты рыбка красноперая! Что ж ты так у порога?

— А я, дядя, тебе гороху принесла,— сказала Верушка-сорожка.— Зеленый.

— Да ну! Я очень люблю зеленый горох.

Девочка ступила на середину избы, наказала Митьке, чтоб держался крепче. Тот с готовностью обхватил ее толстыми ручонками за шею. Верушка-сорожка высвободила свои руки и проворно развязала поясок на платье. И тотчас на полу у Верушкиных ног набежал ворошок стручков.

— Да мне одному и за неделю не съесть! Давайте-ка вместе.

— Не... Мы на поле наелися, это тебе...

— Ну тогда я вам дам по карандашу и вы будете рисовать. И по листу бумаги.

Дети присели на лавку.

Верушка-сорожка взяла свой карандаш, оглядела, послунила — химический или простой? — бережно нагнула на него листок бумажки трубочкой и спрятала за пазуху. Братец же Митька схватил карандаш за концы кулачками, вытянул руки и вдруг, надув щеки, забибикал, натужно покраснев и пуская пузыри.

— Это он в шофера играет, — пояснила Верушка. — Он как палочку найдет, так начинает рулить. Папка говорит — шофером наш Митька будет.

Вот так мы и познакомились в тот раз.

В жизни раз бы-ва-ет
Восемнадцать ле-е-ет! —

продолжала напевать под окном Верушка-сорожка, и я не утерпел, выглянул из окна, чтобы посмотреть, чем она занята. Верушка, напевая, раскладывала под окном пучки какой-то мягкой травы. Она клала их ровными рядами, один к одному, и каждый пучок перехвачен был посередине травяным перевяслицем. Сверху мне не было видно Верушкиного лица, его закрывала белая косынка шалашиком, только проворно мелькали тонкие темные руки, и в этой косынке, в просторном, балахонистом платье и в своей игре-работе она походила на маленькую женщину. Рядом с ней ползал на четвереньках белоголовый Митька. Он хватал пучки и сосредоточенно раздвигал их по былинкам.

— Не смей теребить, Митька! — говорила Верушка. — Это же лен! Ты лучше расстилай со мной. А я потом тебе рубашечку сотку.

Братец Митька смотрел, как Верушка-сорожка расстилала «лен», пробовал и сам класть пучки, но, видно, клал их как-то не так, и Верушка говорила:

— На лучше тебе палочку. Шофером будешь.

Митька хватал палочку и начинал дудеть:

— Би-бип... би-бип... фр-фр...

— Поехал, поехал наш Митрий. — говорила Верушка. — Поезжай, Митрий, в Мурманск, к дяде Николаю. Будешь с ним шофером. Там пряники сладкие... Ты мне пряников сладких привези, а я тебе рубашечку сотку. Белую рубашечку с красной опояской.

6

Заметила меня в окошко Верушка-сорожка, окликнула, как обычно:

— Дядя Женья-я-я...

— А-а... — отозвался я, так же растягивая голос.

— Че делае-ешь?

— Пишу, Верушка...

— Все пишешь да пишешь!

— Вот я и думаю: не отложить ли пока? В гости к тебе пойти, что ли?

Верушка насторожилась, перестала расстилать свои снопики: правду ли я говорю?

— Самовар поставишь — так приду.

— А не обманываешь?

— Правда приду.

Верушка-сорожка некоторое время внимательно смотрела на меня, потом, вдруг просяив, широко, счастливо улыбнулась, подхватила Митьку и, распуская цыплят, побежала к избе. На пороге она еще раз оглянулась, и мне была видна ее белозубая улыбка.

Самовар гудел, приставленный трубой к душнику печки. Верушка

набирала в тушилке угли и, приподняв трубу, бросала их в огненное жерло. Увидев меня на пороге, она выпрямилась и, держа в руке угли, провела рукой по лбу, откидывая волосы.

— Проходите,— сказала она по-взрослому озабоченно и серьезно, называя меня на «вы» в знак торжественности момента.

Посередине комнаты висела глубокая и просторная зыбка, как морской баркас, раскрашенная в зеленое, с резьбой по кормам и бортам — красные лебеди и рыбки. Братец Митька, стоя в ней, выпятив голый живот, силился раскачать ее за веревки.

— Би-бип! — сердито сигналил Митька и старательно фырчал.

— Кочегаришь? — кивнул я ему и подтолкнул зыбку.

— Он у нас шoferистый,— улыбнулась Верушка-сорожка. Нос у нее был выпячен углем.— Он в Мурманск поедет. В Мурманском много наших... И дядя Коля наш... И деда Михайлы Федор...

Она достала из сундука новую льняную скатерть, постелила ее поверх старой, узкими ладонками пригладила слежалые пружинистые сгибы, достала из ларца чашки, хлеб, баночки с вареньем и, подхватив самовар, поставила его на жестяной поднос.

— Садитесь, дядя Женя,— сказала она, зардевшись.— Чем богаты, тем рады,— прибавила она, подражая Параскеве.

Митька тоже попросился, и Верушка, выхватив его из зыбки, посадила к столу на лавку.

— Да вы пейти,— потчевала меня Верушка-сорожка.— Вот черничное, кисленькое... А это морошка. Я-то сама морошку не очень... Больно сладко... А вы испробуйте... Это у нас от прошлого году. Новое еще не варили...

Я пил с кисленьким черничным, с духовитым земляничным, пробовал желтое, медвяное морошковое. Верушка, прихлебывая из блюдца, ревниво следила за мной и перехватывала мою опорожненную чашку:

— Давайте налью.

— Налей, голубушка. Что ж, скоро и в школу, а?

— Да уж скорей дак...

— Соскучилась?

— Ну да... Одна и одна. Все только с Митькою.

— А пойдешь — так Митьку-то куда?

— А мы его бабе Евдокии отдаем. Ей забавно даже... Одна дак... Дед Михайла тоже просит, чтобы ему отдавали... — Верушка развела руками.— Баба Евдокия сказывала, чтоб только ей, потому как дед Михайла курит...

— Школа-то далеко?

— А там.— Верушка-сорожка махнула в угол рукой.— В Маслючихе. Раньше, сказывают, дак здесь была... А потом перевели... Учеников не стало... У нас и теперь во втором только трое... А так все разные: кто в первом, кто в четвертом... Говорят, в этот... как его... будут забирать...

— В интернат?

— Ага.

— В интернате хорошо тебе будет.

Верушка посмотрела на меня, что-то обдумывая, и вдруг поспешно заговорила:

— Да вы пейти, пейти! Я еще налью.

— Да уж запарился. Передохну малость.

Я отдернул занавеску, чтобы протянуло свежим ветерком. На подоконнике рядом с цветочным горшком стоял маленький деревянный человечек. Вырезанный из куска ольхи, он был кирпично-красен и своей большой головой, плутоватой ухмылкой и сложенными на животе короткими ручками напоминал какого-то языческого божка.

— Кто ж такой?
 — А это моя кукла Катька,— сказала Верушка-сорожка.
 — Ну какая же это Катька!— удивился я, разглядывая божка.—
 Это старичок-лесовичок.
 — Нет, Катька,— рассмеялась Верушка.
 — Ну ладно, пусть будет Катька. Кто же тебе сладил такого?
 — А это все дедушка Михайла. Он и рожки мастерить может.
 — Хочешь, я тебе подарю настоящую куклу? С косичками и в
 платье?

Верушка потупилась.
 — Завтра пойдем с тобой в магазин и купим. Тут есть магазин?
 — Есть. В Маслячихе.
 — Ну вот, завтра же и пойдем.
 — Ой, Митька! — спохватилась она.— Ты опять весь измазался
 вареньем. На тебя никак не настираешься.— И, стараясь спрятать ра-
 дость, озабоченно принялась вытирать Митькины черничные щеки.

Над избой далеко, шумелино загудело.
 — Самолет,— сказала Верушка.— Архангельский.
 — А ты как узнала?
 — Самолет-го? Он всегда об эту пору летит.
 Она соскочила с лавки и подбежала к ходикам, вставленным в спе-
 циальный шкафчик — с дверцей и застекленным окномцем.

— Поверить часы дак...— сказала она, открывая дверцу.— Аккурат
 в двенадцать над нами пролетает.

Братец Митька, услышав самолет, насторожился, раскрыл рот буб-
 ликом. И, убедившись, что это вовсе не шмель, а настоящий мотор, счаст-
 ливо заушмылялся.

Я взглянул на свои часы и тоже поправил: подвел на две минуты —
 по высокому заоблачному гулу.

7

Верушка-сорожка еще с утра отнесла братца Митьку к бабе Евдо-
 книи, и вот мы уже шли по деревеньке, направляясь в Маслячиху. Веруш-
 ка была в новом розовом платье белым горошком, в пестренькой косын-
 ке, с носовым платочком, подоткнутым под резинку короткого рукава.
 Лицо строгое, озабоченное, а глаза так и сияют.

— Куда эдак вырядилась наша красавица, наша словутница?
 На крышке колодезного сруба сидел дед Михайла, правая нога в
 сапоге, левая — в катанке. Дед Михайла воевал еще с «Вильгельмой»
 и вот уже полвека носит на левой ноге все тот же рыжий валенок с раз-
 резанным и раздерганным голенищем. Дед Михайла перестал строгать
 березовый чурбан и хитро сощурился на Верушку-сорожку — совсем
 так, как ее деревянная кукла Катька.

— И куда так важно путь держим?
 — В Маслячиху, — ответила Верушка.
 — За пряниками-конфетами?
 — За куклой!
 — За куклой? — всплеснул руками дед Михайла.— А я как раз тебе
 новую лажу.

— А то — с косицами.
 — Так я тебе и косицы вырежу.
 — А то — в платье.
 — Да и в платье...
 — А то платье раздевать можно.

— А! Ну это другое дело. Ступай-ступай... А не прикупила бы ты мне макарон да песку-сахару?

— Прикуплю.

— А то у меня все макароны повыходили. А нога-то у меня — Вильгельма окаянная — не бегаёт.

Марья тоже выглянула в окошко:

— И куда наша Верушка так бежит?

— За куклой!

Выбежали за околицу, прошли горбатым мостком, что сразу за Марьиной избой. прошли зеленой отавой со стожком, синими льнами, белесыми ржами — все выше, выше на горушку к лесному волоку. Во ржи, на темной молодой елке. на самом горчке раскачивалась тетерка.

И жаворонки звенели над головой, будто по весне. Один, должно быть самый бойкий, свалился из поднебесья, сел на большой замшелый камень у дороги с чистым озерком воды во вмятине и долго пил, запрокидывая головку.

Взошли на горушку, оглянулись. Темные леса разбежались во все стороны. На бугре между двух озерков — Верушки-сорожки деревенька. И такая она маленькая издали, будто кучка спичечных коробков на гри-венник. А подальше, в стороне, на другом бугорке, еще кучка коробков — то Ворониha, а за вон той высокой гривой с темными ольхами понизу — Параскевина ферма, а за этой гривой — Тарутино, а до Маслючихи еще бежать и бежать.

Потом шли волоком в чуткой тишине леса. Верушка все бежала и бежала, и круглые ямочки от ее пяток отпечатывались на влажной лесной дороге. Любопытная белка, должно быть заметив розовое Верушкино платье, два раза взад-вперед перемахнула вверх над просекой. Рыжие маслята толпами высыпали из-под мелкого ельничка, будто тоже хотели посмотреть, кто и куда идет по лесу в таком розовом платье с белыми горошинами.

— Побежим быстрее, а то на перерыв закростея, — озабоченно говорила Верушка-сорожка. — Или на базу уедет...

И вот открылась Маслючиха и сельповский магазинчик у околицы. В магазин заходили и выходили люди. Увидела Верушка, что люди заходят и выходят, и того пуще заторопила:

— Пойдемте, пойдемте, а то пока добежим, дак...

Добежали, успели. На тесовых порожках магазина сидели какие-то бабушки. Все в новых платочках и у всех большие узловатые руки — как у бабы Евдокии. Пришли, видно, посидеть на сельповском крыльце, поговорить, повидаться. Раньше в церковь ходили, теперь вот в село: дело стариковское — лишь бы на люди.

— Чья ж такая ягодка-росника? — враз заговорили-запели бабушки, увидев Верушку-сорожку.

— Чай, из Тарутина? — спросила одна бабушка.

— Что ты, девушка, кой из Тарутина? В Тарутине ноне никого из ребятенков-то и нет. Один старец Митрофан, да и то не знаю, жив ли? — сказала вторая бабушка.

— Из Ворониhi, чай? — сказала третья бабушка.

— И не из Ворониhi. В Ворониhe кому такой быть? У Алпаты двое мальцов да у Саввичны внук из Архангельску живет. Дочка-то ее оступилася, грех вышел, ну вот и внука к бабке отправила. А больше там и рожать-то некому, в Ворониhe-то.

— Луткова я, — сказала Верушка.

— Бригадирова! — сказала первая бабушка. — Вытянулась-то как! И не узнать. Ах, золотинушка ты моя! Что там баба Евдокия, жива ли? Топает?

- Жива.
- И дед Михайла?
- Жив и дедушка Михайла.
- Гли-кось, парень лихой!

В магазинчике, заставленном панцирными кроватными сетками и ящиками с болгарскими помидорами, толпились люди: должны были привезти хлеб. Пахло новыми резиновыми плащами, керосином и селедкой. Верушка-сорожка мышью пробралась под ногами к прилавку, зорко обежала глазами полки — керосиновые фонари, электрические чайники, соломенные шляпы — и нетерпеливо обернулась. Я тоже протиснулся.

— Вам чего? — спросила меня тучная приземистая продавщица, увидев в моей руке пятерку. — Только белая.

— Да нет. Нам куклу.

— Куртку?

— Куклу.

— Какую куклу? — не поняла продавщица. — Ах, куклу? Игрушку? — обрадовалась она знакомому, но как-то выскочившему из головы слову. И уже с облегчением сказала: — А кукол нет.

— Как нет?

— Не завозили.

— Что — на базе нет?

— На базе, может, и есть, да мы не завозили.

— Почему? — удивился я. — Кукла — первое дело.

— Не знаю, где первое, а у нас кукла — неходовой товар.

— Да почему ж неходовой?

— Вы, гражданин, наперво детей нарожайте, — почему-то обиделась продавщица, — а потом и предъявляйте претензии к магазину. Я кукол понавезу, а они будут на моей шее висеть. Мне и так некуда товар ложить.

Мы вышли из магазина. Вид у Верушки-сорожки был растерянный. Но в дороге она повеселела, а может быть, просто маленьким своим женским сердцем пересилила обиду и уже кричала мне из лесу, из густых завалов:

— Дядя Же-еня-я! Малины ско-оль! Иди щипа-ать!

8

Через неделю я уезжал.

Я вышел из избы, нашел старую плаху и принялся заколачивать сенную дверь. На стук топора прибежала Марья, выполз, подогнув рыжий валенок, дед Михайла, выскочила Верушка-сорожка с братцем Митькой на закорках. С Семеном и Параскевой я попрощался еще до солнца, когда они седлали мерина.

— На дорожку, — сказала Марья и силком засунула в мой переполненный заплечный мешок банку свежесоленых рыжиков. Дед Михайла вручил мне выжженную ивовую дудочку с берестяным растробом и тут же показал, как на ней играть. Дудочка пропела мягко и бархатисто. Прокуренные Михайловы пальцы дрожали.

— Пожил бы еще с нами, — сказал он, вытирая о ладонь мундштук дудочки. — Да и песням бы тебя научил.

— Спасибо, дедушка... Что поделаешь? Надо ехать...

— Ну ехать дак ехать... Только спрошу я тебя напоследок. Я вот супротив Вильгельмы воевал, а ты супротив Гитлера. У тебя вот на груди планочки. И я тож Егория имею... Правда, не надеваю, потому как Егорий, а имею. Враг-неприятель один. А только за это мне никаких де-

лов, одни неприятности. Полвека с сухой ногой. Кто я? Ни рабочий я, ни колхозник. Так, небокоптитель...

— А ты, дедушка, носи своего Егорця. Теперь разрешено. Теперь это даже почетно,— сказал я.

— Дак Егорий Егорием... Мне бы пенсию какую-никакую... На табак... Будешь в Москве, вот и разузнай. Так, мол, и так. Есть такой дед Михайла. Нуждается в выяснении личности... Так и скажи Калининну.

— Калинин, дедушка, двадцать лет как умер.

— Ужли? — Дед Михайла задумчиво подергал бороду.— Двадцать лет? Ай-я-я... А в календарях все рисуют.

— Хороший был человек, вот и рисуют.

— Это верно, душевный... Беда-то какая... Ну да что теперь делать... Ты еще к кому там следует зайти... А то напиши дак...

— Напишу, дедушка, непременно напишу.

Баба Евдокия принесла старинный льняной рушник с красной вышивкой. Подала на вытянутых руках с важным лицом, но тут же не выдержала, расплакалась и обхватила меня за шею.

— А мы все так привыкли... А теперь вот и от сердца живьем отрывать... Все провожаем да провожаем... Все едут да едут.

— Ну, будя тебе, девка...— насутился дед Михайла.— На дорогу-то ревить... Едут — стало быть, надо... Не тут теперь Расея, во лесу с медведями. Расея из лесу-то выбралася...

Распрощались мы, одна только Верушка-сорожка с братцем Митькой увязалась провожать меня. Вышли мы с ней за околицу, за березовые воротца, прошли горбатым мостком...

— Ну, Верушка, ступай, а то ведь с Митькой-то тяжело тебе...

— Не... Я еще малость провожу... Мы с ним по горох в поле бегаем...

Прошли лугом меж стожков, начались льны на взгорке.

— Ступай, ступай, Верушка...

— Еще немножко... Вон до той елки...

Прошли синими льнами, рыжими хлебами, мимо елки, на которой качалась тетерка, добрались до камня на горوشке с лужицей во вмятине, из которой в прошлый раз напился жаворонок. Возле камня мы попрощались.

Я пошел и все оглядывался на Верушку, на Митьку, на исчезающую в серой дали серую тесовую деревеньку: что-то не давало мне зашагать просто, не оглядываясь.

А Верушка-сорожка все стояла и стояла среди ржи на высоком камне, держа Митьку на закорках. В длинном балахонистом платье, в белой косынке шалашиком, с тонкими, как тростинки, ногами. Издали она еще больше походила на маленькую женщину.

И вдруг я услышал ее далекий тонкий голосок:

— Дядя Же-ня-а! Дядя Же-ня-а-а! Смотри-и!

Я обернулся.

Над лесом показались две большие, темные, четко вычерченные птицы. Они беззвучно махали широкими крыльями, время от времени гортанно перекликались, и голос их, протяжный и печальный, казалось, заполнял собой все небо и всю землю, проникал в самые глухие лесные чащи и в самые бездонные глубины озер.

Курск.



ВИКТОР ЯКОВЧЕНКО

★

ОГОНЬ

До света, в зябком звоне кринок,
Большие сбросив сапоги,
Будила мать меня: — Беги,
Стащи у этих псов жаринок.

И я орудовал, как мог,
Совсем не выспавшийся, пухлый.
А немец, как на туче бог,
Дремал в пару походной кухни.

От жаркой топки я бежал,
Спешил, боясь остановиться,
Как будто бы несуче жар,
А полоненную жар-птицу.

В холодном небе гул и гром:
Огонь вела передовая.
Я по селу бежал с ведром,
Соседкам угли раздавая...

Сегодня, роясь в толстых книжках,
Встречаю слово «Прометей» —
И вижу, как бежит мальчишка
С огнем
 через метель.

Смоленская обл.



АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

★

ИЗ ПРОШЛОГО*

На пороге юности

Тогда зима. Марина, не захотевшая жить дома, жила в интернате гимназии фон Дервиз. Я училась дома. По субботам я с дворником ехала за Мариной на конке. У Трубной площади, перед шедшим в гору Рождественским бульваром, припрягали еще лошадей; мальчишки вскакивали верхом на передних, и с гиканьем, грохотом, цоканьем копыт по булыжникам всё взбиралось вверх по горе.

Мы входили в мрачные двери интерната, похожие на вход в пансион Бринк во Фрайбурге. Марина, большая, плотная, с подобранными по-взрослому волосами, в коричневом, почти длинном платье и черном фартуке, спускалась к нам по лестнице, и мы ехали домой.

В один из таких приездов она дала мне читать свою повесть из гимназической жизни — толстую клеенчатую тетрадь. В ней, изменив имена, она писала о своих старших подругах — Вале Генерозовой, Маргарите Ватсон и Ирине Ляховой, индивидуальностях очень разных и превосходно ею описанных. (Интересно, что она переселила их из старшего класса и возраста в класс е е возраста, вообразив их подростками.) Повесть называлась «Четвертые».

Гимназия Потоцкой — самая либеральная во всей Москве. Весна. Я держу экзамены в третий класс. В полупустой классной комнате на столе парты, спиной к окну, сидит тоненькая длинноногая девочка в коротком платье. Это Галя Дьяконова. Узкое лицо, русая коса с завитком на конце и глаза сразу привлекают мое внимание. Необычные глаза: карие, узкие, чуть по-китайски поставленные. Очень внимательный взгляд. Темные густые ресницы такой длины, что на них, как утверждали потом подруги, «можно рядом положить две спички». В лице упрямство и та степень застенчивости, которая делает движения резкими. Сейчас ее пристальный взгляд насмешлив и отчужден. Как она нравится мне! Наша дружба загорается сразу.

Галя тогда жила на Кудринской площади в огромном неприятном доме Курносова. Полутемная комната, бедность, младшие дети, неуют, отсутствие ласковости в семье без отца, вечно усталая мать. Но Галя, уже тогда от своих рвавшаяся, занятая другим — книгами, ранним вкусом к искусству, как бы не замечала лишений. Она крепко привязалась ко мне и к Марине и часто бывала у нас. Марина, после исключения весной за дерзость и свободолюбие из интерната фон Дервиз, жившая с осени дома (училась в гимназии Алферовой), очень полюбила Галю.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

Не меньше, чем Галю, Марина полюбила мою другую подругу — Аню Калин. Мой пылкий, подробный рассказ ей об Ане, ее уме и талантах Марина выслушала с жарким вниманием. «Позови ее к нам обязательно!» — сказала она. Воскресные свидания с Галей и Аней стали нашими счастливыми днями. Вечер мы неизменно проводили на Мариным диване в ее маленькой комнатке на антресолях, в полутьме. Мы рассказывали о нашем детстве в России, о годах и друзьях за границей. И они с упоением слушали Маринины стихи. Когда Галя восхитилась одним стихотворением, Марина сказала: «Нравится? Я вам его, Галочка, посвящу». Это были стихи «Мама в саду», напечатанные в первом Мариным сборнике «Вечерний альбом».

Ане Калин Марина написала акrostих. Вот он:

АКВАРЕЛЬ

Амбразуры окон потемнели,
 Не вздыхает ветерок долинный,
 Ясен вечер сквозь вершину ели
 Кинул месяц первый луч свой длинный.

Ангел взоры опустил святые,
 Люди рады тени промелькнувшей,
 И спокойны глазки золотые
 Нежной девочки, к окну прильнувшей.

С маминей смерти прошло полтора года. Ее отсутствием был полон дом. Пустота, тишина нижних комнат переносила память в детство. Тогда здесь звучал рояль. Мы без конца рассказывали Гале и Ане о маме, ее образ оживал перед ними. Марина читала стихи к маме. Вот их последние строфы, особенно любимые нами:

...С ранних лет нам близок, кто печален,
 Скучен смех и чужд домашний кров...
 Наш корабль не в добрый миг отчален
 И плывет по воле всех ветров!
 Все бледней лазурный остров — детство,
 Мы одни на палубе стоим.
 Видно, грусть оставила в наследство
 Ты, о мама, девочкам своим!

Мы никогда не говорили о семьях и о среде Гали и Ани — о нужде первой, богатстве второй (у родителей Ани была вилла в Остенде, на море). Мы не спрашивали, где Галин отец, помогает ли он семье. Галя держалась с достоинством истинной гордости — совершенно просто, естественно, независимо, не снисходя спросить, почему хуже других одета, не снисходя за меня чать свои платья (то, что из Сандрильон и делает героинь бала, за руку только с Судьбой!). И когда на Мариным диване мы говорили о будущем — неизвестном — всех нас: путешествия, люди, зовущие гудки поездов, — Галя слушала Марину, точно глотала живую воду.

Часы шли, Гале надо было идти, мы выходили из темноты, жмурясь от света зажженной керосиновой лампы. От тоски ли вечного расставания чуть знобило? От холода ли нижних высоких комнат, когда спускаясь волшебной лестницей нашего детства, мы входили в полутемную залу с лунными полосками зеркал...

А за Аней Калин еще не пришли. Она садится за рояль. Каштановой россыпью волосы по плечам. Неужели ей двенадцать лет? Я стою у

печки, грею руки о теплые изразцы. Марина ходит по зале медленным, отсутствующим шагом, слушает «Танец Анитры». Вспоминает ли Марина брошенную свою игру? Грига Аня играет, мамино Грига, по нашей просьбе — «В пещере горного короля» и «Шествие гномов», — и корабль дома скользянул в волны музыки и плывет, и куда мы плывем в ней?

Но горе опять близко. Стук в двери: «Барышни, за Анечкой пришли!»

С уроками Марина справлялась легко. Занятая чтением или стихами, она иногда просто не могла идти в гимназию. До ухода папы в Румянцевский музей, где он директорствовал, или в новый, строящийся Музей изящных искусств Марина скрывалась на чердаке. Год назад, когда я еще не училась в гимназии, я ей таскала «попоны» — наспех схваченные пальто, шали, и, дрожа от мороза у слухового окошка, она ждала от меня сигнала, что папа ушел, можно вылезать. К завтраку приходил из гимназии брат Андрей. Снизу слышалось: «Опять котлеты? Котлеты и битки, битки и котлеты!» Наскоро что-то глотая, взбегал по лестнице, хохотал: «Ага, намерзлась! Так тебе и надо! Люди ходят — учатся, а она на чердаке стихи пишет и книжки читает!» — «Не твое дело!»

Жалобная нота дверей, шаги по мосткам. Ушел.

Тогда начинались блаженные часы Марины.

Когда Марина начала свой перевод «Орленка» Э. Ростана? Может быть, еще летом, в Тарусе? Всю зиму своих шестнадцати лет она от него не отрывалась. Каждый свободный час проводила за тетрадами в своей маленькой комнатке у окна, за подаренным ей папой большим, мужского фасона, письменным столом с темно-красным сукном. В ту ли осень она выбрала обои для своей комнаты? Темно-красное небо, усыпанное маленькими золотыми звездами. Между столом и стоящим у противоположной стены диваном помещался только стул. Тут Марина, забыв обо всем, день за днем и часто глубоко в ночь кидалась в бой несходства двух языков, во вдохновенное преодоление трудностей ритма и рифмы. Любимейший из героев после Наполеона I — Наполеон II — воплощался силой труда и восхищенного сердца в тетрадь. Кованый, неподражаемый, с каждым днем зревший стих наполнял ее нестерпимым волнением. Встав, она шла ко мне: «Послушай!..»

Она ценила мое одобрение и преклонение перед героем, который был не моим, а ее кумиром и которого я не оспаривала.

Сейчас для нее не существовало ничего, кроме «Орленка» и ее работы над ним. Марина любила первую жену Наполеона, им любимую, смуглую, стройную Жозефину, и ненавидела его вторую жену — «белобрысую» австриячку Марию-Луизу, для которой, чтобы иметь сына, он должен был оставить бесплодную Жозефину. Боль, с которой говорила об этом Марина, и боль, с которой она удерживала себя от слов, были по поглощенности равны. С какой страстью вжилась она в судьбу Наполеона! Кого из них она любила сильнее — властного отца, победителя стольких стран, или его угасшего в юности сына — мечтателя, узника Австрии? Я не преувеличу, а только назову вещь, как она была, сказав, что любовь к ним Марины была раной, из которой сочилась кровь. Ее шестнадцати-семнадцатилетие стало бредом. Она не жила тем, что вокруг. Она не навидела день с его бытом, людьми, обязанностями. Она жила только в портретах и книгах. «Воображение правит миром!» — повторяла она слова Наполеона. И тотчас же: «И я совершенно не знаю, чем бы я сумел быть — в действии» (слова его сына). Эти слова были взяты Мариной эпитафией в ее первую книгу стихов «Вечерний альбом».

Поглощенность Марины судьбой Наполеона была так глубока, что она просто не жила с о е й жизнью. Полдня запершись в своей узенькой комнатке, увешанной гравюрами — портретами юного Бонапарта, Наполеона в зрелом возрасте, римского короля в младенчестве, — окруженная французскими книгами, она с головой уходила в иную эпоху, жила среди иных имен. Все, что было в печати о жизни императора Франции, все повороты его судьбы, было изучено ею в вечера и ночи неотрывного чтения. Она входила ко мне и читала вслух, половину уже наизусть зная, оды Наполеону Виктора Гюго, показывала вновь купленную старую гравюру «Наполеон на Св. Елене» или вешала на стену у своего стола овальный портрет отрока герцога Рейхштадтского, знаменитый портрет Лоренса — нежное личико мальчика лет девяти, с грациозной благожелательностью и с недетской печалью глядящее из коричневых туманностей рисунка, словно из облаков. Ни одна из жен Наполеона, ни родная мать его сына, австриячка, не оплакивали их обоих с т а к о й страстной горечью, как Марина в шестнадцать лет! День, окружавшие ее люди — все было вдали, все было помехой к чтению. Лишь вконец устав, она выходила из своей комнаты, близоруко щурясь на всех и вся, и с минуту смотрела, слушала, уже вновь готовая уйти в себя и к себе.

Марину знали на Кузнецком в книжном магазине Готье, сообщали о новой присылке ей книг из Франции. В предвечерние часы мы нередко ходили в книжный магазин Вольфа, вспоминая маму: туда мы ездили с ней в детстве. Синева дневного неба опрокидывалась в зеленые сумерки, по ней вспыхивали бледные фонари. Розовые шары света висели над входом в кондитерскую Сиу. Мчались, засыпая снежной пылью, санки. В светлых витринах Аванцо и Дациаро пылали в тоненькой окантовке, в багетных рамах цветные репродукции картин европейских мастеров. На час и Марину подхватывало волшебство вечера.

Проходило несколько дней, и Марина снова — ко мне. Стоит у раскрытой форточки, лицо — в клубы морозного пара. Помолчит. Отойдет. Как передаваемый пароль: «Тоска, а?.. Хочешь, пойдем в кинематограф?» И мы шли.

От картин тех лет в памяти какой-то светлый туман. Каждый наш поход туда погружал нас в еще новую фантастику, обогащал еще одной печалью, трагедией чьей-то судьбы.

Одной из главных мук Мариной жизни было ее горькое недовольство своей наружностью: лицо казалось ей слишком круглым, румянец — слишком ярким. И хоть толстой она не была, но была в те годы плотной.

Взрывы гнева — это была стихия Марины. Другая стихия — застенчивость. Мученье стесняться было почти не под силу: войти в чью-то гостиную, где люди, в паутину перекрестных взглядов, под беспощадно светлым блеском электрических ламп, меж ненавистных шелков кресел, ширм, столов под бархатной скатертью — было почти сверх сил. Окаменев, готовая себя разорвать за то, что снова покраснела до корней волос, она шла, как на казнь, с недвижимым — ни один мускул! — лицом, опустив глаза, почти прекрасная в эти минуты. А если она подымала глаза, в них было что-то от взгляда древней Медузы. Белая раскаленность презренья!

Марина кончала стихотворный перевод «Орленка», когда наш друг Толя Виноградов (будущий известный исторический романист) сказал ей, что «Орленок» переведен уже Щепкиной-Куперник. Марина очень огорчилась, надменно пожала плечами. Перевод Марины, которым восхищались слушавшие и которому — я уверена — поклонился бы Ростан, не увидел света. Судьба!

Мысль дать второй перевод, видимо, не приходила Марине в голову или не шла в душу, — чьи-то руки и рифмы уже трогали роستانовские страницы... Я больше никогда не слыхала о Маринином переводе «Орленка» и не знаю, уцелел он или нет.

...И вот после всех растаявших полос жизни, после всех разлук, горестей детства и отрочества — безоблачная, вновь, точно в годы младенчества, безоблачная пора счастья! Я не стыжусь штампованных слов, даже подобного соединения их, два штампа! «Безоблачная» плюс тусклость слова «пора» — да еще штампованное слово «счастье»! О, я упиваюсь их первоначальным звуком, перводыханьем их смысла, точно одна на необитаемом острове я их услышала (птица спела? я впервые произнесла?)! Стою на лугу у изгиба дороги, отходящей, как ответвляется мысль, вбок и вверх, через мостик из трех бревнышек. Слово «счастье», крутое, полное шелеста и широты, это «а», ширящееся, как море, туго сходящееся к устью своей короткой реки в это «сть» и тотчас размыкающее стеснение этой слитности (грусти? объятия? запястья?) кротким, тихим, по лугу разливающимся «е». И нет ему конца, унеслось в бесконечность! Если так чувствуешь, так говоришь слово, то и пишешь его безбоязненно. Суд глупцов, вещающих о «сносившемся» слове. Им сносилось, мне — нет! Как не сносилось само счастье — в творчестве ли, в любви, в отреченье, где горечь стала сладостью, в безоблачности наставшей тишины... Ужели меня остановят слухи об избитости слова, пущенные теми, кто бил его?

Был поворот дороги, мостик, кусты: высокие — ива, низкие — ежевика. Влево, лицом к Оке — Таруса, вправо — отлогий холм, где за безрезами не видно нашу дачу. Впереди была Ока...

Я лукавлю. Я спрягаю прошедшее время, подделываясь под явь дней. Но тот день не прошел — разве он мог пройти? То четырнадцатилетие, прислушивающееся к своему счастью, потому и не могло быть в тот час до дна вычерпано, что оно не имеет дна. Тот час нерушимо вечен, у него нет имперфекта. У золотой латыни счастья только одно время, оно — *semper idem*¹.

...Когда приходил папа, в кабинете загорались две свечи под абажуром, и дом с его полутемными залой и гостиной, преобразясь в преддверие храма науки, начинал служить ей, мы уходили наверх, к себе, в низкие уютные теплые комнаты, а внизу оставались папа за письменным столом, книжные полки, бюсты Зевса, Гермеса, Дианы и фасад будущего музея — высоко на стене, надо всем.

Марина скучала в гимназии — уже третьей по счету — Брюхоненко на Кисловке — самым отчаянным образом. Мы говорили о том, что, может быть, я весной, сдав экзамены приходящей, на будущий год поступлю туда же — хоть в переменах будет нам с кем ходить, разговаривать друг с другом. Может быть, я, растя, с ней сблизилась? Но наша близость к этому времени достигла некой вершины.

В 1906—1907 годах поколебленная Марининым взрослым увлечением революцией и моим еще детством, наша близость теперь наверху упущенное время. Марина шла ко мне, говорила последние стихи, и мы повторяли их вместе, в один голос, — у нас были до удивительности сходные голоса и все интонации те же. Затем, тоже часто в один голос, с полувопросом: «Пойдем?» — и мы шли. Мы шли по Тверской (всегда

¹ Всегда то же, неизменно (лат.).

вниз, по дороге к Охотному, никогда — вверх, к Брестскому, теперь — Белорусскому). Тот бок, с Тверской-Ямской, по ту сторону Садовой, был чужой.

Не в 1910 ли году наступившем (думается, так) должна была приехать в Москву великая актриса Сарра Бернар? Да, так. Еще от мамы слышали мы о ней и о ее сопернице по мировой славе Элеоноре Дузе. Марина, конечно, знала о них все, что она могла найти в книгах. Говорили о разнице их игры — о патетизме Сарры Бернар, о какой-то иной, сверхчеловеческой игре Дузе. В 1909 году летом Марина увидела Сарру Бернар на сцене в Париже, куда ездила летом одна шестнадцати лет учиться в Alliance Française. После одного из спектаклей Марина дождалась ее и передала ей ее фотографии для подписи. Это был ее новый кумир. Два своих портрета актриса подписала Марине словами: «На память о Сарре Бернар», на третьем, на котором была нехороша, где ее белокурые волосы казались седыми из-под меховой шапочки, она написала размашисто через л и ц о: «Это — не я!!!» Три восклицательных знака.

Я все еще доканчивала романы Тургенева, читала исторические повести, пламенела над «Камо грядеши» Сенкевича, над повестью Авенириуса «Перед рассветом» (из времен крепостного права), над «Приключениями двух кадетов» забытого мною автора и другими книгами юношества, но уже знала и о братьях Гонкурах, о переписке Беттины Brentano с Гёте, о кольце Нибелунгов, о романах Гюго от Марины, ими бредившей. И ждала, когда, еще раз перечтя томик дневника Марии Башкирцевой, Марина даст мне его.

Есть ли время фантастичнее, трагичнее юности? Разве детство... Но кто назвал счастьем их вдохновенный хаос?

И везде соблазн, и везде разлука, и всему (мука гордости) сомкнутые уста. И не те слова! Слова-прятки, слова-завесы, пока придут слова-признаки, воплощение мечты.

Увлечение Марины Наполеоном не утихало — оно продолжало жить в ней, как буря. Она его прятала в себе, но комната ее пылала портретами его и его сына. Их теперь было столько, что не хватало стен: Марина купила в Париже все, что смогла там найти. И в киоте иконы в углу над ее письменным столом теперь был вставлен Наполеон Бонапарт. Этого долго в доме не замечали. Но однажды папа, зайдя к Марине за чем-то, увидел. Гнев поднялся в нем за это бесчинство. Повысив голос, он (обиженный, может быть, священнической своей кровью) потребовал, чтобы она вынула из иконы Наполеона. Но неистовство Марины превзошло его ожидания: Марина схватила стоявший на столе тяжелый подсвечник — у нее не было слов!

Это был жест отчаяния. Самозащита зверя, кусающего, когда отнимают берлогу. Такой берлогой и был Марине этот культ Наполеона и все ее культы: и Мария Спиридонова, и лейтенант Шмидт — все, кто прошел по этой земле, страдая, и ушел за ту смертную завесу, за которой, утрав детскую веру, не было ни света, ни воздаяния, ни утешения, а только одна непонятность и тайна. В преклонении перед ними еще куталась ее душа, как в последний приют, им дышала, как последним земным фиаммом, забываясь, насколько хватит, в колдовском ритменном даре своим. Папин крик мобилизовал мгновенно все защитные силы. И так, из всего дома взяв самую крошечную комнату, она хотела ее в полное владение себе. Посягательство на ее мир тут она не могла позволить и отцу. И он понял! Не ее, а предел ее непонимания. Пожалел и ушел,

в двойной горечи затворив дверь. А она, может быть, плакала, бурно, как в детстве, каясь в невозвратно сделанном.

С семнадцати лет Марина стала курить. Сперва — скрывая. Щадя папу, не курила при нем. От Лёры, которую мы видели изредка, она не скрывала этого. Уходя с головой в чтение, в страсть любить книги взамен людей, зарываясь в них, как зверь в шерсть матери, она жила не столько в доме нашем, сколько в том доме, где жил в «Детстве» своем Багров-внук в семейной аксаковской хронике (как в детстве жила в маминой любимой «Истории маленькой девочки» Сысоевой), в переписке Беттины Брентано с Гёте, Элоизы с Абеяром, в парижской мастерской Марии Башкирцевой, где стояли на подоконнике гиацинты или гвоздики, где за окном синел и гудел Париж с Сеной и собором Нотр-Дам, после лета в нем 1909 года Марине родной. Ей не хватало глаз, часов в дне!

Когда в конце 1909 года мы с Андреем уезжали в Тарусу на зимние каникулы, Марина поехала провожать нас на вокзал и привезла нам апельсины. Это было странно, непривычно. И вела она себя не так, как всегда: была мягче, молчаливее, что-то в себе подавляла. И был мне какой-то намек на то, что спектакль «Орленка» с Саррой Бернар связан с каким-то ее намерением. Она колебалась в чем-то, задумывалась. И на меня ложилась смутная догадка — не хочет ли она... но дальше я и себе не договаривала. Спросить было — бесплодно -- не ответит. (И слушать не будет!) Я, может быть, молилась о ней? Затем я себя успокоила. А теперь, когда она не ехала к нам в Тарусу, меня взяла тоска, страх. Вспомнились те апельсины...

О, как я обрадовалась, когда неожиданно, без звонка, с черного хода, из той теплой комнаты тети, где пахло нагретой керосинкой, кофе и печеньем, вошла вдруг закутанная Марина!

«Мунечка!» — крикнула тетя, протягивая к ней руки, в то время как прислуга помогала Марине раскутаться, снять шубу, платок, шапочку. Друг тетя испустила громкий крик и, видимо, зашаталась, потому что служанка, с трудом подхватив ее, уже сажала в кресло, где она только что мирно готовилась разливать кофе. Но тетя, закатив глаза, охала и стонала и указывала рукой на свою талию. Мы бросились к ней, видя, что ей дурно. Все суетились возле завязок тетиных юбок, путаясь в них. Но только тогда поняла я, в чем дело, когда полустоном Тьо выдавила из себя: «Les cheveux!» (Волосы!) Я забыла сказать тете, что подруга посоветовала Марине для рошения волос какую-то жидкость, назвав ее «Перуин Пето». Марина стала втирать ее в волосы, и те катастрофически быстро пожелтели. Жидкость оказалась перекисью водорода, и голова стала ярко-желтая. Снизу росли русые, приходилось подмазывать... Увидев такой Марину, тетя была поражена в самое сердце, может быть, решив, что ее Мунечка вступила на опасную тропу... Но патетизм Тьо на сей раз был необычен. Она еще раз тихо охнула и закрыла глаза...

На один миг мы в ужасе подумали, что тетя умирает. Мы стояли за-немев. Служанка плакала. «У вас нет нашатырного спирта?» — шептала ей Марина. Тьо приоткрыла глаза. «La tante est morte, — сказала она, закрывая глаза и переводя служанке: — Умерля ваш барынья от страдань вот тут!» Она тронула себя пониже шеи, где были оборки, и, может быть, желая поправить грамматическое время (так как служанка как-то странно хмыкнула, повеселев): «Ум-р, нет! Умриет. C'est horrible! Qu'as tu fait, pauvre enfant! (Это ужасно! Чт о ты сделала, бедное дитя!)»

И, тронутая звуком собственного голоса, сразу сменив гнев осуждения на приступ жалости, Тьо потребовала узнать, кто виновник этих крашенных волос! «Бэдни дэвочк, без матерь! Если б их мать знал!.. — И,

уже сев в кресло и вновь глядя на нас открытыми глазами поверх спущенных на середину носа дедушкиных очков, Тьо, усмиряя себя, сказала милостиво-торжественно: — *La tante vivra encore!* — И по-русски: — Ваш барынь еще поживьет».

И слезы и радость! И кофе, и сливки, печенье, варенье, и призыванье кары на Мунечкину подругу, и кормить, кормить замерзшую Марину... А потом — вальсы Штрауса из дедушкиных часов-оркестра, и уют, и воспоминания. И оброненное мне Мариной что-то вроде: «Не удалось...» Большого бы она не сказала — я не спрашивала. Я была счастлива, что она здесь.

Только тридцать четыре года спустя, уже после смерти Марины, я узнала о тех днях. Но намеками она сказала, что револьвер дал осечку. Она хотела это сделать в театре на ростановском «Орленке», когда играла Сарра Бернар. В 1943 году, после смерти Марины, мне прислали ее предсмертное письмо ко мне, прощальное, 1909 года. Но о нем — не здесь.

С этих недель и месяцев началась третья часть Маринино будущего первого сборника (после части «Любовь» — «Только тени»).

Какой пищей для той поры был любимый Маринин роман Эмиля Золя «*Le gève*». (Как перевести на русский? Я бы перевела «Сновидение». Но только не «Грезы». Уж лучше «Мечта»!) Там невеста в день свадьбы, выходя из церкви, умирает на руках жениха. Марина эту книгу обожала.

Все, что погибало, влекло Марину еще сильнее, чем меня (я была по природе веселей и легче сходилась с людьми). Марина в то время жила только книгами.

Судьба братьев Гонкуров, судьба Гейне, судьба глухого Бетховена, судьба Пушкина, Лермонтова, судьба надменной белокурой красавицы (коса надо лбом короной) Марии Башкирцевой. Каждый погибавший герой книги и каждый внезапно умиравший, о ком она слышала, — вот были ее сверстники, ее спутники. Я, конечно, смягчала ей жизнь. Без меня Марине было бы еще горше.

В те месяцы крепи Маринины литературные знакомства. Тогда ли я один раз услышала от нее имя Макса (Максимилиана Александровича) Волошина? Она посещала какие-то литературные вечера и кончала работу по составлению своего первого сборника стихов. Марина называла свой первый сборник «Вечерний альбом». Он должен был выйти на толстой, чуть кремовой бумаге в темно-зеленой толстой бумажной обложке с золотыми буквами заглавия. Среднего, широкого формата.

Среди фамилий людей, с которыми встречалась Марина в литературном кругу, постоянно упоминались названия издательств «Мусагет», «Скорпион», «Весы». Марину начинали знать и среди писателей и поэтов. И однажды, когда ее пригласили выступить с чтением стихов в литературно-художественном кружке в доме Вострякова на Малой Дмитровке, она позвала меня ехать с собой: «Вместе скажем стихи, ты ведь их все знаешь?» — «А удобно?» — «Какое мне дело! Прочтем вместе. Мы же одинаково читаем...»

Мы поехали. В большой комнате за эстрадой собрались за столом поэты, которые должны были читать стихи. Председательствовал Валерий Яковлевич Брюсов. Худой, в черном сюртуке, черный бобрик надо лбом, черная бородка. Острый взгляд темных глаз, четкая, отрывистая, чуть лающая дикция. Он витал над сборищем поэтов как некий средневековый маг — персонаж из его гремевшего романа о средних веках «Огненный ангел» (Марина, конечно, читала его, я прочла много позже).

Увидев меня рядом с Мариной, Брюсов внезапно оскалил белые зубы. «Нас как-то больше, чем предполагалось, поэтов, за этим столом», — сказал он, учтивостью быстрого широкого жеста затушевывая дерзость.

Сказала ли, парировала ли Марина: «Я читаю вдвоем с моей сестрой!»? Промолчала ли надменно, успокоительно моргнув мне? Не помню.

Среди нас был Владимир Маяковский. Он был нашего возраста. Говорили, что он тоже выступает чуть ли не в первый раз. По близорукости я не рассмотрела его. Тогда ли уж или позже гремела его желтая кофта? Что он читал в тот вечер, не помню.

Когда мы вышли на сцену в огромной зале, может быть, в форменных гимназических платьях, публика заметно приветственно заволновалась. Но по «высокому тону» этого литературного собрания аплодировать было запрещено.

В два одинаковых голоса, сливающихся в один в каждом понижении и повышении интонаций, мы, стоя рядом, я — ниже и хуже Марины, волосы до плеч, она — еще не остригшая их, это было еще до того, как она их окрасила нечаянно, в скромной, открывавшей лоб прическе, мы читали стихи по голосовой волне, без актерской ненавистной нам смысловой патетики. Внятно и просто. Певуче? Пусть скажет, кто помнит.

Мы прочли несколько стихотворений. Из них помню: «В пятнадцать лет» и «Декабрьская сказка»¹.

Был один миг тишины после нашего последнего слова, и аплодисменты рухнули в залу, как весенний гром в сад, — запретные в этом доме аплодисменты.

Мы стояли, смущенные, неумело кланяясь, спеша уйти, а нам вслед неистово аплодировали.

Брюсов был, кажется, недоволен этим нарушением этикета.

Это был первый вечер Мариной начинавшейся славы.

Вот что произошло, если мне не изменяет память. в осень Марининых только что исполнившихся восемнадцати лет: был Всероссийский конкурс на лучшее стихотворение на две строки Пушкина:

А Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах.

Марина взяла свои стихи «Воспоминанье слишком давит плечи...» и послала их на конкурс. Стихи слались двумя конвертами — на одном был каждым инкогнито начертан девиз. Призы должны были распределяться по стихам, в адрес девизов. Только тогда вскрывался второй конверт, где была фамилия поэта и его адрес.

Увы, я не помню Марининого девиза. Первый приз из всей России достался ее девизу. Но когда был вскрыт второй конверт и узнано имя поэта, Брюсов перед всеми возгласил следующее: «Первый приз не получил никто, а первый из вторых призов получила Марина Цветаева».

Такое заявление было вне логики и не убедило никого. И первый приз — золотую медаль, сияющую, как маленькое солнце, с изображением черного крылатого коня Пегаса, Марина, получив, долго носила на браслете на тоненькой золотой цепочке.

Хочу рассказать о событии, происшедшем осенью 1910 года, — о кончине Льва Толстого и о том, как мы бежали из дому со всей молодежью на его похороны.

¹ Напечатано во втором сборнике стихов Марины «Волшебный фонарь» (М. 1912).

Сколько во всем мире писали о тех днях! Что я о них помню? Дни волнений, сходные с теми ялтинскими 1905—1906 годов, когда мы жадно ждали вестей от своих о восстании в Москве.

Весть, промчавшаяся по всей России, по всему земному шару: Лев Толстой ушел из дому, из Ясной Поляны, покинул с котомкой дом и исчез!

И затем, дни спустя, вторая весть, еще более страшная: Лев Толстой заболел и лежит больной на станции Астапово, в маленьком домике... Газеты, бюллетени о здоровье. В Москве только и говорят что о Толстом. На улице чужие спрашивают друг друга: ничего не слышно? Вестей нет? Тревога, толки, осуждение Софьи Андреевны. И третья, последняя весть: Лев Толстой умер!

Вся Москва подымается ехать на похороны. Переполнены трамваи. Толпы. Студенческие демонстрации. Крики: «Долой смертную казнь!» (Одно из требований Льва Толстого к царскому правительству. Оно становится девизом дня.) Улицы запружены. Шепот, что вышлют казаков. Папа запрещает нам ехать, идти куда-либо — могут быть беспорядки, стрельба.

Быстро, незаметно переглянувшись, мы поняли: папу не убедить. Нас — тоже. Лёры не было (может быть, она вступила бы с папой в переговоры?). Значит, надо уйти незаметно из дому. Другого выхода нет. Нам было жаль папу, он будет за нас тревожиться. Но с нами ничего не случится, мы чувствовали это твердо. Разве нас могут убить? Нелепо. Конечно, нет. Мы вернемся домой. Так. Но как сделать, чтобы уход не заметили? Мы подождали, пока папа ушел — или сел заниматься? Вернее последнее. Затем мы бросились в переднюю, молниеносно надели шубки (морозило, был ноябрь), шапочки, и я уже хотела надеть на легкие туфли калоши (для тепла!) или ботики, что попадетя, когда в кабинете слышался шум. Мы кинулись к черному ходу и, выйдя, прислушались. Нет, ничего. И тогда по земле, чтоб не стучать по мосткам, к воротам!

Еще за час мы зашли во дворе к жильцам, занимавшим бывший Лёрин флигель, и в счет квартирной платы попросили у них тридцать рублей. С этой суммой в кармане мы летели по Трехпрудному переулку, мороз пощипывал ноги, но радость удачи и волнение, попадем ли на поезд, отвлекали и несли нас на крыльях. День шел к вечеру. Когда мы достигли вокзальной площади, вокзал был окружен толпой. Все кричали. Мелькали черные шинели городских. Они оттесняли народ. Чудом нам удалось пробраться в вокзал сквозь толпу. А там — там отходил последний поезд на станцию Засеку под Тулой! Мы кидались от кассы к кассе — безнадежно: везде толпа. Вдруг в ней мелькнуло Марине знакомое лицо: девушка ее лет пробивалась к ней. За ней — бледный гимназист с растерянным лицом.

«У нас не хватает денег! — кричали они в отчаянии. — Попасть в Засеку можно только, взяв билеты первого класса. Второй класс весь продан. И билет стоит двенадцать рублей, а у нас на двоих двадцать!» — «А у нас тридцать, — сказала радостно Марина. — Сложимся — и хватит!» — «Ура!» — закричал бледный гимназист. «Сашка, беги! Бери!» — торопила его в испуге, что опоздаем, Маринина подруга по какой-то из прежних гимназий. Мы совали им деньги, считали — еще два рубля остается! Как вернемся на них назад вчетвером, как поедем, захватив только хлеба, — все было неважно.

«Бери купе! Целое! Чтоб вместе! — напуговала гимназиста девушка, но тот уже летел к кассе. — Сашка Кабанов — замечательный парень, — сказала она радостно, — теперь дело в шляпе! Какое счастье, что мы вас встретили, Марина! Ведь не попали бы! Такое событие все-

мирное! Быть русскими, быть близко и не попасть на похороны... Вас пустили? Как хорошо!» — «Да, «пустили!» — усмехнулась Марина.

Через полчаса, пробравшись через вокзал, мы сели в поезд. В первый раз все мы ехали на красных плюшевых сиденьях первого класса, еле их замечая от волнения, что удалось, что едем! Увидим в первый раз (и в последний) Толстого, замученного властью, отлученного от церкви за то, что хотел думать по-своему, верить по-своему. Противная Софья Андреевна, отравившая жизнь гению! Ушел. Хоть умереть — но ушел из дому!

Поезд мчался по черной ночи, так кидая вагоны, точно и он спешил. Саша Кабанов, узнав, что Марина — поэт, что выходит сборник ее стихов, был в восторге. Он смотрел на Марину обожающим взглядом, совершенно чистым от всякой тени личного притязания, полный одного преклонения. Как много в те времена было таких юношей! Их мело через жизнь вдохновенной жаждой поклонения и подвига, служения, отдачи себя! Каким презрением клеймили они белоподкладочников, видевших в жизни одно наслаждение земными благами, внешностью и деньгами!

Станция Козлова Засека. Ночь. Горят костры. У меня очень замерзли ноги. На Марине обувь толще, а в моих тонких туфлях нога как во льду. Я пробираюсь к кострам, стараясь не потерять своих. Студенты устраивают цепи, наводя порядок в стихийно качающейся толпе, затягивают революционные песни. Ночь свежа. Ждут поезда с телом Льва Николаевича. Это имя на устах всех. Никто не говорит «Толстой», это сейчас кажется грубым. Тепло и почтительно звучат имя и отчество скончавшегося — точно он еще с нами. Так мы ближе к нему. Но как долго! Как холодно! Перед рассветом становится еще холодней. Ожидание истощает. Я тщетно бью ногой о ногу — не согреваются. Ночь без сна и в волнении, со скудной едой на четверых — по куску разделенного хлеба, без питья, какой-то один час в ночи кажется не под силу. Лечь бы! Но вот по толпе бежит трепет, шепот, голоса передают друг другу весть, что поезд идет. Цепи дрогнули, студенты изо всех сил стараются сдержать толпу, издали слышен, растет шум, и на перроне станции Засека, светясь огнями в серости утра, останавливается, тяжело пыхтя, поезд. Толпа обнажает головы.

От толпы отделяется полная, сырая женщина, старая, в черном, делает шаг вперед, роняет что-то, нагибается и дрожащим голосом (нам он кажется в совершенстве фальшивым): «Его палочка...»

Мы (пробравшиеся вперед), видящие это, горим белым пламенем презренья. Оно душит. «Какая дешевая игра», — уверенно думаем мы, не знающие этой несчастной женщины, не читавшие ее дневников.

Медленно, шаг за шагом и час за часом, мы шли по длинным дорогам, по замерзшим колеям, за гробом, и вошли в парк, и там, замерзая (я уже еле чувствовала ступни), еще медленней двигались к дому по облетевшим аллеям. Затем гроб внесли в дом. Кто-то вышел. Объявили, что прежде всех с покойным простятся близкие, а затем пропустят крестьян; всех остальных — позже. Был миг, когда я была готова расплакаться, так ныли ноги и так не было сил. Марина решила войти в дом, назвать кому-нибудь из Толстых нашу фамилию и попросить денег на обратный путь. Сашу Кабанова и его спутницу мы давно потеряли. Но нельзя было уйти, не поклонясь великому Льву. И мы побороли усталость и холод и достояли до своего чередя. Вошли, еще много поздней, в дом, после всех родных, всех крестьян, в низкую комнату, квадратную. Ближе к одной стене стоял на столе гроб, в нем лежал в черной рубашке очень желтый, очень знакомый, только худее, с белой бородой, Лев Николаевич. Проходя, крестились многие. В комнате икон не было.

Шепот: «В этой комнате он писал «Войну и мир». — «Нет, «Анну Каренину»!»

Нежданная тишина была в нем, бурном. Молчал, никогда не молчавший. Было всего странней то, что он, всегда так глядевший с портретов, во весь рост стоя, глядевший пронзительно (портреты Крамского, Репина), не глядит. Опустил веки. Лег во весь рост...

Мы прошли, вышли. Решили на похороны не оставаться. Я еле шла, уже не чувствуя ног.

Мы встретили каких-то знакомых, взяли у них в долг три рубля и, сжав зубы, шагая по лопавшемуся льду, по колеям, дошли до станции. Мы тряслись в вагоне третьего класса, сидя, опершись о чьи-то плечи, дремали, просыпались. Голодные и без сил мы вернулись домой. Папы не было. Когда пришел, он узнал, что мы дома и спим.

День открытия папиного музея был назначен в 1912 году на 31 мая. Моя сестра Марина дала художественное (гротескное, как ей свойственно) описание этого торжества. Я опишу, что помню. Но перед этим я не могу не сказать, каким взволнованным днем было 31 мая для нас, Цветасвых.

О папе я не берусь говорить — оно и в слова не ложится. Шестидесяти шести лет, вынеся удар после маминой смерти и последних напряженных лет непосильных трудов по обоим музеям (Румянцевскому, где он директорствовал, и новому, им создаваемому), в университете и на Высших женских курсах, где читал лекции по истории изящных искусств; после нескольких обострений сердечной серьезной болезни, перенесший травлю министра просвещения А. Н. Шварца, папа держался только крепостью духа, непостижимым упорством радостного служения делу, высоким счастьем близившегося исполнения непомерного своего замысла и труда, светлой верой в великое назначение музея, в просвещение грядущих поколений России. Что испытывал он в тот день 31 мая — не мне сказать. Я помню нас, его родных, его близких друзей из младшего ему поколения — профессора-классика Аполлона Аполлоновича Грушка и Алексея Ивановича Яковлева (тоже уже профессора тогда?), часто нас посещавших. Они, как и мы, с трепетом ждали великого дня. Я знаю, что их было много и кроме них, все папины соратники по музею и любимые и любящие ученики (из них я встретила на торжестве пятидесятилетия музея профессора Алексея Алексеевича Сидорова, Веру Константиновну Андрееву-Шилейко и Ксению Михайловну Малицкую, самих уже старых, сказавших о папе слова сердечной и восхищенной преданности). Знаю, что их было — не названных мною — множество. Но мне было в те дни только семнадцать лет! И я помню ту сосущую тревогу о папе в нас, его непослушных и трудных детях, в нас (таких разных от двух папиных браков).

Папа, безмерно утомленный, ложился уже всегда поздно ночью. Видя его резко постаревшим за последнее время, мы понимали, что он именно теперь может рухнуть, не дожить до открытия музея!

Ждали ли мы Добротворских? Елена Александровна, кузина папы, с юности тепло входила во все трудности и дела его жизни. Ни первая, нежно любимая жена папина — Варвара Дмитриевна Иловойская, ни мама, Мария Александровна Мейн, его помощница по музею, не дожили до его дня! Обе ушли на четвертом десятке лет...

Майская синева наполнила стеклянные переплеты потолков белого мраморного здания на площади бывшего Колымажного двора на Волхонке. Жара ли — или множество людей и волнение делают тягостным ожидание?

Я не помню ни министров, ни древнего сановитого старичка в золотом мундире, ни Иловайских (Маринины воспоминания). Но я бы хотела не забыть в том дне архитектора Романа Ивановича Клейна и другого сподвижника папы, главного жертвователя, на средства коего много лет рос музей, — Юрия Степановича Нечаева-Мальцева. В апофеозе папином, потоком солнечной теплоты освещенном Мариной, этим двум принадлежит заслуженная ими честь.

Приезды, приезды. После многих движений приглашенных по главной лестнице цветного мрамора, по прилегающим за колоннадами галереям церемониймейстер расставляет нас, рассекая надвое: мужчин — по одну, дам — по другую сторону близящегося «следования высочайших особ».

Душно. Тесно. Томительно. Где папа? Каким светом залиты мрамор розовый лестницы, торжественная белизна залы! Стеклянные потолки стремят в хлад музея весь блеск весны. Было бы упоительно, если б немножечко больше сил... Как долго!

Как во сне помню пробежавшее по рядам волнение, напряжение глаз, сердцебиение. Пролетающую фигуру церемониймейстера — царская фамилия вошла в музей.

Я помню папину немного сутулую, уютную фигуру в черном профессорском сюртуке рядом с царским мундиром. Наклоненная круглая седая голова папы выше головы царя.

Мрамор, свет, блеск под солнечными потоками через стеклянные потолки. Цветные колонны лестницы, белоснежные — в зале Славы.

Я помню свою усталость, жару майского дня, долгое стояние в рядах дам — и вряд ли это было менее томительным, чем медленное продвижение в толпе по парку Ясной Поляны осенью 1910 года. Тогда страдали мы от холода, теперь — от жары. Близоруко щурясь, искали мы глазами своих среди блиставших орденами, звездами и мундирами сановников, представителей знати и просвещения Москвы, а может быть, и России. И думаю, все это покрывалось накаленным волнением за папу, за его волнение сегодня, его путь сейчас бок о бок с сильными мира сего, в этот его долгожданный, неповторимый день. И было тихое торжество радости в наших своевольных, своенравных, не в него пошедших сердцах: не папе дарят что-то сейчас сильные сего мира, а он дарит всем, всей России созданный им музей!

Как мало радости принесли ему мы. И как много — это его сын, в мрамор заключивший все сокровища истории. Этот наш сегодня венчаемый брат!

...Папа проходил с «высочайшими гостями» по залам музея, показывая и разъясняя, как всегда поглощенный предметом беседы, а мы, стоя в рядах белоснежных «высокопоставленных» дам, отыскивали глазами наших юных мужей в их первых на веку сюртуках и синезеленый студенческий — при шпаге — мундир брата Андрея, в котором он казался юным генералом 1812 года.

Жалею, что не помню упомянутые Мариной поднос, нами преподнесенный папе, и лавровый венок, на этот поднос положенный папе в час его апофеоза. Но я помню наш дом в Трехпрудном, залитый солнцем в дневные часы по окончании музейного торжества, обед, куда были приглашены близкие и родные. И помню подарок папе Марины: ко дню открытия заказанную ею золотую медаль с силуэтом музея и надписью на обороте: «31 мая 1912 года». И мой подарок папе — огромный букет роз. («Такого он не получал никогда», — радостно думала я, протягивая папе розы...) И льнут к этому дню слова, папой сказанные (прочтенные мною в его биографии, превосходно написанной недавно моей сестрой Лёрой — Валерисй Ивановной Цветаевой). Вспоминая двух спутниц своей жизни,

одну за другой уведенных ранней смертью,— «Семейная жизнь мне не удалась,— сказал он,— зато удалось служение родине...».

И я радуюсь, что есть фотография, где после шума торжеств папа и Нечаев-Мальцев снялись на ступенях музея. «Дух музея и тело музея»,— как кто-то назвал их. Они и умерли почти в одно время, в 1913 году.

Через пятнадцать лет

Максим Горький! Это имя звучало в годы моего раннего детства в устах матери, ждавшей каждую его новую книгу, каждый новый рассказ, начавшую нам, Марине и мне, читать его вслух, как только мы смогли понимать.

Мы знали его лицо рядом с лицом Льва Толстого, Чехова, Леонида Андреева и везде узнавали его — в витринах, в журналах, в газетах — светлые дерзкие молодые глаза, ясно и смело глядевшие. И мы знали, туманно еще понимая значение этих слов, что он — «выходец из народа». Мы слышали о нем в разговорах о Художественном, тогда молодом, театре, его имя вновь повторялось с именем Чехова, с именем Ибсена. А когда во время студенческих беспорядков раздалось слово «сходка», «педель», «казаки» и отец поехал хлопотать об арестованном репетиторе брата, мы уже понимали, что за всем этим стоит силуэт Горького, желанного нам и родного, сказочный облик русского богатыря — широкоплечего, мощного и вольного и чем-то нам, детям, сродни. И я не знала, что через несколько лет жизнь сведет меня с его детьми и женой, а еще через два десятилетия приведет меня в его дом.

Спасибо Горьковскому архиву: оно лежит передо мной — это мое первое письмо Горькому — тридцать четыре года спустя. Как странно держать его в руках! Без обращения. Э п и г р а ф: «Радость о человеке, ее так редко испытывают люди, а ведь это — величайшая радость на земле». М. Горький.

«Очень трудно говорить о человеке, которого хорошо чувствуешь. Это звучит как парадокс, но это правда. И такие слова, как «Вы — мне родной человек», приходится говорить с чувством испуга: испугать собеседника,— так я начала в 1927 году письмо к Горькому,— удивить во всяком случае. Думала, как написать: Дорогой Алексей Максимович? Да, так и напишу во 2-м письме,— там это слово будет завоевано, прочно. Для первого — это так мало. И то, что никак не могла начать письма...»

Как чудно у вас: «розоватый луч солнца — его встретили дружным ревом веселые звери, встряхивая мокрую шерстью» — читаю об Изоте, Хохле, Бугрове, Толстом. Про кирасиров, про вселенский собор умников... Плыть с Вами по Волге, печь хлеб, метаться во время пожара, со вздохом (что — кончено) закрыть книгу — и, чинно взяв перо, сесть писать письмо Алексею Максимовичу Пешкову.

Сколько дней с Вами говорили завоеванным — дружбой годов и бед — тоном (беды прошли, и уж ни из какой беды я Вас не смогу вытащить!) — изволь на 4-м десятке лет начинать говорить «сначала» — а Вам на шестом — слушать... Помните, как Вы увидели (а он Вас не видел) Толстого на берегу моря? Так я Вас вижу. И хоть я поступаю как раз наоборот, чем Вы тогда поступили — но от совершенно того же чувства. Алексей Максимович, я Вас ужасно люблю! А говоря языком современности — все «ориентирую» на Вас: каждый луч на московском бульварнике и человека — которого мне дарит, а Вам почему-то нет (несправедливо,— он Ваш) жизнь.

Над корытом, на работе, идя за керосином — и грудь ширится: Горький! Читать — часто нет времени. Но сквозь строй дел, по 10 минут

в трамвае, по 5 — в булочной, запоем — в амбулатории, в очереди, радуясь, что еще других вызывают, за чаем на работе — я читаю Ваши «Воспоминания и Заметки из дневника» и «Мои университеты». Прошу у всех «Дело Артамоновых» и «О тараканах».

Я всем говорю: «Горький — наш лучший писатель». Не преувеличиваю? — Нет. Ведь не читала Вас более молодого, когда была молода. Я тогда читала По, Роденбаха, Бодлера».

Я иду на работу, в библиотеку Музея изящных искусств (родной с детства, с дней, когда, маленькие, мы с Мариной приезжали с папой, со старшими на полупустую еще площадь Колымажного двора, сверкавшую кусками мрамора, и подбирали его обломочки белоснежные, и спорили, на что они больше похожи: на сахар или на бертолетовую соль... Я работаю тут же уж почти три года. Массивное греческое здание стоит перед украшенной газонами и елками лужайкой уже третье десятилетие. Отец, его основатель и первый директор, в последний раз вошел в него в 1913-м. Я пришла работать сюда младшим научным сотрудником одиннадцать лет спустя. О, как счастливо — как в детстве! — я вхожу сейчас в музей, сжав под мышкой томик Горького.

Все кругом, конечно, как образованные люди, читали Горького, знали его как «культурную ценность», но никто из них, прочтя его, не ожил от сознания, что он есть, все отлично совмещали его книги с другими занятиями дня, никто не рвался к этой душе, как рвалась я, никому Горький не был основной радостью дней. Никто не носил с собой его книги, и ни с кем из них я не могла говорить о нем.

Отослав письмо Горькому, я стала считать дни, когда может прийти ответ. Неужели не ответит? Неужели ответит?

Выхожу из Музея изящных искусств. Мне навстречу голос: «Гражданка, вам письмо!» Еле слышу сердце — скачет. «Из Швейцарии, что ли?» — «Нет. Из Италии!» И — душа через край: «Читали Горького?»

Дворник музея читал Горького, знает имя Алексей, вспоминает отчество. И чудными словами — и чудными, конечно, — один из «вселенского собора умников», как сказал Лев Толстой о горьковских героях, — говорит мне о том, что «иные — так себе, ни за чем пишут, и не поймешь, к чему, а Горький...».

Серый тонкий конверт, итальянская марка.

Мелкий, кудреватый прямой почерк — все буквы отдельно. Без обращения (тоже!). Это хорошо, — стукнуло сердце. Обращение с его услownостью... Начал прямо разговор: «Если б я получил Ваше письмо в какой-нибудь (имя города забыла — Перми или Вятке), я бы приехал к Вам, как к человеку-другу, и сумел бы сказать Вам слова (пропуск памяти) не только писательской, а и человеческой благодарности. Ваше письмо улыбнулось в сему человеку. Спасибо!» Горький писал, что обо мне слышал. Что знает. «Вы подняли нелегкую жизнь, но сохранили певческую душу», что «даже Владислав Ходасевич, который сделал из злости ремесло, и тот говорит о Вас хорошо».

Еще несколько строк — я перевертываю лист. Кажется, вся вторая страница письма — описание давней ночи в степи, в молодости, в одиночестве, когда над ним, Алексеем Пешковым, промчалась, застигнув его, буря. Мое письмо напомнило ему эту ночь. Собственно, птицу, прибитую к нему грозой. Ее желтый глаз и то, как ее кинуло к нему и как он с ней шел под открытым небом, под разбушевавшейся стихией.

Начало третьей страницы, широкий разлив ее узко написанных строчек, опять тает в памяти.

Память моя зацветает к концу третьей страницы: Горький зовет меня приехать в Сорренто. Деньги, паспорт — все это будет устроено. Что-

то вроде — «право, подумайте об этом». Затем он пишет о том, что долго писал письмо это, — уже рассвет, уже звезды гаснут. «Приезжайте, — увидите, как тут хорошо...»

Было совсем тихо во мне, когда я это письмо дочитала. Я думаю, таких минут — наперечет в жизни.

«1 июня 1927 г.

Алексей Максимович! Ровно две недели с того, когда я спешной почтой отправила Вам письмо, и все не было ответа. И — наконец — «Артамоновы»! Открыла — и сразу домой, в никогда не виденный городок, в блаженный сон когда-то бывшего дня, — да, вот что я буду читать, это не значит «читать» — жить! Снова побрела куда-то, с Горьким, снова чувство густой радости — достоверности — ковшом из жизни, из чего — о чем только и можно писать, и читать, и думать — и о чем как малые умели! Опять эта внимательная доброта, почти строгая в своей широте, это чувство напряженности и покоя. Ни в одном писателе (конечно, это о ч е л о в е к е!) не было в упор обо всем, пристальной задумчивости, печали и честности, такого вброшенного в берега слов восторга.

А знаете, я рада, что не читала Вас по-настоящему — до 32-х лет! Жадностью за теперь рада. И хожу, открывши Америку, и всем: Горький! — А Вы только теперь? — Да, только теперь! Улыбаются. (А я еще больше их улыбаюсь — удивленно, недобро: Как же так Вы спокойно живете, зная, что — Горький, почему же вы-то не ходите Колумбами? Как это может быть, чтоб в шкафу «Максим Горький» — и все! Как же мне не сказали за столько лет: «Трудно? Читайте Горького!» А они: «Да, Горький — это колосс, — идемте чай пить!») (И не дали унести полку книжного шкафа — единственно нужное в их квартире, и притом — мою!)

Спасибо за Вас, за книги, за все. Буду читать «Артамоновых». Днем. А ночью у меня их берет соседка. У нее бессонница. Читает. Макс передает мой привет. Он был похож и на Вас, мне кажется? Какой он? Пожалуйста, мне о нем напишите! Я Макса так ясно помню, хоть это и было 21 год назад. Я его очень любила, он был очень особенный. Он кидался камнями и говорил: «Вы — дети тьмы, а мы с папой — дети солнца!» И выговаривал раздельно слога слов. Меня он шутя называл «няней». Ему было восемь, а мне одиннадцать.

Ваша А. Ц.»

Реальность же была такова: я уезжала в мой двухмесячный отпуск музейного научного работника, музей отпускал меня и поручал привезти проспекты и каталоги музеев Италии. Я хотела сделать это по пути к Горькому, а не перед отъездом из Италии, чтобы не отнимать тех будущих драгоценных часов, дней перед расставанием с Горьким. Все деловое, не к нему относящееся — все чтоб было уже позади в час приезда. В этом была моя «деловитость» — ее тоненькая, другим ненужная, неизвестная струйка. Те, кто слышал о моей, всем неожиданной, поездке к Максиму Горькому, говорили: увидеть города Италии! «Города Италии»? Я видела их уже два раза, в восемь лет и в семнадцать. Мне они, в тридцать два года мои, не звучали. Из всех них было одно нужное мне — Сорренто. Других городов мне не было. Наоборот: эти все «города Италии» сейчас являлись помехой встречи моей с Горьким: отдаляли ее. Но проспекты и каталоги Флоренции, Венеции, Рима — то единственное, что через меня, от моей поездки получают мои товарищи по работе, мое начальство музейное, были — мой долг. Это мое единственное оправданье перед ними, что еду я, со специальным изучением искусства не связанная, а они, с утра до ночи переживающие один — «ренессанс», другой — «средневе-

ковье», третий и во сне видящий таинственные мне в детстве слова «кватроченто», «чинквеченто», — останутся в Москве...

Никогда я не была так равнодушна к мысли о свидании с Италией, как когда меня позвал туда Горький. Сам он был мне безмерно нужней городов и стран и даже любимого с детских лет Средиземного моря. Пенная зелень, разбег его растопленных в солнце волн вдоль всех этих Неаполей, Монако, Каstellамаре — был только случайный фон за плечами Горького. Даже не поведешь и бровью в эту воспетую серенадами даль (где-то там, по пути отражающую дворцы дождей), когда взгляд во взгляд в лицо человеку, через струи строк его почерка, драгоценней и радостней которых мне ничего сейчас нет!

Виадук, дымки поездов, с детства любимый вокзальный запах — паровозная гарь? — запах, столь слитый с криком уходящих поездов, что он уж почти и звук тоже, и поезд влетает в царство себе подобных — как выпускают еще одного льва в львиную клетку зоосада: Неаполь!

Сердце сжато — и ширится, глаза навеки запоминают этот час, этот миг, это утро: от Неаполя до Сорренто пароходом часа два. Сжав ручку чемодана, стою. Да, совершенно как сон проскальзывает Неаполь: вокзал — пристань, такси. Пароход ходит в Сорренто раз в день. Сизая дымка жаркого утра, распускающегося в жару.

— Крики, канаты, трап, люди, люди — как быстро те, что сошли впереди, разбирают коляски, автомобили, с тревогой смотрю я. Но когда я сошла, все еще остается одна коляска. Ко мне подбегает небольшой человек, смуглый, черноглазый. В котелке. Гид? «Villa Sòrito!»¹ — говорит он приветливо и берет у меня из руки чемодан, из другой — чемоданчик. Как любезно со стороны Горького — это уж и чрезмерно — он прислал мне коляску! Весело я вскакиваю в нее, спутник — «на облучок», рядом с кучером, и, кивая, что-то говорит мне по-итальянски, непонятное. Но я знаю этих людей: гид, узнав, что я еду на виллу Сòрито, примазался к кучеру — чтоб мне объяснять «la bella rapogama»² и затем взять с меня денег. Но как отделаться от него? Поздно, мы уже едем по маленькому городку. Ослепительно белая дорога, мелочавая. Кое-где пальмы. Плоские крыши. Зеленые жалюзи. Ох, как жарко!.. Я знаю, что ехать нам долго — Алексей Максимович живет у конца Сорренто, — и я сажусь поудобней, шурясь от солнца и стараюсь увидеть и запомнить этот невозвратимый час. Но внезапно коляска наша с разлету останавливается у невысокого дома. Надпись: «Префектура».

Одним точным движением два карабинера, как заводные, становятся по оба бока коляски. Их форма та же, что в моем детстве в Нерви, — синяя с красным, и короткие пелерины, и треуголки. Кто-то схватывает мой багаж, и, следуя настойчиво-вежливому приглашению, ничего не понимая, схожу из коляски, не успев еще осмыслить, почему «Префектура», — я уж поднимаюсь по лестнице.

Я одна, в пустой комнате. Багаж унесен. Никого. Может быть, запах отсутственных мест или эта внезапная тишина пустой комнаты? «Арестована...» — понимаю вдруг я. (Только теперь вспоминаю визит ко мне в римской гостинице, беседу на итало-французском — франко-итальянском? — языке о моей визе. Я там смеялась, убеждая гостя, что виза в порядке, дана на три месяца, что я могу где хочу проживать в Италии, — он допытывался, настаивал: но в Риме я буду недолго? Я же еду к Massimo Gorki? Каким поездом я отъезжаю в Неаполь? Вечерним? Аччелерато? (ускоренным?) Да, да, да...)

¹ Вилла Сòрито (вилла, где жил М. Горький).

² Прекрасная панорама.

Ко мне входят. Просят следовать. Следую. Чувствую только одно: тревогу, что рукописи в маленьком чемоданчике не со мной! Что они русские... Непонятные работникам префектуры! А вдруг их не отдадут, и я не смогу прочесть Горькому ни сказок восточных, ни из романа о детях, ни...

Я стою у стола перед плотным, смуглым, средних лет человеком с большими глазами, черными. Высокие круглые брови. Он холодно-вежливо просит сесть. Долго и пристально рассматривает мои документы: огненный паспорт, итальянскую визу, итальянскую визитную карточку. Но говорить друг с другом — не можем: я не понимаю его итальянской речи, он не говорит по-французски. Приглашают переводчика. Он, видимо, вводит в заблуждение свое начальство: по-немецки — *tedesco* — он, увы, говорить не умеет, как я ни старалась ему помочь. Ведут еще кого-то... (И Горький не знает, что я — через несколько улиц от виллы Сóрито!) И, однако, настоящей тревоги я не испытываю. Не упускаю и юмор: как ни перевертывает начальник и так и сяк пакет моих рукописей — кто ему их прочтет? Мне перевсдят на французский вопросы: кто я Горькому? Не «*sorella*»¹ ему? Нет. Зачем я еду к нему? Потому что он «*il grande scrittore*»² русский. А я — тоже «*scrittore*», хоть и не «*grande*». Вот моя визитная карточка. «О чем вы собираетесь писать тут, в Италии?» — с трудом понимаю я. «О синем море, о красоте итальянской природы!» Я прямо смотрю в глаза. Улыбаюсь. Крыло горьковской славы надо мной. Я его гость. Его имя мне тут защита. Меня спрашивают строго, но вежливо. Отвечаю тоже вежливо, но более весело. (Юмор того, что под окном ругается и кричит мой кучер, ища своего пропавшего седока, говорит мне о скорой свободе.) Мне возвращают рукописи. Выносят мои чемоданы. Гора с плеч!

Улицы, пальмы, сады, меловая дорога...

Она стоит в конце изгибающейся по холму дороги, вилла Сóрито, как когда-то стояла в Ялте на Дарсановской горе, напротив дачи Елпатьевского — дача Карбоньер: у правого бока дороги, ближе к морю.

Но прежде всего я хочу сказать еще раз то, что я много раз говорила в ответ на вопросы, вернувшись от Алексея Максимовича: что слух, упорный, что он живет в своей вилле, — aberrация. Вилла Сóрито — владение итальянского обедневшего герцога (столь обедневшего, и столь старого, и столь скромного, что совсем не верится, что он «герцог»: худенький, серенький старичок).

Горький занимал второй и третий этажи его виллы. хозяин — первый этаж. Почему я так акцентирую этот факт? Что особенного было бы Горькому иметь свою виллу? Ничего особенного, разумеется. Но он ее не имел, и зачем же настойчиво дарить ему эту виллу, ему не принадлежавшую?

Это о фактической стороне слуха. Но есть еще и психологическая сторона: чтобы человек стал владельцем чего-то, надо, чтобы он этого пожелал. И вот именно желания иметь свой дом у Горького, видимо, не было. Ни хозяйственного, ни имущественного интереса в эту сторону в Горьком не проявлялось. Что-то было в нем, что уводило его от этого желания, естественного для так многих. Эта естественная склонность быть хозяином стен, тебя окружающих, «не шла» бы Горькому: что-то слишком занятое другим (людьми, перепиской, писательским трудом, беседами, газетами) было в нем; и, с другой стороны, нечто отрешенное

¹ Сестра.

² Великий писатель.

от быта, домашних и хозяйственных мероприятий. Просто трудно представить себе его «у своей машины» (как, например, его спортсмена-сына) или за разработкой гряд, клумб. Этот стиль жизни был чужд Горькому. Вот это мне (в психологическом разрезе) только и хотелось сказать.

Когда наконец экипаж остановился наискось от виллы Сóрито у маленького низкого здания с надписью «Минерва», меня провели в отведенную мне комнату: белую, с окном на поднимающуюся за ним гору; на кровати был полог из белого тюля, ее скрывающий, высокий и широкий,— от москитов.

Я еще не успела переодеться с дороги, как ко мне постучали: на пороге стоял смуглый худой человек, и лицо его было знакомо. Макс, сын Горького! Я не видела его с 1906 года, двадцать один год. «Отец просит вас к себе,— сказал он после рукопожатия и первых приветственных слов,— сейчас будет гонг, и мы все соберемся к обеду». — «Макс, а меня ведь арестовали! Я думала, я и не выберусь к вам...» — «Я знаю, мне уже сказали. Здесь шпики ведь особенные: стоят на наблюдательных постах совсем открыто. Я многих из них знаю». Как странно было смотреть на друга детских игр — так изменившегося и такого знакомого; что-то в голосе было то же, глаза были те же и та же застенчивость, принявшая формы взрослости, какая была в мальчишке. «Так мы вас ждем». — «Я сейчас приду, только умоюсь».

И уже слышался гонг.

Вилла Сóрито — высокий плоскокрыший дом. Мы вошли во второй этаж. Идя садом — он сух, и деревца в нем маленькие,— я увидела вправо и далеко призрак Везувия. Неясно — треугольной формы, как Фудзияма на веерах и коробках в детстве, он лиловел и плавился в жару дня. Над ним через весь Соррентийский (Неаполитанский?) залив тянулось белое облако, кончавшееся, сужаясь, в кратере.

Белый фокстерьер, лестница, высокие двери. На фоне распахнутого окна кто-то вставал со стула, шел навстречу. Худой, легкий, высокий... Я не ждала такого роста, здороваясь с Алексеем Максимовичем. Он мне показался моложе, чем я думала. Русый, с седinouй, бобрнк; морщины, глубокие, лба; худоба щек. С детства знакомый нос, раздвоенный у кончика; светлые, те самые, все еще дерзкие, все еще молодые глаза.

От волнения, что вижу Горького, я не сразу разобралась в первом моем впечатлении. В первые минуты меня поразил в Горьком чинный холодок его общения с человеком. Он устанавливает расстояние от вас к нему. Я, ждавшая большей задушевности, упрекнула себя в этой ошибке понимания. Надо было догадаться, что Горький строг. Но когда я поняла это — тотчас проглянула в нем шутливость,— словно он, почував мое впечатление, захотел разбить его.

С первого же дня меня захватил талант горьковского устного рассказа. Я не ждала этого, я считала его писателем. Что он изумительный рассказчик, я не знала. И, придя после многих часов у Горького в свой номер в «Минерву», я села ночью писать. Я повторила все сказанное им по свежим следам памяти. Я легла под утро, счастливая, что не упущен в Лету вчерашний день. И это продолжалось во все пребывание мое у Горького. Появилась нежданная книга. Я не говорила ему, что пишу,— не с тем я ехала, книга родилась как подарок всем, кто его не слышал.

Скажи я ему о ней — он не был бы так свободен. Я чувствовала право молчать. Всдь какой я везу подарок в Москву!

Так шли мои бессонные ночи, мои предутренние часы сна и мое пребывание с Алексеем Максимовичем с часу дня (обед) по начало ночи, когда мы — два-три человека его слушателей и собеседников — расходились для ночного отдыха.

Я жила как на крыльях: книга все богатела, ширилась, углублялась.

Горький вставал рано, в семь утра садился писать — до обеда. После обеда он сидел с нами, своими гостями, отрываясь иногда — читать газету, написать письмо. В пять часов был чай, в восемь — ужин. За столом роль хозяйки принадлежала жене Макса, прелестной молодой женщине. Ее дочке Марфе было два года.

Кроме семьи Горького, в доме жил уже много лет не покидавший Алексея Максимовича русский художник Иван Николаевич Ракицкий, по прозванию «Соловей». Он был средних лет, умен и приятен в общении; как художник — с уклоном к фантастике. Помню его деревья и радуги, от них и сейчас на душе тепло. Горький рассказывал о Соловье, что он обладает особенностью предчувствовать землетрясения, частые вокруг Везувия, причем знает, с какой стороны их ждать.

«Сегодня с вас сняли «охрану», — сказал через несколько дней Макс, — мне сообщил это один из шпиков: «Мы наблюдали за вашей русской гостьей — она никуда не ходит, только через дорогу к вашему отцу, даже к морю не спускается!..»

С этого дня, посмеявшись такой заботе, я стала ходить купаться, беря купальный халат Тимоши, как шутливо звали жену Макса. Путь был круто под гору, маленькая бухта была безлюдна, крупные камни, зеленватая прозрачная вода меж них, запах моря напоминали Нерви, детство.

Прошло больше четверти века. Книга моя погибла в вихре военных событий. Я не успела ее обработать, отдать в печать. Отдала я туда только две главы — первую в 1930 году в журнал «Новый мир» (А. Мейн, «Из книги о Горьком»). И в 1936 году — вторую главу в «Литературное наследство» для тома, посвященного А. М. Горькому (А. Мейн, «Из давних встреч с Горьким»). Этот том не вышел, и поиски этой главы в 1960 году были тщетны: мне сказали, что в архив «Литературного наследства» попала бомба, моей рукописи не нашли. Но на тридцати шести страницах в № 8-9 1930 года «Нового мира» жив мой пересказ бесед с Горьким. Жаль, что молодежь его не читала и что номер журнала тридцатипятилетней давности трудно достать.

Я помню, как все мы сходимся внизу, в комнатах Макса и Тимоши. Мы смотрим миниатюрные рисунки Макса — гротески, карикатуры. Макс не раз выставлял свои работы на выставках. В комнатах Макса помню диваны вроде «турецких», крытых ковром, этюды, наброски его жены Надежды Алексеевны — тоже художницы. Окна в сад раскрыты, за ними душистая мгла и далекие куски суши, обведенные — по краю моря — огоньками, подымающимися вверх по побережью звездной россыпью. Еще многие не спят, как и мы, в этот час у подножья Везувия, где ежегодно, по рассказам Горького, чьи-то виноградники уничтожаются лавой и все-таки на следующий год пострадавший сажает их вновь.

Макс ставит на патефон пластинку, она начинает кружиться, и, как цветок из земли, рождается и растет мелодия. Женский голос поет неаполитанскую песенку, и под этот знойный трепет, в серебряную синеву его голосовой игры открывается дверь и входит к нам Горький. Я видела его за обедом, в столовой, куда он вышел из своей комнаты, из высо-

кой двери, высокий и сдержанный — более того, с этим ледком во всей повадке и взгляде, — он шел к нам от чтения газет и деловых писем, от последних известий, почерпнутых, быть может, из эмигрантских газет, к которым он едок и желчен. Но сейчас другой человек вошел к нам. Человек, полный тепла и застенчивости, весь — слух, разнеженность, весь — молчаливость. И когда он почти смущенно сел в уголок, чуть склонив, как на каком-то портрете своем, голову набок, была полустарческая печаль в нем, печаль так войти — «старик» — в комнату, где «молодые», где кружится, точно в вальсе, чей-то голос и летит, как с обрыва бросаясь в ночь. Потому что все на земле ему, Горькому, ведомо и столько прошло, и столько — уж навсегда... Потому что шестидесятый год он живет на земле с ее песнями, с ее ночами, морем, степями, с вереницей растаявших дружб...

А Макс ставит другую пластинку, другую песню, и, как жаворонок в лазури, вьется дуэт, обводя светлое сопрано темной тенью низкого мужского голоса. И когда пение, достигнув неопишуемой силы и согласия, обрывается на двух последних длящихся нотах, на двойном апогее высокого и низкого голосов, — Горький встает и долго стоит у окна.

Неаполь! Одно слово это! Napoli! В сизой дымке, почти серебряной от жары, раскинулся он над заливом и оживает навстречу нашему полету в машине. Переставляя растущие громады кварталов, еще смутные, но уже выступившие из немоты дали, он становится уже явью — из бледной лиловизны.

Горький чудный сегодня! Он радуется, что покажет нам Неаполь, народ в порту, музеи. Он улыбается, шутит. Застенчивость, растопленность, осуждение своей способности раздражаться — в его смеющемся, греющем голосе... (Точно бабушка из «Детства» обернулась через плечо.) Залитые его любовью, мы будто держимся на ветру за руки, как дети, которым ведь все-все равно, кроме радости! Мы мчимся к его Неаполю, а город уже обгоняет нас первыми улицами. Разве можно поверить, что Алексею Максимовичу пятьдесят девять лет? Ему столько же, сколько мне! — не больше, чем Максу!..

Солнцем залито лицо Горького, родное и милое, в резких тенях худобы под широкополой шляпой, молодо сейчас. Как он чудесно смеется!.. Худоба? Он и в юности был таким же.

«Ну что же, начнем день с осмотра музея». И мы входим в каменную прохладу музейных зал. Неужели мы в городе? В современном городе? Как косой, срезаны гул, говор, плеск, мы, как на некой заколдованной подводной лодке, опускаемся на дно моря, которому имя — прошлое. И по этому прошлому нас ведет вдохновенный гид — Горький.

Куда девалось солнце с его лица, теплота и застенчивость? Его лицо сурово. Глубоки, как на картинах Рембрандта, провалы щек, вдруг ставших старческими, зорки и строги глаза. И не гид ведет нас по тихим залам музея, а жрец — у входа в святилище.

О! Если меня упрекнут в чрезмерной патетике, я смолкну... Но за меня заговорят те самые статуи Неаполитанского и Помпейского музеев, которые одни на всем земном шаре имеют право на голос, потому что в каждой из них человеческий скелет, человеческий череп, гласящий о себе тем гипсом, который окутал их. И об этом рассказывает нам глуховатым голосом Горький, и нет слушателей внимательнее, и нет гида более важного в своей простоте, более потрясенного, чем Горький. Незабвенно сентябрьское утро, когда в ранний час, чтобы не мешал приток иностранцев и людей, которые могут узнать Алексея Максимовича, мы

еще в пустом музее слушаем рассказ об этих статуях, polegших, как целое войско, под стекла музейных витрин. В тех же позах — шага, бега, паденья, как их застало двадцать столетий назад последнее для них извержение Везувия.

Никто не устоял перед легким огнем летевшего и горящего пепла, горевшего и остывавшего, превратившего городские ворота, площади оживленной торговли, виллы сильных мира того в пепельно-серую равнину, плавный холм у берега моря, по которому, освещенный догоравшим огнем насытившегося Везувия, плыл корабль и на нем — уцелевший Плиний, рассказавший древним о Помпее... Но Плиний не знал того, что теперь знаем мы.

Века прошли. И как из алчной пасти
Мы вырвали былое из земли,
И двое тел, как знак бессмертной страсти,
Нетленными в объятиях нашли...

(В. Брюсов)

Я стою у витрин, под которыми два тысячелетия лежат: упавший в землю лицом помпеянин, в отчаянии кинувший руки, как щит; мать, прижимая к себе грудного ребенка. Столько в позе самозащиты, бегства. И собака, будто маленькая борзая, такая тонкая, задыхаясь, вскинула мордочку.

«Ваш отец издал превосходный атлас помпейских фресок, Анастасия Ивановна, — говорит Горький. — Мне приходилось видеть... Он, конечно, рассказывал Вам о Фиорелли?» — «Да, конечно, но я была ребенком, и если бы Вы теперь рассказали...» — «Полый звук! Звук пустоты под киркой — вот что создало этот музей. И помпейский... — глухим своим, окаяющим голосом говорит Горький. — Вот в этом и гениальность ученого! Этот звук — среди других, слегка отличающихся, мог пройти совсем незаметным. Незамеченным. Да, но это мало — заметить! Заметив, задуматься — и тотчас остановить работы. Найти верное объяснение этого акустического изменения. Мало! Найти слова обращения к рабочим, приступившим к великому делу раскопок, найти такие слова, которые каждому движению кирки дарили участие в воссоздании того, что, казалось, кора пепла навсегда поглотила. Рабочие Фиорелли поняли его замысел, он сумел передать им свою страсть исследователя! Их рука иначе с тех пор подымала кирку! Сердца рабочих бились вместе с сердцем ученого, их мозг работал во всю мощь внимания... Неверный удар — и погибнет статуя... — Как волшебник в минуту варки целебного зелья из никому не ведомых трав, Горький понижает голос — и он кажется внятней: — В местах полого звука сверлили отверстие и в него лили гипс. Гипс быстро твердеет. Тогда снимали кору пепла. И представляла «помпейская статуя» одного из жителей погибшего города: пепел не сжигал телá, затвердевая вокруг них. Тело человека потом истлевало, оставался один скелет, но гипс, заполняя пустоту истлевшего тела, повторял его под корой пепла — в точности. Воссоздал!»

Мы покинули помпейские залы. «Такие» статуи кончились. Начались вот эти, иные статуи — не воссоздания... Создания! Мы стоим перед мрамором, выброшенным недавно морем. Nike! (Победа.) Без рук, без лица, она и сейчас летит, побеждая — время, море, подводные скалы (может быть, те колонны и лестницы под водой, о которые ее било), побеждая свое увечье и нашу усталость, весь наш человеческий

опыт умеющих уже не откликаться! Рассуждать, сравнивать... Не рассуждаем. Не сравниваем. Несравненно!

Горький не объясняет и не рассказывает. Когда же по его жесту двинемся вперед, мы слышим только одно слово его: «Замеча-а-тельно...» Е д в а слышим! Как вздох. Одними губами.

«Пойдемте в Аквариум. Там вы увидите рыб и чудовища Средиземного моря! Таких в реках вы не видели. Рыбы...» — «Это вы говорите или Иноков?» — спросила я, смеясь. «Вы отождествляете меня, кажется, с Иноковым?» — тоже улыбаясь, спросил Алексей Максимович.

Музей подводной жизни! В полусвете мы идем, точно по морскому дну, и не сразу осознаем, что в тусклом освещении этих комнаток-коридоров роль цветных ламп принадлежит самим рыбам, сверкающим по оба бока от нас сине-серебряными, оранжево-золотыми шарами, опахалами, стрелами. В песочно-травяных водоемах на миг скрываются и вновь, как маленькие фейерверки, торжественно выплывают эти парящие и тонущие фонари. И еще, перечеркивая тишь Аквариума, носятся молнии созданий столь крошечных, что у них, собственно, нет видимой жизни, кроме движения и блистания. Выискав в подводном музее особо редкостные феномены, Горький ведет нас к ним, и, затаив дыхание, мы сторожим миг их появления из глуби зеленоватых вод и морских растений. И когда «оно» появилось, вмиг потухли все окружающие чудеса цветного мира, потому что э т о плыло, сияя, плыло, как маленькое подводное солнце, озаряя себе подобных и тусклую зелень трав... «Ну, а теперь подойдемте ближе,— говорит Алексей Максимович.— Имя этого существа...» — Следует латинское слово.

Мы подходим к стеклянной стене. Да, да! Это самое, которое издали сверкало бестелесной красотой радуг! У него страшная мясистая голова, тупой нос, бульдожий, зелено-красные глаза навывкате пожирают нас, как будто мы — крошки хлеба, которые сторож сыплет в аквариум. Но, ударив воду мускулистым зеленым хвостом, похожим на якорь, чудище делает оборот в сто восемьдесят градусов и плывет от нас в профиль, став вдруг обыкновенной рыбой.

А передо мной тонким, длинным, бледным, как осенний лист, носом уже тычется о стекло чье-то другое бледно-желтое очертание, и совершенно белые глаза, полные остановившейся, недосказанной печали, смотрят мимо меня. Ничего рыбьего — ни профиля, ни хвоста. И оно не плывет, а парит в водном небе без движения.

«...а по-латыни», — слышу я голос Горького, словно он услышал мою мысль, и он произносит какое-то древнее имя с итальянским звучанием.

Но вот мы переходим в следующее отделение музея — к мертвым рыбам.

Как у Данте сферы небес разнятся от кругов ада, так молчанье этой части Аквариума было отлично от той качественно. То молчанье была немота живых существ. Немота не ощущалась как недостаток, как неспособность к звуку, — она была вещь в себе и вещь в вещи.

Здесь... Остановясь в спирту, потеряв стихию движения, стихию дыхания и самую память о них, все стало четко видно до самого дна. Поймано. Не фосфорилось ничто. Не сияло. Жестко выпятив в смертной муке все свои острия, все полукружия, все оттенки цветов в полное владение человека, чудеса моря недвижно парили в бесцветном огне, прихорившемся жидкостью, бессильно и безответно предлагая сумасшедшую свою красоту каждому, захолевшему посмотреть.

Теперь можно было всласть сочетать эту особь с э т и м латинским названием. Разглядеть все преливы алого, зеленого, золотого. Понять,

что казалось (плывя) шаром,— только вдруг померк Неаполь, музеи его, все музеи на свете!.. «Вы устали, Анастасия Ивановна? — говорит Горький.— Мы сейчас отдохнем у тетки Терезы на Санта Лучиа! Идемте теперь, пообедаем, выпьем Лакрима Кристи!»

«Хотите, может быть,— сказал мне Алексей Максимович,— выпьем сюда Марину Ивановну на свидание с вами? Это будет проще, чем вам уезжать отсюда?» — «Спасибо, Алексей Максимович,— сказала я,— но ведь я хочу увидеть и ее мужа, и дочь — Аля одних лет с моим Андрюшей,— и еще маленького сына Марины, который родился в Чехии,— Георгий, по-семейному — Мур...»

Так и решили. Завязалась переписка о сроках, о визе. Марина с семьей собиралась выехать на часть лета из Парижа в скромную деревушку на берегу океана и звала меня с собой. «Хочешь на океан? — писала она мне.— Поедем!»

«Милая Марина,— отвечала я,— не сердись, но я сейчас не могу надолго уехать от Алексея Максимовича: мы говорим по много часов в день, и я хочу читать ему из привезенных моих рукописей о нашем детстве, и сказки, и начатый роман «Музей».

Я приеду к тебе и поживу с тобой — до вашего отъезда на океан — и вернусь сюда. Кроме того, я пишу о нем».

Я ждала французскую визу и продолжала мои записки.

В последние дни в Сорренто особая теплота в обращении со мной Горького, интимная нота его рассказов в последние вечера перед отъездом нашим в Неаполь, какое-то в нем, гордце, неожиданное доброе доверие привязывали меня к нему все сильнее. Словно что-то растаяло меж нас: та невидимая стена — так искусно? природно? привычно? — воздвигаемая Горьким между ним и собеседником, рухнула. Единственно, что было трудно теперь,— это уехать. И как раз оно предстояло. Не ехать? Это было в моей воле. Нет, не в моей. То есть такое решение могло мной быть названо только потворством себе и изменой Марине — радости свидания с ней после пяти лет разлуки. В свете моей кровной и душевной связи с Мариной отказ от поездки к ней на десять дней ради счастья не расстаться с Горьким — блажь, как ни кинь. На это у меня права не было. На неделю поеду к Марине. И кому же это понять, как не Горькому?

Париж приближался. Его свинец, серебро, перламутры — тучи, лучи, дымки над маревом крыш — подступают все ближе, тая вширь, разливаясь и разбегаясь навстречу летящему поезду.

На перроне меня встретил Сережа, Маринин муж.

Мы едем с вокзала на вокзал, минуя Париж. Марина с семьей живет за Парижем — в Медоне. Это маленький городок. На улицах мало народу. Сады. Мы спешим, быть может, удивляя прохожих нашим быстрым шагом: Марина нас ждет!

Подъезд. Лестница. Через три ступеньки! Но рука не успела дотянуться к звонку — дверь уже открывается навстречу, и два лица обозначаются в сумраке входа. Узнаю Маринины черты в верхнем; но сразу, точно кто подкосила ноги, — я уж на корточках, перед Муром. Русые кудри, крупная голова — маленький великан! Как похож на мать!.. Вскрываю. Рукопожатье. «Марина! Какой чудный! Он очень похож на тебя!» Но уж опять, прерывая наш взгляд друг в друга, — третье лицо над плечом Марины — голубой свет огромных глаз, улыбка — и две косы. «Аля! Алечка!»

Первые часы — вперемежку рассказы и вопросы обо всем сразу: Москва, Сорренто, родные, Горький, Ока и Средиземное море (год назад, в 1926-м, я ездила с Андрюшей в Тарусу, где не была с 1912 года, с открытия музея, с наших свадеб). О Марфеньке, Соловье, Максe, жене Макса, о последних впечатлениях от Москвы, о Венеции, Флоренции, Риме — и через каждые пять минут: «Алексей Максимович»... И Марина мгновенно загорается к нему ответною, нежною благодарностью за меня: «Я ему напишу — непременно. Поблагодарю за тебя». — «Он твои стихи хвалит. Хотя и спорит со многим». — «Помнишь, как его мама любила?» — «Еще бы!»

Марина изменилась. Определить чем — трудно. Старше стала, конечно. Ей скоро тридцать пять.

Все еще похожа на римского юношу — большой лоб, нос с горбинкой, твердый абрис рта. Вокруг светло-зеленых глаз кожа у век стала как-то темнее. Все так же курит и чуть щурит глаза.

Марина лежала на своем диванчике, где спала (в ее комнате я помню только диван, ее стол и книги), в папиросном дыму, а на глазах — слезы: «Ты пойми: как писать, когда с утра я должна идти на рынок, покупать еду, выбирать, рассчитывать, чтоб хватило — мы покупаем самое дешевое, конечно, — и вот, все найдя, тащусь с кошелкой, зная, что утро потеряно: сейчас буду чистить, варить (Аля в это время гуляет с Муром), — и когда все накормлены, все убрано — я лежу вот так, вся пустая, — ни одной строки! А утром так рвусь к столу — и это изо дня в день...»

Золотые короткие Мариныны волосы разбросаны по подушке, голос борется со слезной судорогой. Я стою у стены, бессильная помочь. Пять лет назад, в хаосе борисоглебской квартиры, в дикости послеголодных лет, насколько она была крепче и радостней, чем в этих чистых комнатах, в фартуке, у газовой плиты... Звать ее назад? Не поедет. Да и пу-
стят ли?

Помню рассказы Марины о Мережковском, о Гиппиус, о Бунине. Она не любила их, не ценила. «Они — в самом правом крыле эмиграции, среди тех, которые до сих пор решают, какой великий князь будет царствовать — Кирилл или еще кто-то. Они держатся особняком, необычайно гордятся каждый собой (хоть бы — друг другом!) — (Голос Марины дрожал неуловимой игрой иронии.) — Меня не выносят. Я прохожу — не кланяюсь. Не могу. А Бунин так высоко несет себя — как на блюде! Сам перед собой благоговеет. Он считает, что он один «великий писатель земли Русской». Смешно. А когда было тут, в Париже, выступление Маяковского, зал был полон. Но знаешь, как его встретили? Полным молчанием. Все эти ничтожества! Ни одного аплодисмента! Тогда я встала и одна обратилась к нему, приветствовала его. Должен же был кто-нибудь такому русскому поэту в зале, где сидят русские, *faire les hommages de lamaison!*¹».

Молодец, Марина!..

«Я хочу быть одной и писать, — говорила Марина, лежа на своем узком диванчике. — Утро и день. Ну, вечер уж все равно, силы к вечеру спадают. Тогда — пусть уж и люди, могу с ними говорить, даже слушать, когда дело сделано. Даже оживляюсь (от благодарности, что они не пришли раньше, что дали мне писать. Они же не виноваты!). Но выходит наоборот: жизнь съедает у меня утро и день, а вечером еще люди. Можно прийти в отчаяние — и я прихожу. И никто не виноват,

¹ Непереводимое французское выражение, означающее: выразить уважение, оказать гостеприимство.

не виноваты же дети! Аля и так почти целый день с Муром. Это тоже лежит на мне. Я как будто бы виновата. Но больше, чем я делаю, я не могу! Ребенок должен гулять утром, днем. Один он на воздухе быть не может. Значит — с Алей. И все должны быть сыты. Значит, я иду на рынок и готовлю. Сережа работает — где и как может. В издательстве. Устает очень. Он все эти годы болел. Ты же знаешь... — Огненная точка папиросы вспыхивает, туша пепел. — Заколдованный круг!» — «В России было бы легче?» — «У меня нет сил хлопотать, ехать. Подыматься семьей... И нет денег». — «Марина! Дети твои — два чуда. Это ты помни! Подрастут — и тебе будет легче...»

Вздых.

Видела я героя «Поэмы Горы» — К. Б. Р—ча. Таким — немного таким, только с лицом жестче и темнее — я представляю себе Андрея Болконского. Но этот человек был тронут крылом польской прохладной пленительности. Невысок, тонок. Обращение Марины с ним было дружески равнодушное, она с ним мало говорила. Марина рассказала мне, что она способствовала его браку с дочерью С. Н. Б—кова. Марина подарила ей белое венчалное платье.

Была усталость и разочарованность во всем этом. Марина казалась мне старше, чем какую я помнила ее в Москве в 1922-м. Кровны были ее строки:

Уж немногих я зову на ты,
Уж улыбки забываю важность...
То — вдоль всей голосовой версты
Разочарования протяжность.

С двумя писателями я в Париже в те дни увидалась: это были Илья Эренбург и муж моей гимназической подруги — Поль Элюар.

Илья Григорьевич жил в небольшой квартире. Книги, книги. Помню его сходящим по узенькой лесенке внутри комнаты, как бывает в художественных мастерских. Худой. Тот же взгляд темных умных глаз.

Моя гимназическая подруга Галя Дьяконова, о которой я уже писала в 1914—1915 годах, двадцати лет уехала к своему жениху Полю Элюару через минированное море; как это ей удалось устроить — не знаю. (Редко помню что-нибудь деловое. Но этот факт был.) Познакомились они еще в 1912—1913 годах, в санатории за границей, куда Галю отец отправил лечиться: у нее начался туберкулез. Она много рассказывала мне об Элюаре позднее в Москве.

Галя встретила меня у одного из отдаленных парижских вокзалов. Мы не виделись около двенадцати лет. Но узнали друг друга сразу. Ушла из ее лица девическая стройная тонкость. Вместо кос была незнакомая мне пушистость подвитых волос, ширивших ее узкое лицо. Но голос! Но глаза! Те же узкие, чуть китайские, карие, с длиннейшими ресницами. Этим взглядом Поль Элюар посвятил одну из своих молодых книг «Ses yeux»¹ — страницы были полны набросков Галиных глаз. Эту книгу я теперь, приехав к Гале, держала в руках.

Перекидывая страницы, смеясь и задумываясь, я слушала Галин рассказ о их весьма необычном браке. О том, как несколько лет назад ее муж уехал на остров Таити и она жила в Париже одна. Затем она приехала на Таити. Теперь они уже давно снова вместе. Отношения сложные. Не всегда легко. Но расстаться не удалось: вросли друг в друга. Он необыкновенный человек.

У них дочь Сесиль. Сейчас она гостит у бабушки, его матери.

¹ «Ее глаза» (франц.).

Я рассматриваю альбом, фотографии, где Сесиль во всех видах: дома, в саду, со всеми своими живыми и игрушечными друзьями — зверями. По блеску карточек разбросаны — как «Ses yeux» у Элюара — темные кудри Сесиль, ее пышные банты, ее плюшевый гигантский медведь, и чем дальше я листаю, тем она худее и выше, тем таинственнее становится лицо девочки, в котором таятся и Галя и Элюар, смесь двух наций.

Скоро приедет домой Поль Элюар.

— Он очень много работает,— говорит Галя,— а я дома. Я много бываю одна или с Сесиль. У меня в саду столько роз — я тебе нарву букет, увидишь какие! С ними очень много возни. Все сама поливаю.

Я слушаю, смотрю вокруг — их комнаты похожи на музей: Элюар — страстный коллекционер редкостей. Чего именно? Не помню. Остались в памяти во всех углах скульптурные идолы, статуэтки Будды да прозрачная, как хрусталь, лошадка. Я вживаюсь в эту незнакомую, через Галю уже близкую жизнь, которую я, так случайно встретив правом двадцатилетней дружбы, завтра, может быть, навсегда покину. Элюар — знаю — мне через Галю уже родной: я о нем столько и так давно слышала, и он не может обмануть моих ожиданий.

И вот он входит. Ниже ростом и не те волосы — светлей, но чем-то очень сходный с Маяковским. Пронзительный взгляд — ума и печали.

Улыбка. Рукопожатие. И с первых минут — разговор, точно годы друг друга знали.

Я позабыла — не удастся прежняя беглость — французский язык; иногда споткнусь, потеряю, ловлю слово, но проходит час, другой, третий — слова летят назад, как птицы в гнездо, мне делается все свободнее, все веселей. Галя, верно, радуется, глядя на нас, своей сдержанной, тонкой и гордой радостью — она у нее сейчас двойкая: «Вот мой муж», — любя, говорит она мне; «Вот моя подруга» — ему.

Мы, конечно, ели, сидели за столом, смотрели его и другие книги, его рисунки, но запомнилось одно: непрекращающаяся беседа нас троих часы и часы, не отрываясь.

Как мне хотелось, чтобы Галю и Элюара увидел Горький! Галю — мою подругу с третьего класса гимназии Потоцкой (за углом от театра Корша, Петровка, бывший дом Самариной), где старик швейцар Адам, добродушный, седобородый, ласково звал наших подруг евреек «иерусалимчики»... Маленькие Анны Франк! Сколько их погибло, бежавших по нашей гимназической лестнице дочерей и внуков, в страшные годы второй мировой войны...

(Жива ли теперь наша общая подруга, которую мы так с Мариной любили — Аня Калин, в двенадцать лет так игравшая Шопена и Грига в нашей отцовской зале в Трехпрудном? В Лондоне, куда Марина ездила читать стихи до нашей встречи в Медоне, к ней подошла на вечере Аня Калин. Но это было давно... Жива ли — не знаю о ней тридцать четыре года — и Галя? Галя! Длинноногая, в матроске, в коротеньком гимназическом платье, с косами, досадливо — мешают! — заброшенными за плечи, хватающая меня за руку — бежать в перемену особой нашей припрыжкой во двор, — узколицая, смуглая моя Галя?)

Поздно легли мы. Может быть, уже рассветало? В дружественном темном взгляде Элюара — внимательность и ума и сердца. Он слушает мой рассказ о Марине, о Горьком. Заинтересованный и ею и им, он ловит мои слова о них, как ловил обитателей своей коллекции редкостей, которыми он населил дом.

Как одну из дорогих редкостей моей коллекции, жизненной, сохранила я слово Поля Элюара о женщинах России. «Ваша страна в самом деле удивительная, — сказал он мне среди нашего — без малого

сутки длившегося — разговора, — я никогда не мог с французскими женщинами говорить серьезно, свободно, с полным знанием, что понят. Так я говорю — из женщин — всего во второй раз в жизни. В первый раз это было с моей женой Галей, во второй раз — с вами. И обе вы русские!»

Он показал мне свою коллекцию. Я похвалила светившуюся хрустальную лошадку. Он протянул ее мне.

Напрасно я, смутясь, отнекивалась, говорила ему, что это — обычный восточный, не западный, что я себе не прощу, что похвалила неосторожно... Он настоял.

С Галей мы больше не виделись. Поль Элюар умер в 1952 году.

Марина часто упоминала о Чехии — сердцем возвращалась к ней. Жилось Марине с Сережей там, под Прагой, «не жирней», чем в Париже, может быть, еще трудней в смысле работы, еще скудней в смысле пищи. Но нежность Марины к Чехии осталась до конца ее дней (поздней — цикл стихов к Чехии). Она говорила мне о доблести чехов, о скромном величии этого народа, о их тихой, мирной жизни, напоминавшей Шварцвальд нашего детства. О их страстной любви к родине. О природе Чехии, которую она полюбила и несет в себе, как Россию. О их реках, холмах, деревьях. О лесе, где они жили...

А над домом назрела туча: скарлатина. Сперва Мур, затем Аля. А потом и Марина слегла. В тридцать пять лет! Сережа и я испугались. Болезнь началась и шла бурно.

Мы в четыре руки ухаживали за больными. Было несколько дней, опасных для Марины. Она болела тяжело, мы за нее боялись: как повернет болезнь? Но Марина взяла верх. Болезнь отступала. Как радостно было в эти дни в доме! Аля, бледная, уже была на ногах. Осунившийся Мур, вновь уютный медвежонок, лез на постель к матери.

А визы обратной в Италию все не было. Я волновалась — опоздаю в Москву на работу. И как я поеду к Горькому из скарлатинного дома — в дом, где двухлетняя Марфенька?

И вот так же просто, как вести так долго не было, в ответ на мой запрос к Алексею Максимовичу, не боится ли он меня для внучки (из-за скарлатины), пришла весть: Горький просил передать, чтобы я ехала в Сорренто.

И на другой день, так же просто, как мне все отвечали: «Нет визы», — мне ответили: «Виза пришла».

Солнечное — через парижскую дымку — осеннее утро. Вот он, стъезд...

Марина в первый раз встала. Слаба. Бродит по дому. Может быть, встала, чтоб сделать этим максимум для моих проводов. Ехать на вокзал она, конечно, не в силах. Сережа проводит меня. Ни слова слабости от нее ко мне, от меня — к ней: семейная статья.

Два голоса, теплые, вежливые слова. В унисон. «Пиши же...» Рукопожатие. Чинный, бережный поцелуй. Мы уже у самой выходной двери. Полутьма. В ее ласке я переступаю порог.

Запах железнодорожной гари, крик поездов. Дорожная лихорадка. Узкое смуглое лицо Сережи, его поднятая над головой шляпа, свет его огромных добрых глаз. Улыбка. Высокий его силуэт. Рядом, ниже, — Р—ич: он в последнюю минуту поспел к поезду, привез мне от Марины письмо! Пожелания, прощанья...

Поезд дрогнул. Идут рядом с вагоном, ускоряют шаг. Мои последние им слова: «Приезжайте в Россию».

Конверт. И апельсины. (Такая трата, Марина!)

Слезы застилают глаза. Читать — не могу. Мешают. «Милая Ася... (строчки прыгают)... когда вы с Сережей ушли, я долго стояла у окна. Все ждала, что еще увижу тебя на повороте, — вы должны были там мелькнуть. Но вы, верно, пошли другой дорогой!.. Бродила по дому, проливая скудные старческие слезы...

Твоя М. Ц.»

Знакомый характерный завиток нашего «Ц» — и пустой низ листка. («Отъезд — как ни кинь — всегда смерть...» Когда-то слова Марины при приезде из Москвы в 1922-м.)

В Сорренто без меня приехала, вернулась уезжавшая Мария Игнатьевна Закревская — секретарь Горького. Высокая, стройная, с большим умным лбом и огромными темными глазами. Говорили, что она по побочной линии потомок Петра Первого. В ответ на просьбу «показать» ее предка она хмурила брови, что-то делала неуловимое с лицом — и в комнате оживало знакомое по портрету лицо Петра.

Соловей болел — где-то шло землетрясение.

Из-за запоздавшей визы мой срок отпуска прошел, и я торопилась в Москву.

Спешно заканчивала я зарисовки Горького, радуясь тому, как прочту о нем друзьям, как буду готовить книгу. И было тяжело уезжать.

Алексей Максимович и я стоим на площадке лестницы его дома. «Анастасия Ивановна, выберите себе что-нибудь на память!» — говорит он, подзывая проходящего бродячего продавца с его корзинами «воспоминаний об Италии» — изделий из черепахи, мозаик, коралловых бус, шелковых шарфов. «О нет, не хочу, не надо... — умоляюще говорю я, пугаясь быта. — У меня есть Ваши книги...»

Мой последний час. Мне хорошо, что еду я не одна — с Екатериной Павловной. Это последнее тепло моего соррентийского дня. Мы стоим на раскаленной меловой, белой дороге (от нее, солнцем, больно глазам): Горький, Соловей, Екатерина Павловна, я.

Коляска подана. И рада, что в этот печальный, дорогой миг не равнодушная машина (которую, увы, так любит Марфенька!), а запряженная живым конем коляска ждала нас.

Пожелания, приветы. Горький стоит, щурясь от солнца. Чуть склонив голову. В светлой английской рубашке за пояс. Так и не видала его в знаменитых: его и Льва Толстого — русских! Серые брюки. Какой высокий... Рукопожатье. Мы садимся в коляску, и легкий стук копыт уносит нас от виллы Сорито. Повороты дороги, синяя черта моря, Везувий в облаке пара над ним.

«9 октября 1927 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Недавно поезд отошел от Мюнхена, где была пересадка (до этого — в Болонье). Уже текут северные виды, наша природа.

Ночью пролетели три границы: итальянская, австрийская и немецкая. Осталось еще две: польская и наша.

Ночь. Познать. Скоро садиться в поезд. Кончила «Коновалов», «Челкаш» и «Озорник». Мне очень мил Коновалов. Впереди — Кожемякин, надолго, в скупые свободными часами московские мои недели.

Да! Как близок Коновалов и как не мил сердцу «Проходимец», — правда? Как много есть чудных мест в каждой Вашей вещи, — читаю, и душа радуется, и успокаивается тревога о том, что ничего же Вам не сказала — и сколько хотела сказать! Для чего говорить в конце-то концов? Но кто отнимет у меня радость вдали от Вас читать Вас?

Вот и все».

Тоска по родине, как это ни странно, за два с половиной месяца уже так во мне горела, что я не забуду той радости, какую я испытала, когда на первом километре русской земли в наш поезд вскочил русский парнишка (красноармеец с винтовкой через плечо). А за ним чудный пес с раскрытой радостной пастью, с ходящей на нем, как на щенке — а был взросл! — шерстью, — как же мы обнимались с ним!

Едущих в вагоне было всего несколько человек, и проверка паспортов заняла мало времени. Узнав, что я еду от Горького, красноармеец необычайно оживился. Он стал возле меня и дружески, точно товарищу в клубе: «Ну и как? Прогрессирует в смысле развития? — И уже строже: — Когда ж он думает ехать в Советский Союз?» — «К весне. Он ведь болеет от холода... Весной его юбилей — вот он и придет», — успокоила я юного пограничника. «Читал я его книги... Здорово пишет!»

Лаконичное его утверждение было первым приветствием юбилейным Алексею Максимовичу с родины.

Прошло еще несколько лет.

1936 год, 18 июня. Весть: Горький умер!

Похороны. Еще не дойдя до Союза писателей, я присоединилась к организации, где преподавала языки, и прошла в очереди людей по залам Дома Союзов, бывшего Дворянского собрания, где я танцевала девочкой на выпускных балах гимназии Потоцкой.

Траурная музыка рвала душу. Черные, призрачные чехлы люстр. Цветы... Профиль Алексея Максимовича, заострившийся, похуевший. Последний покой век. Но я не могла расстаться — и я еще раз, выйдя, встав в очередь другого учреждения, прошла, чтобы увидеть его еще раз.

Днем в Доме писателей на улице Воровского Фадеев говорил долго, я тревожилась, что мы опоздаем к выносу, и мы действительно опоздали — встретили перерезавший нам путь красный лафет с гробом уже у конца Воздвиженки. Конная милиция сомкнулась вокруг шеренги писателей, отдаляя нас от беспорядочной толпы. А затем — черный дым из трубы крематория.

В 1961 году в Архиве Горького, работая над перепиской, я нашла фотокопию письма ко мне Горького, не отосланного.

«Ай, ой, сударыня! Вам 32 года и Вы восхищаетесь точно институтка из благородных девиц, из тех, которые верили, что каждый военный — герой и всякий поэт — красавец. И вот, одна из эдаких, увидав Апухтина, до того разогорчилась, что, сняв чулки, босенькая, пошла гулять по снегу, дабы, получив чахотку, смертью умереть. Теперь я боюсь, что и с Вами будет что-нибудь подобное: приедете в Сорренто, а Горький-то — угрюмый материалист, говорит фальцетом, нос у него красный, глаза косые, и ни в чем никакой гениальности нету! Тут Вы и прыгнете в Неаполитанский залив.

Но «шутки побок!», как любил говорить один полицейский, знакомый мне. Во-первых: я Вам послал две книги «Артамоновых» и еще какую-то, а в них была вложена «Тараканы», маленькая книжка в издании Универсальной библиотеки. Во-вторых: посылаю «Заметки и рас-

сказы 22—24 года»; а «В людях» у меня нет. (Оказывается, есть, и «Детство» есть; тоже посылаю.) В-третьих: о визе итальянской написал послу унижительное прошение. В-четвертых: Максим помнит Вас, это длинный лысый мужчина, весьма женатый, детный и — замечательный: разные художники единодушно говорят, что он очень талантлив. Кроме этого, он ленив, как кит, и совершенно не уважает родителя. (Ну и пусть не уважает, я не боюсь.) В-пятых, так как с визами по нынешним английским дням, вероятно, будет некоторая задержка, так это не должно смущать Вас.

Пастернака очень полюбил за «Детство Люверс». Чудесная книга! А стихи его — увы! — тяжело мне читать, тяжело старику!

Каждый раз, когда я его стихи вижу, мне вспоминаются стихи хлыстов:

Воробьи — пророки	Саварсон сама
Шли по дороге,	Родиша Ирона
Нашли они книгу,	Мая дива луга
Что писано тамо?	и т. д.

Видите, какой я? А Вы говорите! И у сестры Вашей многого не понимаю, как не понимаю опьянения словами вообще ни у кого. Нет, не этим приемом можно поймать неуловимое в чувстве и в мысли, не этим.

Но об этом при встрече. Очень жду ее, конечно. Вы приедете сюда к винограду.

Спасибо Вам, милая Анастасия Ивановна, за Ваше письмо, за радость знать, что Вы есть и такая детски-ясная, хорошая».

Прошли годы и десятилетия с дней, когда я простилась с Горьким. Мы не только сравнялись с ним в возрасте, но я уже много старше его — тех, соррентийских лет. А все так же нежно вспоминаю этого человека — сложного, противоречивого, изменчивого, трудного — и все так же люблю его книги.



ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ

★

ИЗ СТАРЫХ СТИХОВ

С грузинского

ПЕРЕПИСЧИК ДРЕВНИХ КНИГ

Древних свитков игра и расцветка,
Букв заглавных цветочная вязь.
Составитель вначале нередко
Заявлял, пред потомством винясь:

Вот я раб худородный пред вами.
Не корите, что труд мой так мал.
Я трудился украдкой ночами
Тем во славу, кто мне помогал.

Слава тем, кто меня не отринул,
Кто мне хлебом помог и вином.
В даль веков я, как невод, закинул
Эту повесть о веке моем.

Я не все в ней привел без разбора,
А события отчизны одни.
Имя той, что была мне опорой,
Я нарочно оставил в тени.

Как гнездо соловью не защита,—
Песнь его выдает с головой,—
Будет каждому ясно, что скрыто
У меня от молвы вековой.

Меж страниц не вшивайте закладок
И сушить не кладите цветов.
Эта книга без тайн и загадок.
Все живое понятно без слов.

НАД МЕТЕХИ

Бушует ветер над Метехи,
Сметает мусор с древних плит.
Где ты, там все мои утехи.
Туда душа моя летит.

Во дни Тамары величавой
Такой же ветер листья нес
И так же, повернув направо,
Кура скрывалась за утес.

И так же задувало в щели,
И было шумно к той поре,
Когда Тамара

Руставели
Выслушивала при дворе.

.

Как из глубин средневековья,
Средь сна я просыпаюсь вдруг.
Разбуженный твоей любовью,
Я слышу в ставню ветра стук.

Наверно, с бурею нет сладу
На улице средь бела дня.
Мне в мире ничего не надо:
Ты день и буря для меня.

Из бывшего со мной доньше
Ты — лучшее изо всего,
Заветная моя святыня,
Единственное божество.

ЧАЙКА

Люблю я волн неистовую синечь,
Когда на солнце море как в огне,
И белой чайки яркости не вынесть,
Раскачивающейся на волне!

Со вздыбленного гребня, как с трамплина,
Она взлетает вверх под облака.
Прибоя выгнувшаяся пружина
Ее бросает силою толчка.

Как это море в солнечном ожоге
И волн расколыхавшаяся гладь,
Душа всегда в волненьи и тревоге,
Которых я не в силах передать.

Подбрасывая чайку, как игрушку,
С ней возится и носится прибой.
Не так же ли играем мы друг дружкой
И толку не добьемся меж собой?

С добычей в клюве чайка мешковато
Бьет по воде опушенным крылом.
Порой в твоей улыбке вноватой
Есть тот же ускользящий излом.

Особенно на чайку ты похожа,
Когда, как ночью, черен кругозор,
И море бурно, небо непогоже,
И волны на просторе выше гор,

Когда, наволновавшись до упаду,
Решаешь ты сменить на милость гнев
И силой прояснившегося взгляда
Вдыхаешь жизнь в меня, повеселев.

Все предо мной тогда покрыто мраком,
На будущем — тумана пелена.
Тогда, как чайка, рея добрым знаком,
Ты тем белей, чем больше ночь темна.

Люблю я волн неистовую синесть,
Когда на солнце море как в огне,
И белой чайки яркости не вынести,
Раскачивающейся на волне.

Как это море в солнечном ожоге
И волн расколывавшаяся гладь,
Душа всегда в волненьи и тревоге,
Которых я не в силах передать.

Перевод Б. Пастернака.



Ю. ЮЗОВСКИЙ

★

ПОЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

1. Крылья Лициенталя

С утра до вечера весь день я пробыл на этом заводе — не давал себе минуты передышки, обошел все цеха, побывал в заводоуправлении, в партбюро, в завкоме, разговаривал с конструкторами, инженерами, техниками, рабочими, заглядывал в лаборатории, в радиоузел, в медкабинет, снова обежал все помещения, даже пообедал в заводской столовой, все видел, высмотрел и только тогда сказал: «Порядок!», решив завтра заглянуть сюда еще на часок, чтоб охватить картину в целом.

Следующий день я провел на заводе до позднего вечера, двигался чуть медленнее, смотрел чуть продолжительнее, задавал чуть менее стандартные вопросы, получал чуть менее стандартные ответы, к вечеру даже стал отличать компенсаторы от конденсаторов (что вовсе не лишне, если ты познакомишься с заводом, где их изготавливают, а этим и занимается завод имени Димитрова), но к концу дня вдруг почувствовал, что знаю о заводе меньше, чем вчера. Поехал я в третий раз, но когда в конце третьего дня понял, что знаю меньше, чем во второй, — сказал себе: «Стоп!» — из страха, что, если так пойдет дальше, я после восьмого или девятого посещения буду знать меньше, чем вообще знал до приезда сюда.

А тут меня еще напугал секретарь парткома Славомир Кулявик. Сам электрик, много работавший на аналогичных заводах, а на этом уже два года, он признавался мне, что в первое полугодие совсем не разбирался, что и как здесь и к чему, и только к концу второго...

Я погрузился в уныние и, погруженный в уныние, забрел в монтажный цех в конторку бригадира. Вместе со своими помощниками он готовил рапортчики и наряды к завтрашнему дню.

Сразу видно было, что это сработавшиеся ребята, друг без друга обойтись не могут, а в своем бригадире души не чают. Они любовно смотрели на него, и я к ним охотно присоединился: крепкий мужчина с улыбкой и румянцем во всю щеку. Я уже решил верить ему свои сложности и противоречия, как он их сам решил.

Началось с того, что бригадир, поблескивая глазами, захотел услышать какую-нибудь русскую шутку, я выложил, что имел под рукой, не бог весть что, но все дружно хохотали. Затем они занялись своими рапортчиками и нарядами, а я, присев, слушал. Не скажу, чтоб я ничего не понимал, но разве это можно назвать пониманием, и я невольно воскликнул: «Как же я все это опишу!» Бригадир взглянул на меня изум-

ленными глазами. «Иезус Мария! — закричал он. — А зачем? Зачем мне знать то, что я и сам знаю? Я хочу знать, чего не знаю!» Чего же он не знает? Выясняется — того, как он, бригадир, да и все на заводе, захваченные делами и друг другом, как они выглядят со стороны. «Бывает, — обратился бригадир к своим товарищам, — собственную фотографию подолгу рассматриваю, ведь знаю же я, как выгляжу, а гляжу — и все потому, что со стороны гляжу». И товарищи его поддержали. От уныния моего не осталось и следа, и, высоко подняв плечи, я зашагал к партсекретарю — смотреть на него со стороны!

И в свою очередь погрузил его в уныние, хотя и по другому поводу. Я полюбопытствовал, сколько ему лет. «Сколько, по-вашему?» — в свою очередь спросил он, почему-то этим обеспокоенный. Честно говоря, глядя на его (простите, дорогой Славомир) совсем юное лицо, мне хотелось сказать «двадцать». Поскольку, однако, передо мной как-никак был партсекретарь, я сказал, что двадцать пять. Ох, как он вспыхнул!.. «Тридцать пять! — вскричал он. — Тридцать пять. — И продолжал: — А что сделано? Что сдела-ано?» — повторял он в отчаянии. Продолжалось это довольно долго, и вдруг его детские жалобы прервал чей-то твердый мужской голос: «Хватит распускаться, работать надо!» Я обернулся, думая, что это кто-либо посторонний, оказалось, он сам, Славомир Кулявик. Я невольно рассмеялся. А в дальнейшем, наблюдая за ним, убедился, что ему вообще свойственна подобная метаморфоза, вполне, впрочем, объяснимая. Он находился в переходном возрасте, но не от юношеского к мужскому, а от комсомольского к партийному, и то, что этот переход затягивается, мучило его. Он, например, способен был порывисто вскочить, бурно взъерошить шевелюру, куда-то вдруг помчаться и тут же, вспомнив, очевидно, что он секретарь, замедлял шаг и заговаривал медленно, рассудительно, он перестраивался на ходу, восстанавливал свой нарушенный, казалось ему, авторитет. А вслед за этим, позабывшись, как-то по-петушину что-то вам втолковывал быстро-быстро...

Я не сразу, честно говоря, узнал его на большом собрании, которым он руководил: самые привычные слова о том, что собрание-де открывается и с такой-то-де повесткой, он произносил растягивая и значительно, и его предательская розовость улетучивалась, приближаясь к цвету окружающей среды. Вел он собрание вполне на уровне, но все же я пожелал бы ему, чтоб его переходный возраст длился как можно дольше, а то и всю жизнь.

Вообще не так уж трудно определить возраст человека, но я как назло редко попадал в точку. А зачем вам это, удивится читатель, вы коллекционируете, что ли, возрасты? Есть причина, отвечу я. Основной возраст современной Польши — тридцать — тридцать три — тридцать пять лет. Польша — страна тридцатилетних. Ее этнографическое золотое сечение проходит именно через эту цифру. Тут центр ее тяжести.

Тридцатые годы, можно сказать, подняли на свои плечи шестидесятые. Возраст большинства директоров и руководителей заводов, предприятий, совхозов, учреждений — тридцать, тридцать три. «Возраст Ильи Муромца, — заметил я шутливо польскому приятелю. — Илья Муромец сиднем сидел тридцать лет и три года и поднялся для великих свершений». — «И возраст Иисуса Христа», — добавил приятель. Я принял его поправку. Трудно дается Польше ее история. Тысячелетие польского государства — цепь народных драм и трагедий, поляки могут сказать с печальной гордостью, что по сравнению с другими их страна занимает в этом смысле одно из первых мест. Я видел плакат к двадцатилетию Польской Народной Республики — напряженные руки поднимают тяже-

лый, неотесанный камень. Я долго не отходил от плаката. О каком польском поколении можно сказать, что его судьба была легка?

Поколению, о котором идет речь, было десять — двенадцать лет, когда начиналась народная Польша. Старшие погибли в восстаниях и концлагерях, десятки тысяч подростков пали с оружием в руках в Варшавском восстании. А эти шли в школу среди дымящихся городов и деревень. Руины Варшавы не были для них просто страницей истории, они стали страницей их собственной истории, пейзажем их детства, запахом их детства. Они знали каждый разрушенный дом и каждый восстановленный, дома стали наглядным пособием при их занятиях арифметикой. Они занимались в восстанавливаемых школах, затем в восстанавливаемых заводах, в восстанавливаемых вузах. Они познавали жестокую цену восстановления. Нет, они не были маменькиными сынками и не пришли они на готовое. Вместе со всеми поднимались они по этим двадцати тяжелым, крутым ступеням. И пришли к сегодняшнему дню как созревшая, внушительно разворачивающаяся сила. Они встали над страной как могучая волна, и что удивительного в том, что все живое, жизнеспособное, жизнелюбивое настраивалось на эту волну.

Вот почему, говоря о возрасте, я жалею, что не попадаю в точку.

Проведя несколько вечеров с ученым-социологом Варшавского университета Бернардом Т. и удивляясь его эрудиции, его идеям и проектам, за которыми чувствуются размышления и, больше того, опыт, я спросил, сколько ему: «Сорок?» — «Тридцать», — ответил он, словно извиняясь. А когда другому, тоже социологу (ошибочно почему-то принятому мной за студента), я заметил в разговоре: «В ваши двадцать — двадцать два понятна ваша бешеная напористость, посмотрим, когда вам станет тридцать...» — «А мне тридцать», — объявил он.

Я стал осторожнее и когда по прошествии времени решил, что достаточно наострился, то уже смело сказал одному из своих собеседников: «Вам тридцать три», а другому: «И вам не более», оба довольно улыбнулись, только первый ответил: «Сорок», а второй: «Двадцать пять». Один оказался старше тридцати, другой моложе, но оба бессознательно подтягивались к этому возрасту.

Не попал я в точку и когда встретился с директором завода имени Димитрова Ежи Новицким. Его спокойная, рассчитанная энергия, умная усмешка и мягкий взгляд, да и весь его вид — подтянутый, эlegantный — привели меня к выводу, что ему лет тридцать семь. Я дал бы и меньше, если бы не учитывал его биографию, о которой кое-что слышал и сейчас при встрече уточнял. Учитывал я также нечто такое в нем, что может быть определено как «осадок» — осадок пережитого, которое чувствуется, даже когда его, как в случае с Новицким, стараются скрыть. Словом, тридцать семь лет. Новицкий ответил, что он, конечно, согласен со мной, да вот опровержение — и он протянул мне последний номер заводской газеты «Димитровец», в котором коллектив и заводские организации поздравляли директора с пятидесятилетием со дня рождения. «А я действительно, — прибавил он, — чувствую себя тридцатисемилетним и ни днем старше. Загадка!» — «Ничего загадочного», — заверил я Новицкого.

И, взяв карандаш, стал калькулировать (тут я уточнял его биографию). В довоенной Польше его исключили из института за коммунистическую деятельность, он эмигрировал во Францию, поступил в политехникум в Гренобле (одновременно став членом Французской коммунистической партии). Сколько это заняло? «Годика три?» Он окончил институт, вспыхнула война, он вступил добровольцем во французскую армию, был интернирован немцами, выслан в концлагерь и пробыл там лет? «Пять...» После войны вернулся на родину, деятельно участвовал в восстановлении польской промышленности, но в 1949 году... «Стоит ли об

этом...» — замылся Новицкий. «Почему же, — удивился я, — разве вы были одни? Лет пять?..» Итак, вот что получается. Тринадцать выброшенных лет. Сколько остается — ровно тридцать семь! Новицкий рассмеялся: «Один только мой бухгалтер мог бы это вывести!»

Да, возразил я, но только это он и мог бы вывести, а мы выведем еще кое-что.

И я рассказал Новицкому об идее Толстого, которую я особенно люблю, можно сказать, ношусь с нею, а когда встречается подходящий случай, подходящий человек, обязательно цитирую. Толстой сказал, что Кутузов сделал свое дело и поэтому умер. Иными словами, человек не может умереть, пока не выполнит своего дела (а оно есть у каждого, за чем же нибудь, а не просто так человек приходит на эту землю), он не должен умереть, если, конечно, посторонние обстоятельства не пресекут до времени его дороги.

Новицкого поразила эта мысль, он переживал ее, видно было, что он давно нуждался в подобной информации. Тут вошла пани Янина — его секретарь — с двумя чашками кофе, одну поставила передо мной, другую — не спеша — перед ним. Происходило все это в полном молчании, благодаря которому я почувствовал ток, возникший между присутствующими, не всеми, увы, — я был из тока выключен.

Пани Янина смотрела на моего соседа своими тяжелыми и большими глазами. Сказать, что это был «взгляд восторга», значит все испортить. Нет, не директор, не начальство играли тут роль. Ведь он умница, Новицкий, одно удовольствие с ним общаться, смелая, талантливая голова, полная идей. Вот это!

В большом кабинете висели превосходные репродукции французских импрессионистов и художников еще более левых, чем они, и даже левее левых. Председатель рабочего совета Богдан Дерезинский (тридцать три года) не одобрял их: не понимаю, сказал он, что это за картина, раз ее можно повесить вниз головой. «Обратите внимание на сочетание красок», — мягко заметил ему директор. «Обратил, — ответил Богдан, — а дальше что?» — «А дальше, — продолжал директор, — со временем вы обратите внимание на достоинства, которых сейчас не видите». — «Терпение! Терпение!!» — пробормотал кто-то из них, уж не помню, то ли директор, то ли председатель.

Кроме картин, в кабинете стояло гигантское фотопанно с изображением конденсаторов; вместе они производят, когда вы входите в кабинет, будоражащее впечатление, так, оказывается, задумано. В комнате много света. Длинная стена — сверху донизу сплошное стекло, с головой и ногами вы окунаетесь в свет. А дальше мебель, она действительно «дальше», подальше, у самых стен, освобождая пространство, вселяя в вас чувство простора. «Чувство простора» в четырех стенах! Но и мебель, легкая, подвижная, поддерживает «воздушный» стиль помещения. Вот стол — огромный стеклянный круг легко опущен на легкие стальные опоры — все легко, но устойчиво, можно бы сказать одним словом «спортивно», не отсюда ли стиль?

Я сел к этому столу, и сразу появилось творческое состояние, а как редко оно приходит!

— По моему проекту, — скромным тоном заметил Новицкий, довольный произведенным эффектом, — самый дешевый стол на свете!

По такому же принципу — стол для заседаний: длинная узкая лента. Еще столик деловой, с бумагами, я его не сразу даже приметил. И все, вся мебель. Ничего лишнего и, кажется, даже необходимого, например, шкафов. Этот перегиб полемический — я не шушу. «Вы видели кабинет, откуда сейчас пришли?» — насмешливо спрашивает Новицкий. Да, видел. Мебель там еще с той поры, когда завод принадлежал частно-

му владельцу. Полвека, если не больше, стоит там толстый, хвастающийся своей толщиной и облепившими его толстыми украшениями шкаф! А письменный стол с его пузатыми ящиками, похожими на самодовольно надутые щеки! Не человек господствует над вещами, а вещи над человеком! Убежден, что директор с наслаждением подбросил бы туда еще какой-нибудь допотопный комод, чтоб поставить точку над *i*, чтобы вас охватила усталость, чтоб вам захотелось вырваться куда-нибудь на свежий воздух, в кабинет директора Новицкого, например, а он уже ждет вас, победоносно потирая руки! Это не я тут преувеличиваю, это Новицкий, и сознательно. «Комическое соревнование?—говорите.—Пусть! Люди, не замечая, сопоставляют, не замечая, уходят от мешанских вкусов!»

Соратник директора — заводской художник, есть такая штатная единица, и хотя сейчас со штатами большие строгости, художник не беспокоится. Скорее директор уволит себя по сокращению штатов, и если не уволит, то лишь потому, что без него уволят художника. Наверху — в большом зале — он разбил выставку: макеты (в натуральную величину) квартир и комнат.

«Обратите внимание,— говорит художник посетителю,— стены окрашены в монотонные цвета. Вы жалуетесь, почему у вас в доме скука, разве не понятно? Перейдем в другую комнату — смотрите, стены разных цветов, а цвета какие — чувствуете удовольствие? Морщитесь, это с непривычки! Сравните сейчас занавески, что скажете? Думаете? Думайте, вам на будущей неделе переезжать на новую квартиру».

Я хожу и осматриваю стены цехов — одни только покрашены, другие красятся, третьи перекрашиваются.

Гляжу на такую стену и отдыхаю. Глубокий теплый цвет вбирает в себя вашу усталость, а вас охватывает покой, но не «успокоенность», для чего вдоль стены, над плинтусом, бежит широкая малиновая линия и, перебежав середину (золотое сечение), косо взметает до самого потолка, внося момент оживления.

Вернемся, однако, в директорский кабинет; я так увлекся его современной формой, что забыл о его современном содержании, ибо если форма тут артистическая, то содержание демократическое.

Когда я впервые зашел туда, то поначалу был все же разочарован — позвольте, да разве это кабинет начальника! Кабинет начальника — так уж кабинет начальника!

Вспомнишь иной начальнический кабинет. В глубине величественный письменный стол, похожий на алтарь, так что восседающий там даже если не собирается быть господом-богом, богом невольно чувствует себя, сам на себя молится.

Здесь этот богослужебный ритуал нарушен и решает не место, занимаемое человеком, а человек, занимающий место. Подобное перемещение руководящего центра тяжести небезопасно, и надо в самом деле иметь реальный авторитет, чтоб в этой обстановке не потерять его.

Вопрос серьезный, и я изучил его. У директора Новицкого нет определенного места в кабинете, он не сидит, а бродит по комнате. Бродя, читает бумаги, склонившись к столу, подписывает их, бродя, принимает посетителей; бывает, забудет их усадить, и они, беседуя, бродят вместе с ним. И вот новый посетитель, попав сюда, теряется: кто же из присутствующих начальник и на кого ему ориентироваться? И как при этом авторитет? Умалается? Сейчас поглядим. Кстати, входят двое, входят споря, споря садятся и, обращаясь к директору, продолжают спорить, а директор молча кивает головой: пожалуйста, спорьте, он послушает. Спорит, собственно, один (инженер, начальник цеха), второй, бухгалтер, время от времени бросает краткие: «Не приму» или «Нет». Инженер доказывает, что у него не хватает времени оформлять документы, что это дело бух-

галтерии и т. д. и т. п. На лице бухгалтера написано: как так! Он, бухгалтер, у которого времени еще меньше, должен заниматься делами начальника цеха? Но из всего этого монолога бухгалтер произносит только одно слово: «Нет». Инженер продолжает: его дело не канцелярия, а техника (вообще говоря, он прав, много лишней писанины в цехах, но в этом случае она обязательна). На лице бухгалтера туча: «Как? Бухгалтерия — канцелярия? Да если бы не финансовая дисциплина, в которой я вас держу, вы бы давно, голубчики, пустили по миру завод». Однако из всего этого он произносит: «Не приму!» (Тут Новицкий шепнул мне: «Молодец! Хуже нет мягкого бухгалтера!») Инженер между тем свое, а бухгалтер свое, снова и снова, до тех пор, пока инженер, устав от своей неправоты, не начинает выдыхаться. Этого момента и дожидается директор. «Это же ответственный документ, — говорит он мягко, — а вы лицо, за него ответственное». — «Хорошо, — сдастся инженер. — Но не раньше, чем через две недели». Ураган пронесется по лицу бухгалтера, но услышали мы только: «Нет». Директор наклонился к инженеру. «Завтра», — шепнул он внятно, и лицо его стало нежно-оливковым.

Как только они вышли, влетел человек с паническими глазами, по которым я безошибочно опознал начснаба. Протягивая директору бумагу, он скороговоркой объявил, что все оформлено и согласовано, скорее подпиши... Директор поднял было перо, но снова опустил его. «Не подпишу! — объявил он и, усадив начснаба, сам сел против него. — Импортные масла? Но ведь это, — и он произнес отдельно: — валюта». — «Да ведь она запланирована!» — удивился начснаб. «Что с того?» — удивился в свою очередь директор. «Но ведь отечественные масла хуже зарубежных, без них...» — «А вы совещались с поставщиками? Заседали?» — «Нет, не заседали», — пролепетал начснаб. «Позаседайте, — директор возвратил начснабу бумагу, — но учтите, я буду против!» Я спросил директора взглядом: «Выходит, вы оказываете давление?» — и директор ответил мне взглядом же: «Да, оказываю давление, давление!»

В этот момент на пороге показалась пани Янина и показала директору на часы. «Да, да, — заторопился директор, — скоро начнут собираться!» И, отпуская начснаба, кивнул в мою сторону. Это означало: «Вам повезло».

Мне повезло! Как раз в эти дни на всех варшавских заводах и предприятиях проходили сессии КСР («конференции саможонду работников» — конференции рабочего самоуправления), проходила КСР и у димитровцев, о ней и напоминала пани Янина. В конференции принимают участие партком, завком, рабочий совет, дирекция, союз молодежи, они совместно с делегатами всех цехов и отделов завода образуют своего рода хозяйственный сейм предприятия. КСР обсуждает отчеты дирекции и рабочего совета с его проблемными комиссиями и выносит решения вплоть до следующей сессии, примерно до будущего квартала. Из перечисленных организаций читателю менее известен рабочий совет («рада работнича»), и я сжато доложу о нем. Рабочий совет мог бы находиться и в пределах профсоюза, но для того, чтоб выделить и поднять значение производственной самостоятельности коллектива, этим делом ведает самостоятельный выборный орган. Он мобилизует хозяйственную инициативу рабочих и инженеров для их участия в общих делах предприятия и т. д. «Чувство хозяина» у рабочего (необходимая предпосылка социалистического строя) обладает громадными резервами, надо давать им выход и направление, не ограничиваясь одним лишь гражданским и психологическим самочувствием.

Я кратко сформулирую смысл статьи, напечатанной в «Трибуне люду»: если администрация смотрит «сверху вниз», то рабочий совет «снизу

вверх», эти взгляды встречаются и должны дополнять друг друга, ведь цель у них общая.

И в самом деле, соучастие коллектива способствует хозяйственному прогрессу. Экономика для своего развития нуждается в развитии демократии. Понятный нам вопрос. Культ личности замораживает творческую инициативу общества, оттого борьба с последствиями культа ведет к раскрепощению этой самодеятельности.

Рабочий совет вовсе не совещательный орган при дирекции, это был бы перегиб в одну сторону, так же как директор, осуществляющий единоначалие, вовсе не послушный исполнитель решений совета, это был бы перегиб в другую сторону. Это полюсы единой оси, вокруг которой вращается деятельность предприятия. А для обеспечения ее функционирования предусмотрены гарантии, зафиксированные в уставе рабочего «саможонду». Согласно «Статуту рабочего совета завода имени Георгия Димитрова», который мне вручили димитровцы, совет вправе поставить вопрос об отозвании директора, если он не справляется с делом, и директор вправе поставить вопрос о переизбрании совета, если он не справляется со своим делом.

Я смотрю на сидящих друг против друга директора и председателя, коммуниста Новицкого и коммуниста Дерезинского, и у меня не складывается впечатления, что они затевают что-то друг против друга (впрочем, я ведь смотрю со стороны). Они сидят один против другого, как две фигуры, сознающие свои права и свою ответственность. Во всяком случае так оно должно быть. Потому что за спиной первого долгая история административного принципа, за спиной другого эта история сравнительно краткая, неустойчивая и склонная, что и говорить, к уступкам первой, более уверенной, а то и самоуверенной. Недаром на помощь второй приходят решения IV съезда Польской объединенной рабочей партии, которая в разделе, посвященном развитию социалистической демократии, требует активизации всех звеньев рабочего самоуправления, особенно же рабочего совета.

Итак, вот они передо мной, директор и председатель, и смотрят они друг на друга доброжелательно, но и независимо, особенно второй; первый мягче, второй строже. «А если все же дойдет до конфликта, кто его решит?» — задаю вопрос. «Партия», — отвечают мне. Слов нет, директор Новицкий — отличный работник, преданный, знающий, творческий, да и сам по себе хороший человек, что тоже кое-что значит. Что может быть лучше! И все же что может быть лучше, когда между директором и председателем лежит этот устав, этот «Статут», как оружие социалистической демократии. Прекрасная это вещь — личные достоинства, может быть, прекраснее из всего того, что существует на свете. Но оставаться один на один с этим прекрасным и только на него рассчитывать — небезопасно.

Был у меня приятель, сплошные личные достоинства (и не без общественных, конечно). Вместе учились и дружили, затем дороги наши разошлись: он пошел по административной, вверх, я по литературной, не то чтоб вниз, но вроде так себя почувствовал, встретившись с ним много лет спустя. Встретил он меня, ничего не скажу, любезно, даже слишком, с той рафинированной любезностью, которая подчеркивает не близость, а дальность: он-де как-никак занимает пост, а я что? Человек пишущий, да нынче кто же не пишет, разве что неграмотный, да и неграмотный, бывает, пишет, и еще как. Мы разговорились, и я заботился лишь об одном: как бы он не заметил, до какой степени я подавлен переменной, происшедшей с ним. Помню, помню, забыть невозможно, он был образцово-положительным героем, он пленял комсомольской непосредственностью, коммунистической сознательностью, человеческим обаянием.

И куда все это девалось сейчас, куда все-все, даже его ум?! Не оказалось и ума: приятель мой не скажу поглупел, скорее скажу «поумнел». Впоследствии этого моего приятеля сняли и исключили из партии, и не за что-нибудь иное, только за бюрократизм. Помню, он пришел ко мне («Поскольку, мол, я знаком с таким-то, который ко мне хорошо относится, и с таким-то, который тоже ко мне хорошо относится, то не мог бы ли я, следовательно, и пр. и пр.). Как сейчас помню, он был в модном пальто («не раздеваюсь, я на минуту»), но воротник пальто был высоко поднят и гость прижимал его к шее, хотя было тепло, а здоровье у него дай бог нам с вами: тут демонстрировался некий общепринятый стандарт бедственности, международный опознавательный знак! Но так случилось впоследствии. А сейчас я сидел у него и хотя, правда, предупредил, что заскочил к нему, проходя мимо, просто так, дай, подумал, проведаю-ка старого приятеля (он сказал, что не занят), моя непринужденность натолкнулась на его непроницаемость. Смущенный, я стал чертить на бумаге какие-то рожицы. Он удивленно уставился на мои руки, и я тут по удивительной ассоциации вспомнил рассказ французского писателя Шамфора. Однажды королевская дочка, еще совсем ребенок, играла со своей служанкой и вдруг, взглянув на ее руки, стала считать у нее пальцы и, пораженная, воскликнула: «Как! У тебя тоже пять пальцев, как у меня!»

Сравнение это надо принимать условно: кому дело до того, что я такой впечатлительный и что мне сразу же вспоминаются королевские дочки. Но если говорить без затей, то ведь случай с моим приятелем не единичный. И тут важна типичность (пусть и не столь ярко выраженная), и выглядит она примерно так. Себя мой приятель считал фигурой направляющей, а всех прочих направляемыми и строго следил, чтоб ни он, ни тем более они не переходили этой границы.

Уходя от него, я стал рассуждать на староинтеллигентский манер, дескать, «как меняются люди», и только впоследствии, просветившись, сообразил: да ведь это и есть культ личности, не обязательно на наивысшей, он может быть и на наинизшей ступени административной лестницы — по тому же образу и подобию созданный.

Все сказанное никак не относится к товарищу Новицкому, но и ему, даже ему позволительно сказать: «А все-таки, а все-таки на всякий случай!» Всегда стоит помнить, что нет лучшего средства против бюрократии, чем демократия.

Итак, Богдан Дерезинский — председатель рабочего совета. Что он за личность? Представим и его. Личность совсем иного склада, чем Новицкий или Кулявик. Если у первого более организационный уклон, а у второго — общественный (хотя они оба преданы технике), то у третьего — технический, мало сказать уклон — характер.

Богдану тоже не сидится на месте, но если Новицкий движется нормально, Кулявик спешит, то Дерезинский несется, и мне еще повезло, что я знакомился с ними по очереди и этот переход с первой скорости на вторую, а со второй на третью прошел для меня сравнительно безболезненно.

Мы врываемся с Богданом в комнату, где обнаруживаем члена проблемной комиссии рабочего совета. «Смотри,— обращается он к Богдану,— в прошлом году в это время завод получил заказов на двести шестьдесят миллионов złotych, а сейчас только на двести тридцать. Сигнализировать?» — «Сигнализируй!» — смело одобряет Богдан. Дерезинский рассказывает мне случай, как он обнаружил цифру, такую вот (Богдан вертел эту цифру между двумя пальцами, как маленькую шайбу), перенесенную без изменений из прошлогоднего плана в тепе-

решный, как затем Богдан заскочил в склад — есть ли там еще аппараты, предусмотренные этой цифрой, как оказалось их сколько угодно, как затем он помчался в магазины и как ему там ответили: ой, хватает. Тогда, продолжал Богдан, мы эту цифру маленько поприжали, — и он сделал движение рукой, в которой почудилась мне отвертка, — и закрепили в плане.

Кстати, поясню (правда, примером из другого завода — быдгощского) эту роль рабочего совета. В Быдгоще совет постановил, в случае если дирекция отказывается от заграничного заказа, выяснить почему и, установив неосновательность, настоять на заказе. Редакция журнала «Саможонд рабочий», откуда взята эта заметка, поздравила рабочий совет со смелой инициативой.

Снова бежим с Богданом, на ходу меняя орбиту, поскольку Богдан запустил сегодня экспериментальную печь и хочет справиться о ее самочувствии. Забегаем — самочувствие удовлетворительное, мчимся на другой конец завода. Там заседает проблемная комиссия по техническому прогрессу; Богдану вручают бумагу и, когда он просмотрел ее, спрашивают: «Идея?» — «Идея! — поддерживает Богдан. — И кажется, технически обоснована! А ведь это главное, — говорит он, обращаясь ко мне, — смекалка смекалкой, а ведь знания нужны, знатоки нужны!» И Богдан рассказывает, как он вовлекал в комиссию видного заводского специалиста, человека замкнутого, отвернувшегося от всего, кроме своей узкой области, как видный специалист, морщась, согласился проверить технические возможности соседней области, как бурно увлекся ею, чуть не забыв о своей собственной, и как сейчас сам напрашивается — нет ли-де еще какой-нибудь области.

«Подобрал подходящий крючок», — подмигнул мне Богдан, и лицо его снова вытянулось: все-таки как она ведет себя, печь? Мчимся к ней. Печь ведет себя отлично.

Вдруг на бегу Богдан остановился, я же по инерции пробежал дальше, а когда вернулся — Богдан ползал вокруг новенького импортного станка: выслушивал, выстукивал, обнюхивал.

Таких, как Богдан Дерезинский, полным-полно на заводе: рабочие тянутся в технические училища, техники — в инженерные, инженеры — в научные общества. И вот что интересно: учатся не потому только, что есть возможность получить образование и рабочая власть идет навстречу. Стимулирует возможность, но не необходимость. Ты толкаешь технику, но и техника толкает тебя, обоих начинает связывать круговая порука.

В газете «Димитровец» приведены имена пятнадцати рабочих (в том числе двух женщин), получивших технические дипломы. Нелегко они им достались. Вначале в группе было двадцать семь человек, дошло до финиша больше половины, и редакция обращается к оставшимся, к оставшим — еще не поздно! Со страницы того же «Димитровца» на вас глядят два новоиспеченных инженера, вчерашние техники: Тадеуш Телецкий (двадцать девять лет) и Ян Офиерский (тридцать лет). Чтоб достигнуть этой цели, пришлось им весь быт перестраивать. «Мало содействия завода, — пишет Офиерский, — нужно еще содействие семьи, особенно жены». Без пани Офиерской не было бы, стало быть, и инженера Офиерского.

Все более появляется на заводе способных, подчас оригинально способных людей. Чем объяснить этот процесс кристаллизации, концентрации одаренности в одном месте, и не только в нем одном? Искра она божья, почти что не сомневаюсь, но высекают ее на земле, почему мы об этом забываем. Когда возникает спрос на талант, появляется и пред-

ложение, и это в любой области — все равно, кинорежиссуре или радиоастрономии. Пусть только спрос не конфузится сделанного ему предложения.

Технический характер, техническая индивидуальность, техническая склонность! Нельзя утверждать, что подобная склонность была присуща Польше больше, чем, например, ее ближайшим соседям — чехам или немцам, скорее меньше. Нельзя сказать тем более, что она была чертой польского национального характера. Однако она появляется и выращает ее новый строй. Лучше бы здесь сказать вместо «появляется» — «проявляется», ибо она имелась в потенции.

Существует иное мнение, не раз приходилось его выслушивать. Вкратце я изложу его так.

Техника — это-де не польская специальность, не здесь польские склонности и способности. Специальность поляков — дух свободы, непрерывное опасение ее нарушения, бурная реакция на нарушение! Вот польская специальность, ею всегда восхищался мир. А техника и подобные этому таланты — пусть ими хвастают другие страны... Другие страны имеют свои разделы истории, мы — свои.

Как-то в знакомом доме весьма почтенный пан, обращаясь ко мне, развивал эту концепцию, дабы я внял ей, раз я уже нахожусь в Польше, я внимал ей, раз уже находился в Польше. Но под рукой у меня оказался удачный, на мой взгляд, контраргумент, который я тотчас же пустил в ход.

Тадеуш Костюшко, знаменитый вождь польских повстанцев 1794 года, до этого времени участвовал в освободительной борьбе американцев против Англии в качестве инженера, его фортификации сыграли важнейшую роль в поражении англичан, и генерал Вашингтон неоднократно отмечал его заслуги.

Меня поддержали.

Другой гость за столом называл имя Крыштофа Артишевского, тоже военного инженера, обратившего на себя внимание своим искусством и при осаде Ля-Рошели, и после, в Бразилии, в войне против испанцев. Правда, не одна техника соблазняла Артишевского, он был воякой и с оружием в руках дрался с испанцами так же, как и Костюшко с оружием в руках с англичанами. Обоим полякам (Южная Америка одному, Северная — другому) присвоили звания генералов: как видим, они недурно совмещали обе специальности.

Тут следующий гость напомнил о трех выдающихся польских инженерах, работавших в России. Кароль Богданович исследовал сибирские недра, Витольд Згленицкий — бакинские, Станислав Кербедзь построил мост через Неву...

При имени Кербедзя почтенный пан, развивавший концепцию польской специальности, миролюбиво назвал Рудольфа Моджеевского, сына знаменитой польской актрисы Хелены Моджеевской. Мать воспитывала его в артистических традициях, но Рудольф пошел по другому пути, и сами американцы считают его создателем новой эпохи в мостостроении. Висячий мост Моджеевского в Филадельфии — чудо техники, но и красоты (влияние матери все же сказалось). Дальше прозвучало имя Габриэля Нарutowича — Швейцария обязана ему энергией белого угля... А дальше вперевивку назывались имена Казимира Гзовского, Стефана Джевецкого, Эрнеста Малиновского, Игнаса Домейко, Станислава Ноаковского, Кароля Адамецкого и многих других. Они прославили имя Польши далеко за ее пределами (подумать только, что в самих этих пределах большинство из них не могло приложить свой талант!).

Тут возбужденная общим разговором сидевшая с нами за столом

юная девушка воскликнула: «А ведь чехи покупают у нас электронику — у них такой нету!»

Не знаю, права ли была девушка насчет электроники, обращаю, однако, внимание на этот оттенок патриотического чувства.

Словом, надо сказать, что склонность поляков к технике, исторически заторможенная, наращивает сейчас потерянное время, и будет час, когда мир отметит и эту польскую специальность.

Еще наблюдение.

Непременное дополнение к современному польскому пейзажу, и городскому и сельскому, — мотоцикл. Все пространства Польши во всех направлениях прорезают эти красные, синие, зеленые, желтые молнии, издавая устрашающий звук приближающегося снаряда. По-моему, ни в одной стране (сравнительно) нет такого количества мотоциклетных ездовых и такого качества мотоциклетной езды, качества особого, которое по-польски можно определить словами «на збиты карк», что соответствует нашему «сломя голову», увы, и в буквальном смысле, о чем часто сообщают польские газеты. Однако это не помогает, и «качество» растет. Поэтому мотоциклистам строго предписано надевать предохранительные шлемы. Большие круглые шары, напоминающие глобусы, делают ездовых похожими на марсиан. Часто за глобусом побольше виднеется, прижавшись к нему, глобус поменьше, поизящнее — это, стало быть, уже марсианка. В выходной день бурей несутся за город стаи парочек на мотоциклах.

Когда мы с моим другом Помяновским как-то выехали на машине за город, нас обогнал такой вихрь мотоциклов, навстречу которому несся другой такой же. Я зажмурился и услышал голос Помяновского: «Привыкайте! Мотоцикл — сейчас польский национальный спорт! Ничего, однако, нового! Те же польские уланы — только они пересели с лошадей на машины. Несутся по-прежнему что есть силы!»

Еще монета в ту же копилку. Был палящий воскресный день, тридцать семь градусов в тени, все варшавяки от мала до велика сидели по шею в Висле. Но я не пожалел, что не пошел с ними, а остался с Варшавой, она оценила, что кто-то, к тому же иностранец, не покинул ее, и была особенно ласковой, но пришел момент, когда и я все же трусливо бежал из ее горячих объятий в прохладные залы Музея техники.

Я оказался там едва ли не единственным взрослым — остальные были подростки, они осматривали экспонаты, и я к ним присоединился. В конце длинного зала я заметил стройного юношу — он стоял неподвижно, запрокинув голову и глядя вверх. «Куда он смотрит?» — полюбопытствовал я, но меня отвлекли неожиданные диковинки — первый автомобиль, первый паровоз, я забыл об юноше, а когда взглянул, он стоял все так же, неподвижно вперив глаза в потолок. Я не выдержал, подошел к нему, поднял голову и замер в неподвижности вместе с ним и стоял, как и он, не помню сколько. Над нами распростерлись крылья Лилиентала. На этих знаменитых крыльях, на этих самых (это не копия, а подлинник), Лилиенталь скользил в воздухе, на этих вот гигантских крыльях.

Когда вы смотрите в открытое небо, вы испытываете наслаждение от его высоты и от своей устремленности к нему. Но здесь, в помещении, эта высота кажется еще выше, потому что это уже сама идея высоты, высота не вне вас, но внутри вас обретающаяся. А ваша устремленность разъясняется вам как ваша собственная природа и миссия, как смысл того, что такое человек. Зрелище, поражающее вас с места, как поражает полет Нике Самофракийской в парижском Лувре.

Пслупрозрачное полотно крыльев в тонком слетении бамбуковых сухожилий напоминает раскрытые человеческие ладони, нервные и сильные руки артиста в судорожном порыве к действию -- трепет, еще не

остывший, скользил по ним. Казалось, огромная птица бьется и царапается в потолок и стены (крылья имеют свое предназначение!). Самоповейшая выставленная здесь техника, все эти машины во всех этих залах уступают место ей, птице Лилиенталя, осмысляющей и одушевляющей их. Они забывают о своем происхождении от людей и, кажется, собираются господствовать над нами, она же напоминает, что мысль человека, его страдания и самоотверженность, его смерть дала им жизнь.

Но вернемся к моим мальчишкам. Они тянулись руками к океанским кораблям, к космическим ракетам, но их словно по рукам били ворчливые надписи «трогать воспрещается» (а почему, друзья, воспрещается, почему не «трогать разрешается» — пусть не здесь, в другом месте, — вы сказали бы то же самое, увидев этих мальчишек). Дремавшая в углу тетка спросонья поглядела на посетителей и, уловив возраст, встрепенулась, но, не обнаружив недозволенных контактов, снова погрузилась в сон. Ребята этим воспользовались. На цыпочках прошли в соседний зал, поменьше, там (я все видел в приоткрытую дверь) на высоком шасси стоял самолет, вернее половина самолета, и того меньше — кабина пилота, правда, со всеми приспособлениями. Один из подростков караулил дежурную, слава богу еще дремавшую, остальные забрались в кабину, они не играли, нет, они всерьез осваивали, обсуждая, устройство.

Еще сравнительно недавно молодежь, поступающая в вузы, предпочитала гуманитарные науки: на юридические факультеты, например, на одно место приходилось несколько кандидатов, а на физико-математические мест было больше, чем желающих. Происходит перелом, он далеко еще не завершен (пресса с неудовлетворением отмечает серьезное преобладание филологических диссертаций над техническими), однако перемены заметны даже в гуманитарной сфере — перемещение акцентов, — больше других привлекает к себе социология (к ней мы еще вернемся). А там, где гуманитарная наука пересекается с технической, там феноменальный успех. Например, архитектура!

Правда, с архитектурой особый секрет. Муза архитектуры стала любимицей Варшавы, потому что Варшава стала любимицей этой музы. До этого она избирала себе местожительство в Финляндии, или Японии, или Бразилии, сейчас она переезжает в Польшу, и, по моим расчетам, на долгий срок. Население Польши определяет свой рост по этому архитектурному ориентиру — во всех странах мира возрастает спрос на польскую архитектурную мысль. Где источник этого успеха? Когда вы ахнете, увидев как стебель взлетевший в небо дом, учтите: корень его — в страдании. Да, это так. Отчаянное горе при виде поверженной мертвой Варшавы вызвало отчаянную мечту о ее возрождении — из жерла этого вулкана этот бурный архитектурный взрыв. Думая так, я не удивился, когда в последнее время и в кратчайший срок на международных конкурсах, в которых участвовали многие страны и многочисленные проекты, поляки забирали лучшие места. Опера в Мадриде, студенческий район в Дублине, застройка острова Траншетто в Венеции, памятник на Кубе (двести шестьдесят девять проектов из тридцати пяти стран), центр Тель-Авива, центр Туниса, городок культуры в Леопольдвиле, Дания, Чехословакия, Уругвай, Югославия, Канарские острова, Италия. Жюри отмечали смелость мысли, охватывающей не только отдельный дом, но и квартал и город в целом, масштабная фантазия сопровождается дисциплинирующим техническим расчетом.

Наши космонавты и космонавтка совсем по-особому здесь популярны. Вся Польша распевает «Валентина, Валентина!». Традиционная польская романтика, реалистически подкованная, этот синтез (его нехватка всегда ощущалась в Польше как ущербность, как «польский комплекс») попадает в самую сердцевину происходящих в стране перемен.

Это своего рода катализатор. Симптомы технического «порыва», о котором шла речь, встречаются все чаще, особенно, конечно, для технически вооруженного глаза.

«Димитровец» в проходной заметке сообщает, что заводские инженеры сконструировали компенсатор «КЭТ-24», до сих пор ввозившийся из-за границы, причем упоминается, что польский «КЭТ-24» имеет лучшие показатели, чем такой же в ГДР и СССР. Искренне поздравляем! Богдан привел меня в заводскую лабораторию, заполненную механизмами разного роста, от лилипутов до упирающихся в высоченный потолок гигантов, и загадочно заметил, что есть здесь кое-что такое, чего не найдешь в других странах.

Я не прочь был бы здесь задержаться и получить объяснения.

Но ведь Богдану не терпится на одном месте, ведь ему надо мчаться. Впрочем, и мне пора спешить в дирекцию, к тому месту нашего очерка, где, как помнит читатель, пани Янина взглянула на часы в знак предупреждения, что скоро начнут собираться.

Действительно, кабинет директора стал постепенно заполняться: приехал первый секретарь районного комитета партии Лонгин Арабский, секретарь по экономике, секретарь по культуре, другие работники райкома, товарищи из варшавского комитета, председатель Союза металлистов, председатель объединения электропромышленности и многие другие лица — все гости на сессию КСР. Стоял шум от восклицаний и шуток, что не мешало, однако, более существенным репликам и диалогам. Меньше всех говорил секретарь райкома. Если я скажу, что он больше слушал, что он умел и хотел слушать, то допускаю, что этим уже будет дана оценка. Не похоже (я внимательно наблюдал), что он приехал с мнением, уже изготовленным у него в кабинете, иначе, как это бывает в подобных случаях, он не только не хотел бы, он боялся бы слушать, опасаясь ущерба своему мнению от воздействия чужого мнения. Напротив, казалось, у него только складывалось мнение, он, по-видимому, не допускал, чтоб оно сложилось раньше времени, давая ему созреть и видоизмениться уже на месте. Он задал краткий вопрос одновременно двум лицам, председателю профсоюза и председателю объединения, вызвав между ними внезапный взрыв полемики, и его удлиненное лицо с глазами чуть навывкате было полно внимания. Он спросил Новицкого и Дерезинского, рассчитывают ли они на деловой уровень собрания и сколько еще все же будет «воды», а когда Новицкий ответил на это, что «процентов тридцать семь», он с улыбкой, чуть проступившей, заметил: «Надо снижать, надо снижать».

Идем в зал, он уже полон. Над столом президиума — огромный плакат с изображением двух взявшихся за руки резвых близнецов и надпись: «Техника и экономика — неразлучная пара». Я с удовольствием смотрю на рисунок, так же как и другие, но, всматриваясь получше, подмечаю, что близнецы не такая уж дружная пара, как показалось вначале, они не столько держат, сколько удерживают друг друга за руки. Экономика претендует на руководящее положение, но и техника норовит забежать вперед, что не всегда похвально, техника может оказаться в отрыве от экономики, но и экономика, не подталкиваемая техникой, способна затормозить ее. Маленькая лекция по диалектике, с которой мы знакомимся, пока усаживается президиум и Славомир Кулявик открывает собрание. Слово получает директор.

На другой день варшавские газеты хвалили доклад Новицкого, хорошо приняли доклад и на собрании, и я попробую объяснить, чем он понравился.

Бывают доклады типа «все прекрасно, но должно быть еще прекраснее» или «есть достижения, но есть и недостатки». Все как будто

бы правильно, но это правильное становится неправильным согласно закону перехода количества в качество, поскольку докладчику важно то, что он докладывает, а не то, зачем докладывает, не доклад для слушателя, а слушатель для доклада. Докладчику Новицкому доклад важен был не доклад, не докладчик, а слушатель и то, чтоб слушатель слушал. Докладчик предупреждал, что следующий год будет трудным, а ведь дальше вырисовываются другие годы, о которых уже сейчас надо думать.

В беспокойстве докладчика было спокойствие, не «нервы», а нерв, говорил человек дела, захваченный делом. Однажды он сказал мне, что трудность и даже безвыходность — это тоже интересно, и его бледное, очень усталое в тот момент лицо порозовело. Да, говорил человек, захваченный делом, и этим чувством заражал аудиторию, которая своим восприятием в свою очередь стимулировала его. Нет, не было здесь репрезентативности «прекрасно — прекраснее» или сбалансированности «достижений — недостатков»: сквозной линией доклада (логической и психологической) была перспектива зародить в людях «чувство перспективы». «Дух перспективы» стал духом собрания!

Все слушали, словно впервые слышали, хотя предварительно были ознакомлены с материалом и хотя докладчик не говорил «ораторски», даже не скажешь красочно. С микрофоном в руке он подошел к громадным диаграммам движения продукции и производительности труда, кратко проанализировал их и остановился перед стендом с диаграммой брака, остроумие докладчика стало ядовитым, но никто не улыбался, кроме разве меня. «Время, время!» — закончил он резко. Затем повернулся к двум большим аппаратам, специально доставленным в зал заседаний, они чем-то походили друг на друга. Но первый из них вызвал у меня больше почтения своей внушительностью, второй не имел никакого «вида». Выяснилось, что второй — модернизация первого, первый во много раз дороже второго, второй во много раз эффективнее первого. Директор сформулировал: вот путь для каждого аппарата, для каждого работника, вредно все время очаровываться, полезно время от времени разочаровываться. Разочарование в одном аппарате (таком-то) сберегло полмиллиона злотых, а разочарование в другом (таком-то) — два с половиной миллиона. Новицкий перешел к экспорту, завод вышел на мировой рынок (в данный момент один представитель завода выехал в Англию, другой — в Индию). Директор сформулировал: знать потребителя и не только то, что он сегодня требует, а что завтра потребует, упредить его. Конкуренты не дремлют, экономическое соревнование не идиллия, мирное сосуществование полно ярких боевых эпизодов.

Бывает, что, придя на доклад бодрым, вы уходите после него уставшим, что, впрочем, естественно, но бывает и так, что, придя уставшим, вы уходите бодрым, как это произошло и чему я свидетель; всем хотелось думать, действовать, всем, даже свидетелю.

Я перечел написанное выше о директоре Новицком и почесал затылок. Что же это получается, одни у него выходят достижения, где же недостатки, не может быть, чтоб не было недостатков, как так вдруг и без недостатков! Поэтому хотя я и не обнаружил их (со стороны не заметно), но заранее готов согласиться, что они имеются, чтоб уж все было, как у людей.

После отчета директора докладывал рабочий совет, его проблемные комиссии, затем последовали прения.

Как в двух словах определить их характер? Как позитивную критику, то есть такую, когда обсуждается не только то, что плохо и как его вывести, но и то, что может быть хорошо и как его ввести. КСР утвердила большинство предложений, в иных случаях дискуссионных; поэтому собрание предоставило администрации возможность разобраться в их

основательности. Но поскольку долго жить сомнениями не рекомендуется, им определен был срок в шесть недель.

Тут я больше не в силах удерживать оратора, который давно рвется на эти страницы, чтоб несколько дезавуировать мой технический пафос. А гость не кто-нибудь, а социолог, разве возможен без него сейчас рассказ о заводе, да и самый завод? «Техника, техника!! — (Это разглагольствует уже социолог.) — А человека вы забыли? Вы, дирекция, разбираетесь в машинах и сложных технических процессах, а разбираетесь ли так же в людях и их душевных процессах, еще более сложных?» Самый тон этого вопроса (более пространно изложенного в статье социолога) выдает ответ автора.

Здесь мы подошли к теме, к которой обещали вернуться, — к социологии. Было время, когда социологию, как и многое другое, брали под подозрение. В 1949 году стали зажимать социологическое отделение Варшавского университета, а в 1951 и вовсе его прикрыли. Само слово «социология» стало крамольным, и его свели к безобидному названию «этнография». Опросы населения по вопросам быта, культуры, производства и так далее, когда люди, довольные, что спрашивают их мнения, охотно откликались, становились демократической формой приобщения к государственным делам, гражданской самодеятельности. А итоги научно-го обследования могли послужить отдельным руководителям ориентиром, давали представление о реальной жизни вместо того абстрактного, которое они сочиняли в своих кабинетах. Сердясь, когда обращали их внимание на жизнь, они обвиняли других в незнании жизни. Когда «социологические затеи» были объявлены «гомулковщиной», всем сразу стало ясно, где в траве пищит, как любят выражаться поляки.

Сейчас «социология» — популярнейшее слово в Польше. Ему даже угрожает опасность стать модным, ведь мода проходит, а эта — жаль было бы, если бы устарела.

Сейчас, когда мы пишем об этом, идет широкое обсуждение премиальной оплаты.

Да, материальный мотив. Но всегда ли этот мотив есть лейтмотив? Хозяйственники настойчиво повторяли (в том же вопросе о текучке): «Нашли над чем голову ломать! Заплатите побольше, удержите подольше. Вот первая причина, а другие, если они только есть, на втором, третьем и четвертом месте».

Социологическая мастерская взялась за дело, опросила тысячи рабочих (а те охотно отвечали) и когда результаты выложила на стол директора, многие почесали затылок. Причина, которую они считали главной, оказывалась на втором, третьем и четвертом месте. Что выступило на передний план? Например, условия труда. Опрашиваемые говорили: мы не ищем легкого труда, но значит ли, что труд должен быть нелегким? Работать — пожалуйста, но чтоб работалось. Уставать? Естественно, но если можно меньше, зачем больше?

Для хозяйственников не было в этом ничего нового, но для большинства ничего, собственно говоря, хозяйственного. «Конечно, — признавали они, — морально, человечно, общественно, социально, но в деловом смысле все эти улучшения ведь чистый убыток!» Увы, теоретически человека любишь больше, чем практически, и не всегда по вине человека, обстоятельства, обстоятельства! «Конечно, гуманизм, — спешили согласиться (подгоняемые профсоюзами, они ведь люди занятые, где уж им вникать в этические тонкости; к этому пункту мы еще вернемся), — и все же убыток, убыток!» — «Стоп! — восклицали социологи. — Но почему убыток? Напротив, прибыль, для вас гуманизм — благотворительность, и вы проглядели выгоду, которую приносят гуманизация техники и технизация гуманизма. Попробуйте!» Попробовали, и надо отдать должное —

на широкую ногу. Вывесили рационализаторские темы, поощряли инициативу, сотни мелких улучшений улучшали обстановку работы, и в результате текучесть рабочей силы определенно замедлилась, подсчитали — выгода. Но это еще не все, продолжали неугомонные социологи, есть еще мотивы, обгоняющие материальный мотив. Например, конфликты с администрацией. Конфликты эти, «по мнению опрашиваемых, — пишет исследователь фабрики имени Розы Люксембург, — важнейшая причина ухода с работы, о чем администрация почти совсем не подозревает».

В газете как-то хвалили молодую женщину-социолога: на предприятии ее называют «пани от конфликтов» и к ней постоянная очередь рабочих и служащих — и пани довольна, и газета довольна. А вот другая пани, тоже социолог, в пику той объявила, что она недовольна. Она выступала в том же радиоспоре, где и пожилой рабочий. С азартом, со скрытой слезой досады она заявила, что отказывается быть «пани от конфликтов», доброй тетей, налаживающей отношения, пусть администрация с завкомом налаживают отношения, она не хочет налаживать отношений.

«Ах, зачем конфликты?» — увещевала довольная пани. «Откуда конфликты? — допытывалась пани недовольная. — Не будем знать откуда, не будем знать куда». Она хочет докопаться до причины, найти причину, предъявить причину. Хотя бы такие цифры, к примеру: «33 процента опрашиваемых выразили сомнение, что кто-либо на заводе интересовался ими или их работой... 21 процент решительно убежден, что никому до них нет дела, 20 процентов допускает интерес к себе со стороны ближайших руководителей — бригадиров и их замов, но не выше, и только 26 процентов отмечали внимание дирекции и завкома». Автор статьи, у кого мы взяли эти цифры, называет их неожиданными, даже кричащими. Цифры действительно жгучие, но благодаря им открылась причина. Самое удивительное, что о ней не только догадывались, но и знали. Да, но только не связывали слов с делами, превозносили уважение к человеку по торжественным случаям и не отваживались снизить уважения к человеку до уровня будней. Значит, достоинство рабочего человека. «Чти мой труд — я в обиде не на материальный ущерб, а на моральный и вот перехожу на другой завод». Социолог обратился к администратору не «с проповедью добра», а с цифрами, с которыми тот больше имеет дело и доверяет им. Конфликты ослабели, производительность выросла, текучесть снова сократилась. Выгода! Цифры!

На заводе Димитрова отмечали, что соседнее предприятие, где заработок был лучше, а все прочее хуже, не соблазняло рабочего.

Социализм для своего развития нуждается в гуманизме, но и гуманизм в социализме. Как правило, этика заискивала перед экономикой, каковая смотрела на этику рыбьими глазами; сейчас экономика спешно заигрывает с этикой. Стало быть, «чуткость к человеку» есть принцип не только моральный, но и хозяйственный. Какие, однако, творческие перспективы открываются перед чуткостью, ее обычно просительный голос становится все более требовательным, встречая благожелательно-милостивые взгляды.

Хорошо, конечно, что гуманизм приобретает реальную подкладку, но нехорошо, если гуманизм станет лишь средством, а не целью, ибо он есть цель прежде всего и существует независимо от того, можно или нельзя использовать его практически. Одна из самых прекрасных мыслей, когда-либо высказанных, принадлежит философу Иммануилу Канту: больше всего поражает нас в мире звезда над нами и нравственный закон внутри нас.

Рядом с капитальным гуманитарным строительством уживается личная инициатива (каждый от самого себя), ну и общественная, есте-

ственно, старомодная гуманистическая самодеятельность: доброе слово, теплый взгляд, горячее рукопожатие. Как об этом сообразили димитровцы — не знаю, столь сложного вопроса решать не берусь. Факт, что сообразили и реализовали. И смотрите — здесь тоже обнаружилась выгода!

На общем собрании рабочих и служащих завода вместо очередного оратора выпускали магнитофонную ленту и не требовали от нее регламента. Слышны юные голоса, смех, песенки, шум игры.

Директор перечисляет имена девочек и мальчиков, голоса которых узнают папы или мамы: они сидят тут же на собрании. Я прослушивал в радиоузле такую ленту (поехали в пионерлагерь и записали ее); сказать, что это безмятежный детский мир, было бы лакировкой — это какой-то совсем не упорядоченный мальчишеский, девчоночий веселый ад, кажется, он и должен быть таким (ну хоть иногда!). Выяснилось, что после прослушивания ленты собрание прошло оживленнее — не думали, не гадали!

Радиоузел завода ведет учет именинников — поздравления прямо в цех и, естественно, затем рукопожатия соседей по станкам. Когда тетя Анеля, проработавшая на заводе тридцать пять лет, уходила на пенсию, по всему заводу, по всем цехам радио ее приветствовало, а поскольку пани Анеля известна была как любительница оперетты, радиооркестр грянул «Частица черта в нас заключена подчас» — под эту музыку ушла доживать свой век пани Анеля. Такая музыка, пожалуй, как-то скрашивает обычный официально скорбный голос, заверяющий товарища от группы товарищей, что «светлая память о вашей работе на заводе навсегда останется в наших сердцах».

Как-то Новицкий, взяв меня под локоть и скосив веселый глаз на стоявшего за станком старика, рассказал о нем маленькую историю.

Старику с его старухой предложили новую квартиру, старики собрались переезжать и вдруг усумнились, да стоит ли на старости лет покидать обжитое гнездо, и старуха послала старика передать, что она передумала. А после того, как квартиру отдали другому лицу, старики снова усумнились — хотя бы последние годы прожить в новом доме, — и старуха послала старика передать, что она передумала. «Как ответил директор?» — подумал я. Нормально! «Где же вы раньше были, уважаемые? Думать надо было, уважаемые. Поздно, уважаемые!» И старик поплелся домой, где уже его поджидала старуха, занявшая свое предусмотренное место у разбитого корыта. Все же я спросил у директора, что он сказал. «Нормально, — ответил он, — дело ведь житейское, я сам на его месте наверняка колебался бы, я и заметил: «Скоро еще получим жилплощадь, уважаемый. Подберем вам тогда подходящую, уважаемый! Привет супруге!»

С этим стариком я познакомился — подошел к нему, когда он ловко и быстро, почти не глядя, орудовал у станка. «Работается, — ответил он на мой взгляд, — а ведь мне через два года на пенсию (тут только я узнал, что пенсия в Польше идет с шестидесяти пяти лет, а на мое упоминание, что у нас — с шестидесяти, старик с живостью заметил: «Естественно. Ведь вы раньше начали!»). Узнал я также, что старик работает на этом заводе двадцать послевоенных лет, но работал и двадцать предвоенных. Обрадовавшись такой оказии, я просил его рассказать о том и этом времени и приготовился услышать, правда, о том, что уже слышал, зато от живого свидетеля. Услышать о Грохове — нищем когда-то и о богатом промышленном районе сейчас. О жалком заводике капиталиста Шпатаньского и о мощном предприятии имени Димитрова. Об убогих хибарках для рабочих и о консультациях художника по оформлению современных квартир и т. д. и т. п. Ничего такого мне не рассказал

старик, да и вообще он не говорил о заводе, он говорил о себе (впрочем, я сам так и спросил его, в чем он для себя лично находит разницу между этими двумя двадцатилетиями). Он очень выразительно передал свою мысль по-польски, и я постараясь по крайней мере поточнее перевести ее на русский. Он сказал: «Тогда я чувствовал себя средством, а сейчас причиной. Тогда я зависел, сейчас от меня зависит».

...Уже поздний час. Директор предлагает мне, если я не возражаю, проехаться на его машине по городу. Я не возражаю. В ожидании машины мы прогуливаемся по заводскому двору. Новицкий поднимает глаза на освещенное окно третьего этажа. «Каминская,— произносит он и затем говорит вполголоса, как будто Каминская может нас услышать: — Знаете, ей больше, чем кому-либо, мы обязаны повышением производительности труда». Но я знаю Эльжбету Каминскую, сегодня еще побывал у нее. Кто она — конструктор, инженер, завцехом? Нет. Библиотекарь. Я зашел к ней — книги, книги, книги, и я с досадой воскликнул: «Вот с какого помещения мне следовало бы начинать!»

Следя за тем, как Каминская просматривает книги, как беседует с читателями, у меня сложилось впечатление, что она все время как бы вращается в этом двойном кругу читателей и книг, переходит из одного круга в другой и обратно. Эту новую книгу какому бы читателю? Этому новому читателю какую бы книгу? И ее лицо пожилой учительницы, или врача, или старого партийного работника становится озабоченным. Она изучает каждого читателя (продолжает линию своего завода, ориентируется не только на читательскую массу, но и на читателя отдельного, особого, особенного). Ей надо знать его биографию, склонности, характер, темперамент, его прошлое, настоящее, она «прорабатывает» эти данные, прежде чем из безбрежья книг выбрать именно эту.

Входит читатель. Он из тех, какие ежедневно приходят во все библиотеки мира с неизменной для всех них спешкой и вопросом, который все они задают в неизменно легкомысленно-небрежном тоне: «А не найдется ли чего почитать?» Но их легкомыслие если обманывает их самих, то не библиотекаря, который за небрежной фразой слышит беспокойную: «Я духовно проголодался, хорошо бы червячка заморить». Да, пожалуйста, но какой духовной пищей?.. Наконец читатель уносит с собой книгу, и с этой минуты, я догадываюсь, Каминская теряет покой и уже не расстается с этим читателем. Она мысленно следит, как он раскрывает книгу, как читает — медленно, медленнее, останавливаясь, возвращаясь обратно, или, напротив, пробегает глазами, перелистывает и вдруг как захлопнет — не отзовется ли это эхом в ее сердце? Вот, по ее расчетам, он закончил чтение. Допустим, книга его не увлекла, значит, он не скоро заглянет, если же, наоборот, захватила, он должен войти — вот-вот, сию минуту. Дверь открывается, и он входит.

Я увидел такого читателя после двадцатой или тридцатой книги. Он вошел, панн Эльжбета молчаливым кивком разрешила ему пройти вдоль длинных и высоких рядов и, улыбаясь, глядела на него. Она наслаждалась. Разве не ее он детище, мало сказать она воспитала читателя — она создала его. И я констатирую: да, это настоящий читатель, читатель божьей милостью, я замечаю, как возникает у него таинственная связь с книгой и прочитанной и непрочитанной. а так как их много, их «невысказанность» томит его и он удаляется по узким аллеям этой рощи познания добра и зла. Спрашивают порой, в чем счастье? В этом, например, — у нее, у него.

Но число абонентов все растет, вообразим себе объем ее работы, недаром так поздно освещено окно третьего этажа!

Каминская на своем участке выполняет работу, какой занята вся армия польских просветителей, реализуя задание, которое в Польше

считается сейчас заданием номер один — «культура массам». Вопрос значительный, нельзя им пренебречь, вспомним значительные слова Новицкого о Каминской: «Ей больше, чем кому-либо, мы обязаны повышением производительности труда».

В дореволюционной Польше интеллектуальная элита составляла маленький островок среди моря неграмотных, малограмотных, а если и грамотных, то таких, для кого книга была исключением, а не хлебом насущным, да ведь и с самим-то хлебом было нелегко. Положение, от которого страдали не только массы, но и интеллектуалы, и чувство одиночества, на которое они жаловались, вызывалось также и этим. Правда, иным это одиночество казалось чем-то даже привлекательным, и они неохотно с ним расставались, что, надо сказать, способствовало их снобизму. Но и в наше время существуют опасения, а не помешает ли развитие культуры вширь развитию ее вглубь? По моим наблюдениям, опасения преувеличены. Выпускаются книги для всех и книга для немногих. А ведь с этими немногими как оно порой бывает: сегодня они немногие, завтра многие, а послезавтра, глядишь, все.

Я беседовал об этом с министром культуры Польши Тадеушем Галиньским. Это простой человек, и лицо у него простого человека, и он никак не конфузится своей простоты. Напротив, уважая культуру, как действительно умеет уважать ее простой человек (Галиньский при мне с увлечением прочел наизусть стихи Слонимского «Алярм для мяста Варшавы»), он благодаря своей простоте не делает из нее фетиша, как это бывает даже у сверхинтеллектуалов, из-за чего в их отношениях к культуре время от времени возникает некая напряженность, от которой они втайне рады бы избавиться, — проще взглянуть на мир, это порой помогает и лучше понять мир.

Галиньский сказал: «Мы ведь хотим, чтоб стол наших потребителей был богат разнообразными блюдами, почему же духовный стол должен быть беднее? И если есть охотники до каких-нибудь там особенных закусок, то ради бога пускай закусывают на здоровье. Только бы пища была доброкачественна», — подмигнул он мне.

Стало быть, эти страхи как будто бы напрасны, не исключена, правда, другая опасность (она в перспективе, так что тревога преждевременна). Все расширяется площадь упомянутого островка, и приобретающиеся массы в один прекрасный день и совершенно неожиданно для интеллектуалов могут предьявить уровень, который придется одолевать. Популяризаторство — дело почтенное, и на долгий срок, однако замечено, что массы (я не ручаюсь за все массы, а за отдельно взятые, которые наблюдал) — они не хотят задерживаться на этом этапе и норовят забраться в заповедник интеллектуалистов, я сам слышал по радио голос деревенской библиотечарши, жалующейся, что на единственный экземпляр Хемингуэя у нее длинная очередь. «Почему такой низкий тираж, не в расчете ли на элиту?» — сердилась она.

А вот пример с театром Скушанки. Стотысячный подкраковский рабочий город, выросший вокруг металлургической Новой Гуты, имеет свой профессиональный театр. Завод, город и театр были основаны одновременно, и руководить театром взялась Кристина Скушанка. Я был там на «Дзядях» Мицкевича не в популярном варианте «для начинающих», а в оригинальной, новаторской концепции, можно сказать — «для знатоков». Все места занимали рабочие Новой Гуты с женами. Я смотрел не только на сцену, но и на публику. На таком же высоком уровне был и другой спектакль, виденный мной. Когда у кого-то из краковской администрации возникло однажды соображение, а не лучше ли перевести Скушанку в Краков, поближе к элите, а на ее место прислать менее рафинированную, более популяризаторскую труппу, они, ново-

гутяне, устроили веселую демонстрацию с плакатом: «Не отдадим Скушанки».

И еще случай, он, кстати, осветит нам формы освоения культуры. Деревенский «Дзенник Людовы» объявил среди деревенских читателей литературный плебисцит на лучшего писателя и лучшего читателя: «золотой колос для писателя, серебряный — для читателя». В конкурс охотно включилось министерство культуры и, главное, деревенские библиотекари, они, собственно, стали героями этого шумевшего на всю Польшу события. Был представлен для обозрения список в двадцать современных книг, двадцать современных авторов, читатель выбирает наиболее желательного ему, и писатель, собравший большинство очков, получает премию золотого колоса, а читатели, наиболее интересно обособившие свой выбор, — премию серебряного. Результаты были опубликованы в мае 1964 года. Лауреатом по поэзии стал Владислав Броневский («Избранные стихи»), по прозе — Ян Герард (повесть «Зарево в Бещадах» о борьбе за новую Польшу), получившие максимум голосов, отмечены были и авторы, занявшие вторые, третьи и т. д. места. Награды в торжественной обстановке вручали читатели писателям, писатели читателям.

Но главное, что, естественно, всех интересовало, еще когда только приступали к делу, сколько все же откликнется желающих. Скептики ожидали десятки ответов, осторожные — сотни, оптимисты — тысячи. Цифра, оказавшаяся в итоге, произвела впечатление сенсации: сто пятнадцать тысяч (114 668). И все это, заметьте, деревенские жители — крестьяне, крестьянки, рабочие совхозов, механизаторы, сотрудники земельных органов, живущие в деревне, — все деревенские, ни одного городского. Сто пятнадцать тысяч ответов, да не простых, а золотых, объяснявших подчас весьма придирчиво, почему отмечен этот и заодно почему не тот.

Я привел эти фрагменты культурной революции в Польше, чтоб подчеркнуть роль пани Эльжбеты Каминской на заводском поприще, и познакомлю еще с несколькими ее посетителями, с которыми и сам познакомился.

Энергичного вида мужчина, даже не переступив порога читальни, бросает: «Вы достали детективные романы?» — «Я уже говорила, что их не было и не будет», — веско отвечает Каминская. «Но почему?» — «Потому что здесь библиотека». — «А где же им быть, это же книжки?» — «В мусорном ящике!» — «Иезус Мария! Что же мне делать?!» — «Купить за десять злотых и выкинуть». Взгляд мужчины остановился на мне. «Вот, кажется, человек посторонний, пусть разрешит наш спор».

Я уклонился, ответил, что не гоюсь в судьи. С этими детективными романами у меня как-то странно всегда получается. Когда я читаю подобную книгу, то только на последней строчке последней странички вдруг вспоминаю, что уже когда-то ее читал. «Вот видите!» — воскликнули одновременно читатель и библиотекарь: первый, вероятно, хотел сказать: «Дважды прочел одну и ту же книгу», вторая: «И ничего не осталось в голове».

Мужчина махнул рукой и стал ожесточенно рыться в книжном шкафу (Каминская не препятствовала) и занимался этим довольно долго. Наконец он вытащил какое-то «Путешествие», Каминская похвалила: «Отлично выбрали».

Мужчина вспыхнул от похвалы и глянул на Каминскую, не заметила ли она этого, но ведь даже я и то заметил. «Каждый раз у нас с ним такое», — рассмеялась Каминская, когда мужчина ушел.

Приходит посетительница. Рассказывает: супруг недоволен —

вечно-де она вдвоем, но не с ним, супругом, а с книгой. Даже спать она ложится с книгой, супруг остается в дураках. Вчера не выдержал. «Выбирай, — рассвирепел он, — я или книга». — «Выбрала!» — смело ответила жена, глядя ему прямо в глаза (я сужу по тому, как она тут посмотрела на нас). Супруг обиделся, второй день не разговаривает.

...Еще девушка. Взгляд хмурый, проверяет без слов полученную книгу, угрюмо благодарит. «Что за книга?» — спрашиваю. «Станислав Выгодский», — отвечает она нелюбезно.

Я гляжу на нее с молчаливым удивлением. Тогда она добавляет: «Пусть каждый знает, о чем он пишет, о ком. Не люблю авторов, доставляющих удовольствие, не хочу удовольствий, хочу неудовольствий». И смеет с вызовом, не против ли я, так что я торопливо киваю головой: «Пожалуйста, пожалуйста». Каминская смотрит на нее, повернувшись к витрине с новинками, и кажется, я понимаю этот взгляд. Вряд ли сама эта девушка потерпела от немцев (она еще слишком молода), скорее родители. Пострадали родители, но шрам носят дети. Позволю себе еще раз такое сравнение. Среди громады новых варшавских домов, праздничных и светящихся, сверху донизу украшенных цветами (в длинных крашенных ящиках, установленных во всех окнах, балконах и нишах), из толпы этих домов выглядывает вдруг старое уцелевшее здание. В нем продолжают жить люди, но каждое из них (по крайней мере я не видел исключения) сверху донизу покрыто следами от пуль и снарядов. словно голос трагического напоминания и предупреждения, как эта девушка, как рассказы Выгодского.

Кажется, для того, чтобы рассеять это печальное облачко, появляется девушка, похожая на подростка, — оказывается, она уже инженер. Сияет. Получила книги, прижала к груди и торопится уйти. Ужас, два года не читала — последний год института, первый на производстве — и сейчас восполняет нанесенный себе ущерб. «Прийти домой и открыть книгу! Вы понимаете? И открыть книгу!»

Еще девушка, еще и еще, целая вереница их — техников, работниц, лаборанток, инженеров. Глядя на них, я вспоминаю книгу, которую все они, разумеется, читали — «Девушки с Новоліпок» недавно умершей Поли Гоявичинской. Эта книга о старой Варшаве и девушках из низов — сильных, жизнерадостных, одаренных. Все попытки их «выбиться в люди» кончились плачевно, так или иначе они погибли все до одной. Вспомнились они потому, что девушки эти могли быть их сверстницами. Книга Гоявичинской поражает даром наблюдательности, чего так не хватает современным авторам, и ее мысли пропитаны кровью и соком жизни. Бронка, героиня книги, идет за гробом подруги. «Мир полон грабителей и ограбленных, — думает она. — Ограбленные утратили не просто землю и достаток, а возможность жить». Вот обвинение! Смысл жизни не в достатке, а в возможности жить. Не перекликаются ли эти слова с тем, что сказал старый рабочий из инструментального цеха о двух двадцатилетних Польши?

...Мы стоим с директором Новицким перед окном Каминской. и оно все еще светится. Новицкий говорит, что Каминская увеличивает на заводе число культурных и интеллигентных людей, но я напоминаю: ведь его в первую очередь заботит техника. Да, он не возражает, но ведь гуманистическая культура и техническая связаны, хотя порой в иных головах они вступают в конфликт, даже в хороших головах, правда, не в самых хороших. Большая техническая мысль не разовьется без широкого кругозора — философского, художественного, ведь техника это не просто рационализация, это идея, а для этого надо подготовить голову. Каминская занимается этим.

Подошла машина, и мы садимся в нее. Я доволен сегодняшним

своим днем на заводе и припоминаю, как попал на него. В варшавском комитете партии у Юзефа Кемпа, заведующего отделом культуры, я просил во время беседы связать меня с каким-нибудь варшавским заводом, не «передовым» и не «отсталым», а интересным. «Понимаю», — сказал Кемпа и зашагал по комнате, прикидывая в уме, куда бы меня направить, наконец шелкнул пальцами, сел к телефону и позвонил Новицкому.

И вот я сижу рядом с ним. Мы едем по темнеющей Варшаве — нам все труднее рассматривать ее через окна, зато она заглядывает к нам внутрь. Светлые полосы сменяются темными, огненные электрические клинья вдруг врезаются в нас то с одной, то с другой стороны, выносят как на ладони характерные фрагменты города — будто перо молнии крупными штрихами очерчивает профиль польской столицы. Мы ныряем в темноту и, вынырнув, влетаем в полный, разящий глаза свет, останавливаем машину, любуемся зрелищем. Стерлись границы улиц и площадей, сливаясь в одно целое, словно поставили плотину, и оттого, все расширяясь и бушуй, разливается сплошное море пешеходов — воистину «вся Варшава», покидающая после дневной работы заводы и учреждения, Варшава в вечерние часы пик!

Едем дальше. Я уселся поглубже. «Что же в итоге нашел я интересного на заводе, — спросил я себя, — и как это интересное сказать в одном слове?» Я собрал в памяти все, что видел, и что здесь написал, и чего мне не удалось написать, и, кажется, нашел это слово: «Атмосфера».

Затем без всякой связи с предыдущим я обратился к Новицкому (и раньше собирался спросить у него об этом), что он считает достижением завода в данный период — технику, экономику, кадры, экспорт и т. д.? Новицкий ответил. Мне показалось, что я ослышался, и я просил его повторить. Он повторил: «Атмосферу».

Хорошо, что было темно и мой сосед не заметил, как я вспыхнул. Значит, не зря я побывал на заводе и, значит, могу не слишком краснеть перед читателем за то, что представляю его вниманию этот отчет?!

2. Варшавский юмор

Спрос на юмор превышает здесь даже спрос на продукты первой необходимости: нехватку последних, если это случится, всегда можно объяснить, а нехватку юмора нельзя ни объяснить, ни тем более оправдать. В такой атмосфере не только юмористы по призванию, но и так называемый серьезный писатель (или считающий себя таковым), чтоб не заронить сомнения у читателя, время от времени шутит.

Не говоря об индивидуальном юморе, есть здесь и коллективный юмор — и насчитывает, заверяли меня, много разновидностей. Стоит образоваться какому-нибудь коллективу, все равно кто — рыболовы, шоферы, студенты, филателисты, плотники, печатники, велосипедисты, садовники, — они начинают вскоре выделять, как некий сок, им одним свойственный юмор, что для окружающих служит симптомом жизнеспособности такого коллектива, а для властей — даже основанием для его юридического оформления.

Примечательная черта польского юмора — он задевающий, лучше бы это выразить польским же словом «зацепный», да и по-русски можно сказать «зацепляющий», это без всякого, обратите внимание, обдуманного намерения. Сам человек разводит руками: как это у него, дескать, получилось?

Я особенно оценил эту черту, когда после Варшавы побывал в Париже и имел возможность поближе познакомиться с прославленным фран-

цузским юмором, вернее бы сказать остроумием, потому что у французов не столько даже юмор, или сатира, или ирония, сколько — это и будет наиболее точное слово — остроумие. Стремление, так сказать, ошутить свой ум, получая от этого удовольствие, — первейшая потребность француза. Согласно знаменитому афоризму Декарта, ставшему народной поговоркой, своего рода национальной автохарактеристикой: «Cogito, ergo sum», то есть «думаю — значит существую». Но поскольку все время думать, может, и нет возможности (надо ведь и существовать), возникает остроумие, как наиболее доступный способ убедиться в собственном существовании. Есть, конечно, у французов и сарказм, и сатирическая соль, но ими они пользуются по мере надобности, это у них второй план, а у поляков первый. И поляки острят, не дожидаясь специальных приглашений, острят, когда есть настроение, острят, когда нет настроения, чтоб оно появилось.

В юморе соревнуются не только люди, но и города, есть, например, варшавский юмор в отличие от краковского юмора. Я добросовестно проверил и докладываю — действительно, вы сами можете легко проверить (испытать на себе). Но если есть варшавский юмор, то, скажут, должен быть представитель его — как так вдруг без представителя?! Верно, есть такой, плоть от плоти и кровь от крови Варшавы, правда, если сказать «Стефан Вехецкий», то не каждый и даже варшавянин сразу поймет, о ком идет речь, но скажите просто «Вех» — и нет варшавянина, который не расплылся бы в улыбку, и уж одно то, что все там от мала до велика его так по-свойски величают, уже есть и его характеристика. Вех — такая же достопримечательность города, как эмблема Сирены, колонна Зыгмунта или Фукмеровский винный погребок на Старом Мясте.

Попросите варшавянина объяснить, что такое «Вех», и он вам ответит (я прочел это объяснение в журнале «Столица»): «Это то же самое, как объяснить, что такое часы».

Кстати, я говорю здесь, да и все время «варшавяне», хотя в данном месте уместнее сказать было бы «варшавяки». Жители этого города называют себя и так и так — то «варшавяне», то «варшавяки» — и мне кажется, что разница здесь есть. В одном случае более, так сказать, бытовом, веселом, уместнее сказать «варшавяки», а в другом, более гражданственном, что ли, лучше звучит «варшавяне», и хотя гражданский и бытовой планы часто сплетаются, все же разница есть, и я в дальнейшем буду прибегать то к одному, то к другому обозначению, руководствуясь интуицией.

Итак, варшавяки считают, что объяснять Веха так же не к чему, как объяснять, что такое часы. Но поскольку для нас-то эти часы заграничной марки, давайте заглянем в их механизм.

Шофер, дворник, продавец уличного ларька, мелкий служащий, а также сапожник, портной, столяр — словом, все, кого можно назвать старым словом «мастеровой», а еще лучше «простолюдин» — вот из какой среды юмор Веха: из самых низов варшавского городского плебса, из глубоких подвалов, из далеких предместий, из старой Варшавы. Сам Вех «старый», довоенный писатель, вместе со своими героями доживший до лучших времен. Его юмор — дитя варшавской улицы. Юмор этот неунывающий и необидный, порой злой, никогда не злобный, демократический, а еще лучше сказать — плебейский, не признающий ни чинов, ни званий, и если верно, что перед смертью все равны и смерть никого не различает, то ведь можно сказать, что и перед смехом все равны.

Герой Веха, пан Печенка, например, — весьма популярная в Варшаве личность. Как только пан Печенка, прищурившись, посмотрит вокруг себя, так все сразу и увидит, никто перед ним не укроется, и каж-

дому он уделит внимание, отдавая, правда, преимущество тому, кто действительно достоин смеха, заслужил — получай! Он никого не обижает, и даже тот, кто не заслужил, тоже получает, просто так получает — от щедрости сердца, чтоб весело было, не уныло! О ком только пан Печенка не рассказывает! И о закадычных друзьях: как они, стало быть, выпили, закусили, больше, правда, выпили, чем закусили, закусили самую малость, вот за это и попало — закусывать надо! И о Гитлере — как он обещал: там, где в Варшаве Маршалковская улица, будут овощи расти, и вот исполнилось пророчество — завалена Маршалковская овощами. И о муже-дураке и жене его, дуре, как они, дураки, поссорились, вот обоим дуракам и попало. И о короле Станиславе Августе или князе Юзефе Понятовском, которых пан Печенка называет одного Стасик, другого Юзик. Словом, нет ничего и нет никого — чего бы ни касалось и кого бы ни касалось, — о чем пан Печенка не имел бы своего варшавского соображения.

Но тут, по-моему, главное даже не в том, о ком и о чем говорит пан Печенка, тут вся соль в том, как он говорит, а говорит он, не выбирая выражений. Нет, не то чтоб он «выражался», зачем же, а говорит, как привык дома говорить с женой ли, с приятелем за бутылочкой, не оглядываясь каждый раз на грамматику, как там эта классная дама, довольна ли, по нраву ли ей, да ну ее! Говорит своим простонародным жаргоном — он, пан Печенка, говорит по-своему, неграмотно говорит, с ошибками, а пан Вех так и записывает. Школьный учитель в ужас должен прийти, читая Веха (вот они лежат передо мною, выпущенные Польским государственным издательством два толстых богатых тома в обложках и суперобложках под названием «Посмейся над этим!»), — в ужас прийти и, выхватив карандаш, вычеркивать и выправлять для того, однако, чтоб, вдоволь почиркав и вдруг опомнившись, снова все восстанавливать, как было, и давай смеяться, как смеются все читающие Веха, от премьер-министра до вагонновожатого.

Может, это и верно, что Вех со своим стилем доживает, так сказать, последние дни, ибо и читатели его — и шофер, и сапожник, и домохозяйка, и лоточник, и доярка, прежде неграмотные, стали грамотными за эти двадцать лет, но хотя они и стали такими, они все же читают Веха, да потому еще читают, что стали грамотными. Так что если суждено Веху умереть, то пусть он это делает как можно позже, а те образованные, поокончившие разные там университеты и институты, о чем они раньше и не мечтали, пусть не забывают, как они бегали без штанишек по улицам, которые прославил Вех, и пусть нет-нет, а блеснет в их образованной речи простонародный веховский оборот, какие бы они ни были ученые, архитекторы, инженеры и даже дипломаты (в последнем случае это бывает порой даже полезно). Стало быть, сто лет Веху, пану Стефану Вехецкому!

Другой тип юмора — Станислав Ежи Лец. Это мастер ювелирных изделий, изящных и разнообразных, однако наибольшим спросом среди его земляков и за рубежом пользуются его афоризмы. Художник, оформлявший книгу изречений Леча, снабдил ее изображениями скульптур философов древности Платона, Аристотеля, Зенона, Диогена, гетеры Аспазии и других, и этот намек мы примем охотно. После античных мудрецов в течение столетий не было писателя, философа или политика, который не оставил бы миру хоть несколько изречений, но под пером Леча возродился жанр античного афоризма в его, не побоимся сказать, масштабной обобщенности, и говорим это не похвалы ради — есть более важное соображение. Античный афоризм запечатлел опыт древнего мира, современный же афоризм у Леча закрепляет опыт (особенно давший себя знать в такой стране, как Польша) уже нашего времени. Опыт, ко-

торый нуждался для своего выражения в сжатых, исчерпывающих формулах и нашел их (в надписи на своей книге, подаренной мне, Лец замечает, что не он нашел свои афоризмы, а они нашли его). Не все изречения равноценны, есть и менее блестящие, и слишком блестящие, когда, например, игра слов, к которой любит прибегать Лец, больше привлекает этой игрой, так что (позволим и мы себе игру слов) игра не всегда стоит свеч. Но отобранные афоризмы — это целый арсенал, меткие стрелы, которые поражают мишень, где бы та ни находилась, наповал.

А так как этой мишенью может оказаться, не может не оказаться, любой из нас, то нам важно запастись мужеством, чтоб не уклониться от удара, который мы заслужили.

Когда мы философствуем, Лец предостерегает, что «ошибка становится ошибкой, когда рядится как истина». А когда ораторствуем — чтоб не забывали, что «в начале было слово, а в конце фраза». А когда мы пишем, напоминает, что «окно в мир можно заслонить газетой», когда занимаемся искусством — что «кто не имеет ничего общего с искусством, тот и не должен иметь ничего общего с искусством», а когда проявляем доверчивость, он расхолаживает нас признанием, что он лично «не будет возмущаться Геростратом, пока сам не убедится, каким был в действительности этот храм Дианы в Эфесе». Хотя, замечает Лец, «жизнь отнимает слишком много времени», однако то, что кто-либо умер, «еще не значит, что он жил». Гордясь вместе с нами, что «все в руках человека», он именно поэтому рекомендует «чаще мыть руки», а когда мы хвастаем, что сделаны из стали, он считает, что не мешает быть также «из крови и костей». А когда мы прячемся от всех в самих себя, Лец сочувственно восклицает: «О одиночество, как ты перенаселено!» Лец без устали обстреливает и слабых и сильных мира сего, особенно тех сильных, которые сбрушивают на мир свою силу, скрывая или уже не скрывая своей фашистской повадки. Лец констатирует тогда, что «каждый век имеет свое средневековье» и что «безграмотные должны диктовать», ставит вопрос, «вправе ли людоеды говорить от имени съеденных ими», сигнализируя, что и «людоеды готовят духовную пищу». Он обнаруживает у людоедов и мечтания: «Ах, если бы жертвенного козла можно было еще выдоить», и то, что они способны понять, например, что «на том огне, который похитил Прометей, можно сжечь Джордано Бруно», а также и то, чего они понять не способны: «Ради человека все можно посвятить, кроме других людей» — или: «Надо спровоцировать интеллекты, а не интеллектуалов».

Я побывал в доме у Станислава Ежи Леца, каждое блюдо хозяин снабжал аттической солью собственного производства, давно я с таким аппетитом не обедал. Меня заинтересовало, как оплачивают Лecu его сжатые до двух-трех строчек новеллы, повести и даже романы. Он в свою очередь спросил, как, по-моему, его следовало бы оплачивать. Я ответил — в античном же духе, книгопечатания тогда не было и ему оно ни к чему, — его афоризм, рожденный утром, успевает до вечера обежать весь город, и пусть бы благодарные горожане бросали свои грошики в копилку, подвешенную у старинного дома, где живет Лец, а утром пани Лец собирала бы наличность.

Детская улыбка Леца была в разительном контрасте с безжалостностью его мыслей. Я чувствовал это несоответствие, даже когда Лец, провожая меня домой, рассказывал про себя: как он во время оккупации бежал из концлагеря, как вернулся в Варшаву и связался с антифашистским подпольем и как, отлично зная немецкий язык (он долго жил в Вене и сейчас, по венскому обычаю, пишет в кафе — однажды я заметил его пробирающегося с ученической тетрадкой под мышкой к дальнему столику), в форме немецкого офицера шагал на выполнение задания по той самой улице, по которой мы сейчас идем.

А вот еще род юмора — юмор Мрожека, ультраинтеллектуальный, парадоксальный, я бы еще добавил — цирковой, если бы не опасался этим словом уронить, а не поднять, как я этого хочу, оценку этого юмора. Вы наблюдаете тут умственную эквилибристику — она способна вызвать у вас головокружение, поскольку она не похожа на обычное и, так сказать, пешеходное движение мысли, и даже раздражение по этому поводу: он, что ли, не может ходить, как ходят все?! Но это раздражение быстро у вас проходит, ведь самый цирк вы посещаете и потому, что вам по душе эти вольные полеты! А тут, в театре Мрожека, мысль, обретающаяся в вас, если тем более она ведет скучное, сонное, растительное существование, оживляется, будоражится и порывается, чувствуя уколы этих шпор, а к тому же в вещах Мрожека не просто веселая игра мысли (что ведь тоже доставляет удовольствие), тут есть высшая цель — высокая гуманитарная сверхзадача, во имя которой артист забирается так высоко под купол.

Польская критика находит, что зерно, из которого вырастает юмор Мрожека, есть пародия. К этому надо бы добавить, что ростки из этого зерна растут не только вверх, но и вглубь. Обычно пародия ухватывает внешний признак явления, чтоб намекнуть на его суть. Мрожек пародирует не само явление, а его природу. И если скажут, что это скептицизм, то в этом случае прогрессивный, ведь само по себе явление не очень-то изменится, как бы его ни пародировать, пока не изменится его природа, а кто сказал, что она неизменна? А пародировать неизменное — значит, усумниться в его неизменности, значит, это вовсе и не скептицизм. Мрожек подставляет зеркало к лицу самой природы, заставляя ее покраснеть; не забудем, что эта природа прячется в душе людей. Мрожек отвлекается от конкретностей, чтоб, найдя общую философскую формулу, которая выступает у него как художественная метафора, вернуться к ним обратно. Не обязательно идти в искусстве от частного к общему, можно и от общего прийти к частному — кому противопоказано такое художественное мышление, пускай не мыслит!

Я приведу для начала простой пример мрожековского юмора, его, так сказать, одноклеточную форму, игру ума, которую я назвал бы спортивным термином — «разминкой» перед делом. Мрожек рисует — он и рисовальщик — некоего гипнотизера и даже целый коллектив гипнотизеров, пародируя их, может и вполне обоснованную, но в чем-то вроде бы и мистико-авантюристическую профессию. Гипнотизер завязывает перед зеркалом галстук, но так как глядит на себя, то себя же и гипнотизирует, и уже дремлет, так и не завязав галстука. Встреча двух гипнотизеров, дуэль на гипнотических, так сказать, флюидах. Есть победители и есть побежденные. А если встречаются гипнотизеры равной гипнотической силы — тогда что? Тогда два гипнотических луча идут навстречу друг другу, соприкасаются, а затем оба совместно устремляются вверх — в результате пролетающая в тот момент и ничего не подозревающая птичка падает, спящая, к ногам соперников. На арену выбегает ансамбль гипнотизеров, происходит всеобщая потасовка; один уже еле держится на ногах, другого, падающего, уносят на носилках, третий вытянулся, усыпленный наповал, четвертый попадает под концентрированный огонь трех гипнотизеров. Среди поля битвы, усеянного телами гипнотизеров, единственный бодрствующий гипнотизер с помощью гипнотического — на этот раз змеевидного — луча вытягивает пробку из бутылки — надо полагать, чтоб отпраздновать победу! Салют!

Но это, так сказать, шалости пера, а вот и серьезный опус — пьеса «Полиция». В некоем царстве-государстве остался на всю страну один заключенный, из-за него одного существует тюрьма, полиция, суд, администрация и пр. и пр., и все потому, что заключенный отказывается под-

писать декларацию, что страна процветает и что он чтит короля и его наследника.

Но однажды заключенный объявил, что готов подписать декларацию. Начальник полиции приходит в ужас — подумать только, придется закрыть тюрьму, распустить полицию, суд, администрацию! И он допрашивает заключенного, хорошо ли тот обдумал свое решение и в самом ли деле страна процветает и король с наследником заслуживают почета — неужели именно так думает заключенный? Но поскольку заключенный подтверждает свое решение, начальник полиции сокрушается: он всегда уважал заключенного как принципиального человека — до чего прискорбно видеть, как тот меняет свои убеждения, разве это не роняет его достоинства?! Заключенный настаивает на своем. Тогда начальник принимает меры. Он приказывает одному из полицейских разыграть роль бунтовщика, чтобы спровоцировать граждан. Однако граждане себе на уме и не поддаются, полицейский же, выполняя указание, проявляет привычное рвение и так входит в роль, что его и сажают в тюрьму, и таким образом все остается, как было.

Легкая муза непритязательна. Ей все равно где расположиться. Она, конечно, не против удобного (сравнительно) здания театра Комедии на Жолибуже, но может поселиться и в малоуютном здании театра Буффо. Способна она примоститься и в кафе, среди столиков, а то и просто под открытым небом — лишь бы ей кругом были рады. А театр СТС — Студенческий театр сатириков, — тот запросто чувствует себя в зале, где раньше был морг; раз пять за вечер сказали мне об этом — с каким-то даже вызовом, игриво сказали: живем-де!

И возраст легкой музы не играет особой роли! Буффо, например, старый театр, старая Варшава, а СТС — совсем молодой театр, молодая Варшава, но я наблюдал в Буффо молодых варшавяков, они были в восторге, а в театре СТС были в восторге даже старые варшавяки. Буффо, сказали мне с меланхолией, это уходящая Варшава (в смысле старомодного стиля игры), прощающаяся с нынешней, а СТС — будущая Варшава, сказали мне с задором, наступающая старой на пятки. Верно. Голос у молодой (хочется сказать пусть и стертым сравнением), звонкий, а у той старой — глухой, но в этом глухом голосе столько души, что, если оба голоса совместить, разве не получится достойный дуэт? Так что, может, не стоит впадать одним в меланхолию, другим в задор? Ну чего вы задираетесь, мальчишки? Можно договориться!

В театре Буффо я видел блистательную старую троицу — Ольша, Семполинский, Фиевский, они втроем выступали в скетче «Трое волокит», а лучше бы сказать «Три мушкетера» (хотя у них, может, уже внуки мушкетеры), потому что не волокитство тут сверхзадача, хотя как же мушкетерам без этого, никак невозможно! Они хвастают своими победами над женскими сердцами, и не то что полувековой (скажем деликатно) давности, а вполне нынешними и, конечно же, завтрашними, и поддерживают друг друга не только морально, но и физически, цепляясь друг за друга, чтоб не ровен час не свалиться. Седина вроде бы в бороду, а бес в ребро. Сей бес к тому же, учтите, орудует и в публике, и вот она поощряет трех панов-мушкетеров: дескать, правильно, панове, головы не вешать, панове, «даешь, даешь!» (это уж я от себя перевожу с польского на русский), панове. И этот призыв, как бумеранг, возвращается обратно в публику: и вы-де так держитесь, и не только старые, но даже молодые, и в ответ несется из зала нечто вроде: «А как же! А как же!» Вот в чем тут сверхзадача!

И наконец появляется сама легкая муза в облики Алины Яновской. Я и не заметил, как она появилась, откуда: сверху ли спустилась

или снизу вырвалась, как салют, — чудо что за лёгкость — физическая и душевная! Вернее сказать, духовная и физическая — в такой последовательности. Здесь легкий дух подобрал подходящее себе тело, чтоб чувствовать себя в нем беспрепятственно. Вот она снова — на этот раз мне не померещилось — поднялась над полом, прошла по воздуху и опять опустилась на пол. Заметьте, Яновская не балерина вовсе, а драматическая актриса, но даже если посчитать, что балерина, то решает в ней не техника, даже не искусство, а потребность. И не просто одно жизнелюбие — тут умысел высший! — потребность легко чувствовать себя в мире, как бы подчас ни тяжело было в мире. И даже именно потому, что тяжело, наперекор ему, — а на перекор — чем не польская черта?! И призы легко встречать жизненные напасти — не несерьезно, а легко; мы-то ведь знаем, как это с нами бывает: неприятностей на копейку, а переживаний (переживаем, переживаем!) на рубль, — а надо бы наоборот! Вот чему учит Алина Яновская, хорошо, что учит, хорошему учит.

И чтоб доказать, что она это не только нам адресует, но и от себя требует легкости, Алина, когда она кружится, прыгает, острит и поет, словом, дурачится, то не для публики, а для себя самой, прежде всего для себя, публику она вдруг забывает, увлеченная собой, а уж что остается — нам. И мы не жалуемся, хватает.

Я должен задержаться еще на одном имени — Дымша. Среди немолкаемого шума Буффо он как бы точка молчания, ось, вокруг которой вращается это веселое колесо, не давая ему далеко откатиться, миг серьезности — ведь как бы оно там ни было весело, а все еще очень грустно на этом свете, господа!

Если вы однажды увидели Дымшу — уже не забудете его, потому что есть в нем нечто, чего вы в самом себе не можете забыть, как бы вы там ни веселились в Буффо или вне Буффо. Вот он стоит посреди сцены, задумавшийся над печалью мира человек, и, снисходительный к нам, пропускает нашу тоску сквозь фильтр своего юмора. Иногда Дымша мягче — и этот фильтр шире, и мы уже смеемся, а иногда строже — и нам уже не до смеха. Из глубин народной почвы поднимается юмор Дымши, он — польская вариация мирового гуманистического образа: тут и Рыцарь Печального Образа, и Акакий Акакиевич, и Чарли Чаплин.

Из Буффо мой путь лежит по плану в Жолибуж, через весь город в Театр комедии, и мне приходит в голову забегать по дороге еще в два три места, где можно застать легкую музу. Сперва захожу в «Стодолу», где развлекаются студенты и где, как меня уверяли, бывают занятные программы, но как раз сегодня я не скажу, чтоб мне очень повезло.

«Стодола» по-польски значит сарай, овин, сеновал и т. д. Я осмотрелся — в самом деле сарай, а чтоб не было сомнения, над крышей «Стодолы» висится труба, на которой крупно выписано: «Стодола». «Разве, — обратился я к Анджею Врублевскому и Анне Шиманьской, приведшим меня сюда, — не нашлось помещения получше?» — «А-а! — воскликнул Анджей (Анна только махнула рукой). — Сами не хотят, давайте, говорят, похуже: чем хуже, тем лучше!» Мое недоумение стало рассеиваться, когда я пригляделся к здешним обитателям: сразу видать — из овина, с сеновала, из самого его нутра. Одеты по тому же принципу — чем хуже, тем лучше — и, надо думать, соревнуются, кто кого переплюнет («переплюнет» — очень подходящее здесь слово) небрежностью. Щеголяют небрежностью! Пиджаки и свитера — это еще кое-как, а вот штаны, видать, прошли (и не то что фигурально, а буквально) и огонь, и воду, и медные трубы, особенно последние, отчего штаны похожи на штопоры. Поэтому, видимо, в фойе вместо слова «шатня», означавшего гардероб (от слова «шаты» — одежды), на вывеске написано «шматня» (от слова «шматы» — тряпки).

Я, кажется, единственный в зале (кроме Анджея, но он человек смелый, а меня не предупредили) был при галстукe, при этом поймал себя на том, что закрыл галстук ладонью — устыдился: отличаюсь. мол, от большинства. Вот оно, воздействие коллектива!

Сидело в зале человек пятьсот — слушали студенческие джазы, одновременно разговаривали, шутили, хохотали, каждый рассевшись в кресле, как ему вольготнее. Гул и табачный дым стояли коромыслом (однако это не мешало им слушать, и даже внимательно). Из зала бросали на сцену ободряющие или осуждающие реплики и запинали их газировкой прямо из маленьких бутылочек. Но при этом особо отмечу: никаких видов алкоголя и в буфете не покупали, и при себе не имели, да и сами приходили ни в одном, как говорится, глазу — я специально следил.

Соревновались два джаза, каждый со своими музыкантами, солистами, звездами, сюрпризами и сенсациями. Состязались, кто из них лучше, а вернес — хуже. (В Варшаве есть отличные студенческие джазы, а эти два, по-моему, один другого хуже — тот же принцип?) Мелодия все же прорывалась, несмотря на бдительность музыкантов, — инструменты вскрикивали, взвизгивали, шипели, крякали. Звуковые коленца одно позабристерее другого — чем хуже, тем лучше! Вышел певец, его встретили криками: «Здравствуй, Адам!» Адам был в аккуратном пиджачке и в галстукe (мне сразу полегчало), но по мере того, как он пел, он сбрасывал с себя сначала пиджачок, затем галстук, тут слушатели стали скандировать: «Адам, сними рубаху!», «Адам, скинь штаны!» Адам бросил в зал шутку, в ответ полетели шутки в Адама, Адам не остался в долгу, публика только этого и ждала — смех стоял, не умолкая, и бедная легкая музыка растерянно кидалась по залу, дергаемая со всех сторон. При этом, отмечаю, ни одного грубого слова, ни намекa на это, так же как на алкоголь.

Адама сменил другой джаз и другой певец, ну куда Адаму до него. Молодой богатырь, кровь с молоком — мурашки пробежали у меня по коже, когда он рявкнул, — сказать «он запел» будет как-то неточно, ибо если это пение, то что такое голос? А там пошло, пошло! Истошный голос (все же надо признать, чем-то приятный голос) — чем дальше, тем бешенее, так что у меня все же мелькнула мысль: не может быть, чтоб парень не «клюнул». Я взглянул на Анну Шиманскую — она показала на кончик своего мизинца: ни вот столечко! Я сам вскоре понял, в чем дело: алкоголь не нужен был им, пожалуй, даже помешал бы!

Джаз, который вначале еле попевал за певцом, сам вошел в раж и с криком и гиком догонял и уже обогнал его, а тот в свою очередь сделал рывок вперед, джаз вслед ему, а за ними, можно сказать, ринулась и публика. Такое поднялось, что я огляделся: где тут на всякий случай бомбоубежище? Все они, и на сцене и в зале, выходили из себя почти что буквально, у тех и у других была в этом настоящая потребность — выйти из себя как можно дальше, как можно дольше, без остатка, одним словом — чтоб залпом и стакан об пол! Собрание вдруг напомнило огромный, насыщенный электричеством аккумулятор, и вот происходила гигантская разрядка — гром стоял!

Но это еще не была кульминация. Кульминацией был твист. Я, естественно, сразу же отмежевался от него, а уж затем стал с интересом присматриваться. На эстраду поднялись девушка и юноша. За все время, что они танцевали, они ни разу не прикоснулись друг к другу — общение между ними возникло на расстоянии. В чем тут была суть? Попробуем разобраться. Я, конечно, не специалист по твисту, и пусть товарищи из теоретико-эстетико-познавательных кругов, которые до всего дошли, в случае чего меня поправят.

Итак, каждый из танцоров приоткрывал другому нечто свое, лич-

ное, особенное, чего словами, может, и не умел бы высказать, а движениями скорее. Установленных фигур танца не было, была своего рода импровизация — как бы вопросы и ответы, диалог, спор, примирение, и снова размолвка, и вдруг дружба. Один раскрывался перед другим: «Я вот такой, а ты?», другой отвечал и с лихвой, и в свою очередь подзадоривая первого: «А ну, смелее!» Это, конечно, в идеале. И тут важна, по моему, не форма, а содержание. Но если мы будем панически махать руками: «Твист, твист!» — то не окажемся ли мы формалистами? И вообще без паники как-то даже спокойнее, вы заметили? Спокойнее разобратся, как и что. Например, из газеты «Политыка» я узнал, что известный собиратель польского фольклора, руководитель ансамбля песни и танца в деревне Добронь Лодзинского воеводства доктор Веслав Кабза спокойно заявил: «Твист вовсе не исключает оберека» — и наоборот. А газета «Жице Варшавы» поместила возмущенный запрос ученицы пятого класса, почему в Молодежном доме культуры обучают танцам только старшеклассников — «несправедливо!», с чем редакция спокойно солидаризировалась в заметке «Твист для самых молодых». Но раз бороться, так бороться! Польская кинохроника, показывая национальные танцы в подкраковской деревне, информирует, что все деревни района были без ума от твиста, как вечер — твист, а сейчас, посмотрите, повернули к краковяку. Поучительно — в самом деле, чем не средство борьбы! А как быть, если навстречу вам выпорхнут семь веселых ангелов, зовут их «Филипинки» — ансамбль учениц познанского торгового училища, — и споют свой коронный твист, который вслед за ними насвистывает весь мир? Что остается? Самому насвистывать. Свищу и задумываюсь, почему бы, делая обиженное лицо («А мелодия! А где же мелодия!»), не разрешить себе антракт и задуматься. Всегда успеем сделать обиженное лицо, никуда оно не денется от нас, наше обиженное лицо!

С одним таким задумавшимся (он был слушатель старого закала, да и я немолодого) мы соображали.

Ритм, этот божок современных юнцов, захватил в легкой музыке власть, но не всегда ведь злоупотребляет ею (судя, например, по «Филипинкам»), но пользуется, пользуется, своевольничает напропалую порой, не скрывая, что он мальчишка, что он девчонка, да еще хвастается этим (Карин Станек поет и танцует на одну тему: «Ну что, взрослые, завидно?!»), от него только и жди неожиданностей, для него самого неожиданных. Однако задумаемся (прислушаемся!): подчиняя себе и опять же хвастая этим, ритм втайне любителю мелодией, придирчиво следит, чтоб она не впала в томность (что считается у нее хорошим тоном), и если при этом он подстрижет ее русалочьи волосы, подрежет юбку, чтоб коленки были видны, да поддаст сзади, чтоб шевельнулась, — жизни ее на данном этапе не угрожает опасность? «Нет», — согласились мы оба. Ну, а если ритм зарвется, можно его и придержать...

Первая пара, танцевавшая в «Стодоле», мне, правда, не понравилась. Бывает так и с нами самими, когда мы хотим «показать» себя, а не быть такими, какие мы есть, — так вот, первая пара «показывала» себя, страшно гримасничала, «наигрывала» — сказал бы актер.

Вторая пара — это было уже другое дело. «Совесть», что ли, заговорила в них — преимущественно в Ней, эстетическая совесть, — но в танце появилась грация (особенно запомнилось мне одно, вначале какое-то протяженно ленивое и сразу же затем перешедшее в страстный порыв, необыкновенно пластическое движение), тогда и Он не выдержал и капитулировал, и сама публика ответила своей реакцией. Чувство красоты выхватили из сторонних рук дирижерскую палочку, и ей все охотно подчинились. «А не слишком ли они все-таки выкамаривают? — спросил я себя на всякий случай и тут же возразил себе: — Они и должны

выкамаривать в этом танце!» Я сказал «выкамаривание», и если кому это выражение не понравится, скажу более подходящее и привычное, пожалуй, даже академичное — «бешеная младость», например.

Не успела закончить эта пара, как с места сорвалось с десяток, не меньше — и поднялся вихрь (вот он, «вихрь танца»), безудержный, неистовый и как тут не сказать — дикий. Спросят: отчего так рьяно расщепляются эти юные атомы? Отвечаю: от желания «перебеситься»! От желания выпустить излишек пара, надо же его куда-то девать, израсходовать хоть таким способом, не наилучшим, но ведь и не наихудшим? Вечер в «Стодоле», начавшийся примерно в девять часов вечера, закончился в одиннадцать, после чего все и со сцены, и из зала спокойно направилась домой, мирно разговаривая по дороге, — завтра с утра на лекции.

Догадываюсь, что это времяпровождение не вызовет у читателя восторга, но пусть при вынесении приговора он учтет, что обошлось как никак без вина, без единой капли. Я не хочу сказать этим, что граждане здесь вообще обходятся без алкоголя, нет, этого я не скажу. И когда уже в Москве меня спросили, сделав выразительный жест, как они там насчет «этого», я ответил: «О!», я ответил протяжно: «О-о-о-о-о-о-о...», я сказал: «Знакомые, товарищи, картинки, беда!» «Беда!» — сказал я и своему приятелю, польскому публицисту, понаторевшему в вопросах кибернетики и морали, когда он, наливая мне рюмку, заметил: «Проверимка наш общий национальный напиток!» Мы обменялись наблюдениями и соображениями и согласились с тем, что с бедой надо бороться. «Бороться!» — с привычным энтузиазмом подтвердил мой приятель и, предупредительно подняв палец, озабоченно заметил: — Только без штурмовщины, без штурмовщины!» А вот на студенческом вечере, о котором я рассказал, все так и было, как я описал, все так и было, я ничего не добавил, ни капли.

Из «Стодолы» мы направимся в кафе «Усмех», что значит «Улыбка», на Маршалковской — совсем другой стиль!

Большое красивое помещение, маленькие столики, и на них вино, по бокалу на брата, лишь для того, чтоб окрасить настроение, оно ведь в вас, настроение-то, и, чтоб выманить его, достаточно глотка вина.

Среди сплошного шума (шума тоже хоть отбавляй, но не варварского, а больше с улыбкой) танцевали сотни пар. Девушки одеты были по моде, но без преувеличений. У юношей белоснежные сорочки и сплошные галстуки. Кто они? «Рабочая молодежь», — отвечает Анджей, Анна же поясняет, что и само кафе принадлежит Союзу рабочей молодежи. Кончился танцевальный антракт, и продолжался концерт: каждый поднимался на эстраду, с чем умел, с чем хотел: музыка, песенка, танец, сценки, стихи (свои или чужие), соло, дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет или наконец сексцетет, то есть шестьсот человек, если иметь в виду, что участвует весь зал, а затем снова музыкальный антракт, который, бывает, затягивается. Встречаются здесь и семнадцатилетние, и двадцати-, двадцатипяти-, тридцатилетние, но бывают и дважды и даже трижды тридцатилетние — это гости: поэты, ученые, художники, инженеры, публицисты, архитекторы, идут беседы, споры. Если в противовес хаосу «Стодолы» здесь выделяется дисциплина, то этим словом я не намекаю, тем более осудительно, на что-либо ограничивающее, потому что это дисциплина добровольная, непринужденная и, я бы добавил, бессознательная. — видимо, не столько врожденная, сколько воспитанная: общение с рабочим коллективом на заводе и фабрике дает себя знать.

Дисциплина не стесняет. И когда вдруг вы почувствуете, что вас что-то жмет, то зачем же мучиться — вот, пожалуйста, молодой человек,

видно, шею ему режет крахмальный воротник, он и расстегивает его, а галстук сует в карман, и ничего, тоже вполне достойно. Вот также приблизительно и с дисциплиной, если она чем-либо сковывает. Свободное самочувствие при внутренней сдержанности создает атмосферу «Усмеха» и дает ему преимущество перед «Стодолой», но и «Стодола» нельзя сказать, чтоб вовсе от себя отталкивала, я по крайней мере говорю о себе.

После «Усмеха» еще не поздно «Под звезды», и всегда вам там рады: знакомый — рады тому, что знакомый, незнакомый — рады познакомиться.

Собирается здесь преимущественно литературный и театральный народ, все друг с другом знакомы, все свои, и это создает здешнюю атмосферу. Приходить сюда приятнее, чем даже в гости в знакомый дом. Здесь вы одновременно и гость и хозяин, хотите приходите, хотите уходите, и никто никому не обязан. Европейская манера встречаться в кафе, а не обязательно дома, содержит в себе, по-моему, некое «зерно», так почему бы и нам его, зерно-то, и не клянуть?

Зовут к столику — гляжу, уместиться за ним может от силы человека три, и если я скажу, что сидят тринадцать, мне не поверят, я и сам себе не поверил, даже когда убедился в этом. А тут еще приглашают сесть, и я, зажмурившись, опускаюсь не знаю куда — и (мне не поверят, я сам себе не поверил), вообразите, на стул. Не мистика ли? Еще кое-что из области мистики: все разговаривают одновременно — я старался хладнокровно проанализировать это явление. Говорит, скажем, один (не бог весть что говорит — говорить что-либо серьезное было бы легкомысленным отношением к столь серьезному делу, как отдых). Итак, говорит один, а двенадцать его слушают, а так как все двенадцать тоже жаждут высказаться, то каждый из них подает тринадцатому реплики, которые то и дело перерастают в речи, так что, пока окончит тринадцатый, остальные двенадцать по двенадцати раз успеют высказаться. Не говорю уже о том, что каждый столик беспрерывно переговаривается с ближайшими и дальними столиками, десятки реплик порхают в разные стороны, как мячики, их ловят не всегда те, кому их кинули. Вы обращаетесь к одному, слушает другой, отвечает третьему, который кивает головой четвертому, а тот довольно улыбается пятому, реагирует же шестой — невозможно понять, к кому какая относится реплика, да и не надо, это не мешает, напротив, помогает всеобщему общению. Среди столиков меж тем снует легкая муза — обращают на себя внимание ее золотые волосы и серебряный голосок под аккомпанемент рояля, а за роялем сидит пианист, он же исполняет песенки, он же их сочиняет — сочиняет тут же, — весь зал подхватывает куплеты, никто ни на минуту не закрывает рта, все высказываются одновременно... «С ума сойти», — скажут. «И правильно, — отвечу я, — почему бы и не сойти, не дать уму отдохнуть?»

Наконец я попал — правда, уже на другой день — на Жолибуж, в Театр комедии. Говорю «наконец» потому, что человек десять, не меньше, посылали меня на «Сумасшедшую улицу», особенно один из них, зыблый театрал. «Так вы не были на «Сумасшедшей улице»?!» Как же так вы не были на «Сумасшедшей улице»?!» Ведь это американская оперетта, бешеный успех на Бродвее, представляете себе, а наш Жолибужский, районный театр ведь, представляете себе, поставил ее не хуже, а то и лучше, представляете себе? Приезжий американец не знал, какому спектаклю отдать предпочтение — своему или нашему, представляете себе?» — «Представляю», — сказал я. «Так что же вы стоите? Сейчас же идите на «Сумасшедшую улицу!»» И я пошел, представляете себе?

Действительно. Блестящая музыка Бернштейна, блестящие мизансцены, блестящие декорации, каких только блесков не накидали сюда

режиссеры, актеры, декораторы, осветители под защитой названия комедии. «Сумасшедшая улица» — так пусть сумасшедшая! Не правда ли?» — сказал мой сосед по спектаклю Роман Борковский. «Правда...» — ответил я, но мне было неловко перед ним, потому что мне было скучновато, а если по правде, так и вовсе скучно. А когда я признался в этом пану Роману, он удивился и вдруг сказал: «Пожалуй, да!» И мы вместе стали доискиваться, почему же скучно в театре, если все так весело, и наконец, кажется, доискались. В жюлибужский спектакль попало из бродвейского то, что называется «дирекция не жалеет затрат» — и на декорации, чтоб ошеломить, и на постановку, чтоб ошеломить, и на то, во что разодеты звезды, и на то, как они раздеты (неизвестно, что дорожке!), тоже чтоб ошеломить, пусть-де зритель подсчитает в уме, во сколько все это обошлось, от этого одного он сойдет с ума на «Сумасшедшей улице». Так вот, этот меркантильный дух, этот мешанский шик убивал, по крайней мере в моих глазах. эстетику этого зрелища.

В нем понравилось мне не столько американское, сколько как раз польское.

Одну из обитательниц сумасшедшей улицы изображала молоденькая актриса Барбара Рыльская. Она играла согласно сумасшедшим мизансценам «Сумасшедшей улицы», была не менее, а подчас и более сумасшедшая, чем другие, но это была та сумасшедшая, которая себе на уме. Во все, что она делала — а чего только она не делала, — она вкладывала свой легкий, быстрый, насмешливый ум. Игра ума была и в словах, и в танцах, и в песенках, и в движениях ее маленькой ловкой фигурки, и особенно в глазах с их задевающей занозистой искрой. Так она смотрела даже на героиню, которую изображала, и, разумеется, на все это зрелище, не говоря уже о своих поклонниках на сцене и в зрительном зале. И сохраняла при этом достоинство и скромность, представьте себе, и, позволю себе сказать даже, хоть это прозвучит несколько выспренне, — целомудрие. И еще нечто важное и, пожалуй, решающее, что вносило сугубо современный акцент в это исполнение, — интеллигентность тона, мотив разительный в оперетте вообще. Этим тоном актриса не только защищалась от бродвейского босса, но активно нападала на него, и с каким успехом, — и даже тот, кто был в восторге от этого зрелища, вдруг чувствовал укол ее острого, веселого и иронического жала, я сам, быть может, благодаря ей заметил мешанскую позу «Сумасшедшей улицы». Поэтому я заключаю, что в этом матче Бродвей — Жюлибуж ньюйоркцев уложила на обе лопатки маленькая варшавянка.

3. Край света

Да, край света, прошептал я, когда приехал сюда и огляделся вокруг, тот самый «край света», за которым ничего уже нет и быть не может и о существовании которого испокон веков в ужасе подозревали люди. Предвидения их оправдались. Он объявился. Имя ему — Освенцим. «После Освенцима, — записал в своем дневнике эсэсовский офицер, — дантовский ад показался мне комедией». Что ж! Лишнее подтверждение тому, что жизнь превосходит искусство и всегда оставляет его позади себя: чего стоят все гении трагического жанра от Эсхила до Кафки перед ротой ржущих солдафонов — погодите, они еще покажут нам небо в алмазах!

Как и все, я много читал про Освенцим и дополнительно, зная, что буду здесь, знакомился с освенцимскими материалами, но даже сейчас, когда мы на машинах направились в Освенцим из Кракова, я не пред-

ставляя себе, что такое Освенцим, и вы, читатель, не в состоянии будете себе этого представить, пока не побываете здесь сами.

Общеизвестные явления, все равно в истории или в искусстве, может быть, из-за их общеизвестности приобретают характер своего рода штампа, и, когда вы проходите по картинной галерее или по памятным местам, вам требуется усилие, чтоб рассеять этот мешающий вам ореол общеизвестности и увидеть эту картину или событие в их первоизданности.

Здесь, однако, нам потребуется еще одного рода усилие, здесь надо запастись храбростью. Бывает, мы морщимся, когда слышим про какой-нибудь фильм или пьесу, что это «тяжелый фильм» или «тяжелая пьеса» и так далее, и неохотно идем смотреть их. Да и сейчас среди нас были товарищи, которые, только взглянув на пейзаж Освенцима, готовы были повернуть обратно. Нет, товарищи, придется все-таки остаться, и побыть здесь, и не опускать глаз.

«Мы стоим за шевелящимися от нашего дыхания занавесками,— вспоминает в своей книге «Голубой ботинок» Ванда Скульская,— по ту сторону улицы немцы устанавливают в ряд серые чelовеческие фигуры с руками, связанными за спиной... Блеск выстрелов подрезает линию стоящих у стены. Фигуры напрягаются, падают. Скрюченные, вздрагивают на серых плитах асфальта, замирают... Мать закрывает мне лицо холодной влажной рукой. «Оставь, она должна видеть»...— голос тетки заставляет мать отнять руку от моих глаз».

Нам, читатель, понадобится несколько меньше мужества, чем его нужно было этой девочке и этой матери,— мы должны видеть, должны видеть,— и задача этого очерка содействовать тому, чтоб слово «Освенцим» не стало только знаком злодейства и мученичества, каким, увы, оно становится — мы должны видеть, должны видеть,— чтоб при этом слове каждый раз остро вспыхивала в нас тревога, связанная не только с прошлым, но и с будущим. Люди, будьте бдительны!

Еще до приезда сюда, в Варшаве, на встрече с варшавскими писателями, я познакомился с их председателем Станиславом Выгодским; помню, как он протянул мне руку как-то очень устало, с усталой улыбкой, и юмор, с каким он сказал несколько слов,— и этот юмор был усталым. Слушая затем ораторов, он словно уходил куда-то в себя и снова возвращался, словно бы протирая глаза. Глядя на него — казалось, чем-то согнутого, а ведь еще крепкого мужчину,— я спросил о нем соседа за столом, и тот вполголоса кратко рассказал мне его историю. В 1943 году Выгодского вместе с женой и дочкой отправили из Варшавы очередным транспортом в Освенцим. Друзья сунули ему перед отъездом продукт первой тогда необходимости — банку с ядом. Выгодский разделил его со своей семьей — правда, не на равные части, львиную долю отсыпал себе,— но, к счастью или несчастью (даже не знаю, как в этом случае сказать), яд не помог ему: жена и дочка умерли, он же впал в беспамятство, пришел в себя и выжил. И хотя проявил стойкость, прошлое хватает его своей мертвой рукой, а он то и дело стряхивает ее, как я только что имел возможность наблюдать. Освенцим наложил печать на его лицо, походку, на его книги.

Как-то (это было уже после посещения нами Освенцима) я сидел у него дома на улице Варыньского, и потому ли, что вечер был прекрасный и майский воздух вливался в распахнутые окна, потому ли, что по радио передавали браваурную песенку, потому ли наконец, что сам хозяин был очень оживлен, но я позабыл его историю, и только когда он придвинул ко мне чашку кофе, я вздрогнул: на его протянутой руке я увидел вытатуированный номер узника Освенцима. И сразу куда-то провалились и этот май, и эта песенка, и я вдруг перенесся в пустынный в

этот ночной час Освенцим, и уже при дальнейшей беседе с Выгодским я, как в двойной экспозиции в кино, одновременно видел и этот накрытый стол с вином — и Освенцим, эту красивую светлую комнату с картинами на стенах — и Освенцим, смеющегося хозяина — и Освенцим.

Когда мы, группа писателей, куда приехали, я заметил (что не сразу бросилось мне в глаза и только после озадачило), что мы как-то инстинктивно старались держаться друг друга и не расходились кто куда, как это бывало с нами при посещении других музеев, — тогда экскурсовод искал и собирал нас, здесь мы сами не терялись, да это и невозможно было — пространство кругом было так приспособлено, что просматривалось, простреливалось со всех сторон.

Пустующие улицы и площади. Пустующие здания. Мертвая тишина. (Тут я действительно понял, что такое мертвая тишина.) Под ее покровом роятся сотни тысяч освенцимских призраков — они ведь никуда не ушли, они здесь и остались, они окружали нас и разъединяли, как мы ни жались друг к другу, и вот каждый из нас был уже больше с ними, чем друг с другом. И тогда все, что я читал об Освенциме, становилось реальностью, и я не сопротивлялся ей, добровольно шел к ней навстречу, и тогда лопалась мертвая тишина от криков, выстрелов, собачьего лая и явственно донесся запах Освенцима — смешанный запах трупов, уборных и дыма из крематория.

Словом, скажу так: если у каждого из нас есть памятная дата, отделяющая прежнюю нашу жизнь от последующей — любовь, рождение, смерть близкого человека, — такой же датой может, должен стать для нас Освенцим, жизнь наша до и после посещения Освенцима.

А сейчас, читатель, пойдем по Освенциму и посмотрим, как жили («жили»?) здесь люди.

В витрине освенцимского блока выставлены очки — ряды очков, блики света падают на стекла и движутся, и кажется, на меня смотрит с того света многоликая молчаливая толпа, смотрит и спрашивает: «Видишь?» «Тут погибали артисты, — пишет в своем освенцимском дневнике Северина Шмаглевска, — люди таланта, гении, люди прошлого и люди будущего», вот они и смотрят своим беспокойным взглядом: «Видишь?» Очков много, но они лишь часть из многих тысяч, которые вместе с остальным имуществом умерщвленных были отосланы в рейх и переданы — кому? Не пользуются ли ими и сейчас уже не жертвы, а палачи, не высматривают ли? Люди. будьте бдительны!

Мы входим в блок — он называется сейчас «зал народов»: друг близ друга развеваются флаги мира, все флаги, всех наций, и немецкий в том числе. Для того, чтоб вас отправили в Освенцим, достаточно было принадлежать к какой-нибудь нации, все равно какой. Сюда попадал поляк только потому, что он поляк, русский только потому, что он русский, чех, цыган, югослав потому лишь, что он чех, цыган, югослав, сюда попадали англичанин, француз, американец, норвежец, грек по этому же принципу. Исключение составляли немцы, но тот немец, кто не признавал этого принципа, тоже попадал сюда. Еврея я не назвал, читатель и так вспомнил его, еврей составляли вершину и основание этой пирамиды трупов, этого принципа. Если по отношению к другим допускалась иллюзорная поблажка, то по отношению к еврею действовали неукоснительно, еврей служил для утверждения этого принципа, для его оттачивания, для контроля над принципом. Для нацистов дело было не в евреях, а в поляке, русском, чехе, французе и всех остальных. Ибо если кто-либо способен поверить тому, что плохой может быть вся нация и еврей плох только потому, что он еврей, то надо быть последовательным и признать тем самым, что поляк плох потому, что он поляк, русский потому, что он русский, а француз — что он француз. А ведь как «соблазнительно»

для расиста допустить, что еврей плох тем, что он еврей (за неимением еврея, если его, к несчастью, не оказывается, всегда можно найти кого-либо — негра для американцев, армянина для турок и т. д.), и, считая, что он «ниже» (если опасно настроиться на этот лад), себя посчитать «выше». Полноценность приобретает тут не за счет того, что действительно находится в каждом человеке и что он может извлечь из себя, она приобретает не за свой, а за чужой счет и тем самым (коварный поворот этой логики!) выдает собственную неполноценность. И тогда палка, которую ты поднимаешь против другого, падает на твою голову. Польские националисты, преследовавшие еврейское меньшинство в буржуазной Польше для того, чтоб за его счет поднять в собственных глазах свой национальный престиж, сами стали строительным материалом для возвеличения немецкого нацистского духа согласно их же принципу — стало быть, они этому сами и способствовали. Они получили досуг поразмыслить над этим вопросом уже в самом Освенциме.

Я прохожу мимо выстроившихся в траурно-торжественном порядке флагов и, задерживаясь почти перед каждым из них, думаю: беда, если, несмотря на уроки Освенцима, какой-либо из них освятит упомянутый принцип, все равно какой флаг — немецкий или даже флаг государства Израиль (араб плох тем, что он араб).

Вещи, расположенные в витринах, будь они специально подобраны, не производили бы такого впечатления, какое они производят сейчас, когда их отобрала сама жизнь. А вещи как раз такие, какие с ужасающим эффектом раскрывают то, что наиболее свойственно тем, кому они некогда принадлежали, что характерно для них — для мужчины, для женщины, для детей.

Для мужчины это, например, кисточка для бритвы — висится гора кисточек. Будь здесь даже гора черепов — известный символ ужасов войны, — они не поразили бы вас так, как эта гора кисточек; какому живописцу пришло бы в голову дать подобное изображение: ведь оно ближе к жизни, чем к смерти, к жизни, самой что ни на есть обычной, обыденной и мирной, самой мирной — что может быть более мирным, чем кисточка для бритвы! Мужчину как-то не принято «жалеть», тем более если рядом одинаковой участи с ним подверглись женщины и дети. Но эта кисточка для бритвы вызывает в вашем сердце неожиданный взрыв жалости к тем молодым, здоровым и сильным мужчинам, тысячам и тысячам. Я выбираю одну из них — вот эту, с золотистой костяной ручкой, чуть-чуть уже стертой, — кому она принадлежала? — я невольно воображаю ее владельца, как он орудует ею перед маленьким зеркальцем. Ничего от этого не осталось, буквально ничего, кроме вот этой кисточки для бритвы. Кисточка для бритвы!

К слову сказать. В тех же блоках выставлены художественные картины и скульптуры на освенцимские темы, созданные артистами, пережившими Освенцим. Мы свидетельствуем свое уважение к художникам и к их мастерству, но решимся сказать, что оно не только не усиливает впечатления Освенцима, но здесь, в Освенциме, ослабляет. Перенесите эти произведения куда-нибудь в художественную галерею, там они звучат во всю свою силу. Но здесь, здесь — вступая в соревнование с фактами, они теряют и на том, что они искусство (выгляда здесь как «выдумка», как имитация), и снижают сами эти факты, унижают их, звучат обидно для фактов, для которых нестерпимы — здесь, здесь — эти художественные комментарии, словно бы недооценивающие факты, не доверяющие им. Не надо здесь ничего дополнительного, кроме самих фактов — вещей и предметов, и одна эта кисточка для бритвы больше меня потрясла, чем все эти картины, скульптуры или цитаты из дневников узников-писателей, одна эта кисточка для бритвы.

Стеклянная витрина от пола до потолка во всю стену блока, и за нею (поначалу я даже не сообразил, что там, хотя что тут, собственно, соображать) — волосы! Женские волосы, гигантская масса женских волос, срезанных с тысяч и тысяч женских голов, живых и мертвых, волос, часто снятых вместе с головами. Мы проходим вдоль этого моря волос, слегка даже вздымающихся, вдоль этой гигантской картины. Мы всматриваемся, всматриваемся. И наше воображение, даже когда мы сопротивляемся ему, опережает нас, дорисовывая тысячи женских лиц к этим каштановым локонам, к этим льющимся, как вода, русалочьим волосам, к этим отливающим то серебром, то чернью, то огненно-красной медью, к этим русым тяжеловесным косам, к этим пышным, с начесом прическам — кажется, сейчас поднимутся тысячи молодых рук, чтоб поправить их. По эту сторону витрины (где мы проходим) я замечаю мелькающую впереди из-за спины экскурсантов фигуру блондинки, точнее ее голову, хорошенькую золотистую круглую головку, и, вглядываясь, подмечаю даже маленький пробор на затылке и туго стянутые, падающие с обеих сторон косички — они шевелятся, не хватает только ленточек. Как это бывает, когда, завидя на улице впереди себя чем-либо заинтересовавшего вас человека, женщину или мужчину, вы ускоряете шаг, чтоб взглянуть в его лицо, так и я обошел своих спутников, чтоб посмотреть на незнакомку. Я ошибся, она не двигалась и фигуры не было, даже лица — вместо лица я увидел почерневшую деревянную болванку, на которую был натянут волосяной покров, который эсэсовец содрал с головы своей жертвы. Эта голова на шесте стоит отдельно от витрины, и если там волосы как будто уже вянут, то эти еще в полном цвету. Вы стоите, окаменеете, и вам мерещится обрамленное косами круглое личико, голубые глаза и розовая улыбка девочки. Я понял тех посетителей, которые, увидев издали головку и догадавшись, в чем дело, торопились уйти.

Кто они, кому принадлежали эти волосы?

Обычно, когда прибывал очередной транспорт с людским сырьем для освенцимских мельниц, прибывших гнали по дороге до развилки, там эсэсовцы указывали стеками, кому направо, кому налево, — это называлось «селекция», отбор! Налево шли единицы — направо сотни, налево десятки — направо тысячи, налево приспособленные к тяжелому труду — направо все остальные, в том числе женщины с детьми, налево «на работу» — направо «на газ» или, как отмечает Северина Шмаглевска в своей книге, — смерть, смерть, смерть, жизнь, смерть, смерть, смерть, жизнь, смерть!

Однажды, когда вновь прибывший узник спросил, от чего здесь умирают, ему ответили: «От смерти», а другому, спросившему, как отсюда выбираются, ответили: «Через трубу крематория».

Освенцимские филиалы были разбросаны в окружности приблизительно двадцати с чем-то километров (поближе к местам работы). Я видел карту этого района. Обычная географическая карта, подобная тем, на которые наносят изображения нефтяных вышек, плодовых деревьев, домен и так далее для обозначения промышленных или сельскохозяйственных объектов, — такой же была эта карта, с тем различием, что опознавательными знаками, правда однообразными, служил череп с костями — я насчитал восемь черепов. Я подумал тут, почему бы не включить и эту карту в географические атласы, по которым дети учатся в школах, для ориентировки?

Предчувствуя недоброе, узники не хотели разлучаться с близкими.

«Как-то привезли молодую женщину, которая не хотела отойти от матери, — рассказывает Тадеуш Боровский, — обеих раздели. Мать пошла вперед. Человек, который вел дочь, вдруг остановился, пораженный необыкновенной красотой ее тела, и озадаченно почесал затылок. Этот

человеческий, простецкий жест разоружил молодую женщину. Покраснев, она схватила его за руку.

— Скажи, что они со мной сделают?

— Мужайся,— ответил человек, не отнимая руки.

— А я мужаюсь! Видишь, я не стыжусь тебя! Скажи!

— Мужайся! Я поведу тебя. Только не гляди.

Он повел ее, заслонив своей рукой ей глаза. До нее донесся бьющий снизу треск и вонь кипящего жира. Она рванулась. Человек слегка наклонил ее голову, открывая затылок. В тот же момент стоящий позади обершарфюрер выстрелил, почти не целясь. Человек толкнул женщину в горящий ров и услышал ее страшный, оборвавшийся крик».

Крик этой женщины, возможно, слышал не только эсэсовский солдат (его за вспышку сочувствия Боровский назвал человеком), но и другой эсэсовец наивысшего здесь ранга — пора его представить, в дальнейшем о нем пойдет речь — Рудольф Гесс, создатель и комендант Освенцима.

Он признался, что присутствовал при всех кровавых акциях Освенцима. «Днем и ночью,— говорит он в своем дневнике (он вел его в тюрьме в ожидании суда),— я находился при сжигании трупов, сам наблюдал, как вырывают зубы, снимают волосы и прочие ужасы», объясняя это тем, что хотел показать своим подчиненным образец выдержки. Судя по обстановке (когда крематории не поспевали, сжигали просто во рвах), у женщины из рассказа Боровского не успели остричь волосы, что было убытком для Гесса. Ведь волосы, которые мы видели в витринах, только остаток — они шли в дело, на изготовление разных видов продукции, образцы которой тоже выставлены в освенцимских витринах.

Вырываемые зубы, о которых упоминает Гесс, были золотые зубы, их переплавляли в тяжелые слитки. Золото, естественно, особенно ценилось. Однажды привезли в Освенцим триста молодых евреек, до этого они работали в Майданеке и сортировали вещи казненных. «Все они были здоровые и красивые»,— пишет Кристина Живульска, и когда «одна из них, стройная блондинка редкостной красоты с глубокими черными глазами, спросила об их судьбе, им уверенно ответили, что таких сильных пошлют, конечно, «на работу», но они пошли «на газ», и в ту же ночь. Эсэсовский начальник пояснил, что девушки «съели золото» (чтоб таким способом присвоить себе его), а после «газа» золото само выходит из трупов, золото же нужно для ведения войны». Живульска добавляет, что эсэсовец рассказал об этом «деловито, холодно, словно объясняя содержание какого-нибудь документа». Запомним эти слова и их тон, это нам пригодится при выводах.

Неизвестно, нашли ли у девушек золото, известно, однако, что волосы с них сняли, возможно, мы их видели в освенцимской витрине, если их не успели вывезти. Найденные впоследствии в городе Фридланде тюки волосянки (так называемая «бортовка» для портовских надобностей), согласно акту краковского института судебной медицины, «сделаны из волос, снятых с человеческих голов, по всем данным женских». Делали из волосянки и подстилки. Из золотистых волос Офелий изготавливали матрасы для солдафонов.

Освенцим должен был работать на началах самокупаемости. Гесс был озабочен изысканием средств для ведения своего производства. Когда читаешь страницы дневника Гесса, где он рассказывает о строительстве Освенцима,— кажется, что пишет хозяйственник, который жалуется на трудности, рассчитывая, что по крайней мере хозяйственники должны его понять. Комендант с досадой отмечает, как приходилось ему прибегать к уловкам, чтоб заполучить грузовик и горючее для него.

Его извещают, например, что в Освенцим направлен большой транспорт заключенных, в то время как «я еще не знал, — пишет он, — откуда мне достать хотя бы сто метров колючей проволоки». «Я должен был украть... — признается Гесс и оправдывается: — Что мне было делать». Своего заместителя по хозяйственной части Гесс обзывает «законченным дураком», поскольку Гесс лично «вынужден был ехать в поисках нужных материалов, сам он не умел их достать», «...я должен был ездить в деревню даже за соломой». Правда, тут же он замечает, что трудности его не останавливали. Напротив, «трудности только возбуждали мою энергию. Я не хотел сдаваться, не позволяла моя амбиция». Трудности его не останавливали. Надев противогазовую маску, он сам wszел в камеру, чтоб проверить на советских заключенных действие нового газа. Гесс объясняет это мотивами человеколюбия — сокращать страдания жертвам. Но не скрывает, что также из деловых соображений. Поскольку даже массовыми расстрелами нельзя было ликвидировать гигантские контингенты смертников, эсэсовцы энергично искали более эффективных средств. Так был найден знаменитый «циклон Б» — препарат синильной кислоты. Он, во-первых, стоил дешево, во-вторых, действовал быстро, позволяя пропускать одну за другой ожидавшиеся своей очереди партии заключенных. Когда же не было особой спешки, нужную порцию яда уменьшали, жертвы мучились дольше положенного (я опускаю описание перекошенных судорогой тел и глаз, вылезавших из орбит), но экономия на «циклоне Б» составляла в целом внушительную цифру.

Я видел эти коробки с «циклоном Б» — они похожи на консервные банки в аккуратной и даже нарядной упаковке, их подвозили к камерам на машинах скорой медицинской помощи со знаком красного креста.

Кстати, от слова «газ» образовался глагол для освенцимских надобностей и по-немецки и по-польски: по-польски — «Zagazować», по-немецки — «Sie sind vergast». «Зи зинд фергаст», — сказал эсэсовец об убитых в камерах девушках. Как перевести этот глагол по-русски — «газифицировать»? Оставим это слово, чтоб оно оттенило нам его парадоксальную содержательность.

В деловитости освенцимского коменданта убедил нас один фактор, скорее, правда, психологического порядка — крематорий. Когда мы вошли туда, то, даже осмотревшись, не сразу догадались, где мы. Мешало, вероятно, представление о крематории, какое у нас сложилось до этого, как о жилище смерти, архитектура которого вне и внутри выражает собой почтение к этому месту скорби. Здесь все это начисто отсутствовало, больше того, было нечто прямо противоположное — словно нарочно сорваны были эти торжественные одеяния, чтоб смерть предстала в своем обнаженном, цинически-девяческом виде. Это был, что называется, «объект», группное предприятие. Печные отверстия, припоровленные к тому, чтоб быстро задвигать и опорожнять железные ящики с мертвецами. Во всем было старание поднять производительность данного труда: нам рассказывали, что за рационализаторские предложения выдавались поощрительные премии.

Деловитость палачей носила отпечаток, свойственный палачам. Подобно тому, как они не уважали жизнь, не уважали они и смерть (очевидцы рассказывали, что эсэсовцы с одинаковым остервенением пинали живых и мертвых). Они издевались, нагло измывались над смертью, на то, что можно назвать традициями смерти, правами смерти, они развеивали ореол, которым всегда была окружена смерть, ореол религиозный, гражданский, личный. Они превратили смерть в поденщину, подобную остальным освенцимским рабьям, и ее, как и прочих, загоняли каторжной работой до смерти.

Рудольф Гесс, в общем, справлялся с финансовыми затруднениями, о чем свидетельствует, например, его переписка с фармакологической фирмой Байер. Вот фрагменты этой корреспонденции, исходящей от фирмы. «Мы были бы благодарны Вам, если бы Вы, в связи с испытанием нами нового снотворного средства, передали нам известное количество женщин». «Подтверждаем ответ. Цена 200 марок за одну женщину кажется нам все же завышенной. Можем предложить не больше 170 марок за голову...» «Подтверждаем Ваше согласие. Просим подготовить 150 женщин, желательно очень здоровых...» «Получили 150 женщин. Они хотя и не в наилучшем состоянии, но отвечают нашим требованиям. Будем регулярно информировать Вас о ходе испытаний...» «Опыты проведены. Все женщины умерли. В ближайшее время свяжемся с Вами насчет новой доставки...»

Мы были в блоке № 10, специально отведенном для экспериментов над заключенными с целью повышения уровня медицинской науки. Возглавлял блок Карл Клауберг, профессор Кенигсбергского университета (кстати, не его ли описывает Тадеуш Боровский, когда рассказывает, что у блока № 10 «мимолетно видел того, кто ведет там работу: в зеленом охотничьем костюме, в тирольской шляпе с нашитыми спортивными значками, с лицом добродушного сатира. Говорят, — профессор университета?»).

Клауберг прославился тем, что бесплодным женщинам возвращал способность к деторождению, даже Гиммлер однажды вызвал его к себе, чтоб он оказал помощь жене одного из его офицеров. При встрече Гиммлер заодно спросил, не может ли господин профессор добиться противоположного эффекта, то есть женщин, способных к деторождению, делать бесплодными, он подчеркнул при этом государственную важность задания. Гиммлер имел в виду массовую стерилизацию, в первую очередь полек и чешек, связанную с генеральным планом биологического уничтожения обоих народов, чьи территории предназначались в будущем для заселения немцами. Судя по всему, Клауберг был польщен оказанным ему доверием, он посчитал это делом своей гражданской чести (арестованный в 1945 году, он умер в тюрьме, не дождавись суда). Доктор взялся за дело. Он отбирал в свой блок женщин в возрасте от двадцати до тридцати лет. Подопытными оказывались одновременно двести — триста девяносто пять женщин. Я опускаю описание мероприятий в блоке № 10, упомяну лишь, что под их влиянием совсем юные женщины, например, в результате нарушения гормональной сферы в скором времени превращались в старушек¹. Труды научного коллектива блока № 10 увенчались успехом. Я видел письмо Гиммлеру на личном бланке Клауберга со штампом «Профессор, доктор медицины К. Клауберг», с грифом «секретно», с датой «7 июня 1943 г.», в котором профессор информирует, что опыты идут к концу и что в ближайшее время он доложит рейхсфюреру СС нижеследующее: достаточно будет опытного врача с приданным ему медперсоналом, чтоб в течение одного дня обесплодит сотни женщин, а в дальнейшем при сверхурочной работе и тысячи.

Заодно еще об одном профессоре (из университета в Мюнстере), тоже освенцимском экспериментаторе, — мы уже упоминали о нем: это тот самый, который сравнивал дантовский ад с освенцимским в пользу

¹ Эти, как и другие, данные взяты мною из протоколов Нюрнбергского, Варшавского и других судебных процессов, процесса Эйхмана, из дневников Гесса, из книги Яна Зена «Концлагерь Освенцим — Бжезинка», выпущенных Главной комиссией расследования гитлеровских преступлений в Польше, из книги К. Смоленя «Освенцим 1940—1945», выпущенной Государственным музеем в Освенциме, и из других источников.

последнего,— Иоганне Кремере. Я просматривал личный дневник Кремера с краткими и торопливыми (по-видимому, из-за нехватки времени: доктор ассистировал при казнях) записями. Вот к примеру: «Присутствовал при одиннадцатой специальной акции голландцев (специальной — Sonderaktion — была акция по ликвидации газом.— Ю. Ю.). Отвратительные сцены с тремя женщинами, умолявшими о жизни». Доктор Кремер испытал отвращение оттого, что этим женщинам не хватило самообладания. Сам доктор, напротив, обнаружил хладнокровие, как видно из таких записей. «Страшнейшей из страшных» он называет акцию над группой голландских женщин в субботу 5 сентября 1942 года, а на другой день, 6 сентября, не теряя самообладания, заносит в свой дневник: «Сегодня, в воскресенье, превосходный обед: суп из помидоров, половина курицы с картофелем и красной капустой, сладкие овощи, отличное ванильное мороженое. Вечером в 8 часов снова был при специальной акции». В дневнике перемежаются две темы: как при докторе убивали и как доктор ел; вторая тема излагается при этом обстоятельнее первой. Как это у него совмещалось? Можно только добавить, что, кроме звания доктора медицины, Иоганн Пауль Кремер имел также звание доктора философии — обстоятельство, которое тоже просим запомнить, оно пригодится для дальнейшего.

Таково было отношение к женщинам.

А сейчас о детях... Я понимаю читателя, он может пропустить ближайшие страницы, если скажет, что ему нелегко будет читать. Пусть учтет все же, что и автору нелегко было писать. И поскольку здесь затронут читатель и писатель уже лично, а не только как читатель и писатель, то автор позволит себе здесь личный мотив. Собираясь писать этот очерк (дело было жарким летом), он уехал в Рузу, в дом отдыха ВТО на берегу Москвы-реки, забрав с собой все освенцимские материалы. Но когда автор принялся писать, он писать не смог. Мир, окружавший его здесь, делал все, что было в его возможностях, чтоб помешать автору, и с такой решительностью, с таким, можно тут сказать, раздражением, что, казалось, в этом был какой-то сознательный акт. И эта сияющая природа (прямо к окну забирается цветущий куст сирени), и шутки мужчин, и смех женщин, и беззаботный крик купальщиков и купальщиц над рекой — все это стремилось вырвать автора из того мрачного мира, того гигантского морга, среди воплей и стонов которого он обретался. Нельзя сказать, что это был мираж, ведь это была реальная действительность. Автор не в силах был сопротивляться, и наступил момент, когда он решил отложить этот очерк и заняться другими, которые ему и так предстояло писать — о польском юморе, о музыке Шопена, — и вот, готовый уже поддаться, льстиво поддерживаемый окружающей его жизнью, он вдруг почувствовал, что это будет трусостью и как бы даже предательством и что если он сейчас уступит, то впоследствии уже не сможет писать об Освенциме, зазвучит фальшивая нота. Тогда автор взял себя в руки, одолевая и в самом деле нешуточное препятствие, и принялся писать, и тогда чем дальше, тем больше контраст этого и того миров стал только способствовать его трудному писанию. Автор подумал лишь, как же это все-таки происходит, что мир поворачивается, как земля, то к солнцу, то к тьме, то оборотной, то, как сейчас, лицевой стороной. И значит, раз уж нам сегодня посчастливилось и мы обретаемся на лицевой стороне, то не забудем, что земля вертится! Так что, может быть, все-таки возьмем себя в руки, читатель, чтоб закалять наши нервы и нашу непримиримость,— полагаю, они нам еще пригодятся.

Если о женщине наиболее выразительно свидетельствовали здесь ее волосы, то о детях — их ботинки. Вот целая гора такой обуви — тысячи пар (и это только остаток — согласно статистическим данным

освенцимского хозуправления за время с 1 декабря 1944 года по 15 января 1945 года, то есть за сорок шесть дней, из Освенцима было вывезено в рейх 99 922 комплекта детской одежды и белья). Я вижу много стертой обуви — дети, мальчишки особенно, быстро снашивают обувь, но есть и малоношенная обувь, в ней еще можно было бегать, есть почти новая обувь. почти, ее уже носили. Кому принадлежала вот эта маленькая пара (я ее выделяю, как крупным планом в кино)?

Я читал в освенцимских материалах про девочку итальянку семи лет, о том, как она однажды играла в скакалку, и как все, заглядевшись на нее, не сразу увидели на пороге эсэсмена, как девочка, не замечая вокруг себя напряженных, отчаянных глаз, перепрыгнула несколько раз через веревку навстречу вошедшему и очутилась перед его лицом, и как в ответ он, указав «направо», рявкнул: «Los! Schnell!» («Марш! Живо!»), и как девочка с улыбкой, осветившей ее матовое лицо, прыгнула на сторону смерти. Она думала, что это только игра, ей нравилась игра...

Вот еще пара детской обуви. Из тех же материалов я узнал о русском мальчишке Володе пяти лет, он встретил вошедшего эсэсовца возгласом: «Здорово, дядя!» — и, к ужасу присутствующих, запел перед ним «Если завтра война». Оторопевший эсэсовец попятился и вышел, а затем, словно чем-то заворуженный, приходил к Володе поглядеть на него, пока однажды ему не сказали, что Володи уже нет в живых. «Уже!» — пожал он плечами и удалился.

Не всех детей умерщвляли: многих увозили в специальные резерваты, чтоб дрессировать в гитлеровском духе, для чего тоже производился отбор. Протягивали шест высотой один метр двадцать сантиметров (поднимайте для наглядности вашу ладонь на этот уровень!) — дети, которые свободно проходили под ним, шли и дальше, прямо «на газ»; «зная об этом, маленькие дети вытягивали, как могли, свои головки».

А сейчас вместе с этими детьми, их матерями и отцами пойдем к газовым камерам или скажем словами из книги Боровского: «Милости просим на газ». В этих мероприятиях главное, чего требовал Гесс, это соблюдать Ordnung — порядок, и чтоб не нарушать его возможными эксцессами, заключенных до последней минуты держали в неведении насчет того, что их ожидает, напротив, вразумительно разъясняли, что после приезда надо помыться, и в самом деле вели в раздевалку, откуда шла дверь с надписью «в баню» — там в потолке вмонтированы были душевые установки, из них в последний момент шла струя, только не воды, а газа. Обслуживающий персонал, тоже состоящий из заключенных, для того, чтобы вызвать доверие, советовал запомнить, где сложены вещи, чтоб после не искать. Ботинки, в частности, рекомендовали связывать шнурками (тут дело было еще в том, что, когда вещи казенных сваливали после на грузовики, много оказывалось непарной обуви, и, чтоб не нарушать орднунг, ввели указанное мероприятие).

При всем том не обходилось без инцидентов. Когда, предчувствуя недоброе, матери, перешагнув порог камеры, преграждали путь детям, умоляя хоть их оставить, а то и вообще отказывались войти, их быстро загоняли внутрь прикладами, и с помощью собак орднунг восстанавливался. По большей части, однако, этот процесс проходил нормально — сошлемся на дневник Гесса, он не склонен был к преувеличениям. Догадываясь, в чем дело, мать развлекала детей, и те с игрушками в руках, смеясь, входили в камеры. Мать щадила детей, но случилось, что и дети щадили мать. Однажды юноша из обслуживающего персонала неожиданно увидел свою мать, она только что прибыла с новым транспортом. Успокаивая маму, сын взял мыло с полотенцем, вместе с

нею вошел в камеру и оставался там до конца. Гесс вспоминает четверых детей, как они шли в камеру, мило взявшись за руки, как старший вел младших, чтоб они не споткнулись о неровности пола, и как их мать обратилась к Гессу: «И у вас хватит решимости уничтожить этих малюток?» У Гесса хватило решимости, о чем он повествует, можно сказать, со скорбной гордостью. Как-то на пороге камеры «двое маленьких детей настолько увлеклись игрой (я цитирую Гесса.— Ю. Ю.), что мать не могла оторвать их». Даже обслуживающий персонал не решался их трогать. «Никогда не забуду,— продолжает Гесс,— умоляющего взгляда матери. Между тем лица, уже находившиеся в камере, стали проявлять беспокойство, я должен был действовать. Все смотрели на меня. Я кивнул унтер-офицеру, тот взял на руки упирающихся детей и отнес их в камеру среди душераздирающего плача идущей вслед матери».

А вот случай, который Гесс хоть и не приводил, но, вероятно, вспомнил бы, если бы ему напомнили: когда при перетаскивании мертвецов из камеры в крематорий вдруг послышался детский плач. Даже видавшим виды эсэсовцам стало не по себе. Оказалось — грудной ребенок. Он все время сосал грудь матери, и газ не проник к нему в легкие. Раздосадованный нарушением орднунга эсэсовец бросил ребенка прямо в горящую печь.

Дневник Гесса носит название, данное им самим, — «Моя душа, воспитание, жизнь и переживания». Переживания относились также к акциям против женщин и детей. Гесс пишет о своем сочувствии жертвам, особенно когда ему вспоминались при этом его собственные дети. Их было у него пятеро — два мальчика и три девочки. Бывало, что, убив чужих детей, он спешил к своим. А дети были рядом. И дети и жена. Сразу же за электрической проволокой, на даче. Заключенные, обслуживавшие виллу коменданта, свидетельствуют, что фрау Гесс очень заботилась о создании семейного уюта, о том, чтоб все было, «как у людей», щепетильная к тому, что скажут люди, то есть сослуживцы мужа и наезжавшее начальство, в честь которых она устраивала приемы. Гесс пишет, что «выполнялись любые желания жены и детей», что «дети могли веселиться вволю», а «жена имела столько любимых цветов, что чувствовала себя среди них, как в раю», не просто цветов, а любимых цветов. И это, замечает Гесс, усиливало его переживания.

Среди переживаний Гесса одно заслуживает внимания. Он пишет: «Когда я видел, как веселятся наши дети и как счастлива моя жена, имея при себе младшую дочку, мне не раз приходило в голову: долго ли еще будет продолжаться ваше счастье?» Жена успокаивала его: «Не думай все время о своей службе, думай также о своей семье». Но он думал о своей семье потому именно, что думал о своей службе. Грозный призрак возмездия вставал перед Гессом. Свое прощальное письмо семье он заканчивает словами: «До последнего вздоха с вами» — что, вероятно, и было, когда он издавал этот вздох, вздергиваемый на вислицу тут же, в Освенциме, окружаемый тенями без малого пяти миллионов своих жертв, среди которых, однако, не было его жены и детей — они остались жить.

Даже из того, что уже сказано о коменданте Освенцима, вырисовывается образ чудовища, и недаром сказано было про него, что он палач среди палачей, човекоубийца, какого не помнит история, выродок рода человеческого, жестокий садист и кровавая бестия и так далее. И если говорить о моральной оценке, то даже этих слов недостаточно, и сколько бы их ни было, все будет мало, и нужных для этого случая слов не существует на человеческом языке. Но достаточно ли ограни-

читься моральной оценкой, эмоциональной реакцией, и не совершим ли мы ошибки, роковой ошибки и даже преступления против той же морали, удовлетворяясь моральным критерием?

Я внимательно читал дневник Гесса — объемистую книгу, охватывающую всю жизнь автора от детских лет до кануна казни, — и вынужден сказать, к своему (если только тут позволительно так выразиться) разочарованию, что то, что мы называем «аморальной личностью», в данном случае словно бы не получает подтверждения, как ни странно звучит подобный вывод. Естественно было бы сразу же обнаружить это подтверждение, ибо в самом деле, что может быть естественнее того, что человек, совершавший нечеловеческие поступки, сам является нечеловеком. Это сразу облегчило бы нашу задачу, и концы сошлись бы с концами (забегая вперед, скажем, что аморальных личностей среди освенцимских деятелей было предостаточно, мы еще представим их читателю). Но в данном случае концы с концами не сходятся, и фигура Гесса, выдающаяся по своему злодейству, не подходит под этот признак, почему мы особо останавливаем на ней внимание читателя. Правда, это осложняет решение задачи, но оттого вырастает и сама задача — и мы, не ограничиваясь одним лишь моральным фактором (к чему подчас только и прибегают), придем к более серьезным и возбуждающим тревогу результатам.

Обычно, когда изучают подобные фигуры, пользуются методом, каким изучают преступника — в данном случае рангом повыше, — стремясь к доказательству, что перед нами аномалия — психическая и моральная, патологический феномен, исключение из общественной нормы. Но если это исключение, то достаточно исключить исключение и, отстояв правило, успокоиться от сознания, что правило остается. Но какое же это исключение, если в одном Освенциме оно пожрало миллионы жизней, — не слишком ли большая нагрузка на исключение и не существует ли здесь, стало быть, тоже правило? Да, правило? Правда, с правилом труднее бороться, чем с исключением, но ведь, повторяю, наша миссия — усиливать, а не ослаблять борьбу с такого рода опасным утешительством.

Вот пример. Гесс ребенком любил лошадей, ползал в конюшне под их копытами, они же его не трогали — эти записи из дневника Гесса, по соображениям психиатров, изобличают его антиобщественную психику. Но если шестилетний мальчик не мучит, а, напротив, любит животных, то ведь это говорит скорее в пользу Гесса, чем против него?

Мы читаем Гесса с естественным подозрением, не старался ли он своим дневником сбить с толку своих исследователей, и сам Гесс понимал, что его так и будут читать, к тому же он знал, что не смягчит своей участи перед лицом суда. Он не выгораживал себя, предвидя, что каждое его слово будет стократно проверено, и действительно, в тех случаях, когда Гесс умалчивает о фактах либо их искажает, редакция Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений тотчас же их уточняет, — а уточнений, касающихся его лично, почти что вовсе нет. Каковы же факты, характеризующие его личность?

Он был хорошим семьянином, любящим мужем и заботливым отцом. О своей жене, с которой он прижил пятерых детей, он говорил с неизменным уважением, если не сказать больше. Он познакомился с ней в 1929 году в Союзе молодежи, среди юношей и девушек, которые предпочитали «развращающей» жизни города «здоровую, трудную, но естественную жизнь в деревне», они «чуждались алкоголя, и никотина, и вообще всего того, что мешает здоровому развитию духа и тела». В своей будущей жене он, по его словам, нашел женщину, о которой «мечтал», и был с ней счастлив: «на протяжении всей нашей совмест-

ной жизни вплоть до сегодняшнего дня между нами царил внутренняя гармония», они вместе делили «и радость и горе». Он заявляет, что вообще «всегда испытывал чувство уважения к женщине» и о женщинах никогда не позволял себе «говорить пошло», он не в состоянии вообразить себе «интимной близости без душевной симпатии». Был ласков со своими детьми, для каждого находил нежное слово, а младшую называл «мышкой». В предсмертном письме, обращенном к ним, он завещал им любить и почитать мать: «Любовь и забота матери есть самое прекрасное и ценное из всего, что только существует на земле». Он учит детей быть честными и слушать голос сердца. Вспоминая собственное детство, Гесс пишет, как он, воспитанный в строгом религиозном укладе, был потрясен, когда их домашний священник передал отцу о его проступке, выдав тайну исповеди. У себя дома, продолжает Гесс, он завел трудовую обстановку, придавая трудовому воспитанию решающее значение для сохранения нравственного и психического здоровья. Вместе с женой, например, они работали в поле и детей к этому приучали. После войны он намеревался бросить службу и завести деревенскую ферму; он сожалеет, что покинул сельский труд, но, «увы, — добавляет он, — пути господни неисповедимы». Труд он называет «благословенным». И даже слова, которые он приказал выбить железными буквами над воротами Освенцима, слова, ужаснувшие мир своим цинизмом (я не поверил, пока не прочитал своими глазами) — «Arbeit macht frei» — «Труд делает свободным», — он, по его утверждению, вывел из собственного опыта, оговариваясь, правда, что их следует отнести к «нормальным условиям».

Такова личность Гесса, и исследователи подтверждают эту характеристику, устанавливая, что ему были свойственны нормальные этические и психические рефлексии, так что приведенные факты не опровергаются, да и незачем их опровергать — пусть, повторяем, задача будет потруднее. Представим себе, что Гесс продолжал бы заниматься сельским хозяйством, не попал бы в орбиту гитлеровской машины, и тогда о нем нельзя было бы сказать ничего порочащего, напротив, со стороны он выглядел бы как «образцовый» человек, что называется «положительный». И вот этот «положительный» человек оказался чудовищем, и кажется, история нарочно предъявила нам этот кровавый парадокс, чтоб мы не уклонялись от вопроса: как это могло случиться?

«Как это могло случиться?» — спрашивают все и по поводу Гесса, и по поводу тысяч подобных ему, задают этот вопрос и жертвы, и судьи, и даже сами палачи. Спрашивают и не находят ответа. Кристина Живульска, наблюдавшая вереницы идущих в газовые камеры, говорит: «Видела, как шли, видела, как вошли, сейчас вижу огонь... и, несмотря на это, не верю, не укладывается в моей голове. Ничего не понимаю...» Как это могло случиться?

Прокурор на процессе Эйхмана задает тот же вопрос: «Мы представили суду отчеты отрядов особого назначения — документы, от которых кровь стынет в жилах и волосы становятся дыбом. Читаешь десятки таких отчетов, показания свидетелей, уцелевших одиночек, — все как будто понятно, но снова и снова спрашиваешь себя: как это могло случиться?»

И наконец сам палач, сам Гесс в прощальном письме жене спрашивает: «Как же это трагично: я, по натуре своей мягкий, добродушный и всегда отзывчивый, стал чудовищным челоуекоубийцей, который хладнокровно и со всей последовательностью выполнял каждый приказ об умерщвлении». Как это могло случиться?

Французский писатель Робер Мерль в своей книге «Смерть — мое ремесло», посвященной Гессу, старается ответить на этот вопрос. С кни-

гой Мерля мне пришлось ознакомиться уже после того, как была написана эта глава, и сейчас я возвращусь к ней, чтоб прокомментировать Мерля. Роман, написанный в форме дневника коменданта Освенцима и как бы от имени Гесса, был издан до того, как были опубликованы подлинные дневники Гесса, и Мерль, знакомый с биографией Гесса, но не знавший его дневников — отдадим ему должное, — многое предугадал. Скажем, однако, что дневники самого Гесса производят значительно более сильное впечатление и наводят на более широкие размышления. Поэтому я не удивляюсь замечанию Мерля, сделанному им впоследствии: «Если бы мне пришлось сегодня писать роман «Смерть — мое ремесло» заново, то я написал бы его иначе, во многом совсем по-другому», и тут, очевидно, сыграло бы свою роль ознакомление с дневниками Гесса. Мерль поставил своей задачей — и выполнил ее — показать, что Гесс был воспитан семьей, и школой, и службой, и всей обстановкой милитаристской Германии как автомат, своего рода живой робот, и что силой, которая приводила в действие этот автомат, был «приказ». К собственной инициативе и рассуждениям Гесс был склонен лишь после того, как возникал «приказ», вне приказа он был как бы вне жизни, только приказ мог вдохнуть в него жизнь. Даже в личной жизни — следует ли ему жениться и на ком, — и тут приказ разрешал его сомнения. Как увидим ниже, дневники Гесса подтверждают анализ Мерля. Однако Мерль не отвечает на вопрос: «Как это могло случиться?» — больше того, его книга только заостряет самый этот вопрос. Ибо автомат есть лишь следствие, а не причина, лишь орудие того, «как это могло случиться», а не его источник. Автомат — это определенная психология, а психологии тут недостаточно для получения ответа. Порой Мерль, кажется, подходит к ответу, но тут же отходит от него, увлеченный своим сюжетом «автомата».

Еще до прихода нацистов к власти Гесс был заключен в тюрьму за совершенное им политическое убийство, но когда представился случай сократить срок заключения благодаря содействию его опекуна, друга его отца, Гесс отказывается от этой помощи. Вот сцена, описываемая Мерлем.

«— Почему? — недоумевает начальник тюрьмы.

Я подумал и сказал:

— Потому что в этом заинтересован только я».

Лицо начальника тюрьмы «выразило глубокое удовлетворение», и он заметил:

«— ...Вы опасный человек... А знаете, почему вы опасный человек?

— Нет, господин начальник.

— Потому что вы честный человек... Все честные люди опасны, только подлещы безопасны... Хотите знать почему?.. Потому что подлещы действуют только в своих интересах...»

Примечательный диалог. Гесс опасен не только тем, что он автомат, хотя очевидно, как опасен подобный автомат: он опасен тем, что действует не только в своих интересах, он сознает это, роль принадлежит и сознанию, а не только приказу, приказа недостаточно, чтоб превратить человека в автомат. Даже Мерль невольно описывает Гесса как некое исключение из правил, когда выделяет из его среды — отрицательно, естественно, — и в семье, и в школе, и на службе, даже на военной службе Гесс вызывает к себе недоумение, неприязнь, ужас. Но ведь гессы были многочисленны, они в большей или меньшей мере выполняли то же, что выполнял Гесс, и, главное, считали свою деятельность нормальной: массы рядовых гессов, фашистских оккупантов, чинили по сути то же, что и Гесс, где бы они ни находились. Это было правило, и можно только сказать, что в лице Гесса это правило настолько

чудовишно наглядно сформулировано, что кажется «исключением». Многотысячные гессы тоже действовали под влиянием сознания, а не одного только приказа, существует более основательный фундамент, подпиравший самый приказ. Какой же это был фундамент? Какая сила приводила в действие автомат? Как это могло случиться? На это может быть один ответ, и я сформулирую его резко. Идея. Идея.

Человек отличается от животного тем, что у него есть идея, у животных идей, идеологии нет. Идея поднимает человека над животным, идея ставит его ниже животного, в зависимости от того, какова идея. Собака — друг человека. И та собака, которую дрессировали в Освенциме, могла бы быть другом человека, если бы не человек. Собака, которую научили при слове «юде» разрывать в клочья женщину и ребенка, была приобщена к идее и сразу опустилась до уровня человека, одержимого злой идеей.

Из этого не следует, что, сославшись на свою личную моральность, человек вправе свалить свою вину на неморальность идеи. Вне человека идея бессильна. И, значит, человек должен ставить идею на суд своего разума и своей совести. Да, и совести. Совесть, о которой скажут, что она старомодный инструмент, устаревший в новых условиях, но ведь сколько уже ни искали, а кроме нее ничего и не нашли, может, еще поищут, да надо ли?

Но если человека нельзя выгородить, сославшись на идею, то нельзя выгораживать и идею ссылкой на безнравственность ее применения, ибо в самой идее, следовательно, есть упущение, ущербность, если она допускает безнравственность своего применения. Ибо если идея влечет к себе (у идеи, как правило, привлекательное лицо, она «полна обаяния»), то, памятуя, что не только человек для идеи, но и идея для человека — в этом весь смысл! — проследим за каждым ее шагом, чтоб вовремя повернуть ее с ложного пути. Иначе будет поздно и ты в ослеплении пожертвуешь собой и миллиардами тебе подобных, и не будет мира, останется одна лишь идея — Идея, которая, пробираясь среди развалин мира, усмехаясь, доложит Сатане, что она выполнила его поручение и для спасения человечества погубила человечество.

Твой разум и совесть! Совесть и разум народов. Вспомнил ли о них Гесс, когда в последний раз мелькнул перед ним с высоты освенцимский пейзаж? Гесса нет, но остались другие, которые живут, или только начинают жить, или еще собираются родиться — будем готовиться к их встрече.

...Женщина-заключенная, которой эсэсовский офицер объяснял умерщвление трехсот девушек необходимостью добыть из их тел золото, нужное для войны, — женщина эта смотрела, пораженная, на эсэсовца, как на загипнотизированного. А он даже не замечал этого взгляда, не то что своего рассуждения. «Все как будто понятно» — все для войны, но идея, руководившая этой как будто бы понятной логикой, идея господства над всеми народами, господствовала над ним, а он, он лишь старался «быть достойным» этой идеи.

А вот еще случай, который рассказал Тадеуш Боровский. Эсэсовец Шилингер славился своей жестокостью и служебным рвением. Однажды, с револьвером в руке загоняя людей в газовые камеры, он увидел красивую женщину и протянул к ней руку. Женщина бросила ему в глаза горсть песка, выхватила из его разжавшейся руки револьвер и одну за другой послала ему пули в живот. Это поступок, можно сказать, естественный. А вот что кажется неестественным. Шилингер, корчась на полу от боли, кричал: «О боже мой, боже мой, что же я сделал, чтоб так мучиться?» Он считал несправедливыми свои мучения,

ведь он честно выполнял свой долг, преданно служил делу Германии, родины, о чем бог «знает»!

Вернее было бы, если б он адресовался к Идее, а не к богу, но бог-то потому и был ему оставлен, чтоб именно с него и спрашивать, а не с идеи. Я убежден, что Шилингер гордился своей жестокостью! И наслаждался ею, так же как его соратники, но потому и наслаждался, что гордился. Наслаждение было уже следствием того, что рассматривалось как достоинство. Нацистская идея неизбежно приводила к деморализации. Идея избрала Гитлера своим представителем, он угодил ей своей бесноватостью; высвобождая перед всеми свои дикие инстинкты, он высвобождал их у своих слушателей, и они уже искали им выхода. Потребность в этом опиралась на их долг, долг стимулировал в них эту потребность — оказывается, они были «гармонические натуры». «Освенцимские палачи, — указывают свидетели, — хвалились, что собственноручно кулаком, палкой или оружием сумели убить каждый десятки тысяч людей». Один из эсэсовцев бегал со шприцем смертоносного фенола, ему нужно было впрыснуть его человеку, другой — с мелкокалиберной винтовкой бродил в поисках жертвы, которая понравилась бы ему тем, что ее можно уничтожить.

Характерно, что Гесс отмежевывается от этих эсэсовцев: они-де лишены были совести и разума, в то время как у Гесса они-де наличествуют, и мы сейчас ознакомимся с его поразительными на этот счет рассуждениями, из которых возникает еще один вывод, что саму совесть и разум направляла идея. Гесс утверждает, что он вынужден был подавлять свою совесть, не замечая при этом, что гордится не столько тем, что у него была совесть, сколько тем, что умел ее подавлять. Гиммлер, выступая перед командирами СС, говорил, что надо понимать, «каково это, когда перед тобой лежит гора трупов — сто, пятьсот, тысяча трупов... выдержать все это и сохранить порядочность, вот что закаляло характер». Гесс гордился тем, что закалял свой характер, становясь благодаря этому порядочным. Дело здесь не столько в логике людоедов, сколько в логике идеи.

А как обстояло дело с разумом? Оправдываясь, Гесс пишет, что «в глубине души нечислимое количество раз» ставил перед собой вопрос (с этим же вопросом к нему доверительно обращались его подчиненные): «Разве есть необходимость в уничтожении сотен тысяч женщин и детей?» Он оправдывается, не замечая самой постановки вопроса: если необходимость есть, стало быть, можно «уничтожить сотни тысяч женщин и детей». Любопытно, что даже исследователи дневников Гесса (по крайней мере те, с которыми я имел возможность ознакомиться) — вероятно, потому, что, не приняв мер предосторожности, шли по следам «естественности» Гесса, — тоже не замечали этого противоречия. Должен признаться, что и я, отвлеченный стремлением Гесса найти оправдание своим действиям, поначалу тоже не обратил внимания на это и только затем, обеспокоенный, вернулся к этому месту благодаря взгляду на роль идеи.

Верно то, что поиски «необходимости», потребность в достаточном основании, в соотношении причины и следствия закономерны для человеческого сознания вообще. Но в данном случае важна природа этой необходимости, а эта необходимость здесь безотносительна к существу, это необходимость как таковая, чисто условный мотив, формально соответствующий указанной закономерности. Поэтому необходимость тут — не движущий элемент: подобным элементом оказывается то, что «можно», что «позволено». А ведь «все позволено» и есть основа фашистской «идеи». Но если так, то суть дела не в том, что раз «необходимо», то «можно», а как раз напротив: раз «можно», то и «необходимо». Вот ис-

тинная в этих обстоятельствах связь между этими моментами, а не та иллюзорная, с которой выступал Гесс, обеспокоенный вопросом, есть ли необходимость. Поэтому-то он и «не замечает» противоречия.

Идея командовала разумом. Эсэсовец, объяснявший сожжение трехсот девушек «необходимостью» («получить золото»), «не замечал» противоречия потому, что то, что «позволено» сжечь триста девушек, подразумевалось. И профессору Клаубергу было достаточно «необходимости» («для блага науки»), чтобы уничтожить тысячи подопытных женщин; он «не замечал» противоречия, поскольку сам вопрос, «позволено» ли уничтожить тысячи женщин, не существовал. И эсэсовский офицер, и эсэсовский врач были удовлетворены тем, что есть необходимость, вернее, тем, что она сформулирована и включена в то, что есть орднунг. «Я не мог,— жалуется Гесс,— найти выхода из этих душевных конфликтов». Ситуация не настолько сложная, как представляет ее Гесс,— ведь дело лишь за мотивировкой: если ее нет, ее можно придумать, какая разница! И в самом деле, стоило Эйхману, к которому Гесс пришел со своими сомнениями, объявить, что необходимость есть — если фашисты не уничтожат евреев, евреи уничтожат фашистов,— чтоб Гессу, как он пишет, его «душевные позывы казались почти изменой фюреру».

Вернувшись от Эйхмана, Гесс уже сам с каменным лицом объяснял своим подчиненным, что необходимо «навсегда освободить наших потомков от их злейших врагов», а значит, и потомков врагов, уничтожая женщин, которые их родят, и детей, которые вырастут и станут врагами. Так было покончено с вопросом о женщинах и детях и, следовательно, покончено с «душевыми конфликтами». После разъяснений Гесса лица подчиненных тоже становились каменными, и их твердость в свою очередь усиливала твердость Гесса. Повторяю, дело не в логике существования Гесса, а в логике существующей идеи.

Идея формировала свои «кадры», конструкция характера определялась «идейной» установкой. Установка же была не на сознательность масс, а на их дисциплину. Вот тут вступал в действие автомат, причина и следствие менялись местами. Автомат захватывал власть, ибо без солдафонского воздействия автомата ложная идея не могла бы существовать, она держалась «на штыках», «на приказе». Вот в чем здесь сложность, коварная «диалектика». Поэтому автомат не психологическое, а идеологическое явление. Не дисциплина, опирающаяся на сознание, а сознание, установленное дисциплиной. Сознание — форма, дисциплина — содержание, и, как полагается, содержание определяло форму. Дисциплина — хозяин, сознание — слуга; хозяин дисциплинировал слугу, «приводил его в сознание» до тех пор, пока вышколенный слуга не выполнял требований хозяина аккуратно, затем беспрекословно, наконец самоотверженно.

Дисциплина и составляла душу Гесса, ту самую, о которой он пишет, как ее воспитывали и как она самовоспитывалась. Дисциплина обрела свою теорию и практику, свою романтику и пафос, свой разум и свою совесть. Гесс убивал, подчиняясь велениям этого разума, и испытывал угрызения этой совести, если не убивал. В случае, когда обнаруживались разум и совесть, в человеческом смысле это значило, что слуга своевольничает и хозяин быстро приводил его в порядок, «ин орднунг». Когда Гесс упоминает имя Гитлера, кажется, он отставляет стул и вытягивается по стойке «мирно!». Фюрер сказал то, фюрер сказал это, а раз фюрер сказал — значит, это т а к! Не истинность сказанного создавала авторитет Гитлеру, но авторитет Гитлера сообщал истинность сказанному. Поэтому Гесс служил не истине, но авторитету, и это уже не сознание, а дисциплина. Поэтому нужен был Гитлер, поэтому он появил-

ся, поэтому фашисты без конца апеллировали к нему возгласами «хайль Гитлер!». Поэтому Гессу достаточно было «приказа». Идея не очень церемонилась с ним и с другими и не слишком раскошеливалась на доводы. Довольно было тезиса, лозунга, установки — самая мелкая монета, брошенная в автомат, приводила в действие, решала запрограммированную задачу. Если, как правило, вывод вытекает из аргументов, то тут, напротив, аргументы вытекали из вывода, но в таком случае аргументы становились лишними и даже вредными, вызывая подозрение, не сомневается ли кто в выводах, если нуждается в аргументах. И если они все же приводились, то как «архитектурные излишества».

Вот примечательное высказывание Гитлера:

«Народы, не остерегшиеся евреев, были обречены на гибель. Примером являются персы, которые были когда-то великим и гордым народом, а теперь впадают жалкое существование в качестве армян».

Феноменальная эрудиция Гитлера получает здесь лишнее доказательство, но кажется, что в данном случае Гитлер и не говорил всерьез, он и смеялся над своими слушателями, которые примут разумом и совестью любую чушь, раз в ней зафиксирован «вывод».

Может ли автомат испытывать удовлетворение от собственного функционирования? По-видимому, да, судя по Гессу. Гесс сознает, что в Освенциме творились «дела нечеловеческие», и одновременно признается, что, когда его переводили из Освенцима на более высокую должность, он с горечью расставался с ним — настолько сроднился с Освенцимом. Это говорит уже автомат, который приводил «ин орднунг» самого Гесса. Деятельность этого автомата составляла его истинную жизнь, и прекращение именно этой жизни для Гесса равносильно было смерти. Не удивительно, что машина продолжала по инерции функционировать даже после того, как деятельность Гесса была пресечена и он очутился в тюрьме: он и там испытывал потребность в действии автомата — уже независимо от того, к чему он предназначался, механизм нуждался в заводе.

Автор предисловия к польскому изданию дневников Гесса, член суда над ним, доктор Ян Хен пишет, что подсудимый давал показания о своих преступлениях с таким же рвением, с каким он прежде совершал эти преступления, — добросовестно, дотошно, можно сказать, самоотверженно. Автор предисловия к немецкому изданию дневников Гесса Брошат указывает, что «образцово функционирующий комендант Освенцима оказался столь же образцовым подследственным» и что «уже в этом проявилась удивляющая, но у Гесса естественная черта... человека, который всегда состоит на службе какого-либо авторитета и который постоянно выполняет свои обязанности, безразлично в качестве убийцы или подсудимого... лишь бы служить делу». Он поступал так не из чувства совести, раскаяния по поводу случившегося, и не от разума, не от понимания случившегося — это сработал автомат: человек — ничто, дисциплина — все.

Читая дневники Гесса, я порой бывал озадачен тем, что не замечал в них такого, казалось бы, само собой разумеющегося у него чувства, как ненависть, и когда я наткнулся затем на его заявление: «Я не испытывал чувства ненависти», я удивился только тому, что не удивился этому. Свой дневник Гесс заключает следующими словами: «Пусть общественное мнение видит во мне кровавую бестию, жестокого садиста, убийцу миллионов. Ведь широкие круги иначе и не в состоянии вообразить себе коменданта Освенцима. Никогда они не поймут, что у него также было сердце, что он не был злым». На что можно бы ответить, что, пожалуй, «широкие круги» и поймут, но чего сам комендант не по-

нял и никогда, видимо, не понял бы, если бы даже остался жить, так это того, что это признание только обличает его.

А то, что гитлеровская машина уничтожения не испытывала в лице Гесса ненависти, ничуть не противоречит разгулу ненависти, которой предавалась кровавая бестия фашизма, когда, так сказать, «выпускались пары», ведь пары выпускала машина. Человек создает машину, тогда и машина кажется одухотворенной. Но и машина создает человека, и тогда человек оказывается бездушнее машины.

Итак, автомат и бестия, зверь и машина — из этих синтетических материалов изготовлялся тип фашиста вообще. Такова, следовательно, была психология освенцимских палачей.

Какова же была психология жертв?

Ее формировали палачи. Они выбивали из человека человека, чтоб таким образом привести в соответствие с собой, в свою очередь превращая его в автомат и бестию и, следовательно, сводя концы с концами. В удивляющей всех системе бессмысленных издевательств не было ничего удивительного — в этой бессмысленности и был смысл, — она-то наилучшим образом и убивала. С того момента, как вас сбрасывали с вагона на освенцимском перроне, и до того, как вы превращались в дым, — весь этот путь сопровождался глумлением, регламентированным и представленным фантазии исполнителей.

Чтоб подорвать душу, подготовляли тело. Переводили через барьер физической и психической выносливости — «арбайт махт фрай», — пока вы не становились «музулманом». «Музулман» — термин, возникший в гитлеровских концлагерях и широко вошедший затем в мировую научную и художественную литературу. Музулман (по-русски его можно передать словом «факир») — обозначение крайней степени истощения, и когда через трубы освенцимских крематориев шел один дым без огня, все знали, что жгут музулман: обезжиренность не дает огня.

Если этот нормальный цикл не был достаточно эффективен, вступал в силу штрафной; избежать его мало кому удавалось, поскольку он входил в террористическую систему деморализации. Поводы для штрафа? Вы не успевали педантично застлать ваши лохмотья на нарах, или оставили у себя фотографии вашей жены, или мужа, или детей, или не поправили косынку на голове, или сбились с шага на быстром марше, или справили нужду в неположенное время, или обменяли ваш золотой зуб на кусок хлеба, или — и это был самый распространенный повод — не понравилось выражение ваших глаз. Вы старались опустить глаза — вас заставляли смотреть: когда взгляд был достаточно смиренный, эсэсовцы раздражались довольным смехом, когда же недостаточно — впадали в гнев и вы получали штраф.

Я вхожу в блок № 11, отведенный для штрафных мероприятий, названный «блоком смерти»; в нем до сих пор пахнет смертью, и если вы даже вовсе лишены воображения, оно у вас появится. Покажу, щадя читателя, только два штрафных агрегата. Вот козлы, на них секли — род деревянного топчана, решетчатого, но не плоского, а с углублением, чтоб вам было удобнее лежать. Вы сами должны были считать установленное число ударов, и притом на немецком языке (не знаешь — учись!), а когда вы сбивались со счета, все начинали снова. Секли, пока хватало сил не только у того, кого секли, но и у того, кто сек, и если это был тоже заключенный, он таким образом доказывал свою силу, чтоб не занять ваше место. А вот другой агрегат — «штецелле», камера для стояния, обложенная кирпичом, с зарешеченным, величиной в ладонь, отверстием для воздуха; внутри, на площади меньше квадратного метра, всю ночь стояли четыре человека, чтоб утром выйти на работу на весь день, затем на всю ночь снова в «штецелле». Срок — три ночи,

пять, десять, две недели. Перед моими глазами рапорт и на нем резолюция: «6 Wochen Stehezelle» («6 недель штеецелле»); рапорт датирован 10 ноября, резолюция только 20 ноября 1942 года — вряд ли из-за волокиты, скорее из-за наплыва рапортов: «руки не доходили».

Какими были после этой мясорубки «душа, жизнь и переживания» заключенных? Живульска ищет слов и не уверена, находит ли их, чтоб поняли те, кто не пережил Освенцима. Описание ужасов, считает она, вызовет ужас, но даст ли оно представление о том, что происходило в душах людей? Это то же самое, пишет она, как если бы вы «беспрерывно испытывали боль», как если бы «беспрерывно умирал кто-либо вам близкий», как если бы «беспрерывно плевали в вас» и как если бы «все это происходило одновременно». В сердцах воцарялась «душная атмосфера безнадежности» — слова «бессилье» и «безнадежность» мелькают во всех дневниках.

Кстати, представление о том, что происходило в душах людей, передает неожиданная деталь, которую приводит освенцимский узник Тадеуш Голуй в своей книге «Конец нашего мира»: «Запах конского помета, запах животного становится вдруг очень человеческим, единственным человеческим запахом, как бы вестью из того мира, в котором лошади и люди живут естественно».

Шаг за шагом вели людей к запланированной цели — к автомату и бестии. Мужчины, таскавшие трупы, автоматически жевали при этом пищу, женщины, обслуживавшие уборные (не одолев тошноты, нельзя было войти туда), ели там суп из горшка, автоматически ели и смотрели вокруг, смотрели и ели, иные, впрочем, ели «с видимым аппетитом».

Превращали в автоматы, превращали в бестии. На что рассчитывали эсэсовские палачи? «Разве в каждом человеке,— говорится в той же книге Голуя,— не живет животное, жаждущее избавиться от человеческого, подстерегающее подходящий момент, чтоб выкрошить из себя то, что в нем есть от человека? Достаточно беспрерывного битья, голода, отнятой надежды, достаточно жранья и берлоги, чтоб превратить человека в животное. Лишь бы поощрялось то, что звериное, лишь бы каралось то, что человеческое. Процесс этот длится недолго».

Наглядным выражением этого превращения были, можно сказать, естественные, как ни страшно это сказать, случаи людоедства. Кто не способен был переступить этот порог, кончал помешательством или самоубийством; популярным в Освенциме было выражение «пойти на проволоку»: она всегда была перед вашими глазами как выход, «проволока тянула к себе, как магнит», и вы повисали на ней, убитые током...

Но человек есть человек, и в этом главная надежда. Я расскажу о движении Сопротивления, имея в виду не столько политическое, антифашистское движение, поскольку оно широко известно (одним из вожаков его в Освенциме был Юзеф Циранкевич), а то, которое менее известно читателю — о психологическом и моральном движении сопротивления, укреплявшем почву для первого.

Терпеливо возводили внутренние баррикады против деморализации («Выдержать, выдержать!» — был гласный и негласный лозунг); когда баррикады разрушали, они снова воздвигались — индивидуально и коллективно. И, как бывает на баррикадах, все, что было под рукой, годилось в дело. Внушали друг другу: выдержать! Хотя бы для того, чтоб «дождаться часа их гибели»; у кого были родные на свободе, держались этим: «Я держусь потому, что сын на воле»; копя рвы, советовали друг другу: «Вообрази, что роешь им могилу,— легче станет». Предостерегали: не гляди на лес вдаль — гляди только на этот барак, не вдыхай запах травы — дыши только дымом крематория, привяжись «к

этой лопате, к этой повозке», усмири свою психику, приучи ее к худшему, к худшему, иначе «загнешься».

Красной нитью в освенцимских дневниках проходит мысль — не рассчитывать только на инстинкт самосохранения, заботясь лишь о пище, койке, одежде и здоровье, — не поможет. Обопрись на свое «достоинство» — и для себя в первую очередь; нет внешней свободы — подерживай внутреннюю, «важнейшая ценность — в тебе», спрячь ее поглубже, чтоб ее не могли достать, в кровь, в «полумрак опущенных век» (Шмаглевска), тогда, может, и выдержишь.

Однажды молодую польку, раздетую донага, поставили у входа в лагерь к моменту, когда возвращалась с работы мужская команда, и эсэсовцы, издеваясь, приговаривали: «На, ду штольце полин? Ист с гут?» («Ну-с, гордая полька, каково?») Наготу «штольце полин» прикрыло ее достоинство, и можно себе представить, что проходившие узники не глядели на нее или делали вид, что ее не замечают; не исключается, что иные из эсэсовцев, не отдавая себе в этом отчета, чувствовали себя посрамленными поведением юной польки.

На такую тему бывшая освенцимская узница Зофья Посмыш написала повесть. Я спросил автора при встрече с ней, сколько ей было, когда ее заключили в Освенцим, она ответила: «Восемнадцать лет». — «А сколько пробыли там?» — «Три года». И сказала она это тоном, который мне особенно запомнился, неподчеркнутым или даже подчеркнuto неподчеркнутым, было что-то в этом ответе от «штольце полин». Мне припомнилось тут, что, когда однажды я осведомился у Леона Кручковского, откуда он черпал материалы для своих «Немцев», он ответил таким же тоном: «Архивы, документы, встречи с очевидцами, пять лет концлагеря» — эти «пять лет концлагеря» он произнес между прочим, в запятых, перечислительно...

Посмыш написала свою повесть двадцать лет спустя после Освенцима. Как характерно, кстати, что интерес читателя к освенцимской проблеме не ослабляется, а усиливается со временем. Вероятно, потому, чтоб на этом уже историческом расстоянии, придя несколько в себя после охватившего всех ужаса, внимательнее присмотреться к тому, что тогда было. Повесть Зофьи Посмыш под названием «Пассажирка», переведенная с польского, была напечатана у нас в журнале «Иностранная литература», и я только напомину читателю, что действие повести происходит уже в наши дни, на океанском лайнере, где элегантная дама Анна Луиза Кречмер, бывшая освенцимская эсэсовка, узнает среди пассажиров бывшую освенцимскую узницу польку Марту.

Воспоминания Луизы о ее взаимоотношениях с Мартой в Освенциме составляют центр повести. В одной из рецензий на «Пассажирку» было сказано следующее: «Странная, болезненная привязанность надзирательницы к заключенной, наталкивающаяся, естественно, на упорную и неодолимую ненависть, занимает, пожалуй, слишком много места в произведении». Странно здесь, пожалуй, только это замечание. Взаимоотношения надзирательницы и заключенной составляют весь смысл повести, ради этого она и была написана, и не понятно, чем же тогда она захватила рецензента. И вовсе не в том дело, что странная привязанность надзирательницы наталкивается на упорную ненависть заключенной, а как раз напротив — в том, что гордое поведение Марты и вызывает к себе «привязанность», невольное уважение Луизы. Ведь Луиза — победительница, а Марта — покоренная, себя она считает выше, ее ниже, однако по истинному, а не преходящему счету все обстоит как раз наоборот, и Луиза, как это ни кажется странным (ей странным, а не читателю), чувствует ее превосходство и собственную неполноценность. И ее «привязанность» (она опекает Марту, оказывает ей всякие услуги)

вызвана стремлением ублажить Марту, сравниться с ней, быть с ней на одной ступени, и эта психологическая «игра» полна смысла. Марта отстояла свою «внутреннюю свободу» в окружении несвободы и рабства. Однако возникает вопрос, достаточно ли одной «внутренней свободы» в столь чрезвычайных обстоятельствах? Мы поднимемся сейчас на более высокую ступень.

В книге Ежи Анджеевского «Ночь» обращает на себя внимание фрагмент, который автор назвал «Переключка» и который написан в 1942 году. Вместе с другими в Освенцим привезли заключенного Трояновского, уже пожилого человека. Трояновский вспоминает, что еще задолго до того, как он попал сюда, он, бывало, говорил друзьям: «Я верю, дорогие мои, что ничто не в состоянии убить в человеке его свободы, надо только захотеть защищать ее, и защищать прежде всего перед самим собой». Но сейчас, проходя испытания Освенцима, он заколебался. Даже если считать, рассуждает он, что у человека хватит выдержки (хотя есть предел и для выдержки, но если допустить, что она беспредельна), то разве внутренняя свобода — это главное? Трояновский усумнился в этом. Да, он выдержал, мужественно переносил все испытания, было, однако, нечто, чего он не в состоянии был перенести — унижения другого человека: и того, кого унижают, и того, кто унижает, это было свыше его сил. И «он чувствовал, как рушится в нем та внутренняя свобода, которую он так упорно и сосредоточенно защищал с первого дня заключения, свобода, которая ничему не служит, кроме спасения собственного достоинства».

Однажды во время переключки, когда Трояновский стоял навтыжку вместе со всем своим блоком, он стал свидетелем, а затем и участником такой сцены. Надзиратель — «капо», как их называли, — ударил по лицу заключенного, рабочего-поляка Ваховяка. Подошедший эсэсовец Крейцман спросил, за что. Капо пояснил: «За бунтарский взгляд». Крейцман обратился к Ваховяку, доволен ли он тем, что его ударили. Ваховяк твердо ответил: «Нет». Крейцман с любопытством оглядел Ваховяка и переспросил: «Nein?» — «Нет», — повторил Ваховяк. Крейцман улыбнулся «безмятежно и невинно» — ему было лет двадцать, на вид он казался еще моложе — и кивнул головой одному из заключенных, это был студент из Варшавы Стась Карбовский. Когда Стась вышел из рядов, эсэсовец, покосившись на Ваховяка, сказал: «Раз он не любит, чтоб его били, — значит, он сам любит бить» — пусть бьет. «Бей!» — хрипло приказал капо. «Бей», — повторил взглядом Стась. «Нет», — ответил Ваховяк «хриплым голосом». Крейцман не спеша вытащил револьвер и выстрелил. Ваховяк схватился за живот, но удержался и не упал. «С напряжением в глазах он всматривался в молодого Крейцмана, который был ему ровесником... Крейцман выдержал этот взгляд. Улыбнулся легко. Затем выстрелил еще раз». Когда Ваховяк упал, Крейцман прошелся взглядом по молчаливым рядам заключенных и, задержавшись на одном из них — это был Трояновский, — подозвал его. Когда Трояновский подошел, эсэсовец, указав на него, приказал Стасю: «Бей!»

У Стася «все замерло от страха», он машинально опустил руку на Трояновского. Тот закрыл глаза и наклонил голову. «Хочет, чтоб мне легче было его бить», — подумал Стась. Вдруг Крейцман схватил Стася за грудь, притянул к себе. «Будешь бить как следует!» — закричал он и отбросил его обратно. Стась ударил Трояновского. «Сильнее!» — приказал Крейцман. Стась ударил сильнее. «Сильнее!!!» — повторил Крейцман, и Стась снова ударил, и снова, и уже бил, не разбирая, куда бьет, с возрастающим ожесточением. Наконец Крейцман отправил обоих обратно — Стася и обливающегося кровью Трояновского. Стась стоял

в полном помрачении, как вдруг до него, до самой глубины его отчаяния донесся глас: «Друг» — и он почувствовал в своей ладони руку стоявшего позади него Трояновского. «Она легко коснулась его концами ищущих пальцев, потом крепко сжала его руку и так замерла». Трояновский не шевелясь глядел перед собой, Стась тоже. «Он явно чувствовал, как эта окостеневшая, холодная, шершавая мужская ладонь вытягивает его из беспомыслия и возвращает к самому себе». Он вернул человека к человеку, и вернул человечностью.

Значит, не только ты и твоё достоинство, но и другой человек, выразимся по старинке,— ближний.

В воспоминаниях Анджеевского есть, возможно, и доля законного вымысла, домысла. Но вот и факт, который я вспомнил, читая Анджеевского,— из дневника Гесса. Во время одной из селекций Гесс обратил внимание на женщину — она вела за руки двух маленьких детей, почему-то ее направили с ними в крематорий. «Она не была похожа на еврейку», — пишет Гесс. Вскоре он увидел эту женщину в раздевалке газ-камеры. «С нею не было тех детей», — продолжает Гесс, — она суетилась среди женщин, у которых было много ребят и которые еще не разделись, сердечно беседовала с ними, успокаивала детей. Одной из последних она вошла в камеру. Задержавшись в дверях, она обратилась ко мне: «Я знала с самого начала, что в Освенцим мы едем на смерть. Я уклонилась от зачисления в трудоспособные, взяв за руки детей. Я сознательно хотела пережить все, во всем отдавала себе отчет. Долго это не может протянуться. Будьте здоровы».

Да, достоинство. Но и добро. Добро, прокорректировавшее достоинство, без чего достоинство лишается цены.

Однако и это не все. Ибо если добро подверглось критике достоинство, то само в свою очередь подверглось критике, и довольно жесткой, — и «добро», и «внутренняя свобода», и то, что мы называем «надежда», «истина», «красота» и другие столь же прекрасные вещи, недостаток которых (впрочем, не их недостаток, а скорее наш) состоит в том, что нам бывает достаточно того, что эти прекрасные вещи прекрасны.

Поднимемся в таком случае еще ступенькой выше.

Самая поражающая книга в польской освенцимской литературе — это книга, на которую я уже ссылался, — «Прощание с Марией» Тадеуша Боровского. В своем предисловии к ней Ярослав Ивашкевич пишет, что «новеллы Боровского нельзя даже сравнить с тем, что было написано во всем мире, — это высшее достижение в этого рода литературе»; Ивашкевич указывает также, что книга «объективна», что она опирается на «конкретные факты» и что в ней «нет ничего от невыносимой мистики страдания». Все это совершенно справедливо. Но дальше Ивашкевич пишет, что у Боровского «простота, с какой описаны события, граничит с цинизмом, однако никогда этой границы не переходит». Вот тут, кажется, нужно уточнение, и я позволю себе включиться в тот спор, который завязался вокруг Боровского, — о цинизме и его размерах, переходит или не переходит он границы у Боровского. Думается, дело здесь не в количестве цинизма, а в его качестве, который решимся назвать благородным, если только допустимо сказать так о цинизме, но это, кажется, единственный случай, когда так можно сказать, ибо это цинизм очищающий, нас очищающий от нашего прекраснотушия.

Книга Боровского пропитана кровью и злостью. Злостью не только против тех, кто убивал (это за скобками), а против тех, кого убивали, больше того — против всех: и тех, кто попал и кто не попал в Освенцим, против всех нас. За что? За то, что был Освенцим. За то, что до Освенцима со всей внушительностью заявляли: «Да, этого не может случиться» — и после Освенцима со всей внушительностью вопрошают: «Да как

же это могло случиться?!» Так вот чтоб этого больше не случилось! Отсюда сатирически-гневный, скорбный пафос Боровского.

Гуманистический источник книги очевиден, только автор не выставляет его, не шеголяет и не кичится им, даже как бы стыдится его — он боится слов, хотя, увы, вынужден к ним прибегать, он ненавидит слова — «слова, слова, слова», к чему только не приводили слова?! Легкой струей сквозь эту тяжелую, тягостную книгу протекает обращение к любимой женщине — повествование сменяется вдруг обращением к ней, это светлое прибежище героя среди тьмы. Но и женщину автор не бережет. «Я вижу в темноте твое лицо и хотя говорю с желчью и ненавистью, чуждой тебе, знаю, что ты слушаешь меня внимательно». Он решительно восклицает при этом, что высший критерий для оценки человека есть любовь к человеку. Прибежищем автору служит также воспоминание о Толе, советском пареньке, умерщвленном в Освенциме. Боровский узнал о нем от своего товарища, бывшего человека, чего только не повидавшего в Освенциме. «Но один случай, кажется, я запомню на всю жизнь, — рассказывает он, — Толя страшно страдал, и плакал, и вспоминал мать. Я утешал его как мог... Прятал его от селекций, но однажды его нашли и записали. Я зашел к нему — он был в лихорадке. «Когда кончится война, — сказал мне Толя, — и ты переживешь... поедешь к моей матери и скажешь, что я погиб. Чтоб не было границ. Ни войны. Ни лагерей. Скажешь?» — «Скажу». — «Запомни: моя мать живет в Дальневосточном крае, город Хабаровск, улица Льва Толстого, двадцать пять, повтори». Я повторил. «Ведь это последний бой, — сказал он с силой, — последний, понимаешь?» — «Понимаю».

Слова Толи записаны в книге Боровского, как русские — польскими буквами.

Итак, эта женщина и этот мальчик — не достаточно ли пока их двоих, свидетельствующих о гуманизме автора?

Боровский продолжает описывать Освенцим. Он не пропускает ничего, особенно же того, мимо чего мы, вероятно, поспешили бы пройти: там Боровский, напротив, останавливается, пишет ужасающе лаконично и четко, с сосредоточенной деловитостью, саркастически наслаждаясь этой обстоятельностью, не щадя ни нас, ни себя, — эта беспощадность тоже помогла ему выдержать. «Надежда?» О, конечно! «Если бы не надежда — разве мы прожили бы в лагере хоть один день? Ведь это именно надежда заставляет людей апатично ходить в газовые камеры, не рискуя, погружаться в омертвление. Это надежда заставляет матерей отказываться от своих детей, жен — продаваться за хлеб... Никогда в истории человечества надежда не была сильнее человека, но никогда также она не творила столько зла, сколько в этой войне, в этом лагере. Не научили нас избавляться от надежды, поэтому мы погибаем в газовых камерах». Надежда! «Не знаю, переживем ли мы, но я хотел бы, чтоб мы когда-нибудь умели называть вещи их настоящими именами, как это надлежит людям отважным». Надежда! «Проезжают грузовики, полные раздетых женщин. Женщины протягивают руки и кричат: «Спасайте нас, едем на газ! Спасайте нас!» И проехали мимо нас — стоявших в полном молчании десяти тысяч мужчин. Ни один не шевельнулся! Ни одна рука не поднялась». Надежда! «Янек, милое дитя Варшавы, с которым мы работаем на пару, ничего не понимает, что происходит кругом, и, кажется, никогда не поймет». Янек старательно выгребает из ямы ил и аккуратно складывает на поверхности. Подошедший эсэсовец «погладел на нас, как глядят на лошадей, тянущих воз». Янек широко улыбнулся ему: «Ров очищаем, господин ротенфюрер». Эсэсовец поманил к себе Янека и «изо всей силы ударил его по лицу». Янек покотился в яму. «Я закашлялся от смеха...» и, помогая Янеку выбра-

ся, заметил: «Не старайся по доброй воле...» Закашлялся от смеха. В этом злом смехе Боровского не больше ли гуманизма, чем если бы он стал утешать милое дитя Варшавы? Заключенному, который славился своим подлым рвением и услужливостью и охотно превращался в автомат и бестию, Боровский доверительно сообщает: «Сегодня будет селекция, есть надежда, что ты вместе со своими чирьями полезешь в печь... Ну, чего же ты испугался,— волков бояться...» Боровский пишет, что после этого он отошел, «зло усмехаясь, довольный своей выдумкой, напевая модное танго, так называемое «кремационное»...»

Издевка, вызов и затаенный страх при мысли, что его самого охватывает бесчувствие, и снова бравада, от которой ему самому не по себе.

Боровский рассказывает знакомому о своем приезде в Освенцим. «Даже представить себе не можете, как велик мир, когда человек летит из вагона! Небо высокое...» — «Голубое», — дополняет слушатель. «...вот именно что голубое, — продолжает Боровский, — а деревья так даже пахнут...» Об очередях в газкамеры: «Люди текут, как вода из крана...» Об лагерных оркестрах: «Самое чудесное это саксофон — всхлипывает, плачет, смеется и сверкает. Обидно, что Словацкий не знал его, наверняка стал бы саксофонистом для обогащения своего стиля». О крематориях: они заменяют «бани с горячей водой» (крематории для краткости Боровский называет «кремо»). О голоде: «Человек по-настоящему голоден, когда смотрит на ближнего своего, как на блюдо». О женщинах, прибывших с новым транспортом: «О, экзотика — у них волосы... наши ребята живо освободят их от них, восхищаясь женской стыдливостью еще того «свободного» стиля». Если кто из освенцимцев умилится, вдыхая аромат травы, Боровский со злостью возразит: «Сырая земля пахла трупным запахом гниющей травы»; если другой заглядится на свет, идущий от прожектора, Боровский скажет, что этот свет «трупно-восковой» или что он «скользнул по лицам людей, как по побелевшим костям». Еще в Варшаве, перед отправкой в Освенцим, он шепчет над губами женщины: «Ты пульсируешь поэзией, как дерево соком» — и, наклонившись, добавляет: «Смотри, чтоб по нему не хватили топором». Топором!

А вот рассказ, который Боровский слушал вместе с остальными заключенными. Рассказчик встретил земляка, работающего при камерах. «Что с тобой, Моше, ты не в себе». — «Я нашел фотографию своей семьи». — «Чему же ты огорчаешься, ведь это хорошо!» — «Чтоб тебе так было хорошо, я родного отца в печь послал». — «Да не может быть!» — «Может, потому что факт. Приехал он с новым транспортом, увидел меня, когда я людей в камеру загонял, кинулся мне на шею, целует, спрашивает, что будет, жалуется, что голоден, два дня без еды. А тут командорфюрер орет — чего стоишь, работать надо. Что мне было делать. Ступай, говорю, отец, потом поговорим, видишь, я занят». И отец пошел в камеру. А снимок я вытащил уже после из его одежды. Так скажи, что тут хорошего, что я фотографию нашел?» Выслушав рассказ, пишет Боровский, «мы рассмеялись».

Самое неожиданное здесь, по-моему, не столько этот рассказ, сколько этот смех. Естественно, скажут, если бы слушатели выразили свой справедливый гнев и свое сочувствие несчастному Моше. А если этот смех сильнее?! Страшный смех? Циничный? Да, но это тут и хорошо. И так, бывает, надо. Так. «Что будет знать о нас мир, если победят немцы? — пишет Боровский. — Возведут ли грандиозные строения, автострады, фабрики, монументы высотой до неба. Под каждым кирпичом останутся наши руки, наши спины... И никто о нас не узнает. Наши крики заглушат поэты, адвокаты, философы, попы. Создадут красоту, правду и добро. Создадут религию». И Боровского охватывает безумная подозрительность: не всегда ли оно так было? «Только сейчас я понял

цену античности. Какие чудовищные преступления все эти египетские пирамиды, греческие храмы и статуи! Сколько ж это крови текло по римским дорогам... Да ведь эта античность была гигантским заговором...» — заговором против людей. «Ты помнишь,— продолжает он обращаясь к любимой женщине,— как я обожал Платона. Сейчас я знаю, он лгал. Ибо в земных вещах отражается не идеал, а кровавая работа человека. Это мы строили пирамиды, взрывали мрамор для храмов... Это мы гребли на галерах и тянули соху, а они писали диалоги и драмы, оправдывали именем родины свои интриги... Мы были грязны и умирали по-настоящему. Они были эстетичны и вели дискуссии...» И со страниц книги Боровского несется крик: «Нет красоты, если в ней заложена обида человека. Нет правды, если она эту обиду обходит. Нет добра, если оно это допускает».

Говорят, что Боровский, признанный всеми талант, после своих освенцимских новелл не смог уже написать ничего художественно ценного и вскоре умер (не поэтому ли умер?). По-разному толкуют, почему он исчерпал свой талант. Мне думается, он не исчерпал своего таланта, думается, он пожертвовал им. Он вывернул наизнанку то, что принято называть красотой, истиной, добром, чтоб очистить их, а время от времени они, эти вечные ценности, нуждаются в подобной чистке. Правда, такая операция дорого обходится — после нее Боровский уже не мог вернуться, чтоб начинать сначала. Он сделал то, что могли бы сделать другие, сделал это за нас. В варшавской газете «Культура» за 1963 год я читал очерк о Тадеуше Боровском и его печальном конце — очерк заканчивается словами: «Бедный Тадек!» — я сказал бы: «Спасибо, Тадек!»

Что завещал нам Боровский своей жестокой и трагической книгой? Не доверяйся красоте, если ей безразлична обида человека. И правде, если она эту неправду покрывает. И главное — добру. Ибо вывод из того, что пишет Боровский, таков: добро должно быть злым. Да, оно должно быть злым. При одном условии однако. Чтоб добру не понравилось быть злым, чтоб оно не соблазнилось легкой карьерой, какую в мире делает зло, и не взяло с него пример. При этом условии...

И наконец высшая ступень. Свою книгу «Конец нашего мира» Тадеуш Голуй предлагает рассматривать как повесть. «...Тем не менее это только повесть,— пишет он в послесловии,— но не хроника, дневник и автобиография». И все-таки эта книга выглядит как документ, как обширное свидетельское показание, автор лишь по своему усмотрению располагал данные действительности, хроники, дневника, автобиографии и так далее, чтоб более выпукло представить картину освенцимского ада. Голос фактов и событий заглушает голос отдельных лиц и самого автора помимо его воли.

Герой книги, краковский литератор Генрих Беднарек, созревает для сопротивления; его поражает мысль о том, что если заразителен страх, то заразительны также спокойствие и воля,— мысль, которая, взятая на вооружение, способствовала тому, что впоследствии «привилегия страха перешла к тем, кто его сеял». И урок, который извлекает из книги читатель, в том, что для спасения себя нельзя заниматься собственным спасением и что самое спасительное чувство у человека есть чувство борющегося человека. Вот эта высшая ступень. Живульска назвала свою книгу «Я пережила Освенцим», Голуй мог бы назвать свою «Я одолел Освенцим».

Генрих Беднарек включается в работу антифашистского подполья в Освенциме, которым руководят коммунисты, он отдает себя в распоряжение партии и делает это не только из личных побуждений, ненависти к врагу и духа возмездия — для него это сознательный акт. «Ген-

рих уже неоднократно продумывал свою жизнь и если возвращался к этому снова, то потому, что хотел знать. Нет, жизнь одиночки не имеет никакого смысла, никакой цели, никакого значения. Вообще не существует одиночки... И если бы вдруг весь мир вымер и остался только один человек на земле, он не был бы один... Нет существования, есть сосуществование. И это сосуществование надо организовать, придать ему смысл. Умру ли я сейчас или нет... это не имеет для меня никакого значения как для одиночки, поскольку я и так смертен, но имеет значение для... товарищей». Генрих, погруженный в беспросветную темноту камеры, часами размышлял без тоски и отчаяния... «...И надо, чтоб этот смысл и цель были полной противоположностью освенцимскому царству, царству СС. Коммунисты, непременно коммунисты...» Он говорит на эту тему одному из руководителей подполья, Зыгмунту, говорит «холодным бесстрастным голосом, от которого мурашки пробежали по спине Зыгмунта».

Что-то от этого жестокого голоса, от этой безжалостной, которой не остановишь, решимости есть и в стиле, в духе самой книги Голуя.

...В последний раз я обхожу территорию Освенцима, смотрю на его блоки, на чахлую растительность, на его сумрачный, мглистый даже в этот майский день, малярийный пейзаж (эсэсовские врачи установили, что освенцимская вода не годится «даже для полоскания рта»). Я захожу во двор между 10 и 11 блоками, стою у «черной стены», «стены смерти», — в этом небольшом дворе были расстреляны двадцать тысяч человек. Достоевский говорил, что земля от поверхности до недр пропитана страданиями — где эта земля? — вот она! Медленно прохожу мимо поблескивающих холодом высоких стен колючей проволоки. Все это время, что мы здесь находились, я ловил себя на том, что невольно поворачиваю лицо к небу, каждый раз поглядываю на небо. «Почему же, — спросил я себя, — на небо? Ведь как раз небо здесь такое же, какое оно повсюду, — почему же?» — пока сам себе не ответил: «По э т о м у».

4. Поездка в Желязову Волю

Сажусь в автобус, чтоб ехать в Желязову Волю, родину Шопена — километров пятьдесят от Варшавы, — и рассчитываю, что уложусь в эти два часа дороги, успею подготовиться к предстоящему визиту. Обычно в подобных случаях, настраиваясь, я внутренне изолируюсь от коллектива и недружелюбно смотрю на того, кому как раз в этот момент пришла в голову мысль пообщаться. Но, взглянув на своих сегодняшних спутников, замечаю, что они тоже готовятся, молчаливо договариваясь не мешать друг другу.

Шоссе в Желязову Волю обычное, как все шоссе, необычно оно лишь тем, что ведет в Желязову Волю. Бедная растительность сопровождала нас с обеих сторон дороги, чтоб в конце ее разразиться неожиданным изобилием цветов и деревьев.

Парк, окружающий домик Шопена, знаменит тем, что в нем посажены деревья и кустарники, привезенные со всех концов Польши, со всех сторон мира — вишневое дерево из Японии, голландские тюльпаны, белые ели из Кордильер, ирландский можжевельник; в день, когда мы там были, представители Канады сажали дерево, привезенное с их далекой родины, чтоб и оно склонилось над колыбелью Шопена.

А сейчас, пока мы еще ехали, мимо проплывали вербы, одинокие ветлы и сосны, скромная польская природа, порой какая-то сиротливая, сиротская, особенно в пелене дождя, сквозь которую мы проезжали, а порой, когда выглядывало солнце, простодушно, незамысловато весе-

лая. Пейзажи показались мне однообразными, я отвернулся от окна и неожиданно замер. Я был наказан за свое равнодушие, мне вдруг вспомнилась почему-то (а возможно, и естественно) мазурка Шопена, та, которую называют «пальмейской» по имени города Пальма на испанском острове Майорка, куда Шопена увезла Жорж Занд и где он написал эту мазурку.

Шопена привлекали роскошные виды Майорки — пальмы, кактусы, лимонные и гранатовые деревья, и все же он вырывался из этого окружения, убегая в своей мазурке под сень родных ветел. И потому, что он преодолел эту пышность юга, он с особенной проникновенностью обнаруживал в своих вербах их незамечаемую и наивную красу. И вот я уже не отрываюсь от окон, словно мне деликатно дали понять, что без общения с этой природой моя встреча с Шопеном может и не состояться.

Заодно мне вспомнилось, что на Майорке Шопен закончил свои прелюды, и, так как я их выделяю для себя в музыке Шопена, я стал размышлять о них в столь необычной обстановке. До этого случая я редко вдавался в них, попросту слушал и если порой знакомился с соображениями музыковедов, то это как-то не сливалось у меня с Шопеном. Шопен был на одной стороне, а соображения — на другой. Я не виню музыковедов, себя виню, но отчасти все же и музыковедов, ибо когда они распределяют Шопена на трисли, септаккорды и лидийские кварты, то Шопен, пользуясь тем, что их внимание отвлечено, потихоньку удаляется, чего они, занятые делом, не замечают.

Я не иронизирую, напротив, почтительно слежу за их анализом, но все же как быть, если, имея на руках квартсекстаккорд первой ступени ля-минора в пятнадцатом такте, я не имею Шопена? И не прав ли Ежи Брошкевич, который в своей книге о Шопене рекомендует «играть не ноты, а музыку», воспроизводя давний совет Гейне слушать Шопена «не только ушами, но также и душой»? И не замечательно ли, что Франц Лист («Я хотел бы украсть у него манеру играть мои собственные этюды», — пишет о Листе Шопен) в своей книге о Шопене старается не говорить языком специалиста (ни одного нотного примера во всей книге), а только слушателя, чтоб уловить «дух Шопена». И действительно, когда он пишет о шопеновском обаянии, «неуловимом и проникновенном подобно легкому экзотическому аромату вербены», или о «колебании лазоревых волн его настроений» и поэтому советует исполнять Шопена «с известной неустойчивостью в акцентировке и ритмике», разве он не приближает нас к пониманию Шопена?

Как хорошо было бы одним словом выразить, что такое Шопен, как выражает его само слово «Шопен». Приближались к такому определению, когда называли Шопена поэтом фортепиано, или Рафаэлем фортепиано, или Ариелем (дух воздуха в шекспировской «Буре»), когда говорили о его «голубом» или «лунном» тоне, но только приближались. Вероятно, когда-либо и найдут это драгоценное слово, учитывая настоячивые заявки просто слушателей.

Видный музыковед однажды спросил у меня, просто слушателя, о моем впечатлении от музыки, которую мы вместе слушали, и когда я удивился, зачем ему, знатоку, моя наивная реакция, он признался, что как раз эту наивность, всячески нужную ему, он сам, увы, давно потерял. А разве не для нас, просто слушателей, и предназначена музыка?

Прелюды писались и до Шопена, но они служили вступлением к более обширным музыкальным формам, у Шопена они стали самостоятельными. Почему же тогда прелюды, то есть предисловия, к чему, собственно, предисловия? Не к жизни ли предисловия, к жизни и смерти, к любви, к беде и горю, к счастью?!

Когда я слушаю первый прелюд, пылкий и взволнованный, я неизменно вижу юную девушку: она бежит по зеленому лугу, повинувшись смутному побуждению, размечтавшаяся, разбурянная, и вдруг, оробев, замедляет шаги и останавливается задумавшись. Этот прелюд есть как бы вопрос, а остальные двадцать три — ответ на него. Я сказал «девушка», но можно сказать «Польша», слить их обеих, — и не выразит ли это сочетание Шопена, воплощение им того, что называют «польский характер»? Этот синтез индивидуальности (самолюбиво подчас отстаиваемой) и судьбы родины, столь дорогой каждому поляку, когда его ущемленность в том и другом настойчиво ищет своего восполнения, что и приносит Шопен? Имеется в виду не только индивидуальность Шопена, но вообще индивидуальность, возвышенно поддерживаемая в нас Шопеном.

Может быть, это субъективно (хоть я слышал об этом и от других), но среди многих голосов, даже более значительных, чем шопеновский, — голосов, которые я не всегда берусь различать, — голос Шопена я узнаю безошибочно.

Фортепиано — самая богатая индивидуальность среди инструментов — позволяло, однако, Шопену далеко выходить за ее пределы, в личности вместить народ. И не только польский, скажем тут же.

Конечно, когда мы слушаем Шопена, мы вспоминаем Польшу, когда едем по Польше — вспоминаем Шопена. Но, признаться, меня резануло, когда в Желязовой Воле женщина (кажется, учительница), слушая концерт Шопена и отерев увлажненные глаза, шепнула столпившимся около нее детям: «Только поляк может по-настоящему понять Шопена!» Я не согласился с этим, так же как не согласился бы, если бы кто-либо сказал, что только русский способен по-настоящему понять Достоевского, хотя, слов нет, Шопен — очень поляк, а Достоевский — русский.

Я не удержался, чтоб не сказать об этом женщине (мы сидели рядом перед раскрытыми настежь окнами домика, откуда неслись звуки фортепиано), и добавил, что, например, русские музыканты, сидевшие за тем же роялем, за которым играет сейчас польская пианистка, увозили из Польши первые премии шопеновских конкурсов и жюри давало им эти премии не потому ли, что они «по-настоящему» понимали Шопена? Женщина закивала головой и, показав на окружающих — тут были и французы, и русские, итальянцы, был индус, был негр, — сказала с усмешкой: «Волхвы, пришедшие поклониться младенцу Иисусу». Она охотно соглашалась с тем, что мир покорился Шопену, но видно было, что осталась при своем мнении.

Я промолчал, но про себя продолжал с ней спорить. Ведь человек, который слушает по радио, например, двадцатый прелюд Шопена, может и не знать, что это трагический голос восставшей Польши, раздавленной сапогом Николая I, может не знать, что это Шопен, и не знать даже, кто Шопен, — но разве этот голос не потрясает его чувством народной скорби и мужества? Лучше, конечно, если бы он все это знал, это обогатило бы его понимание музыки, но даже, все зная, не поднялся ли бы он одновременно к новым духовным высотам? Ведь, слушая музыку прошлых времен, мы преломляем ее через свое время, через восприятие сегодняшней жизни. «Различные эпохи слышат различно», — заметил Шуман. История не повторяется. Бывает, конечно, что повторяется. В фильме, показывающем раздавленную Гитлером Варшаву, медленно проходят окровавленные руины великого города — зрелище, которое без слов трагически комментирует двадцатый прелюд (очень уместно упоминает об этом Игорь Бэлза в своем исследовании о Шопене).

Двадцать четыре шопеновских прелюда можно назвать «Жизнь человека» — маленькая энциклопедия человеческой жизни, и каждый

человек, какие бы испытания ни встретились в его жизни и еще встретятся, найдет их отражение в этих прелюдах. Прелюды, правда, миниатюрны, некоторые даже меньше минуты, но иные из них можно развернуть в сонаты или даже симфонии, потому что они состоят из множества тончайших и а м е к о в, поразительно угадывающих, что происходит у нас в душе. Слушая Шопена, больше, чем в каком-либо ином случае, оказываешься наедине с собой. Это семена, брошенные в нас с уверенностью, что они там расцветут. Да, все заключено в этих прелюдах. И самые таинственные движения нашей души, о которых мы сами не знали, пока их не открыл нам Шопен (а может, даже приобрели их после этого). Заключено в этих прелюдах и то, что, увы, прошло и чего не вернешь, но без жалоб на судьбу. Раздумия: и само лишь состояние и раздумья, безотносительно к теме, столь ведь привлекательное, и раздумье приподнятое, воодушевленное, сосредоточенное, напряженное. И порыв мечты, и срыв ее, и снова полет — такой стремительный порой, что еле за ним поспеваешь. И безоблачное созерцание, — и в нем на миг вспыхивающие, чтоб тут же рассеяться, сигналы тревоги. И игра страстей, бурные сомнения, бурный внутренний диалог. И взрыв жизненных сил. И скорбь, печаль. (Шопеновская «печаль не содержит в себе «не хочу жить»... а тоже жизнь», как прекрасно однажды выяснил Асафьев, к чему можно бы еще добавить, что если и бывает «не хочу жить»¹, то как момент упадка, а не как убеждение, а стало быть, как одоление.) Одиночество. И мужественный дух решимости... Возникает такая обнаженность чувств, что Шопен приглушает их, набрасывая на них прозрачный покров, чтоб мы издали, на дистанции наблюдали это шумящее и в нас и вокруг нас житейское море то с молниями над ним, то с мирной луной. Смятение переходит в упование, Шопен обнадеживающе переходит от минора к мажору и снова беспощадно будоражит. Верен ли, к слову сказать, совет музыканту (в одном солидном труде) по своему усмотрению компоновать прелюды, разве они не расположены закономерно и не перекликается ли с первым прелюдом последний, когда его три медленных и тяжелых заключительных удара звучат как трубный глас, предостерегающе призывный?

Скажу только, что за эти двадцать четыре мига (даже самые краткие — неисчерпаемы) по дороге в Желязову Волю передо мной прошла вся моя жизнь — она даже пронеслась несколько вперед...

Въезжаем в окрестности Желязовой Воли — по сторонам деревенские дома, у таких же открытых окон простаивал некогда мальчик Шопен, слушая польских «грайков», сельских музыкантов, звуки мазурок, куявяков и оберек. По этим мазовецким лугам и перелескам, среди полевых цветов бегал маленький Фрицек, собирая мед своей музыки...

Желязова Воля!.. Мы спускаемся с автобуса, направляемся через парк прямо к белому дому Шопена, входим и останавливаемся перед огромной вазой, полной живых цветов, — в этом уголке родился Шопен, — и вот мы уже слышим детский плач.

Детский плач Шопена. Однажды, когда его мать играла на рояле, ребенок расплакался, она перестала играть — и он пуще заплакал, и пани Юстына пристально взглянула на сына, предчувствуя в нем Фридриха Шопена. Возможно, что этот рассказ-легенда выдуман, но ведь бывает, что можно выдумать правду, как, например, в этом случае.

Сегодня — воскресенье, и Желязова Воля особенно оживлена. Приезжают сюда охотнее, чем уезжают, уезжают как можно позже, чтоб побыть весь день у Шопена.

¹ Шопен писал о себе: «...Внутри что-то меня терзает... желание жить и вдруг желание умереть».

Маршрут, по которому вы обходите эти места, вы произвольно выбираете так же, как и другие посетители, не сговариваясь. Вы входите в дом, пробираясь в толпе, слушающей Шопена, и, остановившись, сами слушаете. Вы слушаете, и у вас возникает потребность пройтись по парку, чтоб пережить про себя эту музыку, — здесь, как нигде и никогда, вы связываете ее с автором: и когда бродите по тенистым аллеям, и когда, облокотившись на перила мостика над речкой с ее старинным, а ныне символическим названием Утрата, следите, как густо в ней отражаются сплетения веток и листьев. Утрата еще помнит прислушивающегося к ее шуму мальчика, и мы сейчас слушаем этот шум. Вы снова подходите к дому и у открытого окна — если не найдете свободного места на скамейках, то прислонившись к дереву, — слушаете и снова уходите в глубь парка.

Парк в Желязовой Воле содержится в образцовом порядке, а вернее сказать, в беспорядке — в образцовом художественном беспорядке, — вы можете забрести в уголок (до вас, кажется вам, тут никто не бывал), полном даже не тишины, а недосказанности: по дорожкам, по листьям пробегают гени, полутени, оттенки, отблески, «обертоны» — природа приноравливается к музыке Шопена. Сегодня, повторяю, людно, и, свернув в незаметную аллею, вы и там встретите людей, но вы не мешаете друг другу, Шопен одновременно и разъединяет и объединяет вас. Старый человек на скамейке читает книгу; я нагнул голову, чтоб взглянуть на обложку — «Образ любви» Ежи Брошкевича.

Кто не читал ее, пусть прочтет, она издана у нас в превосходном переводе Ю. Мирской. Книга поэтическая, но автор начинает с того, что можно назвать «деромантизацией» Шопена, то есть нашего представления о Шопене, еще лучше сказать: «десентиментализация». Мало, вероятно, кто этого избежал, и пишущий эти строки не уверен, что не впадал в подобный грех, и сейчас пользуется случаем, чтоб сделать соответствующую поправку ссылкой на книгу Брошкевича. Приходилось читать книги о Шопене (и у нас написанные), авторы которых идут не от музыки Шопена к восторгу перед ней, а от восторга к музыке, что накладывается и на музыку, и на облик самого Шопена печать умиленности.

Брошкевич пропускает это восприятие через сильный реалистический фильтр. Он не спешит молиться на занавески в доме Шопенов: «Оставим в стороне вопрос о козетках и вышивках». Возвышенное Брошкевич сводит к обыденному, не боясь, что пострадает Шопен, напротив, надеясь, что выиграет. Шопена называли «хрупким», Брошкевич пишет «тщедушный», обстановку в парижской квартире Шопена находит «бонбоньерочной». Шопен был человек как человек, грешный человек, случалось, он усваивал «сентиментальную позу и манерность», случалось, пользовался своим «донжуанским опытом».

Старательно и, кажется, с большим удовольствием Брошкевич убирает тот ореол, которым легенда окружает возлюбленных Шопена. Спросят: разве в ляргетто из концерта фа-минор не воплощена любовь Шопена к Констанции Гладковской? Да нет, отвечает Брошкевич, вовсе не к Гладковской, а «к придуманной им идеальной женщине». А у Марии Водзинской, «маленькой Марии», на пакете с письмами которой Шопен написал: «Мое горе», Брошкевич доискивается прозаического истока ее поэтичности. (Правда, Брошкевич не присоединяется к сонму атакующих Жорж Занд, и то сказать: их много, а она одна!) Брошкевич подмечает дальше обывательские настроения у пана Миколая, отца Шопена, и прохладен даже к пани Юстыне (и это уже напрасно, на наш взгляд), недооценивая любви матери и сына. Словом, он очищает место, прежде чем воздвигнуть фигуру народного поэта Польши, подтверждая на примере

Шопена слова Норвида: «Прекрасное — это образ любви» — любви к родине.

Снова возвращаюсь в дом. Из его экспонатов больше всего запоминается рука Шопена, ее слепок, — она выразительна, как бывает выразительным человеческое лицо, — рука нервная, впечатлительная, в ней замер трепет жизни, еще не угасшей. Мне вспомнилась эта рука, когда в Кракове в Мариацком костеле я увидел на знаменитом триптихе Вита Ствоша руки богородицы, уронившей тонкие пальцы, источающие любовь, — «образ любви» матери к сыну. Галине Богданович (в ее очерке о Мариацком костеле) эти руки напоминают «подрезанные цветы» — из них уходит, но еще не ушла жизнь... Рука Шопена, кажется, пульсирует от доносящихся звуков фортепиано. Мы слушаем Шопена, глядя на его руку. Слушая Шопена, смотрим на его портреты, развешанные на стенах.

Портреты Шопена напоминают его музыку одухотворенностью и романтическим профилем, но в большинстве их скорее отражена созерцательно поэтическая сторона его творчества. Делакура рассмотрел его ближе — вот его портрет Шопена: из самой глубины струится энергия и в глазах не задумчивость, а ищущая мысль. Да, этот вот Шопен создал свой знаменитый этюд при вести о падении Варшавы, музыка — ответ бунтарский, воистину повстанческий, несдающийся, справедливо названный «революционным»... Заодно скажу еще об одном портрете, правда, написанном не красками, а словами, в пьесе Ярослава Ивашкевича «Лето в Ноан». В ней рассказано, что такое «художник», в чем «природа художника» — та полнота отдачи, когда нет уже ни дня, ни ночи, ни того, что мы называем «быт» или даже любовь. Он непрерывно «там», где бы он ни был и что бы ни делал, порой даже возникает впечатление обреченности, нелегкая жизнь, не такая уж завидная жизнь художника, какой она многим представляется...

Толпа растет, люди стоят почти что вплотную, прижатые друг к другу; атмосферу, царящую здесь, можно передать двумя словами: расстроганность и торжественность. Слушают дети, притихшие под влиянием обстановки или музыки; у детей, в отличие от взрослых, за каждым поворотом открывается неожиданный мир, и здесь также. Слушает старуха с пергаментным лицом — она углубилась, кажется, больше в себя, чем в музыку; бывает, что музыка — лишь дальний аккомпанемент к нашим личным переживаниям и воспоминаниям. А вот мужчина рядом, с румянцем во всю щеку, напротив, слушает только музыку. Он сложил руки на груди, глаза его блестят и губы шевелятся, словно повторяют, смакуя несколько гурмански, каждый такт мазурки. Группа солдат — один старается слушать, другой уже целиком в музыке, а вот этот, видать деревенский парень, первый год службы, слушает, удивленно приоткрыв рот, точно что-то узнает — не себя ли?

После Желязовой Воли я еще раз встретил подобный взгляд в Лазенках в Варшаве, когда под памятником Шопену установили рояль, раздались аккорды и собралась толпа. Кстати, с этим памятником много связано у варшавян. Гитлеровцы убрали его, так же как вообще наложили вето на Шопена, они поверили Шуману (вероятно, потому, что он тоже был немцем), сказавшему некогда, что шопеновская музыка — это «пушки, прикрытые цветами», и вот решили разоружить поляков. Это не удалось. Шопена исполняли тайком от оккупантов, играли, запершись дома, и прекращали, если кто стучался в дверь, словно читали запрещенную литературу, — Шопен участвовал в движении Сопротивления.

Когда в Лазенках играют Шопена, собирается по большей части случайная публика — не обычные посетители концертов. Так было и на

этот раз, когда я зашел в Лазенки,— уже стояла большая толпа. Проходили молодой человек с девушкой, они оживленно, перебивая друг друга, разговаривали и смеялись, ничего не слышали, кроме друг друга. Кто-то сделал им замечание, и они испуганно замолкли.

И тут я обратил внимание на старика. Хромая, он прошел мимо нас, опираясь на палку, и, уже удаляясь, вдруг остановился и обернулся, словно его окликнули. Он стал слушать, вслушиваться в музыку, сам не замечая, как удивленно приоткрыл рот,— не почудилось ли ему нечто знакомое-знакомое, хотя он, может, и не любитель концертов.

Есть много музыковедческих работ, прекрасно доказывающих связь Шопена с народной музыкой; это, правда, специальные исследования, трудные для восприятия. Но есть более доступный метод убедиться в их правоте. Поставьте себя дома пластинку Шопена, а после нее пластинку ансамбля «Мазовше», снова Шопена и затем «Мазовше» и вы будете поражены, как они накладываются друг на друга, как взаимно сплетены.

В Шопене узнал себя и молодой солдат в Желязовой Воле, и старый инвалид в Лазенках. Так было и тогда, когда впервые появился Шопен,— он сразу был признан — явление не столь частое в искусстве.

Шопен дал свой первый концерт, когда ему было восемь лет (по этому случаю мама нарядила его в коричневую бархатную курточку и белоснежный кружевной воротничок, и когда Фридрика спросили, как его принимала публика, он, сияя, ответил: «Все смотрели на мой воротник»). Говорят, что в его успехах было много от сенсации, от того, что выступал «вундеркинд», аристократические салоны наперебой приглашали его, появилась мода на Шопена. Не без этого, естественно. Но напрасно биографы слишком подчеркивают: мода, мода. Да, мода, но не только мода. Говорят также, что даже те, кто тогда понимал Шопена, вряд ли по-настоящему его понимали. Пожалуй. И все же понимали. Ведь главное было в том, что Варшава, Польша увидела себя в Шопене, заглянула благодаря ему в собственную душу,— значит, не только в будущем, но еще тогда возникла потребность в национальном самопознании, и вот они явились — Шопен, Мицкевич, Словацкий...

Помните, тогда же, после концерта в Лазенках, я, чтоб продолжить свой шопеновский цикл, стал обходить памятные шопеновские места в Варшаве и закончил посещением Общества для изучения и пропаганды Шопена. Не могу не упомянуть о нем в этом очерке. Я поднялся по торжественной мраморной лестнице старинного дворца Острожских, и по тому, как меня встретили, понял, что меня давно там ждали и уже беспокоились, почему я задерживаюсь, хотя до того, как я сюда поднялся, они даже не подозревали о моем существовании. Раз вы пришли сюда — значит, вы друг Шопена, а так как миссия Общества — увеличивать число его друзей, то вот, стало быть, еще очко!

Познакомившись с сотрудниками Общества, я пришел к глубокому убеждению, что все они — быть может, будет грубо, если я скажу «помешаны на Шопене», но что поделаешь, если это действительно так! Водила меня по залам Общества сотрудница, но со стороны могло показаться, что не она меня, а я ее вожу, судя по тому восторгу, который каждый раз вспыхивал на ее лице и который я, конечно, искренне разделял. Наконец она привела меня в необыкновенно изящной архитектуры зал, посередине которого стоял раскрытый рояль — это был последний рояль Шопена, привезенный сюда из Парижа. Сотрудница оставила меня одного, сказав, что сейчас вернется, и я, глядя на рояль Шопена, подумал, что хорошо бы иметь что-либо на память об этом месте. Я нашел сувенир.

Оглянувшись, нет ли кого, я нажал клавишу рояля Шопена. Раздался слабый звук «ля», и только он растаял — вернулась сотрудница с альбомом Шопена. «Вам на память», — сказала она. Я не знал, как мне

скрыть свое замешательство, хотя — бог свидетель! — совершил свой поступок в состоянии аффекта (под влиянием здешней обстановки). Лучшее поздно, чем никогда, — и вот я сообщаю Обществу Фридерика Шопена в Варшаве о своей покраже в надежде, что чистосердечное признание... и т. д. Могу еще добавить, что я увез с собой в Москву и это свое прикосновение к клавишу, и это «ля», я не расстанусь с ним, особенно сейчас, когда пишу этот очерк. И подобно тому, как музыкант настраивает на «ля» свой инструмент, так же и я настроил на него свое перо, только вот не знаю, достаточно ли этого...

Все это случилось уже впоследствии, а пока что я и мои спутники продолжаем стоять в белом домике Желязовой Воли и слушаем скерцо Шопена. К сожалению, мы его не дослушали. Пани Нина, сопровождавшая нашу группу, тихонько поманила нас — и верно, час был поздний. Мы вышли из дому, в последний раз прошлись по аллеям парка, заняли свои места в автобусе и ехали молча всю дорогу, до самой Варшавы.

ОТ РЕДАКЦИИ

«Польский дневник» остался недописанной книгой.

Ю. Юзовский бывал в Польше неоднократно. С этой страной его связывали и давние воспоминания детства, и сердечная дружба со многими польскими литераторами, артистами, художниками. В 1963 году, задумывая свою новую книгу, он снова отправился в Варшаву, но там вскоре гяжелю заболел. После возвращения в Москву он мужественно продолжал работать над рукописью, не прекратил работу даже на больничной койке и за два дня до смерти еще передавал в редакцию последние написанные им страницы. 15 декабря 1964 года талантливый критик и писатель Ю. Юзовский умер.



ДЮЛА ИИЕШ

★

СТЕКЛЯННЫЙ МИР

С венгерского

Стал прозрачным и звенящим
Лист в саду,
Как фарфор — багряный, желтый —
На свету.
Держат веточки
Прозрачный свой сервиз,
Не шелохнутся,
Чтоб не упало вниз.

А в саду плодовом
Трепетно, светло,
Словно в лавочке,
Где лампочки, стекло.
«Осторожно, — слышу,
Сердце говорит, —
Не разбей того, что светит
И горит».

А бывало, я любил
В осенний день
Потрясти деревья,
Стать под проливень
Золотой. И как приятно
Было сметь
В ливне света вызвать
Красок этих смерть.

Осторожно я вхожу
В осенний сад,
Где фарфоровые чашечки
Висят.
Больно, если красоту
Не сберегли.
Я страшусь за все сокровища
Земли.

Уж прозрачна и стеклянна
Не листва,

А весь мир и все
Земные существа.
И сердца и лица
Трепетней ветвей.
Пощадит ли их
Осенний ветровей?

Нету ветра. И теплом
Осенних дней
Дышит сад и вся природа,
Тем больней,
Что в саду, еще недвижимом
И густом,
Тихо-тихо лист слетает
За листом.

Перевел Д. Самойлов.



ГЕНРИХ БЁЛЬ

★

ИГРА В ТРИ ЛИСТИКА, КРАЙ ИНЪЕКЦИЙ, БОЕВАЯ ГРУППА

Рассказ

В марте 1945 года передо мной встал вопрос: «Куда спрятаться дезертиру, если к нему может подойти первый встречный, приставить револьвер к груди и застрелить?» На этот вопрос я ответил так: «В той армии, откуда дезертир сбежал»; очевидно, я находился под влиянием Честертона, у которого еще мальчишкой вычитал однажды: «Где спрячет листок мудрец?» — «Конечно, в лесу». Но мудрецом я не был, логикой не владел, а главное, мне не хватало последовательности. Не прошло и недели, как я оказался на исходных позициях, но, прежде чем оказать ся там, снова задал себе вопрос: «Какое укрытие надежней всего для дезертира?» Ответ гласил: «Пулемет образца 1942 года, с которым дезертир не умеет обращаться». Придумал я здорово, но ни мудрости, ни логики, ни последовательности у меня от этого не прибавилось. Уже километров через семь пулемет показался мне непосильной тяжестью, я утопил его в выгребной яме неподалеку от деревушки Дринзаль, между Вальдбрёлем и Нюмбрехтом. Это был бы самый остроумный конец войны. Но, к счастью, мне не суждено было закончить войну таким остроумным и ловким способом. По пути к дому (жена моя находилась всего в двенадцати километрах от меня) я заблудился: вместо того чтобы выйти к западу, угодил на восток и вдруг почувствовал, что к груди моей приставлен револьвер не в переносном смысле, а в совершенно буквальном. Дуло было твердое, и его крепко прижимали как раз к тому месту, где у меня билось сердце.

Это был последний (и притом самый впечатляющий) привет от немецкого вермахта.

Следующий вопрос можно сформулировать так: «Каким образом создается боевая группа?» Ответ: «Надо зарядить револьвер, взвести курок, встать у перекрестка, лучше всего в темном парадном, и ждать солдата, который либо отбил ся от своей части, либо с миром покинул ее. Лишь только солдат появится, следует подойти к нему энергичным шагом, приставить к его груди заряженный револьвер со взведенным курком и потребовать, чтобы он незамедлительно присоединился к вновь созданной боевой группе. При этом надо помнить, что ты должен не только выстрелить, но и застрелить. Право на это предоставлено приказом самого фюрера; стало быть, ты прав: убивай любого и каждого, кто отказывается пополнить своей особой вновь формирующуюся боевую группу. Впоследствии можно сослаться на приказ о чрезвычайном поло-

жени. Ибо кто-кто, а мертвый уж не нарушит приказ о чрезвычайном положении.

Кроме револьвера, патронов и решимости убивать, требуется всего лишь соответствующая историческая ситуация».

В марте — мае 1945 года соответствующая историческая ситуация создалась. Налицо был приказ фюрера, и бродячие солдаты имелись в достаточном количестве.

И вот 8 апреля 1945 года я был включен вышеописанным способом в боевую группу у Брюхермюле, снова вооружен пулеметом (с которым не умел обращаться) и несколько часов переживал дикий страх смерти (лесок между Брюхермюле и Айерсхагеном находился как раз в том квадрате, который методично обстреливался американской артиллерией), а на другой день в полдень поднял руки.

Брюхермюле расположен между поселками Зенгельбиш и Лиффельштерц, приблизительно в двух или в двух с половиной километрах северо-западнее Денклингена. Это местечко, как и все вышеупомянутые населенные пункты, можно найти на карте «Зиг — Зюльц — Агер — Брёлль — Ванбахталь», которая появилась в Трире (к сожалению, без указания года издания) в издательстве «Шаар и Дате» и была составлена Гансом Хольтцем, обер-землемером из Кобленца — Пфаффендорфа.

Последние этапы моей карьеры в качестве военнослужащего немецкого вермахта нижеследующие: боевая группа Брюхермюле, пересыльные лагеря в Вальдбрёле и Розбахе на Зиге, лагеря для военнопленных в Зинциге на Рейне, Намуре на Маасе, Атише на Эн, Ватерлоо близ Брюсселя, Вейце на Нижнем Рейне; место освобождения — Бонн. Именно в Бонне 15 сентября 1945 года меня освободили. Неясно только, откуда освободили. В плен я был взят американскими солдатами, под конец находился на попечении англичан, охраняли меня бельгийцы, за которыми внутри британской зоны был закреплен правительственный квартал Кёльна как их район оккупации. А освободили меня 15 сентября 1945 года почему-то из немецкого плена.

Обмундирование: венгерская офицерская шинель из тонкого сукна с красными отворотами, фланелевая рубашка английского происхождения, подаренная мне сердобольным американским негром, который сжалился над моей наготой; рубашка была мягкая и приятно штатского покроя, но на груди между накладным карманом и пуговицами, там, где у моего предшественника, который, надо полагать, был несколько выше меня ростом, помещалось сердце, я обнаружил дырочку от пули, художественно заштопанную умелой женской рукой. Башмаки — американские, штаны — американские, и такого высокого качества, что я таскал их еще года три. Носки, фуражка и носовой платок принадлежали немецкому вермахту. Личное имущество: жестяная кружка, на которой было начарапано мое имя, — целых пять месяцев она заменяла мне стакан, кастрюлю и тарелку; пустая литровая бутылка из-под бельгийского пива; четыре с половиной сигареты «бельга» и два куска мыла англо-саксонского происхождения. Лет мне было неполных двадцать восемь. Род занятий — студент. Впрочем, студентом я числился только для отвода глаз, это звание было, так сказать, маскировочного характера, переходным этапом между армией и уже описанным пулеметом. В последующие годы маскировка эта сослужила мне такую же полезную службу, как и предыдущие. Прежде чем выдать человеку продовольственные карточки, наши хозяйственные органы требовали, чтобы он указал профессию и род занятий, и вот, недолго думая, я указал и профессию, и род занятий, самовольно зачислив себя в Кёльнский университет. Иного применения этой маскировке я так и не нашел. Вскоре я стал облада-

телем еще одного документа с диковинным названием «рабочий паспорт». В паспорте я значился подсобным рабочим. И это не было ни маскировкой, ни попыткой отвести глаза. А между тем профессию и род занятий я выбрал себе уже в семнадцать лет — профессию писателя. Я писал, но не сознавался в этом, а если бы сознался, то в прежние времена мне не удалось бы миновать дурной компании, а в грядущие — длинных объяснений на тему, почему я в ней очутился.

Итак, меня освободили из немецкого плена, и произошло это в солнечный сентябрьский день под сенью раскидистых деревьев в боннском Дворцовом парке. Всем ясно и понятно, какое слово в этой фразе звучит абсолютно фальшиво. Мне даже совестно его подчеркивать, но все же вот оно: «освободили».

Примечательны записи расходов в старых записных книжках. 1 кг. муки, 500 г. масла — 325 марок. Месячное жалование учительницы. Буханка хлеба, 5 астр — 40 марок, 50 г. чая — 75 марок, коробок спичек — 5 марок, 4 сигареты — 32 марки, 25 г. чая — 37 марок 50 пфеннигов, 5 кг. картошки — 75 марок, газеты, журналы, книги — 60 марок. Месячное жалование учительницы. Гри должности одна за другой и два месячных оклада: за уголь (краденый) — 250, 220, 160 марок. Учительнице пришлось бы работать в этот месяц целых два месяца, а ведь месяц — это месяц. Месяц!

На электрический ток установили лимит, спекуляцию киловатт-часами на черном рынке еще не изобрели, а подкупить кого-нибудь не было возможности. Однако бывает, что писатель занимается своим ремеслом и после наступления темноты; кроме того, иногда у него мерзнут руки и ноги. Что за наглость! Ну и писатели нынче пошли! И вот мне разъяснили, как остановить счетчик: надо просверлить дырочку в запломбированной мегаллической коробке, обмотать ватой трех- или четырехдюймовый гвоздь и просунуть его в дырочку как раз напротив диска, который, вращаясь (оборот — красная полоска, оборот — красная полоска), подсчитывает использованные единицы энергии. Установив, что диск на самом деле неподвижен, следует вбить гвоздь, для верности понаблюдать еще немножко, и... неподсчитанный ток потечет через счетчик в сеть, даря вам свет и тепло. Беда заключалась не в том, что этот хитрый рецепт был сам по себе порочен, просто я неумело воспользовался им: вата сползла с гвоздя, и я совсем не заметил, как гвоздь поцарапал диск; из-за этих царапин меня сразу уличили, я даже не успел сам сознаться. Вернее было бы снять пломбу и магнитом вывести из строя диск. Правда, в то время некоторые типы получали специальное вознаграждение за каждого человека, которого им удавалось поймать на том, что он нарушал распоряжение хозяйственных органов вышеописанным способом, гочнее говоря: воровал электроэнергию. Основной принцип, действовавший на протяжении двенадцати лет нацизма, действовал и в ту пору: не пойман — не вор. Когда меня поймали, я сперва озлился, а потом почувствовал облегчение.

Продажа разлитого молока происходила так: пол-литровая кружка дважды погружалась в чан с молоком, дважды появлялась, наполненная доверху, и дважды опорожнялась в бидон. А потом мы каждый раз обнаруживали, что в бидоне не хватало восьмой части литра или даже четверти литра молока. Первое немецкое экономическое чудо свершилось задолго до того, как оно было зарегистрировано официальными инстанциями. Может, экономическое чудо — это вообще не что иное, как

экономический трюк, экономическое мошенничество, сплошной фокус-покус. Может, это просто игра в три листика, на которой попадают легкие руки. О, иллюзионисты голодных лет, вы проявили такую ловкость рук, что я считаю это вторым экономическим чудом. Непостижимо, почему две осьмушки масла не давали в общей сложности четверти кило. Ведь две осьмушки — это четверть кило, четверть кило — четверть кило! Три листика, три листика! Неужели мое время, твою работу, наши деньги разыгрывают краплеными картами? Наше время, наша работа, наши деньги улетели в трубу. Три листика! Где теперь ближайшая боевая группа и кто заряжает револьвер, чтобы приставить его к моей груди? Время, деньги, работа... или жизнь!

Первейшая заповедь всех буржуа, крупных и мелких: ничто не дается даром. Как сказагь! Адрес — английский, имя — ирландское. Содержимое некоторых посылок равнялось тринадцати окладам учительницы. Время, работа, деньги давались даром. Хорошее число — тринадцать! В Ирландии тринадцать называют пекарской дюжиной. Если ты покупаешь двенадцать яиц, тебе дают — и это случается даже в наши дни — тринадцать. В дюжине яиц, преподнесенных в подарок, обязательно бывает тринадцать яиц. Сердобольный негр, сжалившийся над моей наготой, подарил мне фланелевую рубашку, а крестьянин Петерс из Берцбаха ежедневно давал нам неснятое молоко.

Тогда у нас было больше честных спекулянтов, нежели честных торговцев. А теперь у нас всего лишь один министр экономики, и цены его не касаются.

Иногда меня спрашивают: «Как можно жить в Кёльне?» Отвечаю на этот бестактный, непристойно-снобистский вопрос не ради спрашивающих, а ради себя самого. А как можно жить в Гельзенкирхене — Роттхаузене, в Берлине, Нидердоллендорфе, Франкфурте, Обердрейсбахе или Мюнхене? Думаю, что лишь при том условии, что ешь свой хлеб, по мере сил трудиться, время от времени спишь, пьешь и так далее. (Впрочем, вопрос: «Как можно жить в Кёльне?» — типичен для нахалов новонемецкого образца, тех самых, которые с одинаковой непосредственностью торгуют старым барахлом и устраивают показы модных моделей одежды весьма провинциальных фасонов.)

Когда мы снова увидели Кёльн, мы расплакались. По скользкому от глины мосту, временному мосту без перил, перебирались мы из Дейтца в Кёльн; английский танк, который двигался нам навстречу, начал соскальзывать вниз и загнал нас почти в самый Рейн. Опять, уже в который раз, я пережил страх смерти.

Разрушенный Кёльн обладал тем, чем никогда не обладал Кёльн неразрушенный — величием и серьезностью. Неумолимая судьба попала в точку, хотя в военном отношении бомбежки Кёльна были совершенно бессмысленны. Однако этот город не мог быть разрушен: ведь мы решили в нем поселиться... Слезы, а на развалинах домов — венки и цветы, они сохранились еще с праздника Всех Святых.

Неразрушенный Кёльн был несерьезным и каким-то суматошным даже в те времена, когда свистели бомбы и в бомбоубежищах разыгрывались дикие сцены. И военный дух к нему тоже не пристал, хотя почти сто лет он являлся крепостью и крупным гарнизонным городом. Жестокосердие кёльнцев, скрывающееся под рейнским юмором, то жестокосердие, которое может довести и до уголовщины, было не по плечу помешанным на порядке корректным пруссакам. Кёльн так и не стал по-настоящему большим городом; его испорченность коренится

где-то глубже и не походит на пикантную испорченность заурядного большого города, которую так легко заснять на киноплёнку. Кёльн был правильней, он был благополучней любой неразрушенной идиллической деревеньки, любого захолустного городишки, где можно было бы спокойно воровать картофель, сажать табак, писать благополучные вещи, отдыхать и где клонило бы в сон.

А потом наступила пора, когда все немцы начали играть в популярную игру «вопросы и ответы» в ее немецком варианте: «Кто первый в стране?»: немецкие города вступили в своего рода соревнование — кто из них подвергся наибольшему разрушению? Для нас Кёльн был разрушен вполне достаточно. Когда мы там снова поселились, в нем было, по моему, тридцать тысяч жителей. Несколько лет вагончики, в которых вывозили щебень и обломки, были единственным видом городского транспорта; несколько лет в день Всех Святых пепелища домов украшали венками и цветами. (Куда их класть теперь?) Кёльн проспал дольше, чем другие разрушенные города. Он нуждался в специальных инъекциях, и он их получил. (Край инъекций, край инъекций, кто лишил тебя твоей серьезности и твоего достоинства?)

Непонятно почему, но я отказывался исполнить то, что пропаганда с великим энтузиазмом, на этот раз новодемократического пошиба, вменяла в первейший долг каждому немцу, который вернулся на родину. Непонятно почему, но я не желал брать в руки лопату и кирку и расчищать развалины. Мне, правда, казалось, что я делаю нечто большее и уже кое-что сделал. Но этим всего не объяснишь. И суть была не только в том, что я лентяй и что пресловутая немецкая «воля к возрождению», природу которой никак не уразумеешь, оставляла меня равнодушным. Быть может, глядя на своих соотечественников, которые стояли, опершись на лопаты и кирки, и разглагольствовали о войне, плене и политических ошибках, я слишком живо вспоминал столики завсегдатаев в пивнушках, а кстати, и боевые группы (теперь столики завсегдатаев и боевые группы опять вошли в моду, их уже снова рассматривают как образцы, достойные подражания).

Кёльн — большой город, и поселиться в этом разрушенном городе было единственной возможностью не потерять надежду. Вопрос: «Как можно жить в Кёльне?» — стал за это время еще более снобистским, еще более непристойным, чем раньше. Я узнаю в этом вопросе старое прусское (и не такое уж необоснованное) недоверие к Рейнской области, которая была присоединена к Пруссии только в 1815 году. Если уж ставить этот вопрос, то он давным-давно должен был звучать так: «Как можно жить в Германии?» А с этим связан еще второй вопрос: «Является ли Кёльн Германией?» Как ни удивительно, ответ гласит: «Да». Доля сомнения в этом «да», поскольку оно касается первого вопроса, кто бы его ни задавал, всегда сохраняется. Но для меня лично все сомнения отпали в тот дождливый ноябрьский день 1945 года, когда мы всей семьей — я, жена, сестра и брат — впервые после конца войны перебрались по скользкому от глины мостику без перил из Дейтца в Кёльн. В городе было не только тридцать тысяч жителей, там были еще две мадонны. Одна красивая — ее называли мадонной развалин, другая — некрасивая, большая, очень древняя, очень земная, несимметричная, с застывшим взором. Она стоит в церкви Девы Марии в старой крепости.

Перевела с немецкого Л. Черная.



ПУБЛИЦИСТИКА

П. ВОЛИН

★

КО ВСЕОБЩЕЙ ВЫГОДЕ

Заметки о материальном стимулировании

Инешняя хозяйственная реформа отличается от бесчисленных реорганизаций, проведенных в последнее десятилетие, не только своим характером, направленностью, основными принципами, но и, так сказать, технологией: она вводится не «кавалерийским наскоком», а постепенно, на протяжении нескольких лет, последовательно охватывая все большее число предприятий и отраслей нашей экономики. При столь серьезном преобразовании огромного и сложного хозяйственного организма это позволит избежать лишних потерь, обойтись без малоутешительных самооправданий, вроде «лес рубят — щепки летят». Чтобы щепки не летели или во всяком случае чтобы их было как можно меньше, нам придется еще не раз вдумчиво обращаться к недавним экономическим экспериментам, в процессе которых испытывались, проверялись на практике, шлифовались новые инструменты социалистического хозяйствования.

Один из интереснейших экспериментов был поставлен на Московском заводе имени Владимира Ильича: принципиально новый порядок материального стимулирования работников.

1

Наверное, ни один показатель промышленного производства не вызывал в последние годы такого яркого и справедливого недовольства, как пресловутый «вал». Я не стану повторять всех неместных отзывов, упреков и обвинений по его адресу, приведу лишь часть оглавления отличной книги известного авиаконструктора О. Антонова «Для всех и для себя». Вот названия ее глав: «Вал» против новой техники», «Вал» против высокого качества продукции», «Вал» против «напряженного» плана»; «Вал» — расхититель народных богатств»; «Вал» против учета», «Вал» против коммунистического отношения к труду» и т. д. и т. п.

Что же за чудовище этот «вал»? Как мог он возникнуть и существовать столь упорно и долго, нанося такой вред нашим хозяйственным делам?

Было время, когда мы сами, и вполне сознательно, сделали его основным, определяющим показателем в планировании и учете нашего производства. Мы были тогда бедны и только начинали строить. Родившись в первые годы восстановления разрушенного интервенцией и гражданской войной народного хозяйства, этот показатель сыграл немалую роль в развитии нашей экономики. Когда нам не хватало всего и вся, когда мы испытывали голод в самом необходимом, главное и первоочередное заключалось в максимальном увеличении выпуска продукции. Любой — от станков до гвоздей, от нефти и угля до обуви и спичек, от тракторов и электромоторов до мыла, кирпича и ситца. В достатке не было ничего, кроме разве энтузиазма и желания построить новую жизнь. А потому всяких промышленных изделий требовалось больше, больше и больше. Это «больше» и выражалось коротким, но вполне исчерпывающим, каждому понятным словом — «вал».

Времена, однако, изменились. Страна стала индустриально развитой и богатой. А «вал» с его «больше, больше, больше» продолжал господствовать в нашей экономике. Игнорируя качественную сторону деятельности предприятий и целых отраслей, отбрасывая все другие показатели работы, он беспощадно подстегивал хозяйственную машину в слепой погоне за максимальным выпуском продукции. Дорого обходится — пусть, зато растет количество (продукция оценивалась в ее стоимостном выражении). Хуже по качеству — не беда, зато ее больше. Потребителям столько не нужно — неважно, главное изготовить и отгрузить, остальное не своя забота. Требуются другие изделия взамен старых — закрывай на это глаза: ведь старые делать проще и легче... Так «вал» сделался главной помехой на пути дальнейшего движения нашей экономики вперед.

Этот показатель обладает весьма многосторонними «способностями». Одна из них — его подрывное влияние на материальное стимулирование в процессе производства. По существу он сводит на нет применение социалистического принципа распределения: каждому — по труду. В самом деле, согласно этому принципу человек должен получать за свою работу в зависимости от того, какую пользу он принес трудом обществу. Именно такая зависимость увязывает интересы всего общества с интересами каждого его члена. Но «вал» самым, что называется, беззастенчивым образом нарушает эту зависимость.

Представьте себе обычный случай: завод выпустил больше продукции, чем намечалось. Его работники и получить должны соответственно больше, так ведь? Совершенно верно. Коллективу — почести и премия. Но, оказывается, эта дополнительная продукция государству вовсе не требуется, ее и без того полно на складах. Больше того, сверхплановый ее выпуск приносит государству только вред, потому что в лишних изделиях замораживаются материалы и труд. Но ведь никому же не придет в голову, а если даже и придет, то ни у кого язык не повернется призывать коллектив производить... меньше. К тому же он, коллектив, прямо заинтересован в обратном, иначе снизится заработок. И выходит, что получают-то люди вроде бы и по труду, однако независимо от того, какую пользу принесли обществу и принесли ли ее вообще.

Печальной памяти «вал» теперь наконец повержен. Больше того, его влияние на материальное стимулирование начало прекращаться еще раньше. Несколько лет назад основным показателем поощрения инженерно-технических работников в промышленности стал показатель сверхпланового снижения себестоимости продукции.

Но тогда зачем же столько разговора об этом набившем оскомину «вале»? И все же разговор не лишний, и вот почему. Идея поощрять за сверхплановое снижение себестоимости, на первый взгляд, отличная. Кто станет возражать, что чем дешевле обходятся изделия, тем при прочих равных условиях выгоднее всем: и государству в целом, сберегающему затраты на их производство, и покупателям, и «авторам» этих изделий (коль скоро заработок последних соответственно возрастает)? Все дело, однако, в том, что отдельный показатель, взятый лишь сам по себе, характеризует только одну сторону, но не дает более или менее полной картины деятельности предприятия. Судить по такому показателю о достижениях завода можно весьма относительно и условно. Возьмите хотя бы тот же «вал». Не стань он «абсолютным монархом» в экономике, все было бы иначе. Им можно верно и вполне объективно оценить работу завода, если одновременно предусмотреть, что продукция будет выпускаться только та, которая необходима стране, да высокого качества, да с наименьшими затратами и т. д. — словом, если судить не только по «голому валу». Так же и с себестоимостью. Если задаться единственной целью — снижать ее и при этом забыть обо всем остальном, проку тоже будет мало. Можно, например, выпускать очень дешевые изделия, но такие, что потребитель на них и не взглянет. Словом, «голая себестоимость» ничем не лучше «голого вала».

Так вот, чтобы главный показатель, по которому производится материальное поощрение работников, не превращался в самоцель, его, как правило, окружают целым сонмом других, дополнительных, да так, что он буквально в них тонет. К чему это приводит на практике, покажем немного дальше. Сейчас же обратим внимание на другое: поощрение только лишь за сверхплановое выполнение одного показателя

вообще неправильно, оно ущербно для государства и развращающе действует на сознание людей.

Что получилось? Как только заработок стал зависеть от того, насколько удастся оторваться вверх от плана снижения себестоимости, коллективы предприятий начали стремиться получить задание поменьше, полегче.

Пока верстается план, на заводе не очень-то охотно делятся своими намерениями и возможностями. Вот когда план утверждают, тогда можно будет развернуться вовсю. На следующий же день в цехах громко заговорят о «скрытых» резервах и в многотиражке появятся повышенные обязательства. Впрочем, не создем вовсю, а тоже с расчетом. На предприятиях хорошо усвоили, что и перевыполнять план надо осторожно, не очень-то «зарываясь», придерживая кое-какой резерв про запас. Потому что сегодня перевыполнишь — завтра план соответственно возрастет.

Когда составлялся план на 1962 год, руководители Московского станкостроительного завода имени С. Орджоникидзе твердо заявили: как ни считай, как ни прикидывай, затраты на производство станков не могут быть меньше, чем 88,9 процента их отпускной стоимости. В совнархозе все же не согласились, запланировали себестоимость гораздо более низкую — 84,8 процента. Завод же добился себестоимости... еще более низкой — 84,5 процента. Чудо? Да никакого чуда не произошло, просто станкостроители хотели перевыполнить план по себестоимости не на 0,3 процента, а значительно больше. Такие же «чудеса» случались в то время и на «Красном пролетарине», и на «Фрезере», и на многих других столичных предприятиях. В совнархозе-то хорошо знали, что кроется за всеми этими «не можем», «не в состоянии».

Легко представить себе и то, сколько угрызений совести испытывают работники завода, доказывающие с пеной у рта начальству, что план им «не по силам», «завышен» — ведь про себя-то они думают совсем иначе. Но от того, как им удастся убедить начальство, зависит их заработок — не только личный, но и всего заводского коллектива. Право же, можно посочувствовать иному директору завода, мучимому и разрываемому тысячами противоречий. Положение его, ох, какое сложное, нелегкое. С одной стороны, человек, которому государство доверило руководство предприятием, и, как правило, вполне достойный такого доверия. А с другой стороны, коллективу «родной отец», пекущийся о вверенных ему людях, об их зароботке. Вот и попробуй-ка тут рассуди, избавься от бередящих душу сомнений.

Жизнь есть жизнь. Директора ходили в совнархоз, ругались с начальством и в конце концов «выбивали» планы, более или менее рассчитанные на перевыполнение...

И все-таки цель, преследуемая новым положением о материальном поощрении инженерно-технических работников, достигнута не была. Сверхплановое снижение себестоимости продукции из года в год падало. На заводе имени Владимира Ильича, например, оно сократилось за годы семилетки почти в четыре раза. На сорока московских машиностроительных предприятиях в целом — почти в два раза. В чем же дело? Ведь, казалось бы, предприятия поставлены в довольно-таки заманчивые условия, сумей только убедить совнархоз и добиться не слишком жесткого плана. Люди вроде бы могут таким образом получить за свою работу больше — жми лишь на снижение себестоимости сверх плана. И добивались, и «жали». А показатель этот, как видим, падал и падал. Странно, не правда ли? Между тем ничего странного в том нет. Потому что слово «могут» приобрело в этой ситуации все более иллюзорный характер. Стимулирующее назначение премиальной системы ослабевало.

Главный показатель работы, по которому шло премирование, как мы уже говорили, «тонул» в других. Он был окружен таким густым частоколом дополнительных плановых показателей, выполнение которых обязательно для выплаты премии за снижение себестоимости, что «продаться» сквозь них практически было чрезвычайно трудно. Если не удавалось дотянуть до намеченной цифры хотя бы один из десяти показателей, никакие остальные успехи во внимание не принимались. Это напоминало слалом: мчащийся с горы лыжник должен пробежать сложную зигзагообразную дистанцию, не задев ни одной вешки, — многим ли это удается? А ведь производство — не спорт, тут на чемпионатах и рекордсменах не выедешь.

Да и сам размер премий определялся каким-то непонятным образом. На одиннадцати столичных предприятиях за пять лет, с 1958 года по 1963-й, вдвое вырос показатель снижения себестоимости продукции и почти втрое увеличилась сверхплановая экономия. А размер и доля премий в зарплате инженерно-технических работников... уменьшились. Мало того, на заводах, где за это же время темп снижения себестоимости изделий уменьшился более чем в пять раз, абсолютный размер премий оказался выше, чем на тех одиннадцати предприятиях, на которых себестоимость продолжала снижаться ускоренными темпами и втрое возросла сверхплановая экономия. Парадоксально, но факт!

Сказывался тут еще и господствовавший в то время «волевой» стиль. Тот или иной коллектив нередко лишался премии простым, но никому не понятным распоряжением «сверху» (обычно — сознархоза). Причем чаще всего страдали передовые предприятия, у которых было что забрать. Логика (если вообще можно говорить в данном случае о логике) была столь примитивна, сколь и несправедлива: закрыть прорехи одних достижениями других, чтобы «в общем и целом» был ажур. Директор Уфимского завода синтетического спирта товарищ Петров рассказал о таком случае. Завод в прошлом году сумел добиться большого экономического результата: за восемь месяцев был получен один миллион шестьсот рублей сверхплановой прибыли. Часть ее должна была остаться на предприятии и могла быть израсходована на материальное поощрение работников, жилищное и культурно-бытовое строительство. Нужд таких у коллектива немало, на заводе строили радужные планы. И вдруг неожиданно-негаданно часть прибыли, пошедшая в фонд предприятия, была сознархозом забрана. Без всяких объяснений и предупреждений, просто так, за здорово живешь. Видимо, высказал предположение товарищ Петров, какое-то предприятие оказалось в трудном финансовом положении и мы чьи-то потери возместили.

Подобные случаи вовсе не были исключением. Как-то Московский горзавхоз резко повысил заводу имени Владимира Ильича годовой план накоплений. Сделано это было буквально в последний день года, когда выяснилось, что коллектив добился большой сверхплановой прибыли.

Большой ли резон был бороться за сверхплановое снижение себестоимости? Нет, непосредственно для производственников эта борьба теряла всякий смысл.

2

В прошлом году на заводе имени Владимира Ильича ввели принципиально иную систему материального стимулирования, предложенную группой ученых Московского инженерно-экономического института имени С. Орджоникидзе во главе с доктором экономических наук О. В. Козловой. Назначение этой системы в том, чтобы заинтересовать сам коллектив и в максимально напряженном плане по снижению себестоимости продукции, и одновременно в его перевыполнении. Казалось бы, одно исключает другое: чем план ниже, тем легче его перевыполнить. Но противоречие именно кажущееся.

Суть новой системы, коротко говоря, заключалась в следующем. Инженерно-технические работники премируются за выполнение плана снижения себестоимости, однако размер премиального фонда зависит от того, насколько этот план выше прошлогоднего. Станут ли тут «бороться» за легкий, минимальный план? Нет, разумеется, ведь это значит действовать в ущерб себе. Наоборот, теперь сам завод будет всячески доказывать и убеждать, что ему вполне по силам более напряженный план.

Итак, первая цель достигнута. Может быть, ею и ограничиться? Пусть-де на самом предприятии определяют свои возможности и принимают обязательства (а обязательства, уж будьте уверены, теперь постараются взять оптимальные, ибо занизишь — премиальный фонд соответственно уменьшится, завысишь — не справишься и не получишь премии). Ну, а если в ходе выполнения плана снижаются новые возможности снижения себестоимости? Так и не обращать на них внимания, пусть пропадают? Явно неразумно. Более того, как сделать, чтобы непрерывно и упорно выискивались эти возможности, чтобы коллектив стремился п е р е в ы п о л н и т ь план? Очень просто: допол-

нительным премированием рабочих и служащих за сверхплановое снижение себестоимости.

И наконец последнее. Чтобы в этих условиях себестоимость не превращалась в родную сестру «вала», чтобы не было слепой погони за ее снижением, когда все остальное, как говорится, летит побоку, новая система поощрений «срабатывает» лишь в том случае, если выполняются требования к качеству продукции, задания по объему выпуска изделий, их номенклатуре и производительности труда. Вместо десяти дополнительных условий — всего четыре.

Вот, собственно, и все. Выгодно государству, всему обществу: оно получит более дешевые товары. Заманчиво и для тех, кто эти товары производит: их заработок возрастает в соответствии с реальной пользой, которую они принесут стране.

Название заводского отдела, где мне рассказывали об этом эксперименте, не только благозвучно, но даже, я бы сказал, певуче: ПЭО. А расшифровывается планово-экономический отдел — что называется, сплошная проза. Графики, сводки, проценты, рубли, тонны. Гроссбухи и бумажные полотнища цифр. Здесь не очень-то ладки на синтении. Цифрами в основном мне и отвечали на вопрос о результатах эксперимента: вот, мол, вам точные и беспристрастные данные, а уж выводы делайте сами.

Ну что ж, обратимся к цифрам.

В 1964 году совнархоз на основе, как обычно, ранее достигнутого и «усредненного» определил заводу план, снизить себестоимость продукции на 2,3 процента. Выполнен он не был, выпущенные изделия обошлись предпринятно дороже, чем намечалось, на триста восемнадцать тысяч рублей.

В прошлом же году план снижения себестоимости более высокий по итогам десяти месяцев перевыполнен на шестьдесят одну тысячу рублей. При этом улучшились и все другие технико-экономические показатели работы предприятия. Иначе говоря, вместо трехсот восемнадцати тысяч рублей со знаком минус — шестьдесят одна тысяча рублей со знаком плюс.

Итак, благодаря непосредственной, личной заинтересованности коллектива в наилучших результатах работы машины с маркой «ЗВИ» обошлись дешевле без малого на четыреста тысяч рублей.

Ну, а что выиграли те, кто эти машины делает?

Доля премий за снижение себестоимости изделий в заработке всего инженерно-технического персонала завода увеличилась почти в два с половиной раза и составила около десяти процентов. Однако поощрялись не все, а лишь те, кто этого действительно заслужил — то есть инженерно-технические работники цехов и участков, выполнивших план снижения себестоимости. (По условиям премирования каждое подразделение завода на собственном хозрасчете, оно не получает с общего стола незаслуженно большие куски за счет остальных, но и не отвечает за чужие грехи. И это, между прочим, еще одно достоинство новой системы материального стимулирования, имеющее к тому же немалое моральное значение: тут не спрячешься за спину других, не крикнешь в общем хоре: «Мы пахали!».) Так вот, у этих инженерно-технических работников прибавка к их окладу за снижение себестоимости продукции составила четвертую часть их заработка.

Рабочие, как известно, никакого поощрения по этому показателю не получают (а почему — этого никто не скажет). Оттого сварщику или токарю все равно, во что обойдутся изготовленные им детали, для него главное «гнать» норму — чем больше «выгони», тем выше заработок. На заводе же имени Владимира Ильича по новой системе поощрения в прошлом году пять процентов заработка рабочих составила премия за перевыполнение плана снижения себестоимости.

И наконец в заключение заметим, что это — дополнительное поощрение ко всем прочим. Только за снижение себестоимости продукции. Никаким образом не влияющее на все остальные виды материального стимулирования, такие, скажем, как сдельная оплата труда, премии за внедрение новой техники, за успехи, достигнутые в социалистическом соревновании, и т. д.

Теперь понятно, откуда взялись на заводе силы, чтобы удешевить производимые изделия? Те силы, которых прежде «почему-то» не находилось...

Разумеется, снижение себестоимости как основной показатель для премирования может быть заменено любым другим — в зависимости от конкретных задач и условий данного производства. Важно только одно: чтобы условия материального поощрения побуждали работника добиваться таких результатов, в которых заинтересовано государство. И как только подобные условия будут созданы, дело быстро двинется вперед.

Возьмите, например, качество изделий. Можно сколько угодно призывать людей к работе на совесть, говорить о чести заводской марки, растолковывать и разъяснять, как важно не допускать брака и давать только первосортную продукцию. Можно делать и другое: за спиной чуть ли не у каждого посадить представителя ОТК. А заметного сдвига, то есть постоянного, неуклонного и резкого повышения качества, не произойдет. Но когда в непосредственную зависимость от этого показателя будет поставлен заработок работников, качество изделий намного улучшится. Примеров тому сколько угодно. Как только на запорожском заводе «Днепроспецсталь» начали платить премиальные, учитывая качество выплавленного металла, потери от брака круто скатились вниз. За каких-нибудь несколько месяцев они уменьшились на 26,4 процента! Чтобы яснее представить, насколько велика эта цифра, заметим, что один процент снижения брака дает заводу почти десять тысяч рублей.

Еще один металлургический завод — Челябинский трубопрокатный. Здесь долго билась над тем, чтобы повысить качество труб, изготавливаемых на новом стане «1020». Бились конструкторы, технологи, начальники участков. А сварочные швы получались недостаточно прочными, чтобы принять продукцию первым сортом и отправить ее на строительство газопроводов. Третья часть, а то и больше клеймилась вторым сортом и могла идти лишь на прокладку водопроводных магистралей. Но когда стали премировать: за каждый процент труб, выпущенных сверх задания первым сортом, тремя процентами премии — картина резко изменилась. Теперь почти вся, за малым исключением, продукция стана «1020» оценивается как первосортная.

А вот пример совсем из другой отрасли. На предприятиях Львовской обувной фирмы «Прогресс» ликвидировали внутрицеховой и межцеховой контрольный аппарат. А между тем возврат обуви на переделку, исправление дефектов уменьшился вдвое. 99,2 процента всей продукции теперь принимается первым сортом. Все очень просто: была введена индивидуальная премиальная система за качество обработки сырья и полуфабрикатов.

Но нет ли во всем этом чего-то чуждого нам, такого, что противоречит нашей морали, нашим убеждениям? Не ощущается ли тут дух эдакой грубой «материальщины», чистогана: заплатят-де больше — сделаю лучше, меньше — хуже? И вообще поступаем ли мы правильно, согласно нашим принципам ставя во главу угла материальное стимулирование? Не наносит ли это вред воспитанию в людях коммунистической сознательности?

Помню, года два назад, когда в печати разгорелась жаркая дискуссия вокруг проблем материального стимулирования, мне довелось услышать высказывание одного профсоюзного работника.

— Спорим, спорим, — недовольно произнес он, скатывая в трубку только что прочитанную газету, — а чего спорим? Значит, за копейку работать готовы, а про совесть свою гражданскую забудем? Так, выходит, понимать надо, да? А где, спрошу я вас, идеалы наши? Сознательность где? Не-ет, разменивать на копейки нашу сознательность — это, знаете ли...

Смотрел я на своего собеседника, слушал его возмущенный голос и думал: чего же в нем все-таки больше — ханжества или безнадежной ограниченности? Ведь голько слепец не увидит, что, усиливая экономическое стимулирование в оплате труда, мы ни на йоту не поступаемся святыми для нас коммунистическими идеалами! Не уступаем ни грана нашего мировоззрения и нашей сознательности духу меркантилизма, чистогана. Напротив, с большей последовательностью и чистотой воплощаем одну из главных,

справедливейших марксистско-ленинских заповедей, определяющих положение человека в социалистическом обществе: каждому — по труду.

В этой удивительной по лаконизму и смысловой емкости формуле, как в пружине, спрессована сила воздействия идеей социализма на массы. В декабре 1920 года, когда в нашей стране заканчивался период политики военного коммунизма, В. И. Ленин говорил, обращаясь к делегатам VIII Всероссийского съезда Советов: «Понять, что государство не только убеждает, но и вознаграждает хороших работников лучшими условиями жизни, не трудно, и, чтобы понять это, не нужно быть социалистом, и тут мы заранее обеспечены сочувствием беспартийных рабочих и крестьянских масс. Нам надо лишь шире эту мысль распространить и практичнее поставить на местах эту работу».

Практичнее. Вот об этой-то практической стороне лозунга мы порой забывали или попросту не задумывались

Ведь как случалось? Два человека, работающие рядом, делающие одно и то же дело, трудятся по-разному, а получают одинаково. Да что там одинаково: иной раз больше получит тот, кто работает менее добросовестно. Возьмите хотя бы тех же сварщиков с трубопрокатного стана «1020». Почему значительная часть его продукции продолжительное время шла во второй сорт? А вот почему. Один сварщик выводит старательно каждый шов, добивается, чтобы он был безупречен. Другой действует по методу «тяп-ляп», лишь бы побыстрее. А платят (вернее, платили) одинаково. Хуже того, заработок у второго рабочего нередко оказывался даже выше, поскольку он успевал сварить, естественно, больше. Зарплату же начисляли по количеству сделанного, качество бухгалтерию не интересовало. Справедливо?

Или возьмите станочника. Он заинтересован изготовить в смену больше деталей и потому стремится применять максимальные режимы обработки. Но очень часто с возрастанием скорости резания стойкость обрабатываемого металла снижается. Следовательно, будущая деталь из него получится менее прочной и менее долговечной. Выходит, чем низкокачественнее будут детали, сделанные станочником, тем больше он заработает. А заработок, скажем, швеи будет тем выше, чем менее экономно она израсходует ткань, ведь кроить из большого куска куда легче и быстрее, нежели из маленького. Так человек оказывается перед выбором. быть сознательным и — получать меньше, хочешь же заработать больше — закрывай глаза на причиненный государству ущерб.

Перед подобным выбором оказываются не только отдельные люди, а целые коллективы — предприятий и даже отраслей.

Страна, например, заинтересована в металле экономичных, тонкостенных профилей (сберегается и сам металл, и труд при дальнейшей его обработке). Но прокатчикам выгоднее делать как раз наоборот, потому что их продукция учитывается в тоннах, к тому же прокатывать металл с большими припусками легче, проще, быстрее.

Но вот металл поступил на машиностроительный завод. И тут зачастую заинтересованы не в экономном его использовании, а в том, чтобы «вбухать» как можно больше в свою продукцию. На Иркутском заводе тяжелого машиностроения имени Куйбышева недавно модернизировали выпускаемые здесь передаточные тележки, они отличаются от своих предшественниц и внешним видом, и конструктивно: намного прочнее, легче. Благодаря этому увеличивается срок их службы и уменьшается потребление ими электроэнергии. Выгодно государству, чтобы предприятие быстрее перешло к выпуску новой продукции? Безусловно. А заводу? Нет. Чем тяжелее его изделия, тем... выше их цена и показатели работы предприятия (со всеми вытекающими отсюда последствиями и морального, и материального порядка). Как быть? Руководствоваться государственным интересом? Но это значит поступать в ущерб своему коллективу... Вот тут и ломай голову, терзайся раздумьями и сомнениями. Тут и сталкиваются, что называется, лоб в лоб сознательность, чувство гражданского долга и самый обычный, естественный человеческий интерес.

Дилемма: себе или государству — совершенно противоположная, просто дикая в нашем обществе. Абсолютно несовместимая с понятиями, принципами, самой природой социализма. И такое столкновение интересов вредит сознанию людей, уродует его сильнее, чем что бы то ни было другое.

Система материального стимулирования, примененная на заводе имени Владимира Ильича, связала в один узел интересы страны, предприятия, отдельных работников. Связала с помощью экономического воздействия на коллектив.

Цифры, которые я приводил, свидетельствуют о бесспорном успехе эксперимента. Но главное даже не в общих итогах. То, что деятельность предприятия безусловно улучшится, если в этом заинтересовать его работников личной выгодой, было ясно и раньше. Чтобы убедиться в этом, право же, не требовалось ставить специальный опыт, достаточно элементарного логического размышления.

Цель эксперимента, понятно, гораздо шире и многозначнее. Опробовать идею в деле, чтобы выявить рациональные пути ее осуществления. Найти способы извлечения из нее на практике максимальной пользы. Увидеть, что мешает наиболее полному ее применению.

Пожалуй, никогда еще экономическое экспериментирование не проводилось в нашей стране так смело и масштабно, как в период, предшествовавший сентябрьскому Пленуму Центрального Комитета партии. В течение двух лет на десятках и сотнях предприятий различных отраслей промышленности испытывались, сравнивались, отработывались новые методы планирования и учета, межотраслевых связей и производственной кооперации, материально-технического снабжения, оплаты труда...

Думается, что теперь практический эксперимент займет еще более заметное место в нашей экономике. Опыт десятилетий показал, что прогресс народного хозяйства немислим без упорных, не прекращающихся поисков путей его дальнейшего движения вперед. Без постоянного обновления всего арсенала средств его развития открытиями науки и достижениями практики. Мы достаточно, даже слишком достаточно уже убедились, сколь дорого нам обходятся и нежелание считаться с назревшими требованиями жизни, неумение быстро и верно реагировать на колебания экономического барометра (порой нас не выводили из состояния благостного спокойствия не то что колебания, а прямо-таки бешеные скачки стрелки такого барометра), и весьма поспешные (часто надуманные) перестройки. То и другое — две стороны одной медали: игнорирование объективных законов развития экономики. Одно из самых действенных противоядий этому — умело поставленный и правильно, честно оцененный экономический эксперимент, помогающий отобрать для максимального использования в народном хозяйстве все лучшее, что подсказывают современная экономическая наука и производственная практика.

Эксперимент на Московском заводе имени Владимира Ильича вполне удался. Он показал не только позитивную, но и негативную сторону новой системы материального стимулирования, обнажил ее слабые места. И удался, кстати, благодаря тому, что проходил не в специально созданных условиях (мы ведь знаем, как «вытуженно», ради одних лишь победных реляций проводятся иной раз эксперименты), а в деловой, будничной обстановке, без особых проявлений «высоконачальственного» внимания.

Каковы же результаты этого эксперимента при детальном и даже придирчивом рассмотрении?

Я уже говорил, что премии получила лишь четвертая часть инженерно-технического персонала и еще меньшая часть рабочих. Причем и жаловаться-то как будто абсолютно не на что и не на что: начисление и выплата премиальных производились совершенно точно по условиям поощрения. Условия же, как мы видели, довольно привлекательные. Почему же за девять месяцев прошлого года из двухсот тысяч премиальных рублей, лежащих на текущем счету предприятия, было выплачено лишь девяносто тысяч — меньше половины? Почему лишь один цех — деревообделочный — более или менее регулярно выполнял все требования плана и получал соответствующее вознаграждение, а остальные добивались этого реже или не добивались вовсе?

Смотрите, что получается: деньги есть, и все возможности реализовать их как будто имеются, и условия для этого созданы, а результат, как говорится, ниже среднего. Удивительно!

Но в чем же все-таки дело? Ведь наивно предположить, что люди не стремились

к более высокому заработку. А все дело в том, что, во-первых, эксперимент проводился при старых, теперь уже отвергнутых, но в то время господствовавших, действовавших во всю свою мощь методах оперативного планирования и руководства промышленностью. И, во-вторых, условия премирования, несмотря на их разумность по сравнению с прежними, были вовсе не так уж безупречны, как на первый взгляд кажется.

Коллективу сказали: теперь все зависит от нас самих, ваш заработок будет в значительной степени определяться тем, насколько план снижения себестоимости нынешнего года превысит прошлогодний и в какой мере вы сумеете перевыполнить этот план. Отлично. Значит, задача коллектива рассчитать свои силы и ресурсы таким образом, чтобы наметить максимально возможный рост, а затем при осуществлении взятых обязательств постараться эти обязательства в наибольших размерах превысить.

Так, в общем-то, и началось. А дальше покатило по старым, привычным рельсам. Эксперимент ведь проводился, повторяю, не в теплице с искусственным климатом и тем более не в безвоздушном пространстве, а в обычной для того времени обстановке. В обстановке, где завод, как говорится, предполагает, а начальство располагает. К тому же начальство многоликое и, если хотите, многорукое: одна рука делает одно, другая — другое. Объем производства, например, диктовал Госплан, номенклатуру — совнархоз. Согласованность же была весьма относительной.

...Ассортимент изделий на заводе менялся в течение года девять раз! Переналаживать производство приходилось, естественно, на ходу, и что это такое, известно. «Хорошо деревообделочникам, они что начали делать, то в основном и продолжали, — говорили мне во многих цехах. — А каково нам?» Я никак не хочу умалить заслуг деревообделочного цеха, его коллектив приложил немало усилий, чтобы улучшить организацию труда, технологию производства. Но спорить действительно было трудно.

Итак, менялся ассортимент заводской продукции. И каждый раз при этом выбрасывались сотни готовых деталей — надо было делать новые. Ушло зря много времени — приходилось работать сверхурочно. В спешке, в штурмовщине чаще случался брак — значит, дополнительные расходы материалов и времени. Словом, затраты непредвиденно росли. А прибыль с предприятия требовали... ту же, что была записана в первоначальном плане.

Но как же так? Разве для кого-нибудь секрет, что другие изделия — следовательно, и иные затраты труда, материалов, а иная себестоимость продукции — другая и прибыль? Нет, ни для кого, конечно, это не секрет. И в план по себестоимости поправки в связи с ассортиментными изменениями вносились. А в план прибыли — нет. Уму непостижимо! Чтобы все же постичь, надо несколько отвлечься от экономики и перейти в область психологии.

Что такое прибыль? Это такой показатель, по которому предприятие отчитывается перед государством не просто цифрами в официальных документах, но реальным, вполне осязаемым рублем. Остальные показатели итоговую черту не подводят, один можно как-то сбалансировать другим: хуже качество изделий, зато они обошлись подешевле, перерасход электроэнергии покроем экономией денег на ремонт станков. Рубль же есть рубль. С прибылью подобным образом не манипулируешь, сокращение ее ничем не сбалансируешь. И если вдруг выяснялось, что она не может быть такой, как записано в плане, в совнархозе предпочитали... просто этого не замечать. С предприятия требовали: делайте что хотите, но чтобы прибыль была. И с опаской оглядывались на вышестоящие инстанции, не решаясь раньше времени «волновать» их.

Удивительное все-таки самообольщение! Как будто оттого, что план прибыли не изменится, размер ее останется тем же. Нет, разумеется. В связи с обновлением ассортимента фактическая прибыль, конечно, разнилась от плановой, хотели или не хотели это замечать и признавать «наверху».

Мне могут возразить: ну, хорошо, а что бы по существу изменилось, если бы в план внесли поправки — размер-то самой прибыли зависит не от этого. Да, размер ее остался бы тем же. Однако изменилось бы многое. Не искажалось бы действительное положение вещей. Не уродовалась бы картина, по которой мы судим о работе завода, не вносилась бы путаница в планирование, учет и оценку деятельности предприятия. Ведь получается полнейшая нелепница: завод перевыполнил план снижения себестоимости и... намного не

выполнил план прибыли. Право, не надо быть экономистом, чтобы понять: одно вытекает из другого, чем ниже себестоимость, тем больше прибыль.

Из-за такой путаницы стимулирование к сверхплановому снижению себестоимости продукции в большой мере было сведено на нет: частью премиального фонда приходилось восполнять недостающую прибыль. Так же, кстати, как частью премиальных денег вынуждены были покрывать и перерасход фонда зарплаты. А почему он перерасходовался? Может быть, на заводе распоряжались им слишком вольготно? Да ничего подобного! Фонд зарплаты вообще-то плачируется, как правило, ниже расчетных норм (в этом отношении завод имени Владимира Ильича вовсе не исключение, так уж у нас повелось — держать предприятие по трудовым затратам на голодном пайке). А тут еще каждый месяц его урезали. Урезали без мало-мальски вдумчивого расчета, не вникая, есть ли основания для этого или нет.

В результате всего этого сверхплановое снижение себестоимости поощрялось, что насыщается, едва-едва. Материальное стимулирование по этому показателю превращалось в абстракцию. А ведь идея премировать за перевыполнение напряженного плана сама по себе великолепная! Но самую лучшую идею может погубить бездумное отношение к цифре. Так же, как и преклонение перед ней.

Как-то в Свердловске мне довелось присутствовать при разговоре директора одного предприятия с начальником управления совнархоза. Директор объяснял: так, мол, и так, сами видите, что выполнить задание к намеченному сроку мы можем, но это обойдется государству гораздо дороже, чем небольшая задержка со сдачей продукции. Начальник, молча выслушав, ответил:

— Прекрасно тебя понимаю и как экономист полностью согласен с тобой. Но как начальник управления разрешить оттянуть окончание работы не могу. Утвержденный план должен быть выполнен.

— Но ведь это же лишние, никому не нужные затраты!

— Ничего не поделаешь...

Сколько бы мы выиграли, если бы никогда, ни при каких обстоятельствах у хозяйственного руководителя любого ранга не происходило подобной раздвоенности, чтобы в нем всегда сочетался экономист и администратор!

Сила привычного, тяжесть традиций сказались не только при проведении эксперимента. Они отразились и на самих, казалось бы, вполне разумных и справедливых условиях новой системы премирования.

Один из восторженных поклонников этой системы сказал мне:

— Теперь люди по-новому взглянут на вещи. Если каждый будет знать, что его заработок зависит и от общих итогов работы предприятия, он станет по-хозяйски смотреть не только на свое рабочее место, но на все, что творится вокруг него. Увидит, скажем, валяется кирпич, уж будьте покойны, не пройдет мимо. Не поленится поднять и отнести на место.

Так ли? Не пройдет мимо?

...В уже упоминавшемся деревообделочном цехе работники участка, где изготавливается так называемая твердая изоляция, изменили технологию раскроя материала. Благодаря этому резко сократились отходы текстолита. За десять месяцев его было сэкономлено на одиннадцать тысяч рублей. Из них семьсот семьдесят рублей пошло в премиальный фонд. Хорошо? Да как сказать... Ведь если бы те же одиннадцать тысяч рублей были сэкономлены по фонду зарплаты, прибавка в премиальный фонд составила не семьсот семьдесят, а десять тысяч девятьсот рублей — в четырнадцать раз больше! Почему же столь огромная разница? Потому что в условиях премирования за сверхплановое снижение себестоимости продукции сказано: в фонд поощрения перечисляется семь процентов стоимости сэкономленных материалов и девяносто процентов сокращенных трудовых затрат... Вот я и думаю: поднял бы человек валявшийся кирпич? Не поразмыслил бы он, прежде чем это сделать: а что выгоднее — сберечь кирпич или рабочее время, необходимое, чтобы отнести его на склад и вернуться обратно?

В этих двух цифрах — семи и девяносто процентах — сказались тоже, если хотите, традиция — неразумная, наносящая немалый ущерб народному хозяйству: экономить

прежде всего на зарплате, но не на материалах, сокращать в первую очередь затраты «живого» труда, а уж в последнюю очередь — овеществленного.

Так уж привыкли на предприятиях. что, получив, скажем, металлический лист, начисто забывают, что он тоже труд — горняков, добывших сырье, и агломератчиков, обогативших руду, коксовиков, превративших уголь в кокс, и доменщиков, выплавивших чугуна, мартеновцев, сваривших из него сталь, и прокатчиков, раскатавших стальную заготовку в лист. Для предприятия важен лишь «свой» груд, превращающий этот лист в детали или готовые изделия. Эта неверная, экономически ничем не обоснованная тенденция привела к тому, что у нас непомерно велики отходы материалов (в машиностроении ежегодно уходит в стружку более четырех с половиной тонн металла), не всегда расчетливо создаются новые производства (сроки окупаемости иных автоматических линий растягиваются на десятки лет — не удивительно: скоро ли окупятся механизмы стоимостью в десятки тысяч рублей, заменяющие лишь одного или нескольких работников?), не внедряются или внедряются чрезвычайно медленно более совершенные, лучшие по качеству изделия, если трудоемкость их производства хотя бы чуть-чуть выше по сравнению с выпускаемыми, пусть даже такое увеличение экономически вполне оправдано и выгодно и т. д.

Когда ученые-экономисты, разработавшие новую систему материального стимулирования, предложили увеличить процент отчислений в премиальный фонд от экономии материалов, в Министерстве финансов на них замахали руками: да что вы, здесь, знаете ли, такие резервы, столько сэкономить можно, что премии будут слишком большими. Но почему-то не принимали в расчет, что столь же соответственно большой будет и экономия материалов. Лишь бы чрезмерными не оказались премии...

Может ли быть что-нибудь более неразумное: сдерживать экономию как раз там, где имеются наибольшие возможности? А ведь на практике выходит именно так. В себестоимости промышленных изделий непрерывно растет доля материальных затрат и уменьшается доля трудовых затрат. В продукции машиностроения первые уже значительно превысили вторые. И это вполне закономерно: производство делается все более механизированным, автоматизированным. Если собрать продукцию сорока московских машиностроительных заводов — станки, подшипники, автомобили, инструмент, электромоторы, насосы и т. д., — то в целом ее себестоимость состоит более чем на две трети из затрат на материалы и лишь на двадцать один с половиной процент из расходов на заработную плату. В себестоимости же отдельных предметов эта разница еще более существенная. Например, расходы на изготовление автомобиля «москвич-407» приблизительно на семьдесят процентов состоят из стоимости материалов и готовых изделий и менее чем на шесть процентов — из зарплаты рабочих. Так где же, спрашивается, больше возможностей и на чем выгоднее удешевлять изделия — на экономии труда или материалов?

Вопрос, казалось бы, предельно ясен. Но финансисты упрямо требуют: сокращайте прежде всего трудовые затраты. И подкрепляют свое требование довольно действенными мерами экономического давления: за бережное расходование материалов — поощрение минимальное, за экономию зарплаты — максимальное. Они никак не могут отрешиться от привычного, посмотреть на вещи глазами сегодняшнего дня, а не двадцатых—тридцатых годов, когда у нас преобладал ручной труд. И потому слепо следуют старой, хотя и изжившей себя традиции. А в результате борьба за снижение себестоимости ведется не по главному направлению, не дает максимального эффекта.

* * *

Экономические эксперименты, широко проводившиеся в последние годы, — своего рода разведка боем перед осуществлением глубоких преобразований нашей хозяйственной жизни, намеченных сентябрьским Пленумом Центрального Комитета партии. В этом смысле и ценен, весьма поучителен опыт, поставленный на Московском заводе имени Владимира Ильича.

Одним из решающих средств нового подъема и дальнейшего прогресса индустрии станет применяемый в своем подлинном значении принцип материальной заинтересован-

ности работников в улучшении деятельности предприятий. Принцип, созвучный нашей морали и самому духу нашего общества, отвечающий объективным законам экономики социализма,— каждому по труду.

Как показал опыт завода имени Владимира Ильича, принцип материальной заинтересованности не мог быть использован в полную силу, с максимальной отдачей в прежних условиях ведения нашего народного хозяйства. Теперь, с коренными изменениями организации управления и планирования промышленности, открываются совсем иные возможности применения этого могучего средства воздействия на массы.

Отныне материальное поощрение работников ставится в зависимость от самого обобщающего и беспристрастного показателя работы предприятия — его прибыли. Прибыль, как известно, определяется не только тем, во что обошлось производство продукции, но и ее реализацией. То, что покупателю не требуется, или сделано плохо, или изготовлено не в срок, или наконец дорого по сравнению с аналогичными изделиями других заводов, он просто не возьмет. Это-то и заставит коллектив выпускать только такую продукцию, в которой нуждается потребитель и которую он предпочтет всякой другой. А отсюда стремление к всемерному повышению качества изделий, сокращению затрат на их производство, к наилучшему использованию всех ресурсов и неустанному поиску новых и новых резервов роста производительности труда. Одним словом, ко всему, что на пользу государства, ко всеобщей выгоде.

Слитность экономических интересов всего общества, отдельного коллектива и каждого его члена — единственно прочная и здоровая основа, ускоряющая поступательное движение вперед нашего народного хозяйства.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«ТОВАРИЩ ГУБЕРНАТОР»

Второго августа 1933 года Валентина Андреевна Старосельская писала А. М. Горькому: «Я, вдова известного большевика В. А. Старосельского, губернатора-революционера в царск[ой] Грузии, «товарища губернатора», как называл Старосельского Ленин, и кот[орого] Вы лично знали, потому что встречались у Е. П. Пешковой в Plessis Picquet, где я вместе с мужем работали воспитателями в школе-интернате для детей политэмигрантов, где учился Ваш[его] сын Максим...» (Архив А. М. Горького).

О «товарище губернаторе» — Владимире Александровиче Старосельском — и расскажут читателям документы, которые мы публикуем ниже. Одни из них были когда-то напечатаны, но малоизвестны, забыты, другие публикуются впервые.

И. Брайнин, Ф. Лимонов.

Из донесения начальника кутаисского губернского жандармского управления полковника Дебиля в департамент полиции

13 октября 1896 г.

Представляя при сем список служащих в Сакарском питомнике американских лоз, находящемся в Шрапанском уезде Кутаисской губернии, имею честь донести департаменту полиции, что из семи человек трое, а именно: Константин Николаев Гараез, Михаил Федотов Калинин и Александр Александров Долгушин состоят под негласным надзором полиции. Владимир Александров Старосельский¹, хотя и не состоит под негласным надзором полиции, но родной брат его, состоящий под этим надзором, Юлий Александров Старосельский, служащий в филоксерной комиссии в местечке Сураме Тифлисской губернии, очень часто навещает брата своего Владимира...

Такое сосредоточение лиц, состоящих под негласным надзором полиции, в Сакарском питомнике невольно наводит на мысль, что это не может быть случайностью, а потому вышеизложенное имею честь представить на благоусмотрение департамента полиции.

(Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР) СССР, ДП, III делопроизводство, д. 1312, лл. 66—67)

¹ В. А. Старосельский родился в 1861 году в Чернигове в семье мирового судьи, получил агрономическое образование. С 1890 года был заведующим Сакарским питомником.

Из статьи Е. Накашидзе «Хорошее дело получило заслуженную оценку»¹

...В Грузии каждый виноградарь, который знает о вреде филлоксеры и знаком с американской лозой, обязательно слышал о деятельности агронома Старосельского...

В 1893 году министерство земледелия России пригласило из Европы ученых-специалистов, которые на месте должны были осмотреть уничтоженные филлоксерой виноградники и вынести свое заключение. Они осмотрели имеретинские виноградники и пришли к заключению, что восстановить виноградники в Имеретии совершенно невозможно, что их нужно уничтожить и заменить какой-либо другой культурой.

Старосельский же не разделял этого мнения и доказывал необходимость прививки американских лоз в нашей стране.

С этой целью он основал и постепенно расширил Сакарский питомник и его отделения, где он прививал американскую лозу.

В 1895 году в Западной Грузии насчитывалось уже около десятка мест, где учили прививке и уходу за черенками.

Старосельский приступил к изучению почвы. Он открыл в Сакаре школу для подготовки рабочих-садоводов. С 1895 до 1904 года рос и расширялся Сакарский питомник. Тысячи и десятки тысяч виноградарей брали тут саженцы привитой лозы, учились уходу за ними, обогащались новыми знаниями. Старосельский своим трудом доказал пользу американской лозы...

Владимир Старосельский, как магнит, притягивал к себе рабочую молодежь: агрономов и общественных деятелей. Каждому он оказывал помощь, перед каждым открывал широкое поле деятельности...

(Газета «Ахали сопели» («Новая деревня»),
12 мая 1927 года. Перевод с грузинского)

¹ Статья написана в связи с тем, что Сакарской опытной станции по решению Наркомзема было присвоено имя В. А. Старосельского.

Из телеграммы и. о. главноначальствующего на Кавказе генерала Маламы министру внутренних дел

7 февраля 1905 г.

Волнения и беспорядки в Батуме и Кутаисе и прилегающем к ним районе железнодорожной линии отразились с особою силой на продолжающемся, начиная с 1902 года, противоправительственном движении в Гурии. Положение дел в Озургетском уезде и окружающих местностях принимает характер восстания, выражающегося в открытом неповиновении властям, убийстве правительственных чинов, дворян, духовенства и лиц, революционному движению не сочувствующих. Население освобождается от присяги на верность подданства и присягает революционному комитету. Правительственные лица бегут.

(«Красный архив», № 2 (99), 1940, стр. 111)

Из резолюции III съезда РСДРП по поводу событий на Кавказе

...Революционное движение среди большинства населения Кавказа как в городах, так и в деревнях дошло уже до всенародного восстания против самодержавия...

(III съезд РСДРП Апрель — май 1905 г. Протоколы. М. 1959, стр. 457)

Из донесения заведующего заграничной агентурой Гартинга директору департамента полиции

г. Париж, 30 мая (12 июня) 1908 г.

Весною 1905 года, до отъезда в Тифлис, граф Воронцов-Дашков¹, назначенный наместником Кавказа, по-видимому под влиянием бывшего своего помощника Султан-Крым-Гирея, коемү была хороши известна популярность в крае Старосельского, предложил будто бы последнему составить записку о положении революционного движения на Кавказе, что им и было выполнено, и по его отзыву в этой записке он вполне откровенно изложил свои крайние взгляды. Ознакомившись с этой запиской, граф Воронцов-Дашков будто бы все же настоятельно стал предлагать Старосельскому занять место Кутаисского губернатора, но последний от этого отказывался, ссылаясь на то, что он мог бы, несомненно, избавить край от излишних кровопролитий, но только при условии работать в соответствии с общественным мнением, то есть, иначе говоря, рука об руку с социал-демократическими организациями, существующими в крае. Наконец, после долгих переговоров с местным комитетом, Старосельский согласился на предлагаемое ему наместником назначение, но при гарантии некоторых условий, которые были изложены им в особой записке, по ознакомлении с которой социал демократический

комитет заявил Старосельскому, что он скорее попадет в тюрьму, чем в губернаторы, так как записка эта заключала в себе все требования социал-демократической программы.

(ЦГАОР СССР, ДП, ОО, 1908, д. 5, ч. 84, т. 2, лл. 59—60)

¹ Граф И. И. Воронцов-Дашков с 1905 по 1915 год — наместник Кавказа.

Из статьи В. А. Старосельского «Крестьянское движение в Кутаисской губернии»

Я принял предложенный мне пост после больших колебаний и долгих переговоров, заручившись полным одобрением моей программы, изложенной не только в личных беседах с графом¹, но и в особой докладной записке (27 мая 1905 г.), в которой, между прочим, я утверждал, что революционное движение в Кутаисской губ., возникшее на почве общегосударственных и местных экономических и правовых неустойчивостей, может быть успокоено только путем широких общегосударственных и областных демократических реформ и что «задача администратора при этих условиях сводится к использованию общего подъема сознания интеллигентного общества и народных масс с целью возможно плодотворной и спокойной разработки насущных вопросов общественной жизни для участия в предстоящей творческой работе по государственному устройству России».

В числе выставленных мною условий значились следующие:

1. Военное положение и всякие охраны должны быть немедленно отменены.
2. Агенты администрации, проявившие усердие в сфере произвола, подлежат увольнению.
3. Административные аресты, высылки и прочие репрессии по отношению к политическим прекращаются.
4. Функционировавшие в деревнях до введения военного положения выборные судебные и административные организации могут возобновить свою деятельность беспрепятственно.
5. Власти будут проявлять полную терпимость к сходкам, митингам и демонстрациям, когда они не угрожают личной и имущественной безопасности обывателей (погромом).
6. Действия жандармской полиции должны быть строго согласованы с действиями губернатора.

Мое назначение состоялось в начале июля, но, не имея об этом официального уведомления, я не вступал в должность до 1 августа

(Журнал «Былое». № 11, 1906, стр. 263)

¹ И. И. Воронцовым-Дашковым.

Именной царский указ, данный правительствующему сенату

9 июля 1905 г.

Старшему агроному Главного Управления Землеустройства и Земледелия на Кавказе Коллежскому Советнику Старосельскому — Всемилостивейше повелеваем быть исправляющим должность Кутаисского Губернатора.

(Газета «Кутаисские губернские ведомости», 30 июля 1905 года)

Кавказская хроника

В. А. Старосельский, вновь назначенный Кутаисским военным губернатором¹, по окончании курса в Московской Петровско-Разумовской академии в 1882 г. поступил на службу по Министерству государственных имуществ в Черноморской губернии, где служил до 1888 г. Затем он был назначен агрономом при уполномоченном министра земледелия на Кавказе и часто получал командировки в различные места края для исследования виноградных лоз, излечения их от болезней, в особенности от филлоксеры.

Между прочим, ему было поручено министерством устроить около железнодорожной станции Квирилы питомник американских виноградных лоз, которые в последнее время известны под именем американских лоз «сакарского питомника». Лозы эти получили большое распространение. В. А. Старосельскому принадлежит немало печатных трудов по виноградарству и виноделению; известен также его перевод книги французского ученого Л. Ружье «Практическое руководство виноделия». Ежегодно Владимир Александрович издавал «Труды питомника», в которых помещал свои оригинальные и переводные статьи. Деятельное участие принимал он также в «Трудах кавказского филлоксерного комитета» и в изданиях кавказского общества сельского хозяйства.

(Газета «Новое обозрение», Тифлис, 20 июля 1905 года)

¹ В. А. Старосельский был назначен губернатором, но не военным.

Из кавказской хроники. Чествование В. А. Старосельского

В м. Квирилах 31 июля устроен был прощальный обед бывшему заведующему Сакарским питомником В. А. Старосельскому, назначенному ныне кутаисским губернатором. На обеде присутствовало 200 человек. Было произнесено много теплых и прочувствованных слов. Говорили речи: князь Н. Тавдгиридзе, протоиерей Гамбашидзе, присяжный поверенный З. Мачаварнани и грузинский писатель Хускивадзе. Во всех речах отмечалась его деятельность на пользу общества и было высказано, что ему устраивается обед не как губернатору, а как полезному члену общества. Г. Хускивадзе свою речь закончил так: «Назначение ваше, Владимир Александрович, на пост губернатора было так неожиданно в такое тяжелое время, что вызвало много толков. Но конец всему этому положит будущая ваша деятельность. Мы же, знакомые с вашей энергией и способностями, не сомневаемся в плодотворной вашей деятельности на пользу населения и в будущем, насколько позволят современные условия нашей жизни. Отрадно ваше назначение губернатором и в другом отношении. Вы первый губернатор, так близко знающий все болячки нашего народа, вы первый губернатор, знающий мужика во всей его нагоге,— и все это дает нам уверенность в том, что диагноз, поставленный вами, будет вполне правилен для излечения политических и экономических недугов населения нашей губернии. Итак, пожелаем вам, Владимир Александрович, быть предтечею желанной и чарующей весны».

(«Новое обозрение», Тифлис, 5 (18) августа 1905 года)

Из сообщений российского телеграфного агентства, задержанных цензурой

26 июля 1905 г.

Тифлис. 26 июля. Нозый кутаисский губернатор Старосельский ходатайствует о признании законными самоуправляющихся сельских организаций, образовавшихся за время крестьянского движения и во главе которых стоят свободно избранные сотские и десятские.

(ЦГАОР СССР, ДП, ОО, 1905, д. 2550, ч. 85, л. 16)

Телеграмма заведующего полицией на Кавказе генерала Ширинкина в департамент полиции

29 июля 1905 г.

Предполагается оставить образовавшийся во время последнего движения среди крестьян Кутаисской губернии третейский суд в делах, неподсудных общим судебным учреждениям; вообще полагаю, опыт назначения Старосельского с его образом мыслей может быть богат неожиданностями.

(Центральный государственный архив (ЦГА) Грузинской ССР, ф. 83, оп. 1, д. 146, л. 16)

Из донесения заведующего заграничной агентурой Гартинга директору департамента полиции

г. Париж, 30 мая (12 июня) 1908 г.

Будучи издавна, по убеждениям, социал-демократом большевиком, Старосельский принимал деятельное участие в работах местного комитета и хотя стоял вне партии, но это, ввиду его служебного положения, не только не мешало, а способствовало к ведению как им, так и его подчиненными, по убеждениям революционерами, самой интенсивной пропаганды и агитации среди населения, с коим, по условиям службы, приходилось постоянно соприкасаться; местные же власти, по-видимому, ничего об этом не знали...

Губернаторство Старосельского все время шло во взаимной работе с комитетом; последний за это время улучшил свои связи, расширил организацию, завел целый арсенал бомб и взрывчатых веществ, ввел баррикадную технику, дающую возможность городу в течение 10 минут покрываться баррикадами, и проч.

(ЦГАОР СССР, ДП, ОО, 1908, д. 5, ч. 84, т. 2, лл. 59—60)

Из донесения начальника кутаисского отделения жандармского полицейского управления Закавказской железной дороги подполковника Гамреклидзе заведующему полицией на Кавказе

17 августа 1905 г.

Зловещее предчувствие, к сожалению, сбылось. Факты красноречиво говорят сами за себя: 14 сего августа, близ городского сада, вмиг образовалась толпа народа приблизительно человек в сто. В центре этого собрания стояли четыре известных революционера, по профессии присяжные поверенные; одни из них раздавали присутствующим противоправительственные прокламации, а другие ее читали вслух любопытствующим. Стражники, в числе четырех человек, предложили названным революционерам следовать за ними в участок, но преступники ни за что не хотели идти в участок, а требовали, чтоб их отвели к губернатору, но когда стражники отказались исполнить требование их, они позволили себе бранить стражников, в данном случае свято исполняющих долг свой; один из них, некий Джапаридзе, даже схватился за имеющийся в кармане револьвер. Несмотря на препятствия, учиняемые задержанными, стражники все-таки доставили их в полицейский участок...

Только что арестованных доставили в участок, немедленно явился туда местный губернатор и полицмейстер, извещенные друзьями арестованных.

Представитель верховной власти в губернии, войдя в помещение участка, очень любезно пожал руки арестантам и, выслушав внимательно жалобу их на стражников, якобы арестовавших их незаконно и нанесших им оскорбление, но в чем выразились эти оскорбления не объяснил, обрагился к стражникам и крикнул: «Под арест!», а арестованным милостиво объявил: «Вы, господа, свободны!»

(«Революция 1905—1907 гг. в Грузии». Сборник документов. Тбилиси. 1956, стр. 264)

¹ Так в подлиннике.

Из донесения заведующего полицией на Кавказе генерала Ширинкина заместнику Кавказа

26 августа 1905 г.

...Я получил указания, что Кутаисский губернатор сделал после сего¹ общее распоряжение по полиции, чтобы чины ее никаких мер против публичных противоправительственных сходов не предпринимали и не препятствовали бы распространению прокламаций и уличным манифестациям с революционными флагами.

(ЦГА Грузинской ССР, ф. 83, д. 104, л. 1)

¹ Имеется в виду случай, описанный в предыдущем документе.

**Из представления губернатора Старосельского помощнику наместника Кавказа
по гражданской части об инциденте на станции Абаша**

15 сентября 1905 г.

Непосредственной причиной столкновения воинских чинов с толпой, повлекшего за собой многочисленные жертвы, является арест лиц жандармским унтер-офицером. Между тем если проследить весь инцидент с начала до конца, то ни с одной стороны нельзя оправдать действия агента железнодорожной полиции, арестовавшего по своему усмотрению девять лиц, и воинских чинов, без руководителя затеявших стрельбу по толпе...

Столкновение, имевшее место 4 сентября на ст. Абаша, вряд ли может считаться единичным или исключительным; за первое полугодие текущего года аналогичные случаи произошли в Белогорах, Квирилах и в последнее время в Гванкитах; нижние чины железнодорожной полиции, чины полицейской стражи и воинские части, без соответственного руководителя, брали на себя разрешение сложной задачи водворения порядка, и благодаря неумелости и непониманию серьезности положения распоряжениями их создавались условия, мешающие административной власти нести с пользою для населения свои функции.

Отмечая важность происшедшего на ст. Абаша столкновения с неизбежными в настоящее тревожное время последствиями в виде возможных забастовок в Кутаисской и даже в соседней Тифлисской губернии — манифестации и демонстраций, которые выбивают население из обычной колеи и тем самым увеличивают существующую пропасть между администрацией и народом, почтительнейше прошу строжайшего расследования всех обстоятельств этого печального события, предания суду истинных виновников и главным образом распоряжения к преподанию соответствующей инструкции нижним чинам воинских частей не принимать на себя трудную задачу усмирения народа. Наказание по суду виновных, знаменуя собой акт справедливости, проявленный высшей в крае властью, не может пройти бесследно для народа и должно успокаивающе подействовать на него.

(«Революция 1905—1907 гг. в Грузии». Сборник документов. Тбилиси. 1956, стр. 310—311)

**Из донесения заведующего полицией на Кавказе генерала Ширинкина наместнику
Кавказа**

Октябрь 1905 г.

В Кутаисской губернии политическое состояние приняло характер не просто «анархии», более или менее всегда поддающейся воздействию военной репрессии, а какого-то особого государства из самоуправляющихся революционных общин, признающих лишь власть революционных комитетов и ныне запасавшихся оружием для открытого восстания, которое приурочивается ко времени призыва новобранцев в текущем году. Происходящие в Кутаисской губернии события настолько поразительны на общем фоне государственного строя империи, что иностранцы специально приезжают на Кавказ с целью ознакомиться на месте с новыми формами русской государственности.

(«Очерки истории Коммунистической партии Грузии». Часть I. Тбилиси. 1957, стр. 132)

**Из докладной записки заведующего полицией на Кавказе генерала Ширинкина
наместнику Кавказа¹**

8 ноября 1905 г.

Начальник Кутаисского губернского жандармского управления доносит, что 19 и 20 минувшего октября в городе Кутансе, с разрешения кутаисского губернатора Старосельского, в городском саду собирались сходки, на которых произносились противоправительственного содержания речи и возмутительная ругань по адресу государя императора и всей императорской фамилии, пелись такие же песни и раздавались прокламации.

20 октября сходка разделилась на социал-демократов и социал-революционеров, причем последние, собравшись у кафедрального собора, где должна была быть совершена панихида по в бозе почившем императоре Александре III, загородили собою вход в него и тем умышленно не пропустили в церковь ни священников, ни публику, вследствие чего панихида тогда совершена не была. Находящаяся тут же полиция никаких мер не принимала.

У собора был выкинут красный флаг и агитаторами говорилось речи противоправительственного содержания, которые кончались словами: «Да здравствует свобода! Долой самодержавие!»

Социал-демократы собрались в то же время в городском саду и также, подняв красный флаг, говорили противоправительственного содержания речи и пели песни.

В самый разгар этих сходок приехал кутаисский губернатор Старосельский сначала в городской сад к социал-демократам, а потом к кафедральному собору, к социал-революционерам, и благодарил всех, что разрешенные им митинги обходятся без всяких инцидентов. Присутствующие отвечали ему криком «ура!» и аплодисментами. В это время возле г. Старосельского стоял сын священника Рубен Тимофеев Георгадзе с красным флагом, на котором изображен государь император Николай II вниз головой. По отъезде, вскоре после этого, губернатора партия революционеров, подняв высоко красный флаг, запела Марсельезу и потребовала, чтобы все присутствующие сняли шапки, что публикою и чинами полиции было исполнено, затем все находившиеся там следовали за демонстрантами. На просьбу кутаисского полицмейстера опустить флаг революционеры ответили, что на устройство шествия с флагом получено разрешение от губернатора Старосельского.

(ЦГА Грузинской ССР, ф. 83, д. 33, л. 318)

¹ Документ с некоторыми неточностями опубликован в сборнике «Революция 1905—1907 гг. в Грузии». Тбилиси. 1956, стр. 434—435. Сверен с подлинником.

Из донесения кутаисского губернатора Старосельского наместнику Кавказа

30 ноября 1905 г., № 6618.

За последнее время отношение населения гор. Кутаиса к квартирующим в городе казакам 1-го Хоперского полка сильно обострилось. Не проходит дня, чтобы не поступало жалоб на казаков со стороны населения...

...Ходатайствую пред вашим сиятельством о переводе Хоперского полка за пределы вверенной мне губернии...

Независимо от изложенного, считаю своим долгом присовокупить, что, в случае оставления Хоперского полка в Кутаисской губернии, я не могу принять на себя ответственность за последствия весьма вероятного столкновения населения с названным казачьим полком.

(«Революция 1905—1907 гг. в Грузии», стр. 465, 468)

Из донесения кутаисского губернатора Старосельского наместнику Кавказа

30 ноября 1905 г., № 6619.

Городская охрана образована из лиц выборных и пользующихся доверием населения в составе 60 человек, кои будут вооружены револьверами и саблями. Форма одежды охранников — обыкновенное платье, но с отличительным знаком в виде белой повязки на левой руке с надписью Г. О.

(ЦГА Грузинской ССР, ф. 13 оп. 22, д. 220, л. 4)

Из статьи Г. А. Затерянного «Кавказский бунт»

На самом деле эти «выборные» и «пользующиеся доверием населения» 60 человек были членами одной из «красных сотен» грузинских боевиков социал-демократов. Курьезная картина получалась при встречах губернатора Старосельского с охранниками. Сперва охранник отдавал губернатору честь по-военному, а затем кричал ему: «Га-

марджоба, Ладо!» («Здравствуй, Володя!»)... Вместо полиции — свои боевики, губернатор — «товарищ», военное положение отменено, сочувствие массы и передовой интеллигенции — на стороне революции. Это ли не подходящий момент? И революционеры его использовали: на улицах Кутаиса появились первые на всем Кавказе баррикады!

(Журнал «Исторический вестник», май 1910 г., стр. 529)

Из статьи И. Подольского «Губернатор-революционер» (о В. А. Старосельском)

Помимо постоянных совещаний с представителями общества и народа об организации народной милиции, о мерах против казаков и т. д., он принимал благосклонное участие в устройстве баррикад, сооружавшихся на пути войск, и на память о бессмертных днях кутаисской революции снялся на одной из них с группой революционеров. Бесспорно, редкий случай в практике губернаторской службы в Российской империи!

(«Исторический вестник», декабрь 1909 г., стр. 929)

Из телеграммы заведующего полицией на Кавказе генерала Ширинкина в министерство внутренних дел

24 декабря 1905 г.

Кутаисская губерния в особом положении: властей, кроме губернатора, не признают, жандармов обезоружили, завладели западным участком дороги, сами продают билеты и наблюдают за порядком... Донесений из Кутаиса не получаю, жандармы с линии сняты и сосредоточены в Тифлисе. Посылаемые нарочные с донесениями обыскиваются революционерами, и бумаги отбираются; положение там невозможное.

(ЦГАОР СССР, ДП, ОО, 1905, д. 2162, л. 45)

Из «всеподданнейшей записки» управляющего министерством внутренних дел П. Н. Дурново Николаю II

30 декабря 1905 г.

В Кутаисской губернии] Озургетский уезд (Гурья) охвачен восстанием; население отказывается платить подати и ставить новобранцев; по названному уезду, отчасти и по губернии, бродят вооруженные шайки. Значительная часть Кутаисской губернии], а равно и порт Поты находятся в руках мятежников. Противодействия им со стороны кутаисского губернатора коллежского советника Старосельского не замечается, и, по заявлению военного губернатора Батумской области и других местных властей, сам коллежский советник Старосельский может быть заподозрен в сознательном потворстве гурийскому движению.

(«Высший подъем революции 1905—1907 гг. Вооруженные восстания. Ноябрь—декабрь 1905 года. Часть первая». М. 1955, стр. 103)

Из письма Николая II наместнику Кавказа графу И. И. Воронцову-Дашкову¹

Царское село, 8 января 1906 г.

Любезный граф Илларион Иванович,

Пользуюсь отъездом вашего фельдъегеря, чтобы написать вам несколько строк... Беседу с Грязновым, приехавшим с поручением от вас, я осгался весьма доволен, в особенности тем, что он мне доложил о вас. Каково же было мое глубокое удивление, скажу прямо отчаяние, когда несколько дней спустя я получил ваше письмо с просьбою об увольнении от должности. Оно пришло в разгар Московского мятежа и в то время, когда телеграфное сообщение с Кавказом было прервано. Я вам долго не отвечал из-за нежелания воспользоваться англо-индийским телеграфом — мое оскорбленное русское чувство не позволило мне этого.

Неполучение известий производит всегда угнетающее действие.

Тем не менее я был уверен, что в ту минуту когда вы призовете войска для энергического подавления беспорядков, они выручат из самой тяжелой обстановки. Так по-видимому и случилось насколько я вижу из ваших телеграмм. Теперь уже нужно довести дело усмирения силою оружия до конца, не останавливаясь перед самыми крайними мерами.

Предпочтительнее отправлять более крупные отряды, нежели мелкие, которые потом же приходится выручать...

Конечно подавление аграрного движения дело гораздо более сложное и трудное. Это дело ближайшего будущего...

Извините если я затрону щекотливый вопрос о Крым-гирее². Я не думаю, чтобы он был вам полезным советчиком и помощником.

Но вот о ком я считаю нужным сказать крепкое слово — это о Кутаис. губер. Старосельском. По всем получаемым мною сведениям он настоящий революционер, поддерживающий с тою партией открытые сношения. Поистине место его.....³ на хорошей иве! Пример был бы благодетельный для многих.

Пора кончать. От души желаю вам Граф здоровья, сил и успеха.

Искренний поклон Графине.

Глубоко вас уважающий и любящий

Николай.

(Музей революции СССР. ф. 16692/48, д. 7—18А)

¹ Частично этот документ использован в книге Г. Вебутова «Гимназия. Ученические годы Владимира Маяковского» (Тбилиси. 1962, стр. 138).

² Имеется в виду помощник наместника Кавказа Султан-Крым-Гирей, по рекомендации которого граф Воронцов-Дашков предложил В. А. Старосельскому занять пост губернатора Кутаисской губернии.

³ Многоточие в подлиннике.

Из доклада временного кутаисского генерал-губернатора Алиханова наместнику Кавказа

г. Кутаис, 7 февраля 1906 г.

...Бывшие здесь до 12 января сего года губернатор и вице-губернатор открыто и явно содействовали успеху революции, объявляя, что на службе не могут оставаться лица, не идущие навстречу народным желаниям. Они, оказывается, и действительно удалили многих преданных долгу службы чинов местной администрации, и по их же приказаньям оружие полицейских и конных стражников было передано милиционерам революции.

Так или иначе подобное состояние губернии не могло быть долее терпимо. А потому распоряжением наместника его императорского величества на Кавказе 8 января вся Кутаисская губерния и гор. Поти были объявлены на военном положении, из Тифлиса и Батума двинуты туда отряды войск... с подчинением мне всех войск, расположенных в названном районе...

Прибыв вслед за войсками 11 января на станцию Квирилы, я прежде всего потребовал сюда бывших кутаисского губернатора Старосельского и вице-губернатора Кипшидзе и отправил их в Тифлис.

(«Революция 1905—1907 гг. в Грузии», стр. 591)

Из хроники

...Государь Император высочайше соизволил уволить со службы кутаисского губернатора Старосельского.

(Газета «Виржевые ведомости», вечерний выпуск, 17 (30) января 1906 года)

.

Бывший кутаисский губернатор В. А. Старосельский 26 января выехал в Петербург для представления Совету Министров объяснений о событиях в Кутаисской губ., происходивших в декабре прошлого и в январе текущего года

(Газета «Кавказ», Тифлис, 28 января 1906 года)

Из статьи К. Э. «Народное движение в Гурии»

Вчера нам пришлось беседовать с бывшим кутаисским губернатором В. А. Старосельским, приехавшим теперь в Петербург. Разговор зашел, конечно, на тему о гурийском восстании.

— Движение в Гурии,— сказал нам г. Старосельский,— зародилось главным образом на почве аграрной. Но громадную роль в этом случае сыграл и административный произвол, особенно широко процветающий на Кавказе...

Невозможные земельные условия, в которые поставлены гурийские крестьяне, еще более отягощаются существованием института так называемых «временно обязанных» крестьян. В Гурии... по сей день существует целый класс населения, хотя и пользующегося личной свободой, но экономически находящегося в полной зависимости от помещиков.

Правда, закон пытается определить некоторую экономическую самостоятельность «временно обязанных» крестьян, но административный произвол, царящий в крае, совершенно подавляет проблески закона...

Грузины народ очень культурный и с весьма развитым правосознанием. Народная борьба у них вполне сознательна и ни в каком случае не является следствием «злонамеренной агитации»...

Вся беда в том, что единственным средством для усмирения на Кавказе признается штык и пуля. Единственная административная мера, широко применявшаяся по всему Кавказу, это бесконечные аресты и высылки. Конечно, этим только совсем испортили положение...

Что касается меня, то я, конечно, отдавал свои распоряжения в пределах разума и возможности... В настоящее время восстание окрепло, выросло, а главное, население окончательно потеряло всякое уважение и доверие к власти. Я повторяю, всякие обвинения Грузии в сепаратизме ложны. Движение в Грузии будет продолжаться до тех пор, пока будет существовать общерусское движение.

(«Биржевые ведомости», вечерний выпуск, 11 (24) февраля 1906 года)

Из брошюры В. А. Старосельского «Кавказская драма». СПб. 1906.

С 6 по 10 февраля минувшего года на улицах г. Баку и территории нефтяных промыслов разыгрывался первый акт кровавой драмы, участники которой, армяне и татары, заплатились сотнями жизней, а город — разгромом множества магазинов, домов и промыслов. Драма оказалась многоактной; жажда взаимного истребления охватила многочисленные группы татарского и армянского населения на всей территории восточного Закавказья, культурная жизнь замерла, убины тысячи людей, и в том числе детей и женщин; разграблены многие города и селения...

Проливаемая ныне кровь двух народов, объединенных под русским орлом, но изнывающих в междоусобной войне, это расплата за грехи столетнего нашего управления Кавказом; это результат политики, систематически парализовавшей умственное, гражданское и экономическое развитие народа: политики, искусственно создавшей благосостояние одних за счет других, сеявшей раздор между нациями и объявлявшей то одну из них, то другую вне покровительства закона.

Жизнь уперлась в тупик, из которого нет выхода при господстве бюрократического режима...

Оскорбляющее нас позорное кровавое наследие не будет ликвидировано ни бюрократией, ни сомнительными в смысле представительства комиссиями. Выход из созданного положения возможен лишь после серьезной, коренной реформы всего управления краем, при широком самоуправлении, для которого кавказское общество созрело давно.

Из воспоминаний о В. А. Старосельском

...Это было в середине апреля 1907 года. Мы, делегаты Пятого съезда РСДРП, постепенно и потихоньку стягивались в Петербург, чтобы оттуда следовать дальше — за границу.

На явочной квартире мне было сказано, что надо ехать на Забалканский проспект, в одну из лабораторий Политехнического института и обратиться к Н. К. Крупской. Было, видимо, еще рано, когда я туда прибыл. Заглянул в комнату — Надежды Константиновны нет... В коридоре я встретил одного из делегатов, знакомого мне еще по Стокгольмскому съезду (никак не припомню сейчас его фамилию). Он показал мне глазами на пожилого человека, который медленно прогуливался взад и вперед, и шепнул: «Это бывший кутаисский губернатор, хочешь, познакомлю?» Я сказал, что мне это очень интересно, тем более что я уже много знал из газет и из рассказов кавказских товарищей о его содействии гурийскому восстанию.

Как припоминается мне, он при знакомстве представился Старовым. Мы присели на деревянную скамейку в коридоре. Разговор зашел о характере крестьянского движения. Он рассказывал мне о гурийском восстании, а я ему — о самарском. Я заметил, что он обходит острые углы, не называет никаких имен. Вообще казалось, что он как-то неловко чувствует себя в нашей среде. Не было в его речи нашей обычной партийной терминологии.

Лицо его мне хорошо запомнилось. Подстрижен он был уж как-то слишком коротко, чуть ли не ежиком (я подумал, не для маскировки ли?), небольшим клинышком бородка, очки, сквозь которые на вас пристально смотрят большие глаза.

Несколько раз я мельком видел Старосельского на Лондонском съезде во время перерывов между заседаниями. Очевидно, он был гостем съезда, а может быть, и делегатом, особо законспирированным.

Последние сведения о Старосельском я получил в конце 1910 года. Я жил тогда в Америке и переписывался с «Семеном» (И. И. Шварцем), который входил в парижскую большевистскую группу. В одном из писем «Семена» были примерно такие слова: как все-таки интересно складываются судьбы людей, — был человек царским губернатором, а стал большевиком. Помнится, он еще там такую мысль высказал: губернатором из него не получился, а вот получится ли хороший большевик... Писал он еще, что живет Старосельский в большой нужде.

Уже в советское время я узнал, что В. А. Старосельский немного не дожил до революции и что умер он честным большевиком, до конца дней своих преданным делу, за которое боролась наша партия.

Н. Накоряков.

16 декабря 1965 года.

(Подлинник — в редакции «Нового мира»)

Из предисловия Валбот к книге В. А. Старосельского «Крестьянское движение в Кутаисской губернии»¹

«Вы герой, гражданин!» — сказал Жан Жорес В. А. Старосельскому в палате депутатов в июне 1907 года.

«Нет, я не герой. На протяжении длительного времени я видел, что в угнетенной стране должно было начаться восстание, и простая справедливость требовала стать на сторону угнетенных».

«Да, я это понимаю, но наши префекты не сделали бы такого шага, они ведь прежде всего думают о своей карьере».

¹ В эту книгу, выпущенную в Тбилиси в 1923 году на грузинском языке, вошли написанные В. А. Старосельским статьи «Дни свобод» в Кутаисской губернии» и «Крестьянское движение в Кутаисской губернии», опубликованные в журнале «Былое» в 1906—1907 годах Валбот — Валентина Бог. впоследствии В. А. Старосельская, вторая жена В. А. Старосельского. В 1925 году она вернулась из Франции в Советский Союз. Жила сначала в Тифлисе, потом в Москве. Умерла в 1951 году.

Из воспоминаний о В. А. Старосельском

В конце весны или начале лета 1906 года я приехала в Батум с конспиративным заданием: надо было набрать две прокламации. Товарищ, ведавший подпольными типографиями, сказал мне: «В Батуме сейчас с этим делом трудно, поезжай в Кутанс». И назвал мне адрес явочной квартиры.

В Кутансе, в центре города, я быстро нашла нужный мне дом и назвала человека, которого хочу видеть. Это был высокий, интеллигентного вида мужчина, показавшийся мне очень строгим и чем-то озабоченным. Я была тогда совсем девчонкой и робела, а он подбадривал меня. В этом «губернаторском доме» и была оборудована маленькая типография. Конечно, «типография» — это громко сказано. Просто в одной из комнат была спрятана наборная касса и тискальный (печатный) станок. Что меня удивляло: по всему городу рыщут жандармы, вылавливают подпольщиков, а тут тихо, никто сюда не заглядывает. Была там и молодежь: два молодых человека и две девочки-подростка. Помню непринужденные беседы и споры за вечерним чаем. Три дня провела я в этом доме и, выполнив задание, уехала.

Вторая моя встреча со Старосельским произошла в феврале 1908 года в Екатеринодаре. Около двадцати активных социал-демократов собралось на одно важное совещание. Помню, что было это в помещении профсоюза портных на Соборной улице. Сидю я в сторонке, смотрю — входит Старосельский. Он сразу узнал меня, подошел, поздоровался. Только открыли совещание и начали разговор о том, как активизировать партийную работу и восстановить связи с Закавказьем, слышим стук в дверь. Ворвались жандармы, приказали всем оставаться на местах. Увидев Старосельского в форменной шинели, жандармский офицер козырнул ему и, отведя в сторону, сказал, что в отношении него он снесется с Петербургом. Тут я опять услышала слово «губернатор». Всех нас отправили в тюрьму, а Старосельского — под домашний арест.

На допросах меня несколько раз спрашивали, что мне известно о Старосельском. Я отвечала, что ничего с ним не знаю. В 1912 году, выйдя из тюрьмы, я узнала, что В. А. Старосельский скрылся из Екатеринодара, уехал за границу и там встречался с В. И. Лениным.

17 декабря 1965 года.

П. Вишнякова,

член КПСС с 1903 года.

(Подлинник — в редакции «Нового мира»)

Из телеграммы штаб-офицера для поручений при помощнике по гражданской части наместника Кавказа полковника Засыпкина директору департамента полиции

8 февраля 1908 г.

Седьмого февраля захвачена сходка помещения профессионального союза портных во главе председателем Северо-Кавказского соц.-демократического союза бывшим губернатором Старосельским, всего семнадцать.

(ЦГАОР СССР, ДП, VII делопроизводство, 1908, д. 1183, л. 14)

Телеграмма полковника Засыпкина помощнику по гражданской части наместника Кавказа

9 февраля 1908 г.

Не имеется ли препятствий заключению тюрьму Старосельского как председателя социал-демократического комитета? Компрометирующие документы имеются. Благоволите указанием телеграфу.

(ЦГАОР СССР, ДП, VII делопроизводство, 1908, д. 1183, л. 26)

Из донесения полковника Засыпкина в департамент полиции

11 февраля 1908 г.

...Из означенных обысков видимый сразу результат дал обыск у Старосельского, у которого обнаружено партийное письмо из Армавира от товарища «Бориса».

Георгий Старлычанов¹, Петр Орлов, Федор Яворский, Прасковья Вишнякова, Василий Селиванов, Иван Братковский и Федор Доронин арестованы и со всей перепиской переданы начальнику Кубанского областного жандармского управления. Старосельского же я постеснялся арестовать.

Кроме того, вр. генерал-губернатором Кубанской области все участники сходки, опять-таки кроме Старосельского, за незаконное собрание подвергнуты тюремному заключению.

(ЦГАОР СССР, ДП, VII делопроизводство, 1908, д. 1183, л. 19)

¹ Г. Д. Старлычанов — провокатор.

Из списка лиц, задержанных на собрании социал-демократов 7 февраля 1908 года в Екатеринодаре¹

№№ по пор.	Фамилия, имя, отчество, звание, занятие и адрес	Имеющиеся сведения
1.	Старосельский Владимир Александрович Коллежский советник в отставке, занимае-гся уроками по Гривенской ул., д. № 9. (По наблюдению кличка «Старик»)	Председатель Кубанского комитета Северо-Кавказского союза Рос. С.-Д. Раб. партии. Был избран делегатом на предполагавшийся с.-д. Всероссийский съезд. Бывший Кутаисский губернатор, проявивший во время революционного движения в 1905 году полное потворство таковому и, наконец, распоряжением генерала Алиханова был арестован и отправлен в Тифлис.

(ЦГАОР СССР, ДП, VII делопроизводство, 1908, д. 1183, л. 28)

¹ Список составлен полковником Засыпкиным.

Доклад министра внутренних дел Столыпина Николаю II

9 февраля 1908 г.

7 февраля в гор. Екатеринодаре в помещении профессионального союза портных застигнута сходка из 17 представителей Северо-Кавказского социал-демократического союза, в числе коих оказался бывший кутаисский губернатор Старосельский, который, по агентурным сведениям, стоит во главе означенного союза.

Об изложенном долгом счигаю всеподданнейше доложить Вашему императорскому Величеству¹.

(ЦГАОР СССР, ДП, VII делопроизводство, 1908, д. 1183, л. 15)

¹ Царь синим карандашом жирно подчеркнул фамилию Старосельского и в левом верхнем углу листа написал: «Надеюсь он арестован и будет привлечен к ответственности».

Из телеграммы министра внутренних дел Столыпина наместнику Кавказа

26 февраля 1908 г.

Мера пресечения против Старосельского по дознанию должна быть избрана соответственно данным расследования, вне всякой зависимости от прежней его службы, так как изъятие его из области карательного закона может лишь усилить его значение в революционной организации

(ЦГАОР СССР, ДП, VII делопроизводство, 1908, д. 1183, л. 37)

Телеграмма заместителя директора департамента полиции Виссарионова начальнику кубанского областного жандармского управления

14 марта 1908 г.

Телеграфируйте, содержится ли Старосельский [под] стражей и [в] каком порядке. Сообщенные охранным пунктом [под] номером 397 сведения, по мнению департамента, дают полное основание к возбуждению формального дознания [с] применением 126 или 102 [статей Уголовного] Уложения.

(ЦГАОР СССР, ДП, VII делопроизводство, 1908, д. 1183, л. 38)

Из телеграммы начальника кубанского областного жандармского управления полковника Воронина в департамент полиции

15 марта 1908 г.

Старосельский скрылся из Екатеринодара.

(ЦГАОР СССР, ДП, VII делопроизводство, 1908, д. 1183, л. 39)

Телеграмма директора департамента полиции полковнику Воронину

21 марта 1908 г.

Телеграфируйте, какие меры приняты розыску Старосельского.

(ЦГАОР СССР, ДП, VII делопроизводство, 1908, д. 1183, л. 40)

Из телеграммы полковника Воронина в департамент полиции

22 марта 1908 г.

Старосельский выехал из Екатеринодара, по сведениям, в Тифлис и Кутаис, но, по справкам, там не обнаружен. Так как семья его находится в Екатеринодаре, то для выяснения его местонахождения установлено наблюдение за получаемой по почте корреспонденцией.

(ЦГАОР СССР, ДП, VII делопроизводство, 1908, д. 1183, л. 42)

Из письма министра внутренних дел Столыпина наместнику Кавказа

22 марта 1908 г.

Имею честь просить ваше сиятельство не отказать уведомить меня для всеподданнейшего о том государю императору доклада, по чьему распоряжению и на каком основании Старосельский не был подвергнут административной каре.

(ЦГАОР СССР, ДП, VII делопроизводство, 1908, д. 1183, л. 41)

Из письма председателя совета министров и министра внутренних дел Столыпина наместнику Кавказа

11 апреля 1908 г.

...Беспримерная дерзость подпольных организаций в центре Кавказа¹ едва ли может служить благоприятным показателем для будущего и свидетельствовать о надлежавшей деятельности органов власти. Не менее ярким доказательством полной растерянности их служат и обстоятельства задержания в помещении екатеринодарского профессионального союза портных сходки с бывшим кутаисским губернатором Старосельским во главе. Несмотря на то, что Старосельский был застигнут на месте преступления, где найден и целый ряд документов, изобличающих всех присутствующих на собрании в образовании преступного сообщества, невзирая на то, что в квартире Старосельского найдено было письмо партийного характера², местные представители власти, не решившись, по малю понятным причинам, подвергнуть Старосельского аресту,

стали обмениваться между собою телеграммами, а тем временем Старосельский, оставленный без взыскания и по обязательному постановлению, действие коего было, однако, распространено на прочих участников сходки, успел скрыться, хотя ранее и состоял под постоянным наблюдением.

(«Красный архив», № 3, 1929, стр. 198)

¹ В письме перед этим говорится о случаях убийства жандармов и полицейских в Тифлисе.

² Имеется в виду письмо «товарища Бориса», отрывок из которого публикуется ниже.

Из письма «товарища Бориса»¹ В. А. Старосельскому

с. Армавир, 30 января 1908 г.

У нас в Армавире существует до 6 профессиональных союзов, намечается к образованию еще несколько союзов, назревает так называемое «Просветительное общество» для рабочих, нечто вроде рабочего клуба со чтениями, лекциями, спектаклями для них и т. д. Нам необходимо иметь точную осведомленность относительно всех существующих в Куб[анской] обл[асти] профес[сиональных] союзов, необходимо так или иначе осветить многие назревшие вопросы профессионального движения и т. д. Словом, необходим профессиональный орган на всю Куб[анскую] обл[асть], а может быть, и на весь Сев. Кавказ. В этом же органе могли бы помещаться, по мере возможности, и статьи с[оциал]-д[емократиче]ского направления, и таким бы образом у нас образовалась необходимая связь профессиональных и частью партийных организаций всего С. Кавказа. Нужда эта для нас настоящая, но в Армавире никакую газету издавать нельзя. Поэтому не найдется ли у вас группы лиц с[оциал]-д[емократов], которые бы могли издавать эту газету. В сотрудниках, мне думается, недостатка бы не было, распространение она также могла бы иметь значительное, если судить по опыту ранее издававшейся в г. Ставрополе газеты «Голос». Еще одна к вам просьба. Секретарь Арм. Ком. С.Д.Р.П. говорил мне, что из Цент[рального] Ком[итета] пришло зашифрованное письмо, но расшифровать его он никак не может. Попросите Вашего секретаря, чтобы он прислал шифр... А пока остаюсь с товарищеским приветом известный Вам товарищ Борис.

(ЦГАОР СССР, ДП, VII делопроизводство, 1908, д. 1183, лл. 24—25)

¹ «Товарищ Борис» — Степан Петрович Кочурин, учитель, активный член Армавирской организации РСДРП.

Из предисловия Валбот к книге В. А. Старосельского «Крестьянское движение в Кутаисской губернии»

Прибыв в Париж, известный экономист профессор Максим Максимович Ковалевский рассказывал, что жена Николая II взбешена тем, что «губернатор, изменивший царю, ускользнул из бук палачей».

Из донесения начальника московского охранного отделения полковника Котена директору департамента полиции

11 мая 1908 г.

Имею честь доложить Вашему превосходительству полученные мною из агентурного источника некоторые сведения с деятельности заграничных организаций Российской социал-демократической рабочей партии... Некоторая деятельность еще замечается в «Бюро Парижской социал-демократической группы», каковым в последнее время устроено несколько собраний, из них наиболее характерными являются: 1/12¹ мая, на котором Ленин в присутствии около 1000 человек читал реферат «О характере русской революции», затем заседание Бюро Парижской группы; на этом собрании присутствовали 20 человек, в том числе Ленин, Мартов, Алексинский и бывший кутаисский губернатор Старосельский...

(ЦГАОР СССР, ДП, 00, 1908, д. 5, ч. 84, т. 2, л. 51)

¹ Видно, описка: надо 1/14.

Из донесения заведующего заграничной агентурой Гартинга директору департамента полиции

Париж, 30 мая (12 июня) 1908 г.

Вследствие предписания от 18 сего мая за № 131634 имею честь доложить Вашему превосходительству, что б. кутаисский губернатор Старосельский ныне проживает под фамилией Старова в Париже, 25 Blvd Port Royal, и занимается теперь подготовлением к изданию записок об условиях, при которых он был назначен на должность губернатора.

Старосельский принимает здесь активное участие во всевозможных собраниях социал-демократической партии фракции большевиков, председательствует на сходках, и имеются указания, что большевистский центр намерен его кооптировать, так как благодаря бывшему своему административному положению он сможет оказать революционерам весьма ценные услуги.

...Старосельский весьма слабого здоровья, крайне нуждается в деньгах, получая таковые от большевистского центра.

(ЦГАОР СССР, ДП, ОО, 1908, д. 5, ч. 84, т. 2, лл. 59, 61)

Из письма А. М. Горького И. П. Ладыжникову

Капри, июль, до 3, 1908 г.

В Париже голодает Старосельский. сегодня послал ему 300 фр[анков]. Он, говорят, пишет свои записки о кавказской революции. Его адрес — через дядю Мишу¹. Вы, думаю, могли бы помочь ему советом по изданию его работы, если не можете сами издать ее.

(Архив А. М. Горького, т. VII. Письма к писателям и И. П. Ладыжникову. М. 1959, стр. 183)

¹ Дядя Миша — М. А. Михайлов.

Из донесения заведующего заграничной агентурой Гартинга директору департамента полиции

25 сентября (8 октября) 1908 г.

...В Париже за последнее время известным Старосельским, б. кутаисским губернатором, были прочитаны три реферата: первые два из них были преимущественно посвящены истории развития Грузии, и в последнем Старосельский исключительно говорил о «республике, президентом коей он являлся в течение 7 месяцев». Доклад этот содержал все подробности о «назначении и правлении» Старосельского.

(ЦГАОР СССР, ДП, ОО, 1908, д. 5, ч. 84, т. 2, л. 167)

Из донесения заведующего заграничной агентурой Гартинга директору департамента полиции о положении дел в заграничных организациях РСДРП

6 (19) ноября 1908 г.

Ввиду того, что информационные Бюллетени, выходящие в Берлине на немецком языке, находятся в руках меньшевиков, Центральный Комитет решил начать издавать возможно скорее подобные бюллетени сначала на французском языке, дабы создать противовес социал-революционной «Tribune Russe», а затем расширить издание на франко-английском языке¹. Имеется в виду через полгода, приобретши известность в партийных заграничных кругах, французских, английских и немецких, начать издавать бюллетени Центрального Комитета на немецком языке, ибо на этом языке они лучше всего оплачиваются. Пока это дело поручено организовать доктору Семашко и Старосельскому.

(ЦГАОР СССР, ДП, ОО, 1908, д. 5, ч. 84, т. 2, л. 223)

¹ Так в подлиннике.

Из письма В. К. Таратуты¹ Я. Тышке²

19 ноября 1908 г.

В Париже собрался трет[ейский] суд под председательством Мартова по делу Новодворского и Бурцева³ и просил прислать представителя партии для присутствия на суде. Послал на суд бывш[его] губернатора Кутаис[ской] губ. тов. Старосельского.

(Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ), ф. 17, оп. 1, ч. 2, ед. хр. 673, л. 13)

¹ Виктор Константинович Таратута (1881—1926) — член РСДРП с 1898 года, делегат IV и V съездов РСДРП. В период к которому относится это письмо, он был членом заграничного большевистского центра

² Ян Тышка — видный деятель польского и немецкого рабочего движения. На V Лондонском съезде был избран членом ЦК. Убит в берлинской тюрьме в 1919 году.

³ Утснить, по какому поводу был суд, не удалось.

Из протокола Комитета парижской группы содействия РСДРП

1908 г.

21/XI. I собрание ком[итет]а состоялось в 8 ч. веч. у Василь[ева].

6. Намечены комиссии

2) Пропагандистская: Александр, Старов, Андрей, Николь-ий, Старов¹.

(ЦПА ИМЛ, ф. 366, оп. 4, ед. хр. 36340, л. 1 об.)

II собрание комитета сосгоялось 3/XII у Васильева...

4) О рабочем клубе.

В проагандистской группе Раб[очего] кл[уба] намечены [в] бюро раб[очего] клуба след[ующие] кандидаты: Дан; Адашев, Сверчков, Малкин, Романов, Старсв, Богомолец, Мартов, Львов, Маслов, Ленин, Марат, Ольгин, Акимова.

(Там же, л. 3)

¹ Фамилия Старова внесена в протокол дважды.

Из письма Антося¹ М. В. Галиной-Кравченко в Полтаву

г. Париж, 8 сентября (нового стиля) 1909 г.

...Три эти дня я провел на даче у товарища Старосельского (помнишь, я писал тебе о нем осенью прошлого года): в разгар революционного кипения Кавказа наместник Е. И. В.² назначил кутаисским губернатором старика Старосельского, популярного там революционного демократа. Этот губернатор тогда подчинил себя социал-демократии и начал управление губернией с помощью Кутаисского комитета Рос. Соц.-демократической рабочей партии... С конца 1907 года³ он проживает здесь. Теперь к нему приехала жена и дочь, только окончившая гимназию. На одном из собраний группы (события привели его, Старосельского, в РСДРП, в большевики) мы сошлись с ним, и он позвал меня к себе в гости. Там я провел очень хорошие дни...

(ЦГАОР СССР, ДП, ОО, 1909, д. 346, лл. 71—72)

¹ Антося — Антон Николаевич Макаренко, большевик.

² Е. И. В. — его императорское величество.

³ Постоянно В. А. Старосельский жил в Париже с 1908 года.

Из списка, составленного особым отделом департамента полиции

13 января 1909 г.

По имеющимся в департаменте полиции сведениям, в настоящее время за границей проживают следующие выдающиеся деятели Российской социал-демократической рабочей партии:

1. Ленин (Ульянов) Владимир Ильич.
2. Ульянова Надежда Константиновна.

3. «Рядовой», «Максимэв» (Богданов).

47. Старосельский, б. кутаисский губернатор...¹

(ЦГАОР СССР, ДП. 00, 1908, д. 5, ч. 31, т. 2, л. 304)

¹ Всего в списке восемьдесят четыре человека.

Из воспоминаний о В. А. Старосельском

В августе 1910 года я гостила в семье Старосельских в Париже. Они снимали тогда квартиру на улице Альфонса Доде, где имели фотоателье. Жили весьма скромно и очень нуждались. Владимир Александрович запомнился мне высоким худощавым стариком. Он как-то очень внимательно смотрел на человека, с которым разговаривал. Иногда у него в глазах появлялись чуть насмешливые искорки. Я несколько раз видела у них в доме человека, о котором потом узнала, что это А. В. Луначарский. Они были дружны и вместе гуляли в находившемся неподалеку парке Монсури. По вечерам к Владимиру Александровичу приходили русские эмигранты. Они подолгу сидели у него, горячо спорили.

20 ноября 1965 года.

*Е. Эгиз*¹.

(Подлинник — в редакции «Нового мира»)

¹ Елена Борисовна Эгиз — племянница В. А. Старосельской, пенсионерка.

Из донесения начальника тифлисского губернского жандармского управления полковника Пастрюлина директору департамента полиции

11 апреля 1913 г.

Донесу Вашему превосходительству, что произведенной проверкой установлено, что у бывшего кутаисского губернатора Старосельского имеются четыре дочери: Елена — 26 лет, проживает в настоящее время в Париже, Тамара, 18 лет, живет в гор. Одессе, где состоит слушательницей в зубоветеринарном институте, Мария, 16 лет¹, учится в одном из женских институтов в гор. Москве, Ада, 10 лет, находится при матери Надежде Константиновне Старосельской, проживающей в гор. Екатеринодаре, по Пластиновской улице в д. № 46.

Вышеупомянутая Елена Старосельская с августа 1911 года по 1 июня 1912 года занимала должность учительницы французского языка в частной гимназии в гор. Анапе, откуда, уволившись со службы, выехала за границу к отцу.

О Елене Старосельской у начальника Кубанского областного жандармского управления имелись сведения, что она в Анапе проводила среди учеников гимназии соц.-демократические идеи и стремилась организовать ученические кружки...

По тем же сведениям начальника Кубанского областного жандармского управления, вся семья Старосельского является сомнительной политической благонадежности и сочувствующей идеям отца.

(ЦГАОР СССР, ДП, 1913, д. 9, ч. 78, лит. Б, л. 12)

¹ М. В. Старосельская пошла на фронт сестрой милосердия, убила в 1915 году. О судьбе остальных дочерей В. А. Старосельского, а также о Н. К. Старосельской никаких данных найти не удалось.

Из письма Валентины Андреевны Старосельской своей сестре Александре

16 февраля 1915 г.

...Очень хотела бы написать тебе много. Но ты можешь себе представить, как я устаю, когда огромная квартира, ребенок и анемия на почве недоедания. Работы нет почти. А до войны у нас была большая надежда немного отдохнуть от забот. А теперь надо ждать по крайней мере год, чтобы дела наши понравились. Влад[имир] Алекс[андрович] приветствует всех. Сильно надломилось его здоровье...

(Из личного архива Е. Эгиз)

Из некролога «Владимир Старосельский»

Видный русский социалист, о смерти которого в Париже мы сообщали вчера, родился в 1861 году. Когда произошли революционные события 1905 года, Старосельский был директором большой агрономической станции в Грузии (Кавказ). Его популярность была огромной, особенно среди местной молодежи. Вот почему кавказский наместник граф Воронцов-Дашков, отдавая себе отчет, что реакционные деятели не внушают никакого доверия населению, решил привлечь его к сотрудничеству.

Владимир Старосельский занял пост губернатора Кутаисской губернии. Захваченный социалистическими идеями, он выполнял свои функции в контакте с местным социал-демократическим комитетом. Благодаря мудрости его правления удалось избежать множества конфликтов. Но Старосельский, защищая интересы народа, навлек на себя ненависть реакционеров и происками последних был снят. Тогда он отправился в Екатеринбург, где принял участие в работе социалистической организации. Преследуемый властями и находясь под угрозой ареста, он вынужден был покинуть Россию и обосновался в Париже, где принял участие в жизни русской колонии, интересуясь всеми сторонами ее (кассой эмигрантов, библиотекой, электротехнической школой и т. д.)...

Русские социалисты и друзья покойного приглашают всю русскую колонию отдать последний долг памяти этого благородного представителя демократической России.

(«Юманите», 29 августа 1916 года)

Из предисловия Валбот к книге В. А. Старосельского «Крестьянское движение в Кутаисской губернии»

29 августа 1916 года траурный экипаж, увитый красивыми венками и лентами, направился с гробом В. А. Старосельского к стене коммунаров на Père la Chaise. Сопровождали друзья, близко его знавшие, представители французских партий и организаций. По дороге к процессии присоединились сознательные рабочие. На лентах были надписи: «Гражданину, борцу за дело пролетариата», «Учителю — признательная Грузия»... Тело было сожжено в крематории, пепел хранится в колумбарии № 213 Père la Chaise.

Социалистическая пресса Франции, Англии и Америки поместила сочувственные статьи-некрологи о его бесстрашной деятельности борца за освобождение пролетариата¹, а французская охранка Surte, царский консул... в отсутствие семьи вскрыли ящики стола покойного В. А. Старосельского, где лежали его рукописи...

¹ Статьи, посвященные агрономической и общественно-политической деятельности Владимира Александровича Старосельского, поместили также выходившие в 1916 году в Тифлисе научный и политический журнал «Цховреба» («Жизнь»), театрально-литературный журнал «Театри да цховреба» («Театр и жизнь») и другие органы печати.

Из письма А. М. Горького С. Т. Григорьеву

Нсаполь, 3 декабря 1925 г.

[Упомянув о Савве Морозове, который помогал революционерам, Горький далее пишет]:

...«Таких» было у нас не мало. К ним принадлежит пермский пароходовладелец Ник. Мешков, ташкентский полицеймейстер — большевик Наливкин¹, кутаисский губернатор Старосельский, кажется, — затем большевик, князь Кугушев и много иных. Отнесите сюда же и рюриковича Петра Кропоткина, да и Михаилу Бакунину место тут же. С точки зрения марксовой у всех этих людей «мозги набекрень», но для меня это — настоящие красавцы и праведники, несмотря на все их изгрешения и недостатки. «Продукты» неисчерпаемой равнинной русской тоски о чем-то, о каких-то высотах.

(«Литературное наследство». М. 1963. т. 70, стр. 132)

¹ Наливкин большевиком не был. В Думе он примыкал к меньшевикам.

Из протокола № 9 заседания бюро Всесоюзного общества старых большевиков

6 июля 1926 г.

Слушали.

...О предоставлении пенсии семье тов. Старосельского.

Постановили.

...Возбудить соответствующее ходатайство перед Совнаркомом.

(ЦПА ИМЛ, ф. 124, оп. 3, ед. хр. 16, л. 64)

Из постановления Совнаркома СССР

от 10 августа 1926 г.

Назначить с 1 июля 1926 г. Валентине Андреевне Старосельской и проживающим с нею детям ее Владимиру Владимировичу 13 лет и Юлию Владимировичу 11 лет персональную пенсию в размере 150 (ста пятидесяти) руб. в месяц до окончания образования детей¹.

(ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 1, д. 21, л. 217)

¹ Владимир и Юлий Старосельские в один день — 13 сентября 1932 года — пошли работать на Московский автозавод имени Лихачева. Юлий в 1936 году поступил в военную школу. Последняя его должность — заместитель командира минометного дивизиона. Погиб на фронте 17 февраля 1942 года. Владимир Владимирович Старосельский умер в 1953 году.

Из воспоминаний Е. Ю. Демуровой¹

В 1926 году я поехала из Тбилиси в Москву с письмом В. А. Старосельской к А. В. Луначарскому (семьи Старосельского и Луначарского были дружны в годы жизни в эмиграции в Париже). Я была тепло принята в семье Луначарских. Как-то за столом зашел разговор о моем дяде В. А. Старосельском. Хорошо помню, как Анатолий Васильевич тогда сказал: «Ведь совсем немного не дожил Владимир Александрович до революции. Быть бы ему наркомом земледелия».

21 декабря 1965 года.

Е. Демурова.

(Подлинник — в редакции «Нового мира»)

¹ Екатерина Юльевна Демурова — член КПСС, кандидат педагогических наук, пенсионерка.

Справка

Т[овари]ща Старосельского Владимира Александровича я знал по совместной работе в Парижской большевистской группе. Я знаю, что в 1908 году он вошел в группу и работал там в качестве большевика, был знаком с Лениным и часто бывал у него. Лично я встречал его до 1911 года, но хорошо знаю, что он был большевиком до самой его смерти в 1916 году.

4 марта 1945 года.

Член ВКП(б) с 1893 года М. Лядов.

(Из пенсионного дела В. А. Старосельской)

Из статьи Г. Тодуа «Красный губернатор»

Среди деятелей сельского хозяйства дореволюционной Грузии одно из почетных мест занимает Владимир Александрович Старосельский... Он активно участвовал также в политической жизни... Его никогда не забудет наш народ.

(Газета «Коммунист», Тбилиси, 18 ноября 1965 года, перевод с грузинского)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. КАРДИН

★

ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ

Факты обладают свойством обрастать легендами. Может быть, потому, что легенда куда больше, нежели факт, способна удовлетворить людскую жажду возвышенного? Легенды, с юных лет пленившие наше воображение — без них жизнь была бы во сто крат беднее и бледнее, — нередко берут свое начало от забытых случаев, эпизодов, событий, происшедших в незапамятные времена.

И все-таки, бывает, потребность в легенде вступает в противоречие с другой потребностью — в «черном хлебе» фактов. Нередко исторический факт — пусть голый и непритязательный — дороже, нужнее, чем великолепная сказка, в которую он вырос. Это в тех, видно, случаях, когда за реальным фактом — реальность народной судьбы. Тут уж не соглашаешься не только на вымысел — на малейшую недостоверность, тут нужна правда, одна правда.

Нынешний интерес к документальным свидетельствам, прежде всего о военных годах и невзгодах, о ветеранах и героях нашей армии, идет от характерного для наших дней неослабевающего желания испить «из реки по имени факт». Этот интерес обострился тогда же, когда после XX съезда партии началось возвращение к ленинским нормам и к справедливости там, где они нарушались.

Восстановление забытых имен и подвигов, предпринятое историками, мемуаристами, писателями, оказалось делом нелегким. Трудности возникали на каждом шагу: недостаток материалов, нехватка свидетельств и свидетелей, архивные лабиринты. А несовершенство человеческого памяти, ее способность — без малейших дурных намерений — выдавать вероятное за действительное, приблизительное за точное? И —

препятствия другого рода: сопротивление несогласных с восстановленным исторической истины во всей ее полноте.

Вспомним, какие баталии развернулись недавно вокруг имени героя гражданской войны, командира Сводного конного корпуса Бориса Думенко¹. Даже то бесспорное обстоятельство, что Главная военная прокуратура и Военная коллегия Верховного Суда СССР сняли с него клеветнические обвинения (какую же гигантскую работу для этого пришлось проделать — комкор² по общему оговору был расстрелян в 1920 году!), что его реабилитировали как командира Красной Армии, посмертно восстановили в Коммунистической партии, — не убедило несогласных. Не убедили их и высокие награды, каких некогда удостоивался отважный комкор.

Недавно в интереснейшем документальном повествовании Ю. Трифонова «Отблеск костра» («Знамя», № 3, 1965) были сказаны справедливые слова о Б. Думенко. Впервые, пожалуй, наша литература вспомнила о человеке, который был организатором и командиром первых частей и соединений Красной конницы.

Ю. Трифонов старается понять, как же так получилось, что комкор, пятым по счету в стране получивший орден Красного Знамени, стал трагической жертвой клеветы. Не все и сейчас ясно в этой запутанной

¹ См. «Военно-исторический журнал» № 12 за 1964 год — письмо старшего научного сотрудника Центрального государственного архива Советской Армии Т. А. Илларишской «Пора восстановить истину»; «Неделю» № 8 за 1965 год — статья полковника В. Поликарпова «Комкор возвращается в строй»; «Военно-исторический журнал» № 9 за 1965 год — обзор писем «О командире Сводного конного корпуса В. М. Думенко».

истории. Вдумчиво изучая документы, пристально всматриваясь в далекие фигуры, боясь упрощений и предвзятости, Трифонов говорит о резкости Думенко, о крутом его нраве, о нетерпимости к трусам и карьеристам. Такие люди, как известно, умеют наживать врагов, и врагов достаточно ловких, не останавливающихся ни перед чем. А тут еще таинственное убийство комиссара Микеладзе. И хотя все знали о теплой дружбе комкора с комиссаром, подозрение пало на Думенко.

Суд был быстрый и неправый. Бориса Думенко приговорили к смертной казни. Хвост клеветы тянулся за ним десятилетиями.

Случай с Думенко не единичен. Известно, скажем, имя Андрея Евгеньевича Снесарева, крупного военачальника, военного писателя и ученого, добровольно вступившего в Красную Армию, верой и правдой служившего ей до конца своих дней. А. Е. Снесарев, пользовавшийся доверием В. И. Ленина, уважением командиров Красной Армии, был одним из первых — в знак признания выдающихся заслуг — удостоен звания Героя Труда. Все это зачеркнул арест в 1930 году, нелепое обвинение в участии в монархической офицерской организации. На страницах романов, исторических монографий замелькал «сомнительный военспец», «приспособленец», «вредитель» Снесарев. В подобном примерно качестве выступит он в «Хлебе» Алексея Толстого — книге, историческая несостоятельность которой бросается сегодня в глаза. Дань этому заблуждению отдал, к сожалению, и Всеволод Иванов в своем романе «Пархоменко»¹.

Можно, конечно, сказать: писатель — не исследователь, не его дело заниматься поисками и разысканиями. Нет! Писатель, пишущий на исторические темы, так же отвечает за правду прошлого, как пишущий на современные темы — за правду сегодняшнего дня.

И тут вновь надо подчеркнуть значение точных исторических фактов, недопустимость смешения истории и легенды.

По каким только поводам не повторялись слова о том, что славный праздник Красной

Армии — 23 февраля — учрежден в ознаменование победы, одержанной в этот день в 1918 году над немецкими полками под Псковом и Нарвой. Так было в свое время сказано в «Кратком курсе истории ВКП(б)», в одном из военных приказов И. В. Сталина, в многочисленных статьях и брошюрах.

Но вот автор «Порт-Артура» А. Н. Степанов в свое время решил порыться в архивах, проверить, как это было. И выяснил, что 23 февраля 1918 года под Нарвой и Псковом вообще никаких боев не происходило. Он написал письмо И. В. Сталину, письмо переадресовали в секретариат главной редакции «Истории гражданской войны в СССР». Генерал-майор запаса, доктор исторических наук С. Найда, заведовавший тогда секретариатом, вспоминает этот случай в своей недавней статье «Почему день Советской Армии и Военно-Морского Флота празднуется 23 февраля?»¹. С. Найда приводит многочисленные документы, подтверждающие правомерность сомнений А. Степанова. В те дни если и велись бои на Северном фронте, то не 23-го и не под Псковом, да и с неблагоприятным для нас исходом. 26 февраля 1918 года «Правда» написала, что вечером 24 февраля немцы взяли Псков. 27 и 28 февраля сообщалось: «Псков был занят небольшими силами немцев, город удалось бы отстоять, если бы было оказано сопротивление».

С. Найда прослеживает перипетии обстановки под Нарвой и Псковом, анализирует сводки и приходит к выводу: «23 февраля 1918 года никаких боев под Псковом, а тем более под Нарвой не было».

Так почему же все-таки днем Красной Армии стало 23 февраля?

«В 1918 году, — пишет С. Найда, — в этот день произошел ряд важных политических событий». Он перечисляет эти события, проходившие под лозунгом ленинского декрета «Социалистическое Отечество в опасности!». Декрет был подписан 21 февраля, опубликован 22-го вместе со специальными статьями в «Правде», «Известиях ВЦИК» и в других газетах. Народ бурно поднимался на защиту страны и революции. В Петрограде, Москве и в других городах комплектовались первые отряды Красной Армии, вокруг Питера строились укрепления, при-

¹ На искаженном образе Снесарева в романах «Хлеб» и «Пархоменко» указывают, в частности, В. Дудник и Д. Смирнов, авторы статьи о А. Е. Снесареве «Вся жизнь — науке» («Военно-исторический журнал», № 2, 1965).

¹ «Военно-исторический журнал», № 5, 1964.

водились в боевую готовность форты и корабли Балтийского флота.

Долгое время легенда о боях под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года заслоняла действительные обстоятельства, в которых рождалась Красная Армия, и роль, какую играл в этом В. И. Ленин¹.

Между тем стоило вернуться к фактам — и все становилось на свои места. В воспоминаниях старого большевика В. П. Затонского рассказывается о том, как был подписан долго не дававшийся коллегии Наркомвоена декрет о преобразовании Красной гвардии в Красную Армию.

«За это дело взялся тогда сам Ильич. Он заявил, что не закроет собрания (Совнаркома.— В. К.), пока этот декрет не будет принят, вооружился пером и начал тут же выправлять декрет, вычеркивать целые параграфы, изменяя редакцию, внося существенные изменения. Эта работа заняла, вероятно, около часа времени (точно по часам не следил, но непосредственное ощущение было таково, что промаялись долго; обычно декреты проходили гораздо быстрее).

Наконец декрет был готов и принят единогласно (кажется, даже без голосования) ...»².

После 1956 года в официальных изданиях слова о победе 23 февраля 1918 года под Псковом и Нарвой уже не повторяются. В новом учебнике истории КПСС в полном согласии с исторической истиной сказано: «Дни мобилизации революционных сил народа и героической защиты Красной Армией завоеваний Октябрьской социалистической революции от нашествия полчищ германского империализма стали днями рождения Красной Армии. В память об этом великом подвиге Вооруженных Сил советского народа 23 февраля ежегодно отмечается в Советской стране как День Красной Армии»³.

Говоря о том, как легенда порою теснит факты, можно было бы сослаться и на дру-

гой, более частный пример. В книгах, в статьях, в поэмах, на киноэкране и по сей день мелькает привычное словосочетание: «залп «Авроры».

А между тем залпа не было. Был единственный холостой выстрел. В ответ на него буржуазная пресса подняла крик о залпе пушек революционного корабля, якобы повредившем исторические ценности Зимнего дворца. Эта клевета вызвала негодование матросов «Авроры», написавших гневное письмо в «Правду». И «Правда» 27 октября 1917 года в № 170 опубликовала его. Вот текст этого письма:

«Ко всем честным гражданам города Петрограда от команды крейсера «Аврора», которая выражает свой резкий протест по поводу брошенных обвинений, тем более обвинений не проверенных, но бросающих пятно позора на команду крейсера. Мы заявляем, что пришли не громить Зимний дворец, не убивать мирных жителей, а защитить и, если нужно, умереть за свободу и революцию от контрреволюционеров.

Печать пишет, что «Аврора» открыла огонь по Зимнему дворцу, но знают ли господа репортеры, что открытый нами огонь из пушек не оставил бы камня на камне не только от Зимнего дворца, но и от прилегающих к нему улиц? А разве это есть на самом деле?»

К вам обращаемся, рабочие и солдаты г. Петрограда! Не верьте провокационным слухам. Не верьте им, что мы изменники и погромщики, и проверяйте сами слухи. Что касается выстрелов с крейсера, то был произведен только один холостой выстрел из 6-дюймового орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающий их к бдительности и готовности. Просим все редакции перепечатать.

Председатель судебного комитета

А. Бельшев

Тов[арищ] председателя П. Андреев

Секретарь /подпись/»¹.

Простой и точный факт не приносит нам разочарования. Разве это письмо меньше говорит о мужестве и гуманности солдат революции, моряков «Авроры», чем хрестоматийная легенда о «залпе»?

¹ Напомним, что в 1947 году было обнаружено письмо И. В. Сталина военному историку полковнику Е. Разину, в котором утверждалось, что Ленин не был знатоком военного дела, не занимался военными вопросами, а поручал это «молодым товарищам из ЦК».

² В. Затонский. На заре Красной Армии. В сборнике «Этапы большого пути». М. 1962.

³ «История Коммунистической партии Советского Союза». Изд. 2-е. М. 1962, стр. 270

¹ Цитируется по книге «Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции». М.—Л. 1957, стр. 293—294.

В последних книгах о войне, воинском подвиге с наибольшей, пожалуй, определенностью выказало себя нежелание литературы мириться с искажением событий, умалчиванием, забвением имен и фактов. Это и понятно. Слишком многое стоит у народа и у каждого из нас за так называемой военной темой.

Достаточно упомянуть о писательском, а следовательно, и гражданском подвиге С. С. Смирнова, вернувшего родине десятки имен ее героев, восстановившего эпопею Бреста.

В свой поиск С. С. Смирнов и многие другие писатели-документалисты отправились в середине пятидесятых годов. Этот же рубеж знаменовал второе рождение советской военной мемуаристики (первое состоялось в первые годы революции).

Минувшее десятилетие не прошло напрасно. Нам, современникам, трудно даже взвесить вклад мемуаристов, писателей, историков в создаваемую ныне летопись Великой Отечественной войны. Вот пример, дающий кое-какое представление о расстоянии, пройденном за последние годы. Вскоре после войны был издан помпезный том «Штурм Берлина», составленный из воспоминаний, писем, дневников участников боев за германскую столицу. Его открывала статья о финальном сражении, где неоднократно упоминается единственная фамилия с неперменным предварением «великий». Не известно, кто командовал фронтами и армиями, кто вел дивизии и полки, кто разрабатывал планы и кто шел под огнем, падал на брусчатку. Одно лишь единственное имя.. Сейчас в это трудно поверить, это кажется невозможным.

На наших глазах мемуарная и документальная литература завоевала признание, популярность. Щедрый выпуск воспоминаний, документальных книг, неослабевающая читательская тяга к ним — одно из проявлений роста общественного сознания и возмужания народной памяти.

Еще не наступил час подводить итоги и делать заключения. Мемуарно-документальный поток нарастает. От явлений очевидных, доступных всеобщему обозрению — к менее заметным, но не менее значительным, к углубленному осмыслению планов и операций, к более основательному и доказательному опровержению тенденциозных западногерманских истолкователей, а подчас фальсификаторов хода войны. И пер-

вейшее условие этого — верность фактам, точность цифр и сведений, неопровержимость свидетельств. Если оно нарушено, воспоминания теряют смысл, их автор — доверие.

Споры вокруг больших оперативно-стратегических проблем и крупных исторических событий не должны заслонять рядового солдата. О нем хоть и много сказано, да далеко не все. Хоть и много названо имен, восстановлено подвигов, подробностей, однако и здесь еще дел — непочатый край для всех вспоминающих войну, а в первую голову для писателей-фронтовиков. Трудности при этом возникают порой самые неожиданные.

Василий Субботин (прежде чем стать писателем, он дошел со своей 150-й Идрицкой стрелковой дивизией до самого Берлина и в числе первых вбежал по засыпанному штукатуркой ступеням рейхстага) рассказывал как-то о таком случае. Когда он в застольной беседе с однополчанами вспоминал штурм рейхстага, кто-то назвал сержанта Иванова. Субботин насторожился. Он хранил свои фронтовые блокноты, знал, казалось, имена всех участников штурма, но о сержанте Иванове слышал впервые. Друзья, однако, единодушно уверяли: Иванов был с ними — «такой здоровенный, кося сажень...».

Субботин взял на заметку новую фамилию, стал проверять себя по документам, но в списках батальона сержант не значился. И тогда Субботина осенило — это был Иванов из фильма «Падение Берлина». Ребята приучили себя к нему, «включили» в штурмовую группу, стали называть, делясь воспоминаниями.

А об одном из действительных героев — Петре Пятницком, погибшем с красным флагом на подступах к рейхстагу, забыли в горячке боя, и он числился в «пропавших без вести». Так бы и выветрилось из памяти славное имя, не назови его В. Субботин на страницах «Правды» и журнала «Новый мир», не напиши о его подвиге. Теперь же с сознанием восторжествовавшей справедливости мы читаем в «Истории Великой Отечественной войны»: «Здесь взвился флаг воина 1-го батальона 756-го стрелкового полка младшего сержанта Петра Пятницкого, сраженного вражеской пулей на ступеньках здания. Флаг воина-героя был подхвачен младшим сержантом П. Д. Щерби-

ной и установлен на одной из колонн главного входа»¹.

Никого не запомнить, отвоювать у забвения «безымянных» — вот одна из важнейших задач для каждого, всерьез взявшегося за восстановление картин минувшей войны. Эта сложная, кропотливая работа минутами сопряжена не только с неожиданными препятствиями, но и с непредвиденными неприятностями (так, поначалу однополчане рассердились на Василия Субботина, доказывавшего им, что Иванов — герой кинофильма, а не боя за рейхстаг; легенда стала для них былью, и они не желали от нее отказываться). Но без такой работы остались бы в неизвестности защитники Бреста, участники многих подпольных организаций, действовавших в фашистском тылу, десятки, сотни имен, не зная которые не имеют права современники и потомки. Подобных имен было бы гораздо больше, начни мы вспоминать и называть их не спустя десять—двенадцать лет после войны, а еще в ходе ее, вслед за последними ее раскатами. Время действует неотвратимо: слабеет память, гибнут документы, умирают свидетели.

В последней книге Василия Субботина «Как кончаются войны» (Военное издательство, 1965) есть такая фраза: «Если бы каждый рассказывал о своих товарищах, не было бы без вести пропавших». Это — благое и благородное пожелание. Сам В. Субботин, который руководствуется им в своей работе, понимает, сколь трудно его осуществить:

«Странно сужен круг людей, бравших рейхстаг...

Не знаю, отчего это? Не потому ли, что и это характеризует целый период нашей истории. Известно, как было в то сложное время — бралось одно имя, одна какая-нибудь фигура, и за ее спиной похоронено очень много безымянных. Последние годы мы уже многое исправили, и все же — от юбилея к юбилею, от годовщины к годовщине рассказываем об одних и тех же людях. Инерция! Так создается впечатление, что рейхстаг — если уж говорить о рейхстаге — взяли несколько человек.

Какая неправда!

Так уж привыкли при Сталине — все, и великое и малое сводилось к двум, к трем именам».

¹ «История Великой Отечественной войны», т. 5, стр. 283.

Привыкли мы, мы сами. Поэтому не каждый рассказывал о своих товарищах и не каждого готовы были слушать, поэтому нередко довольствовались считанными именами, становившимися юбилейно привычными.

Слова о массовом героизме не мешали канонизировать единичных, преимущественно погибших героев и сбрасывать со счетов остальных. Это было недоверием — не всегда и не всеми осознанным — к нашим людям. Оно укоренялось в сознании, вело мысль в соответствующем направлении и соответственно «укорачивало» память.

По дурной какой-то привычке нам нередко думалось: не вся и не всякая правда о войне в строку вьется. Есть правда нужная и ненужная, типичная и нетипичная, большая и малая, масштабная и немасштабная... Но вот в 1965 году было впервые опубликовано письмо В. И. Ленина, где с беспощадной определенностью и ясностью сказано: «Нам нужна полная и правдивая (подчеркнуто В. И. Лениным.— В. К.) информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить»¹.

Мы свято чтим имя и подвиг гвардии рядового Александра Матросова, грудью своей закрывшего амбразуру вражеского дзота. Но знаем ли мы имена других воинов, совершивших такой же точно подвиг самопожертвования? А ведь их, как выяснилось в дни двадцатилетия победы, было около двухсот, и трое из них — А. А. Удодов, Т. Х. Райз и В. П. Майборский — чудом остались живы и здравствуют поныне...

Традиционность восприятия и мышления обладает цепкой, властной, нелегко одолеваемой силой. Раз за разом повторяемая версия заключительного боя войны, два-три имени, с которыми связывался этот бой, настолько вошли в наше сознание, что новые фамилии, эпизоды, подробности, какие приводит В. Субботин, доходят до нас словно пробивая какую-то невидимую стенку, преодолевая наше нежелание принять новые сведения. В. Субботин это понимал, чувствовал. Он писал с такой же тщательностью, с какой восстанавливал в памяти подробности и с таким же к ним вниманием, понимая, сколь нелегко прорвать кольцо устоявшегося предубеждения. Поэ

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 446.

тому он собран и настойчив. Такова же и его проза.

В. Субботин предпочитает короткие — две-три-четыре странички — новеллы, насыщенные эмоционально не меньше, чем лирическое стихотворение. Он не пользуется архивными документами, отдавая предпочтение собственному блокноту, обращаясь к товарищам как к свидетелям и соучастникам. Но и с ними ему порой приходится полемизировать, возвращая их к подлинным фактам и заставляя расстаться с уже ставшими привычными, узаконенными традицией легендами.

Многие из своих рассказов В. Субботин снабдил примечаниями, даже не совсем и не всегда примечаниями; скорее это продолжение рассказа, или его предыстория, или объяснение причин, побудивших написать его. Нередко тут излагается легенда, подлежащая опровержению.

В. Субботин говорит о фронтовых снимках-инсценировках, снимках-подделках, обошедших газеты и журналы и ставших как бы документами. Случалось, что легкомыслие, недобросовестность или халтура, размноженные ротационными машинами в тысячах и тысячах экземпляров, делались ни более ни менее, как печатным свидетельством. Мелькали перепутанные фамилии и звания, гвардейские усы, которыми гордый на выдумку автор украшал своих героев, звучали сугубо солдатские остроты и афоризмы «на манер Суворова».

Впрочем, бывали и «хорошие легенды». Одну из них — о доме Павлова и о самом Павлове — с чьих-то слов приводит В. Субботин. Сержант Павлов, защищавший знаменитый дом в Сталинграде, дошел до Берлина, так, мол, и не получив награды. А тут генерал обходит строй и видит солдата без орденов и медалей, с четырьмя нашивками за ранения.

«— Твоя фамилия как? — спрашивает.

— Павлов, товарищ генерал.

—... Это не ты дом Павлова защищал? — смеется генерал...

— Так точно... Это я».

Измученный генерал снял Золотую Звезду со своего кителя и прикрутил на гимнастерку сержанта.

В. Субботин оговаривает: так ли было или нет — он не знает, сам не видел. Скорее всего, легенда.

Можно добавить: бродячая легенда. В других вариантах, с иными именами она

ходила по блиндажам и землянкам. Командир нашей 140-й Сибирской дивизии генерал Александр Яковлевич Киселев незадолго до своей гибели рассказывал ее в задание нам, молодым офицерам. Однако в ней действовал уже сам Суворов. Это он снимал со своей груди орден и со словами: «Матушка-императрица мне не откажет» — вешал на мощную грудь ветерана-гренадера.

Существует фронтовой фольклор, солдатский эпос, в котором была перемешана с небылицами. И когда писатель спустя годы отправляется в путешествие по военному прошлому, он обязательно встречается со множеством легенд и преданий. Грех было бы пренебрежительно отмахиваться от фольклора. Надо лишь не терять из виду главный принцип реалистической (а документальной — в особенности) литературы: верность действительности, отчетливое отделение бывшего от вымышленного. Легенды легендами, факты фактами.

Так, собственно, и поступает В. Субботин, поэтому новелла «Дом Павлова» несколько не лишняя в его книге. От фольклорного рассказа он переходит к описанию настоящего дома Павлова, того, что стоит поныне на волгоградской улице. Ему приходит мысль, близкая каждому фронтовику: а следовало ли обновлять, штукатурить и белить этот дом, прошитый снарядами, про сверленный пулями и осколками, убирать развалины на привокзальной площади, сваленные и лежавшие там крест-накрест мраморные колонны? Может, надо было сбегать в неприкосновенном виде эти истинные реликвии войны? Пусть бы и стояли так нерушимым памятником Павлову и славным бойцам 13-й гвардейской стрелковой дивизии.

В. Субботин бережлив и внимателен к деталям, подробностям. Он скрупулезно описывает внешность солдата, или стену, через которую предстояло перелезть, или ящик из-под снарядов. Но диалог он разрешает себе в виде исключения. Вспоминая разговоры двадцатилетней давности, автор редко воспроизводит чьи-либо слова, избегает прямой речи. Писатель приводит доказательства, не вызывающие сомнений в своей подлинности, сохранившиеся в его памяти, или его блокноте, или им лично найденные. Но своими мыслями, своими чувствами тех давних дней и сегодняшних делится откровенно, свободно.

Небольшие новеллы, короткие рассказы — их в книге более пятидесяти,— различающиеся временем действия и временем написания, героями, даже темами, становятся главными единого повествования о судьбе своего поколения.

«Я один из немногих оставшихся в живых — один из родившихся в 1921 году.

Когда началась война, нам было по двадцать лет.

Нас почти не осталось».

Это — из рассказа-исповеди, открывающего книгу. Это — ключ к ней, объяснение авторской непримиримости к выдумкам, лжи, искажениям, умалчиваниям. Ответственность перед невернувшимися. Теми, с кем вместе воевал, дружил, ел из одного котелка. И теми, кого никогда не видел в глаза, но у кого в солдатской книжке стояла та же дата рождения.

Одному из никогда не виденных сверстников — Павлу Когану — посвящен едва ли не лучший рассказ книги «Гроза». В нем приведены ставшие теперь широко известными строки Когана:

Мальчишки в старых пиджаках,
Мальчишки в довоенных валенках,
Оглохшие от грома труб,
Восторженные, злые, маленькие,
Простуженные на ветру.
Когда-нибудь в пятидесятых
Художники от мун сопреют,
Пока они изображают их,
Погибших возле речки Шпрее.

И еще:

Сквозь вечность кинуты дороги.
Сквозь время брошены мостки.
Во имя юности нашей суровой,
Во имя планеты, которую мы
У моря отбили,
Отбили у крови...
Во имя войны сорок пятого года.

Потрясенный предвидением Павла Когана, Василий Субботин пишет: «Эти мальчишки — мои товарищи. Это — Белов, Чернобровкин. Это — Всеволод Лобода, песни которого и после его смерти, и после войны еще пели в полках. Это — Твердохлеб, первым вклинившийся со своим батальоном в немецкую оборону на высотах за Одером и убитый просочившимися к штабу автоматчиками...»

Все о том же.. Прежде всего о невернувшихся.

Завершая книгу, В. Субботин открыто провозглашает ее идею:

«Я говорю, нам надо спешить рассказать о павших. Раньше — о них. Хотя бы потому, что живые о себе расскажут сами. И поэтому же о них скорее напишут другие... Те же, что погибли, за себя уже не скажут... И судьба их может затеряться.

Я не люблю безымянных братских могил, как и условных символических памятников...»

Это очень властное, не слабеющее с годами чувство — личная причастность к судьбам погибших, долг живущего перед убитыми. Оно-то и заставляет предпринимать почти безнадежные поиски, когда после долгих странствий возвращаешься в точку, с которой начиналось движение.

Можно представить себе, что испытал Овидий Горчаков, когда несколько лет назад в Вашингтоне — его туда занесла журналистская судьба — ему попала в глаза книга «Черный марш. Личные воспоминания эсэсовца Петера Ноймана». Еще летом сорок четвертого Горчаков участвовал в боях с эсэсовской дивизией «Викинг», дивизией, где служил Нойман.

В публичной исповеди эсэсовца — следом за историей трех оболтусов, приобщавшихся в специальных заведениях к высотам нацистской премудрости,— шел рассказ о русском походе, грабежах и расстрелах, там всего более поразило О. Горчакова описание казни небольшой кучки партизан.

В своем очерке «Группа «Максим» («Новый мир», № 8, 1963) О. Горчаков это описание цитирует целиком, во всей его палаческой откровенности. Даже закаленного в подобных предприятиях Ноймана потрясло мужество молча гибнущих на снегу безвестных русских парней и девушек.

«Сколько героических подвигов остались неизвестными потому, что очевидцами их были только убийцы!» — восклицает Горчаков.

Он, партизан и разведчик времен войны, лучше других знает, как в застенках, за глухими заборами тюрем и лагерей, в заснеженном поле или в зеленом овраге обрывалась жизнь таких вот двадцатилетних. И ни имен, ни подвигов, ни подробностей гибели — ничего не оставалось. Лишь у старухи матери сохраняется бумажка с невразумительным «пропал без вести» или «в списках погибших не значится».

Что узнал Горчаков от Ноймана? Дату и место. Казнь состоялась в ночь со 2 на 3 декабря 1942 года неподалеку от станции

Пролетарская, что в Сальских степях, рядом с железнодорожным полотном, взорванным партизанами. (Дивизия «Викинг» спешила на выручку окруженным под Сталинградом войскам Паулюса.)

О. Горчаков слал письма-запросы, рылся в архивах, ему помогали школьники Пролетарского района. И все тщетно. Он признается: «Порой, когда на запросы приходили отрицательные ответы, когда в архивных поисках одна неудача следовала за другой, казалось, что нет, не удастся прорвать густую двадцатилетнюю пелену истории». Но тогда в его памяти вставали слова-заклинания Юлиуса Фучика: «Не забудьте!.. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас... Не было безымянных героев».

Наконец удалось установить: в ноябре 1942 года партизанский штаб на Волге заслал в степной тыл гитлеровцев семьдесят три партизанские группы — около трехсот шестидесяти человек. Многие из них погибли. В архиве Горчаков то и дело наткнулся на короткие пометки: «Группа уничтожена полностью...»

Одна из исчезнувших групп действовала в дни, о которых пишет Нойман, в районе станции Пролетарская. Это была группа Черняховского с кодовым названием «Максим». Теперь О. Горчаков мог восстановить имена.

Командир — Леонид Матвеевич Черняховский, двадцати восьми лет. Комиссар — Василий Максимович Быковский, двадцати лет. Заместитель по разведке — двадцатилетний Володя Солдатов. И снайперы-подрывники: Степа Киселев, Ваня Сидоров, Коля Кулькин, Ваня Клепов, Коля Лунгер, Володя Владимиров, Паша Васильев, Коля Хаврошин, Володя Анастасиади — все от семнадцати до двадцати лет. И три девушки: семнадцатилетняя Нонна Шарыгина, девятнадцатилетняя медсестра Валя Заикина, двадцатилетняя радистка Зоя Печенина.

Это они в голой и ровной степи взорвали «железку», вели отчаянный — на одного десять—двадцать «викингов» — бой. Раненые, избитые, истекающие кровью, стояли они в кольце врагов и молчали, так и не назвав себя, не выдав командиров. Одному из них вонзили в горло кинжал, другого сожгли огнеметной струей, остальных покосили пулеметными очередями, добили pistolетными выстрелами в упор...

Немного, совсем немного сведений удалось собрать О. Горчакову. Но каждая подробность, каждая строчка из чудом уцелевшего письма — они бережно приведены в очерке — бьют в сердце.

К чувству восхищения героизмом павших прибавляется чувство благодарности к их сотоварищу и сверстнику, вернувшему нам их имена, их беззаветный подвиг.

Казалось бы, можно лишь радоваться тому, что через два года после небольшого очерка «Группа «Максим» О. Горчаков опубликовал большую повесть «Максим» не выходя на связь» («Молодая гвардия», №№ 10, 11, 1965).

Однако даже самое неискушенное ухо, сопоставив оба названия, почувствует: произошло незаметное переключение тона. Новое название слегка отдаёт детективом.

Дело, конечно, не в названии, и в конце концов «Максим» не выходит на связь — вовсе не детективное произведение. О. Горчаков слишком хорошо понимает несоответствие трагедии на станции Пролетарская завлекательному жанру, его, надо полагать, корбит, когда подобные трагедии с предпринимательской поспешностью превращаются в легкое чтиво. Но дань литературным поветриям он все-таки отдал.

Фактов, содержащихся в очерке, для повести было явно недостаточно. Пополнить их новыми документальными сведениями, судя по повести, автору не удалось или почти не удалось.

Правда, до момента перехода грунтовой линии фронта герои почти непрерывно находились в поле зрения людей, с которыми автор мог встретиться, у которых мог получить те или иные сведения.

Но после того, как линия фронта осталась позади, свидетелей больше нет. Ни один из группы не остался в живых. Нет ни документов, ни писем. Лишь в последний час появятся эсэсовцы с пулеметами, огнеметами, кинжалами. Один из них потом напишет об этом часе.

Впрочем, дополнить, домыслить короткие биографии ребят из группы «Максим» О. Горчакову не составляло большого труда. Какими-то основными сведениями он располагал, остальное знал по себе: он семнадцать лет с путевкой комсомола поступил в партизанскую спецшколу, он помнил, что такое переход линии фронта, диверсия на железной дороге, засады, голод, гибель друзей. И это личное знание ощущается в де-

талях, какие не придумаешь и при самой богатой фантазии.

И в рассказе о последнем переходе О. Горчаков сдержан, тактичен. Он чувствует, как увеличилась ответственность, легшая на его плечи. Но характер повествования уже задан, установлена степень детализации, намечены нити личных взаимоотношений. Все это требует своего продолжения в заключительных главах.

В этих последних главах повести (примерно трети всего произведения) нет ни одного места, режущего слух своим прямым неправдоподобием. Но привнесение в документальное повествование ложной «художественности» не могло ему не повредить.

Вот несколько примеров.

Девушки-партизанки обморозили ноги. «И только Коля Кулькин подсмотрел в темноте, какие глаза были у Зои, когда командир растирал ей ноги. Нет, на него, Кулькина, никто еще в жизни, даже милосердная сестра Настя, так не смотрела».

Или другая сцена. «Володя Анастасиади украдкой наблюдал за Нонной — вот она оттопырила нижнюю губу и слула с глаз непокорную прядь блестящих черных волос».

Все эти «непокорные пряди» и тому подобные расхожие книжные подробности — а их у Горчакова немало — исподволь делают свое дело, переводя повесть из документального русла в русло ординарной беллетристики.

В группе, где были семнадцати-двадцатилетние ребята и девушки, наверное, кто-то на кого-то так смотрел, кто-то за кем-то украдкой наблюдал. Но рассказано об этом с той банальной книжностью, с той чисто литературной обязательностью, которая вовсе не предполагает обязательности жизненной, психологической.

Вряд ли автор придумал, будто у Черняховского отец был арестован в тридцать седьмом и Леонид утаил об этом в анкете. Но беседа на сей счет между Черняховским и комиссаром звучит искусственно, и прежде всего благодаря своему финалу («После долгого молчания комиссар сказал: «Дай, друг, докурить! У тебя покрепче»).

От книжной моды наших дней здесь больше, нежели от реальности.

И лексике Горчаков местами черпает из неглубоких источников («Похожий на крик раненого зверя протяжный и скорбный гудок паровоза». «Паровозный гудок, про-

звучавший в степи, точно крик раненого зверя». «В глазах Лены зажглось холодное пламя». «Слезы обожгли ему глаза». «Скупые, неловкие слова, по-мужски крепкое рукопожатье»).

С. С. Смирнов однажды припомнил остроумное замечание С. Я. Маршака: «Предположим, что писатель побывал на Луне. И вдруг, вернувшись оттуда, он сел писать роман из лунной жизни. Зачем? Читатель хочет, чтобы ему просто, «документально», рассказали, что собой представляют лунные жители, как они живут, что едят, чем занимаются».

Защищая «некоторую сухость изложения», преднамеренный отказ от ярких метафор, сравнений, пейзажа, диалога. С. С. Смирнов пишет: «Мне кажется, что температура повествования должна быть обратно пропорциональна температуре материала, а то, о чем я здесь пишу («Рассказы о неизвестных героях». — В. К.), — добела раскаленный материал удивительных героических подвигов наших людей, и о нем, по моему мнению, следует рассказывать максимально сдержанно и строго...»

Документальный факт, мы видим, пребывает в достаточной сложной и тонких отношениях с литературной тканью. Его восприятие, вера в его достоверность зависит и от интонации, с какой он подается, и от композиции, в которую включается, и от лексики.

Бывает, что настораживает именно тон, сбивает с толку его несоответствие материалу, и лишь потом убеждаешься: такое впечатление явилось потому, что и материал-то не совсем добротен, отношение к фактам не безупречно.

О воспоминаниях А. Кривицкого «Не забуду вовек» (Военное издательство, 1964) сказано немало добрых слов. Книга действительно привлекает живой наблюдательностью автора, как говорится, журналистской хваткой. Судьба газетчика, фронтовые перепутья сводили А. Кривицкого с интересными людьми, командовавшими частями и соединениями нашей армии, делали свидетелем всевозможных событий на фронте и в тылу. Это и предопределило широкий охват воспоминаний, их многочисленность, чаще всего оправданные отвлечения и отступления, экскурсы в предвоенное прошлое, выходы в сопредельные темы. Есть в них страницы, где автор выступает первооткрывателем.

Если, скажем, об И Панфилове мы уже знали из книг и очерков, то честь первого жизнеописания Александра Ильича Лизюкова целиком принадлежит А. Кривицкому. Заслуга автора тем более велика, что генерал Лизюков — из тех военных деятелей, чья яркая и трагическая жизнь, чья высокая доблесть были преданы забвению.

Да и страницы, посвященные П. Ротмистрову, больше, чем обычная биография. Вернее, биография военачальника сливается здесь с историей рода войск, который он представляет. Автор абсолютно прав, когда в связи с рассказом о П. Ротмистрове утверждает, что расформирование механизированных танковых корпусов и пренебрежение теорией глубокой операции были не чем иным, как отголосками «разоблачения» Тухачевского (вместе с Тухачевским эту теорию разрабатывал выдающийся военный ученый Триандафиллов). Но он заблуждается, полагая, будто немецкая армия не знала о наших новшествах в применении танков. Знала. И без всякой разведки. Маршал С. Бирюзов в этой связи писал в первой книге своих мемуаров: «Манштейну-то хорошо известно, что теория глубокой операции с использованием крупных соединений танков, механизированных войск и авиации зародилась и впервые была разработана в СССР. Он ведь сам приезжал к нам в тридцатых годах на маневры, чтобы поучиться этому искусству».

Вообще, когда дело доходит до некоторых конкретных или специальных сведений, мемуарист, как говорится, не всегда на высоте. Он чрезмерно уповает на память и попадает иной раз впросак. Так, например, рассказ М. Шолохова «Наука ненависти» почему-то назван «Наукой побеждать», совсем как знаменитый труд Суворова. Есть неточности в описании структуры обороны на Курском выступе.

Все это, слов нет, досадно, однако в конце концов извинительно. Режут ухо не столько даже неточности — кто здесь без греха? — сколько странно легковесный тон, неожиданно прорывающийся у автора. Опытный литератор и редакционный работник, немало видевший и знающий, повествуя о войне, вдруг ударяется в кокетство. «Вас не смутит, если я начну с общезвестного?» — ирриво спрашивает он у читателя. Или, вспомнив, что он, по собственной характеристике, «душа вечеринки, любитель цирка, эстрады, домашний исполнитель куп-

летов и романсов с обширным репертуаром», рассказывает то сомнительную историчку, то дореволюционный анекдот.

Никто, конечно, не станет требовать от мемуариста, чтобы на протяжении своих обширных воспоминаний он придерживался одной интонации, не смел улыбнуться, не смел рассказывать о смешном. Речь здесь о другом — о такте и вкусе, об игривости и кокетстве, не вяжущимися с главным, сквозным мотивом книги, и наконец о самом этом мотиве, о том, как на нем сказался своеобразный подход автора к предмету своих воспоминаний.

Тема двадцати восьми героев-панфиловцев возникает в самом начале книги, развивается в середине, напоминает о себе в заключительных главах. О панфиловцах слышит А. Кривицкий от приехавших в Москву кубинцев, о них думает, наблюдая церемонию подписания акта о капитуляции фашистской Германии.

Тема самоотверженного подвига двадцати восьми в воспоминаниях А. Кривицкого оправдана и личной причастностью к ней автора. Он был первым, кто написал о бое у разъезда Дубосеково. Это ему передал редактор четыре строчки из политдонесения, где не было ни имен, ни указания точного рубежа, лишь сообщение о бое: группа солдат во главе с политруком Диевым отразила атаку пятидесяти танков.

Этих четырех строк хватило А. Кривицкому, чтобы написать передовую статью со многими деталями беспримерного боя.

Откуда они взялись, эти детали? Четыре строчки есть четыре строчки. И больше, чем самое короткое сообщение о факте, в них не уместить. Да и кто мог сообщить о деталях, если в донесении указывалось: все герои погибли? Особенно примечательна одна подробность в статье. Панфиловцев, оказывается, поначалу было двадцать девять. Но нашелся трус — предатель, поднявший руки. Его немедленно расстреляли.

Как появился этот трус, как он попал в статью? Для правдоподобия? Или по бытовавшей литературной традиции: коль беда, несчастье — ищите предателя?

Вскоре А. Кривицкий приехал в дивизию Панфилова и выяснил: фамилия политрука — Клочков, а Диев — прозвище. Журналист говорил с капитаном Гундиловичем, офицером панфиловской дивизии, встретился с путевым обходчиком, видевшим начало боя, в госпитале разыскал панфилов-

ца Натарова. Тот умирает, проваливался в забвение. «Говорил тихо, отрывочно, иногда бессвязно», — так сказано в воспоминаниях автора.

Как ни мало дали эти встречи, после них А. Кривицкий написал известный очерк «О 28 павших героях», завершив его перечислением имен и фамилий погибших панфиловцев.

Когда очерк был сверстан на газетной полосе, А. Кривицкого, сказано в книге, вызвал тогдашний начальник Главпура А. Щербаков.

«Я... рассказывал, как написал передовую и подвал, оттиск которого лежал на его столе.

— Хорошо, — сказал Щербаков, выслушав меня. Подчеркнув в оттиске подвала две строки, он спросил: — А кто вам передал последние слова Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!»?

Я ответил:

— Все, кто были с ним, убиты, поле боя все-таки осталось у немцев. Натарова я видел умирающим...

Александр Сергеевич с усилием встал из-за стола, молча сделал несколько шагов по кабинету.

— Да, отступать некуда — позади Москва! Так думаем все мы, весь народ... — Он протянул мне руку: — Возвращайтесь к своим обязанностям, товарищ. До свиданья!

Назавтра очерк был напечатан».

Подвиг канонизировался в изложении очеркиста, в форме, какую ему придал он, оперативно и уверенно.

Сейчас этот очерк, в котором, как уверял тогда журналист, восстановлена «полная картина гибели горстки храбрецов», перепечатан в книге (так же, как и передовая статья) — без всяких изменений.

С тех пор миновали годы, и выяснилось: несколько человек из двадцати восьми панфиловцев живы! Об этом упоминает и А. Кривицкий в книге «Не забуду вовек». Он называет имена Шемякина, Васильева, Шадрина, сообщает, что они прислали ему свои фотографии. Но никаких изменений в описание боя не вносит, никаких новых подробностей не приводит. Виделся ли он с ними или нет, читался ли наконец узнать от непосредственных участников, как проходил этот беспримерный поединок, — ничего не известно.

Благодаря С. С. Смирнову, В. Субботину,

О. Горчакову и ряду других писателей и журналистов легопись Великой Отечественной войны обогатилась новыми подробностями, новыми именами ее героев. Здесь положение обратное. История называет имена, указывает, где искать детали невиданного сражения, а литератор не обращает на это внимания.

Другой писатель, также бывший в годы войны фронтовым журналистом, Р. Бершадский, в 1963 году посвятил оставшемуся в живых панфиловцу Васильеву документальный рассказ «Смерть считать недействительной». В нем, между прочим, говорится и об А. Кривицком, долгое время не желавшем признавать живых панфиловцев: «Он не пишет ни слова, что живы Васильев и Шемякин, что жив, возможно, еще кто-нибудь из двадцати восьми. Как добровольный несменяемый часовой, он стал на посту у легендарного числа: «двадцать восемь погибших». Но разве не пора уже понять, что не только не грешно, — наоборот, надо радоваться, если погибли не двадцать восемь, а меньше, что такие «ошибки» могли вызывать раздражение лишь у людей, которым был дорог не народ, а исключительно собственный престиж: ежели двадцать восемь, значит, двадцать восемь, и кто осмелится это опровергать, пусть покрепче призадумается, во что ему это может обойтись...»

Рассуждение Р. Бершадского справедливо. Только вот уподобление часовому не совсем удачно. Часовой — воплощение стойкости и воинского долга, а тут скорее вспоминается эпизод с отцом поручика Синюхаева из новеллы Ю. Тынянова «Подпоручик Киж». После того как злополучный поручик по оплошности писаря угодил в список умерших, Синюхаев-старший уже не был уверен, что сын жив, и во избежание недоразумений уложил его в госпиталь с диагнозом «случайная смерть».

В случае с генералом Лизюковым А. Кривицкий не сомневался: истина должна восторжествовать. А в истории панфиловцев он перепевал старую погудку, не замечая, что и здесь проявляется тянущаяся издалека тенденция к замалчиванию если не всей, то части правды.

Когда у писателя достает настойчивости в собирании фактов и разрушении легенд, достает таланта (в это понятие органически включается и такт, и способность к самоограничению), его негромкое слово может зазвучать с большой силой.

В разговорах и спорах о «невыдуманной» военной литературе мы чаще всего имеем в виду свои внутренние, что ли, нужды, забывая подчас, что наши отцы, братья, друзья гибли за родину и человечество, что память о них способна послужить в незатихающей битве против новой войны, обновленного фашизма.

Заканчивая свой очерк о группе «Максим», О. Горчаков писал: «Теперь мы знаем имена героев. Мы никогда не забудем их подвиг. И мы знаем их убийц».

За годы, миновавшие после войны, вокруг убийц на Западе выросли целые леса легенд. Выросли не сами по себе. Кто-то их сажал, кто-то поливал, а кто-то отсиживается и поныне, надеясь на короткую память людей да пресловутый «срок давности». Разрушению таких легенд служат некоторые военномемуарные книги последних лет, в том числе «Берлинские страницы» Елены Ржевской («Знамя», № 6, 1965).

Наша печать еще ничего не сказала о «Берлинских страницах», а их уже перевели на иностранные языки, они стали доводом в международных спорах.

Е. Ржевская избегает пышных деклараций, торжественных заявлений. Она довольствуется ролью свидетеля. И пишет лаконично, строго, чуть не протоколно: «Люди, которым это было поручено, искали неустанно, преданно, чувствуя огромную ответственность». Это — поиски Гитлера, живого или мертвого. Если мертвого, то опознание трупа, документальное подтверждение личности.

В специально созданной разведывательной группе Е. Ржевская была переводчиком. Ей, как и В. Субботину, «повезло»: она оказалась там, где решался исход битвы за дальнейшие судьбы мира. В таких местах, в такие минуты открывается многое. Только надо уметь смотреть, не отводя глаз. Смотреть и сопоставлять. Смотреть и думать. Смотреть и сберечь в памяти, чтобы потом, спустя десятилетия, рассказать людям.

Е. Ржевская умеет запоминать увиденное («Запомнилось: тумба, оклеенная афишами, шифоновые занавески, как белые руки, протянутые из проема окна, привалившийся к дому автобус с рекламой на крыше — огромной туфлей из папье-маше, и на стенах категорические заверения Геббельса в том, что русские не войдут в Берлин!»).

Но, не довольствуясь такой лишь задачей, писательница запаслась долготерпением

историка, годами роющегося в архивных бумагах. (Все документы, приведенные в записках — а их десятки, — публикуются впервые.)

Настойчивая скрупулезность при восстановлении последних сцен в имперской канцелярии напоминает настойчивость В. Субботина при описании последнего боя войны — боя за рейхстаг. Но сходство обеих книг идет не от совпадения времени и места их действия, а от чувства огромной ответственности. Ответственности прежде всего перед своим поколением, перед теми школьниками и студентами, что так и не вернулись к недочитанным книжкам.

Близость биографий личных, писательских ведет к общности мировосприятия, которая дает себя знать при всем различии литературных манер и интонаций.

Пиши Е. Ржевская в субботинском, так сказать, ключе, она, наверно, назвала бы свою книгу не подчеркнуто сдержанно — «Берлинские страницы», а что-нибудь вроде «Как кончают диктаторы» (такова — безотносительно к названию — тема записок). Но, как уже говорилось, автор склонен к самоограничению: никаких эмоций, только наблюдения и документы, документы и наблюдения.

Личные дневники гитлеровцев, письма, бумаги, меченные грифом «секретно», «строго секретно», «совершенно секретно», обретают силу, подле которой минута меркнет самая совершенная литературная выразительность.

«Фюрер говорит: правдой или неправдой, но мы должны победить. Это единственный путь, и он верен морально и в силу необходимости. А когда мы победим, кто спросит нас о методе? У нас и без того столько на совести, что мы должны победить, потому что иначе наш народ и мы во главе со всем, что нам дорого, будем стерты с лица земли».

Точнее, полнее саморазоблачиться невозможно. Дорого стоят эти выдержки из дневника Геббельса.

Фашизм изнутри, фашизм наедине с самим собой, освобожденный от высокопарной словесности, — зрелище поразительное. Он не только враждебен всему человеческому, но только пропитан ненавистью к чужим народам, в том числе и своим союзникам, — он бесконечно презирает собственный народ, кладущий головы за демагогические девизы и посулы. Соотечественникам лгут на каждом шагу, их дурманят национальной

лестью, мистифицируют культом Гитлера. Дабы превратить народ в стадо, следует прежде всего привить ему чувство национального превосходства. Он не такой, как другие, — избранный, отмеченный, единственный. И вождь у него — тоже избранный божий, стмеченный, единственный. А дальше — довод за доводом с четкостью марширующих колонн: «Фюрер — это Германия», «За вас думает фюрер, ваше дело лишь выполнять приказ».

Фашизм предстает как всеохватывающий, всеобъемлющий, все пронизывающий цинизм, цинизм, доведенный до абсолюта. Даже издыхая в бункере имперской канцелярии, он продолжает источать ложь. Здесь, у смертной черты, все его особенности проявляются с неотразимой ясностью. И прежде всего — ничтожество вожаков, руководителей, действующих теперь по нехитрому принципу банкротов: спасайся, кто может, как может, а концы — в воду.

Куда что делось! Сползает грим, исчезают позы, застревают в глотке пышные словеса. Один спешит договориться с недавними противниками, другой просит принять отставку из-за «сердечного заболевания», третий таинственно исчезает. А если еще и сохраняются грим, позы, слова, то они уже ничего и никого не маскируют. Скорее наоборот: придя в полное противоречие с обстановкой, они обличают. И известная летчица Ганна Рейч, фанатично преданная нацизму и лично Гитлеру, с отчаянием восклицает: «И это те, кто правил нашей страной?»

Вне ореола власти и мистификаций Гитлер предстает полным ничтожеством, то есть именно тем, чем он и был всегда, воплощая безграничную власть, манию величия и манию преследования. «Сверхчеловек», претендующий на мировое господство, он постоянно пребывал в состоянии животного страха. Ответственный за его охрану Ратенхубер пишет: «Даже белье, полученное из стирки, он решался надевать лишь после того, как оно проходило обработку при помощи рентгеновского аппарата... Так же просвечивались рентгеном письма, адресованные фюреру... В его личных апартаментах было множество сигналов тревоги. Даже в его кровати. Никто, за исключением самых близких ему людей, не мог попасть без предварительного обыска в апартаменты Гитлера».

По внутренней выхолащенности фюрер

мало чем отличался от своих приспешников и соратников. Эта выхолащенность во всем — в шкурных расчетах, мелком политиканстве, подсиживании друг друга, в интригах, неизменном фиглярстве и еще в одном — в убийственном совпадении поступков и реакций. Дневник Геббельса, например, напоминает дневник Бормана, дневник Бормана — дневники несменких фронтовиков, похожие в свою очередь друг на друга. «Их схожесть... отнюдь не признак демократичности, а чего-то другого — того чудовищного единообразия мышления, на которое рассчитывал Гитлер и которое культивировал фашизм».

И на последней странице, завершая цепь наблюдений и сопоставлений, Е. Ржевская пишет: «Чтобы добиться бездумного подчинения масс единоличной воле фюрера, по прана, уничтожена личность каждого».

Писательница неспешно, без нажима подводит к выводам. Для нее, пожалуй, не столько даже важны выводы, сколько движение к ним, приобщающее читателя ко все новым сведениям и документам. Пусть и он склонится над микроскопом, глянет в окуляр. Под объективом — смертоносные бактерии фашизма.

Е. Ржевская стремится, чтобы читающий ее записи стал соучастником расследования — сам сравнивал документы, высказывания, дела, сам приходил к выводам, не надеясь на подсказки.

Немногим, вероятно, удалось так последовательно, осмысленно и целенаправленно проследить последние дни и часы фюрера. Однако интерес Е. Ржевской к ее «герою» отнюдь не исторический, не архивный.

«Когда умирают тираны, в первый момент наступает замешательство: возможно ли это, неужто и они состоят из смертных молекул?»

Вслед за тем обстоятельства их смерти, если они хоть сколько-то смутны, начинают обростать легендами».

Снова легенды и снова необходимость их предупреждать, развенчивать, преодолевать. Но на сей раз такая необходимость вызвана причинами, отличными от тех, какие побуждали В. Субботина. Здесь надо исключить легенды, дабы исключить повторение факта. Появлению нового диктатора несказанно благоприятствуют легенды вокруг прежнего.

Никто не плодит, не множит в таком масштабе вокруг себя чудесные небылицы, как «сверхчеловек», «сверхгений» и т. д.:

не зря же его обычно именуют «легендарным». И находятся апологеты, взыскующие сильной руки. Западногерманский историк Ф. Эрнст пишет: «Почтительное преклонение и любовь к отечеству повелевают нам не разрушать престиж некоторых имен, с которыми мы привыкли связывать победы нашей армии».

Все это нам сейчас отлично известно, голоса, реабилитирующие фюрера, звучат достаточно громко — и в Бонне и в Западном Берлине. Они-то и заставляют ворошить давние документы, искать, допрашивать собственную память, придирчиво проверяя ее свидетельства. Необходимо закрыть любую щель, откуда может прорасти легенда, способная хоть как-то реабилитировать фашистского диктатора, сослужить службу тем, кто мечтает взять реванш, переиграть заново однажды проигранную партию.

Тут-то и поднимается бунтующая память. В ней — допросы, акты, донесения. Но не они одни. В ней — люди, те, что когда-то вместе с тобой шли в школу, на работу, в институт, а потом — в бой, на смерть. О них, этих людях, Е. Ржевская пишет тоже сдержанно, немногословно. Но тут уже иной подтекст. В нем — сердечное сострадание друга, однополчанина.

«Курков показывал мне письма из дому, с Урала.

Жена писала Куркову обстоятельно и просто. И в том, как она оберегала его от всех тягот и переживаний, видна была верная и добрая душа. Если и сообщит что-либо тяжелое, так и то уж как миновавшее: «Коля. Люда у нас очень болела, а теперь опять бойкая». И ни стоны, ни жалобы, ни просто вздоха. Письма заканчивались всегда одинаково: «Целуем мы вас 99 раз, еще бы раз, да далеко от вас».

Курков участвовал в штурме имперской канцелярии, одним из первых ворвался в здание и был смертельно ранен эсэсовцем из личной охраны Гитлера. Это произошло, когда над рейхстагом уже был водружен красный флаг».

Это написано рукой человека, знающего меру горя, обруженного войной, человека, который не желает и не может оставаться лишь протоколистом.

Возвращение к военному прошлому, возвращение к подлинным фактам и именам необходимо и для тех, кого уже нет, и для тех, кто живет сегодня, кто придет завтра. Для них, сегодняшних и завтрашних, правда великой войны дороже, выше, насущнее любых легенд.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Калитин. Зрелость.— **М. Рошин.** Книга прекрасной жизни.— **Ф. Светов.** Повесть об «очарованном деятеле».— **Ю. Пименов.** Новые иллюстрации к русской классике.— **А. Горбунов.** Готторн-рассказчик.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Гуновский. Молодость старых большевиков.— **Д. Лихачев.** Новая наука — берестология.— **А. Гиневский.** Прежде всего — человек — **С. Семанов, В. Старцев.** Между домислом и наукой.

Литература и искусство

ЗРЕЛОСТЬ

Александр Яшин. Босином по земле. Стихи. «Советский писатель». М. 1965. 172 стр.

Александра Яшина называют поэтом Севра, говорят о «народной крестьянской стихии слова», которая живет в его стихах.

Может быть, несколько лет назад эти определения было достаточно, чтобы охарактеризовать главное в поэзии Яшина. Сейчас, после сборника «Совесть» («Советский писатель», 1961) и лирики последних лет, они кажутся узкими.

Конечно, Яшин не разлюбил родной ему северной земли, ее лесов и людей, ее языка и песен. Напротив, любовь его к ней стала глубже и сосредоточеннее. Но она выливается сейчас не в лирические «записи» и бытовые зарисовки, как было раньше, а в раздумья о долге человека перед жизнью, о долге человека перед самим собой.

В одной из рецензий на «Совесть» в числе других цитат была приведена строка: «Спешите делать добрые дела».

Вне контекста, не согретая живой поэтической интонацией, эта строка может показаться прописью. Но прочтите все стихотворение, которое ею заканчивается, и вы увидите, что это не пропись, хотя мысль и выражена здесь в форме некой заповеди.

После горестных слов о несделанном, об ушедших близких, не дождавшихся твоей помощи, о неосуществленных намерениях и несбывшихся мечтах — эти строки звучат суровым предостережением:

Теперь прошел я тысячи дорог,
Купить воз хлеба, дом срубить бы
мог...

Нет отчима,
И бабка умерла...

Спешите делать добрые дела!

Вот на каком слове здесь ударение! Вот интонация, сразу расширяющая смысл сказанного. Не просто проповедь добра. И не призыв: «Будьте лучше». А требование: «Спешите!» Спешите ощутить в себе и щедро отдать миру лучшее, что в вас есть, спешите выполнить долг перед тем большим, человеческим, что живет в каждом из нас.

Это стихотворение датировано 1958 годом. И все наиболее значительное, что написано Яшиным позднее, служит утверждению и раскрытию дорогой ему мысли — о человечности как бережном отношении к миру, ко всему живому.

К этой мысли поэт возвращается постоянно, находит самые различные поводы, чтобы еще и еще раз высказать ее. «Доверие птиц умею ценить». «в корнях родничок, что клад, берегу», «значит, я не такой уж страшный, если звери идут ко мне» — таких по-есенински чутких образов немало у Яшина. Поэту дорого малейшее проявление жизни: первый крик птенца, краски и звуки весны, когда «вся жизнь на виду», шорох веток засохшей березки, которой не удалось пробиться к солнцу, к свету.

Над увядшей ее листвою,
Будто волны мертвой воды.
Равнодушно сомкнулась хвоя,
Не почувв чужой беды.

Способность чувствовать жизнь во всем, живо воспринимать каждое ее дыхание — для поэта огромное счастье. И другую высокую радость знает он: отдавая, становится богаче. Почти по-детски восторжен его рассказ о том, сколько сосен и елок освобождает он от снега в зимнем лесу:

Как это славно, здорово:
Лес поднимает вершины —
Вскидывает головы
И разгибает спины...

С палкой бреду бамбуковой —
С пикой былинный витязь,
По деревьям постукиваю:
— Выпрямитесь!
— Разогнитесь!

Тут не все точно, и аллегоричность этих строк может показаться наивной. Но чувство, которым пронизаны они, светло и искренне. Поэт неизменно верен высокой цели — оберегать живое.

Еще более чистый образ, утверждающий это же требование, рождается в другом стихотворении:

Птицы взвиваются из под ног,
Зайцы срываются со всех ног.
А я никого не трогаю:
Лугами, лесами, как добрый бог,
Иду своею дорогою.
...Вреду бережком,
Не с ружьем — с бадажком,
Душа и глаза — настезь.
Вродить по сырой земле босиком —
Это большое счастье!

«Душа и глаза настезь!» В этих словах — весь лирический герой Яшина, обращенный к миру, к людям. Любовь его к родной природе нежна и трепетна, к людям — требовательна.

«Боль чужую все глубже чувствую», «больше к людям тянусь», — говорит поэт, раздумывая над тем, как повзрослел он вместе со своим поколением. В людях ему больше всего дорога скромность, правдивость. Он хочет видеть каждого человека своей земли честным, прямым, сильным, достойным участия в великом братстве трудящихся. Чистое дело можно делать только чистыми руками. И нет для него большего оскорбления человеческого достоинства, чем «правдою клясться и зло творить».

Так входит в поэзию Яшина мотив совести. Входит органично и властно, хотя Яшин не учителевствует, не усовещивает и не напращивается в советчики.

Даже такие стихи, как «Гость», «Пустырь» или «Неулыбчивому человеку», — не поучение и не обличение, а горечь, недоумение. Внутренний пафос их весь в одном восклицании: «Или трудно человеком быть?»

А если и звучат в поэзии Яшина слова осуждения, то чаще всего он обращает их к самому себе:

Пред всеми в долгу я,
А чем помогу?
Я много могу.
Ничего не могу.

От горя ушел,
От хвори ушел,
От смерти ушел —
От себя не могу.

Эти строки, как и все лучшее в сегодняшнем творчестве Яшина, не рефлексия, конечно, не покаяние или самобичевание. Нет, боль и отчаяние этих строк — из тех, что заставляют с утроенной силой ломать себя, преодолевать, мочь.

Наверно, Яшину очень близки строки Маяковского: «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше». Эти строки можно поставить эпиграфом к любому из стихотворений Яшина, посвященных Ленину. Их немного у него, но каждое из них — высокое раздумье, ощущение истинной человечности.

Поэзия Яшина гражданственна в самом точном смысле этого слова, хотя формально такие стихи, как «Босиком по земле», «Смерть березки», «Сухое вино» и многие другие, могут и «не пройти» по рангу гражданской поэзии. К сожалению, это определение — гражданская поэзия — часто употребляется у нас лишь как обозначение жанра, а не сути. Гражданственность поэзии

Яшина — в ее человечности, в пафосе утверждения правды, в верности мечте.

У Яшина всегда были свои темы, свой круг образов, свой язык. Но не всегда своя интонация. У одних поэтов она рождается вместе с первыми поэтическими строками. К другим приходит позднее. У многих стихотворцев ее вовсе нет.

Яшин завоевал свою интонацию в борьбе с самим собой, в преодолении становившихся привычными внешних поэтических приемов. Многие годы описательность, голая сюжетность связывали поэта, обескровливали его стих. Не все истинная поэзия и в сегодняшнем творчестве Яшина, не всегда близкое и важное для него самого становится таким же близким и важным для читателя. Вряд ли следовало, например, включать в последний сборник такие стихи, как «Дебора» или «Не дразни меня», как откровенно назидательное «Два брата», и некоторые другие. К счастью, их немного. Все реже встречаешь сейчас у Яшина недоработанные вещи, стихи-фотографии, стихи-очерки, все более требовательным становится он к поэтической форме.

В лучших стихотворениях сборников «Совесть» и «Босиком по земле» привлекает доверительность, открытость чувства. И то, что в других стихах показалось бы дидактикой, поучением, у Яшина звучит как исповедь, как признание другу. А оттенки чувства передаются часто не словами, а подтекстом, интонацией:

Пусть ни грибов, ни ягод в лесу —
Он все равно хорош.
Каждое утро что-то несу
В дом из окрестных роц:

Чаги кружок,
Черенок для ножа,
Корень,
Охапку дров,
Шишку, похожую на ежа,
Песню,
Пока без слов...

Пусть тишина,
В глуши ни души —
Все равно гул в ушах:
В шорохи трав и в шумы вершин
Вслушиваюсь не дыша.

Поэт назвал это стихотворение «Песней без слов». И действительно, душа этих строк — не в самих словах, а в окрашивающем их чувстве, переданном внутренней мелодией стиха.

Поэт верит в торжество счастья на земле, в душе человека. Но только через боренье, через активное действие — путь к ним. «Только бы простоев не знать душе», «только б не лишиться бессонных ночей». И еще больше. Мечта поэта —

Уйти от равновесия,
Даже если в нем мое счастье.

Это, пожалуй, самое главное в сегодняшней поэзии Яшина.

Н. КАЛИТИН.

★

КНИГА ПРЕКРАСНОЙ ЖИЗНИ

Лариса Рейснер. Избранное. «Художественная литература». М. 1965. 575 стр.

«Бреди же в глубь преданья, героиня», — написал когда-то Борис Пастернак в стихотворении, посвященном памяти Ларисы Рейснер. И она действительно заслужила тот ореол легендарности, которым было окружено ее имя. Почти каждый пожилой человек тотчас отзывается, стоит сказать при нем о Рейснер, — она была очень знаменита в двадцатые годы. Молодые, к сожалению, знают о ней мало.

Но это не их вина. Достаточно долго существовало у нас и возводилось в абсолют мнение о колеблющемся интеллигенте, который никак не может сказать революции ни «да», ни «нет». Складывалось представление, что вся интеллигенция постигала идею революции и социализма трудно и

медленно. И лишь сегодня возвращены нам имена многих и многих представителей революционной интеллигенции, глубоко идейных и самозабвенных бойцов, «сумасшедших революционеров», как говорила Лариса Рейснер. Ведь и во главе революции стояли интеллигентнейшие люди, именно они проводили революцию в жизнь, научно обосновав, оформив и выразив стремления и цели своего класса, своего народа. Сегодня всем ясно, что были разные интеллигенты, что лучшие представители демократической интеллигенции не просто, как принято говорить, приветствовали революцию, но и делали ее. Вместе с рабочими, вместе с солдатами.

Именно к такой интеллигенции принад-

лежала и Лариса Рейснер, журналистка и писательница, человек удивительного обаяния и искренности. Женственность и мужество, ум и поэзия, восторженность и трезвость сочтались в ней необыкновенно естественно. Она так много сердца вложила в то, что писала, что бисние этого сердца слышишь и сегодня, стоит прикоснуться к любой написанной ею странице.

В «Избранном» (составитель книги А. Наумова, автор вступительной статьи И. Крамов) бережно собраны лучшие очерки, статьи, памфлеты, репортажи и письма Рейснер. Время не сделало их неинтересными. Рейснер пишет о многом, о разном, круг ее внимания широк, впечатления разнообразны, она знакомит нас со множеством людей. И все-таки, читая книгу, не можешь отделаться от ощущения, что наиболее захватывающее в ней — это сам автор, его незаурядная личность, его судьба, вылепленная временем.

Лариса родилась в Польше. Отец ее, профессор права, революционно настроенный человек, был политическим эмигрантом. В восемнадцать лет Рейснер написала пьесу (она называлась «Атлантида»), где юноша-герой погибал, спасая человечество. Затем двадцатилетняя поэтесса начинает издывать журнал «Рудин», провозгласив его программой клеймить «бичом сатиры, карикатуры и памфлета все безобразие русской жизни».

Я привожу эти данные ранней ее биографии, чтобы ясно стало, как неуклонно и сознательно шел человек к революции, пропагандировал ее задолго до решающего дня восстания. И как созрела главная тема всех ее будущих книг.

Потом Лариса Рейснер вступила в партию, стала женой большевика Федора Раскольникова, в девятнадцатом году она — комиссар Морского генштаба... Героиня «Оптимистической трагедии» — это Рейснер. Правда, одна Алиса Коонен играла ее в том costume, в каком Рейснер являлась на форты и броненосцы: в ослепительно белой блузке и в юбке. Потом комиссара всегда играли суровой и затянутой в ремни и кожу. Это, разумеется, мелочь, но стоит сказать, что Рейснер никогда не подделывалась под кого-то, не стыдилась своей интеллигентности, умела всюду остаться собою. Может быть, поэтому стиль жизни так отчетливо вылился в стиль ее письма: возвыщенного, метафорического, резкого, напряженного, не лишнего изысканности.

Манера Рейснер передает восторг революции, пафос и стремительность, почти судорожность тех дней. их высокую чистоту. Да, она сама была «сумасшедшей революционеркой». В двадцать втором году она писала: «...наша жизнь как наша эпоха, как мы сами. От Балтики — до Новороссийска, от Камы — к апельсиновым аллеям Джелалабада... Мы — долгие годы, предшествовавшие 18 году, и мы Великий, навеки незабываемый 18 год...»

Рейснер была, может быть, тем первым советским журналистом, которому пришлось прежде сражаться, работать, ходить в разведку, отступать и наступать, а потом уже писать, то есть быть сначала участником событий, а потом их летописцем. Или сразу участником и летописцем. Эта ее судьба роднит Рейснер с Ридом, Фучиком.

Как биографию настоящего поэта можно представить себе по его стихам, так и жизнь Рейснер прочитывается по ее очеркам. Вот, например, она пишет о Казани, захваченной белогвардейцами: «Точно десять лет прошло со дня нашего отступления. Все другое и по-другому. Офицеры, гимназисты, барышни из интеллигентных семейств в косынках сестер милосердия, открытые магазины и разухабистая, почти истерическая яркость кафе, — словом, вся та минутная и мишурная сыпь, которая мгновенно выступает на теле убитой революции». Рейснер пишет об этой Казани столь точно потому, что ходила туда на разведку, потому, что отступала из Казани вместе с красновардейцами, а потом снова участвовала в штурме ее. Когда она говорит о людях, которые нашли себя «в настоящей, трудной, а не словесной и бумажной борьбе», мы догадываемся, что сам автор тоже принадлежит к таким людям.

Эти цитаты взяты из первой большой работы Рейснер — из книги «Фронт». Здесь — очерки о гражданской войне, о событиях на Каме и Волге, о штурме Царицына, о боевых делах Волжской военной флотилии, с которой Рейснер прошла от Казани до Астрахани, а затем до Энзели. Мы узнаем о том, как сражался и как погиб знаменитый корабль «Ваня-коммунист» и его капитан Маркин, как была уведена из-под носа у белых баржа с приговоренными к смерти большевиками и т. п. Причем перед нами не документальные очерки — в них часто даже не соблюдена хронология, — а скорее лирический дневник. Рейснер жаждет запечат-

леть лицо революции, она не фотографирует, а делает эскизы, наброски к одному большому портрету. Она говорит о матросах и летчиках и о детях, о вдовах, о красном начдиве Азине, и она говорит одновременно о себе: не потому, что она стремится позировать, а потому, что все пропускает через свою душу «Как рассказать Азина?» — спрашивает она себя и как будто приглашает читателя вместе с нею вообразить этого сложного и яркого человека. «Азинскими шпорами изрезаны клопные бархаты вагонов; им собственноручно высечены поймавшие дезертиры; им потерян и взят с бою город Сарапуль и десятки еще несуразных городов: им ведена безумная, в лоб, кавалерийская атака против Царицына; им изрублены десятки пленных офицеров и отпущены на волю или мобилизованы тысячи белых солдат. Азин ездит верхом на горячих спесивых лошадях, не пьет ни капли, пока не кончено дело, страшно ругается со своими комиссарами, кроет Реввоенсовет, в ежовых держит свои невероятные, из ушкунников и махновцев набранные части, дерется и никогда не бегают...»

Изю всех сил стремится Рейснер выразить, воссоздать пестрый, воюющий, кипящий и обновляющийся мир. Письмо ее плотно, метафорично, пронизано высокой поэтикой, стремлением к сочной изобразительности, к новой, неожиданной образности, порою (по крайней мере в этой первой книге) даже вычурной. Как рассказать? — мы будто все время слышим этот вопрос. И она вспоминает Эдгара По, сравнивает казаков, купающих лошадей, с «Купающимися воинами» Леонардо, лицо летчика с лицом Геркулеса Фарнезского. Ей важно запечатлеть и передать не просто факт, но краски и запахи события, лица его участников, живой смысл происходящего. Определения и сравнения Рейснер почти обязательно оценочны, характеристики остры и точны.

Следующую свою книгу она пишет об Афганистане, и пестрота и ослепительность восточного мира особенно ярко отражаются в ее насыщенной прозе. Эта книга — тоже страница биографии: Рейснер стала «хануми сафир-саиб» — женой посла, советского полпреда в Афганистане. Наверное, об этом периоде ее жизни можно было бы снять сегодня приключенческий фильм. Она пишет очерки для «Известий» и проводит целые дни с эмиршей, делая большую политику: эмирша очарована большевистской

«хануми», надо использовать это влияние. В «апельсиновых аллеях Джелалабада» Рейснер продолжает умно и тонко служить революции. Очаровательная l'Ambassadrise Russe привозит из Афганистана интересную и серьезную книгу, полную симпатии к народу этой страны, точных политических прогнозов и оценок, язвительных и уничтожающих портретов европейских «пиявок», — среди этих портретов особенно интересна физиономия уже не британского и не французского неокOLONИАЛИСТА, а представителя доллара — миллионера Вандерлипа.

«Афганистан» также разбит на короткие зарисовки, эскизные записи, на отдельные разнометные очерки, но в целом, прочитав книгу, мы получаем достаточно полное и ясное представление о стране, общую картину ее — от эмирского двора до трущоб нищего Кабула и «машин-хане», первой афганской фабрики. Естественно, что особое внимание уделяет Рейснер положению женщины в Афганистане, возможности ее укрепления, и в очерках то и дело мы встречаем выразительные женские портреты, есть даже целая глава, ироническая и грустная, — «Наука в гареме», где рассказано об экзамене для девочек и молоденьких дам новой афганской аристократии.

И все-таки главное, что интересует писательницу, — это поиск тех признаков, тех черт, которые должны сказать о возможности борьбы, — борьбы нищей, вымирающей страны за свою независимость и прогресс. Потому что речь идет о том, что вместо «дешевой спички и дешевого чулка, общедоступной бритвы и непобедимых в своем ничтожестве подтяжек... Америка возьмет чистый кудрявый хлопок, жемчужный рис, раздвоенный посередине, как нежный подбородок, и моссульскую нефть, эту черную душу движения, скорости и силы». За тем и погнались миллионы Вандерлипа их владельца на Восток.

Встреча с капиталистической Европой в Азии как бы предварила для Рейснер встречу с самой Европой: в двадцать третьем году она едет в Германию. Германия переживает острый кризис, «тарактит» марка, в стране голод, безработица, рабочие демонстрации. Страну только что потрясло восстание рабочего Гамбурга, но общегерманское восстание было остановлено общегерманским же мешанством и социал-предательством. И все-таки в Германии пахнет революцией, и Рейснер не может усидеть на

месте. Она пишет о Гамбургском восстании, о портовом вольном городе Гамбурге, о его докерах и рабочих, о разных районах города, она рисует портреты руководителей восстания, в числе которых Тельман, и рядовых его участников «Гамбург на баррикадах» — может быть, лучшая работа Рейснер, наиболее зрелая, строгая, отточенная и мужественная. Книга строго документальная, она может служить почти инструкцией для всех будущих повстанцев — так и кажется, что, рассказывая о баррикадах, уличных боях, организованном отступлении восстания, Рейснер адресует эти страницы Берлину, Мадриду — второму Гамбургу. И в то же время эта книга взволнованная и поэтическая, потому что автор не может скрыть и не скрывает своего восхищения восстанием, своей влюбленности в его героев, своей презрительной иронии к его кавеньякам. «Все население прятало и спасало героический арьергард Гамбургского Октября, этих раненых, обугленных, затравленных одиночек, все еще стрелявших где-то над городом и вдруг врывавшихся в незнакомые рабочие семьи с окровавленными руками, в лохмотьях, с черным высохшим ртом и сворой охотников, с грохотом и руганью проносившихся мимо едя захлопнутой дверью».

Читая эти очерки, понимаешь, как широк и смел взгляд Рейснер на мир, как подвластен ей теперь материал самого большого масштаба. И понимаешь, другое: революция — вот истинная и постоянная тема Рейснер. «О, жизнь, благословенная и великая, превыше всего, зашумит над головой кипящий вал революции. Нет лучше жизни». И еще одно, совсем личное признание в письме домой из Германии: «Если бы теперь не ушла в большую революционную бурю — застоялась бы и обмельчала окончательно».

Это признание касается того нелегкого для Рейснер и других революционеров времени, когда пришлось осознать необходимость нэпа. Но Рейснер не оставила нам книги о своих сомнениях. Она хочет увидеть и узнать, что происходит там, где строится новая жизнь. Поэтому после Германии Рейснер совершает большую поездку по Уралу и Донбассу. На старых заводах и шахтах тоже начинается в это время революция: закладывается и возникает промышленность социализма. Рейснер пишет о невыносимых условиях труда на рудниках и заводах —

тяжком наследии прошлого — и о тех искорках нового, которые начинают гореть в этой тьме. Билимбаи, Ревда, Лысьва, потом Горловка, цеха и заборы, рабочие бараки — неутомимая страсть познания, глубокий человеческий интерес, сочувствие ведут писательницу по всем этим местам, наполняют ее верой в дело революции.

Рейснер не обольщается сама и не обманывает читателя, показывая одну сторону жизни, новую, — она честно и трезво пишет обо всех трудностях, о сложном сплетении нови и старины, о контрастах времени. Но взгляд ее, уже навсегда настроенный на революционное, умеет разглядеть это революционное повсюду. И в этой новой книге снова мы слышим искреннюю, окрашенную личностью автора, как бы дневниковую или эпистолярную интонацию Рейснер. «Испитое и битое, затравленное или озорное лицо дореволюционного поселка неузнаваемо... как много вопросов величайшей важности, — вопросов совести и любви, вопросов детских и взрослых, касающихся каждой одиночки и коллектива... разрешается там, в Горловке, в городке, где люди вдыхают запах углекислоты, смешанной со зловонием выгребных ям. И делается это все не сверху, а без ведома всякого верха, часто вопреки косной и омешанншейся воле маленьких чиновных людей».

Тема революции находит свое выражение и в следующей, уже исторической работе Рейснер — очерках о декабристах. Они не были, к сожалению, закончены, как не были осуществлены многие и многие новые замыслы: их оборвала смерть. Ларисе Рейснер едва исполнилось тридцать лет...

Очень хорошо, что вышла теперь эта книга. Очень хорошо, что нам возвращены имена многих и многих бойцов революции. Ожил не только легендарный образ писательницы-комиссара, — ожили страницы ее талантливых книг. И нам теперь странно: как это можно было знакомиться с летописью революции без этих ярких страниц? Тем более что они не просто документ истории, но еще в известном смысле и образец, — образец революционной страстности, честности, истинной интеллигентности, высокой чистоты души. Автопортрет прекрасно го человека. Человека своего времени.

М. РОЩИН.

ПОВЕСТЬ ОБ «ОЧАРОВАННОМ ДЕЯТЕЛЕ»

Илья Лавров. Очарованная. Повесть. «Молодая гвардия». М. 1965. 204 стр.

Десять лет назад в журнале «Молодая гвардия» была напечатана статья Марка Щеглова «На полдороге» — о молодом прозаике Илье Лаврове, выпустившем к тому времени два сборника рассказов. Это была последняя статья критика. За четыре дня до смерти в письме в редакцию журнала «Молодая гвардия» Щеглов писал: «Мне, удивительное дело, статья эта начала нравиться. Тут есть что-то особенно дорогое... общие слова, которые касаются, как кажется, самого важного сейчас и в литературе, и в жизни...»

«Общие слова», столь дорогие критику десять лет назад, и сегодня звучат чрезвычайно серьезно, даже злободневно, и касаются они действительно важного и в литературе нашей, и в жизни. «Нам представляются высшей степенью холодно-го равнодушия те литературные «манифесты», в которых говорится о «бескрылой», «неудачливой в жизни мелкоте», которая «полезла» на страницы книг, а также брезгливые замечания о загсах и нарсудах, о так называемых «мелких дрызгах быта...», — писал М. Щеглов. — Кто эти великолепные счастливицы, спасенные жизнью даже от того, что они сдержанно именуют «некоторыми неустройствами быта», бестрепетно проходящие мимо «мелких дрызг», отраженных в деятельности столь почтенных учреждений, как загс и нарсуд, не запнясь рассуждающие о «маленьких людях», о «мелкоте» со «слабыми идейными поджилками», об «обыденной сутолоке» жизни! Каким образом мог сложиться в наши дни этот их барский идеализм? И со всем тем какая внутренняя вульгарность слышится в этом накоплении брюзгливых словечек «мелкий», «неудачливый», «мелкота»...»

Но статья Марка Щеглова кажется сегодня живой и современной не только благодаря ненависти к демагогам, третирующим «простую» жизнь. Статья эта — пример активной заинтересованности критика в судьбе писателя, которому она посвящена, страстной, даже чуть наивной веры в то, что нельзя не прислушаться к таким серьезным и искренним предостережениям. Внимательный анализ первых рассказов И. Лаврова, позволивший критику выска-

зать приведенные выше «общие» соображения, дал ему возможность и предупредить даровитого рассказчика от грозившей ему опасности. Художественной правде рассказов Лаврова, умению «близко ощущать» «каждодневные события, которые могут явиться подлинным потрясением в жизни человека, но не влияют на ход планет в мировом пространстве», — всему этому, дорогому и ценному в его рассказах, по словам М. Щеглова, угрожали «недостаточная воспитанность идеала», «оттенок банального в его размышлениях о людях», «однообразие художественного колорита»... У И. Лаврова, писал критик, поэзия и возвышенное чувство иногда «действительно естественным путем рождаются из живого человеческого отношения к вещам», а иногда «становятся следствием самовозбуждения и своеобразного поэтического гипноза, усыпляющего вкус и чувство меры».

За годы, прошедшие со времени опубликования статьи М. Щеглова, И. Лавров написал немало. Последняя его работа — повесть «Очарованная», опубликованная недавно в журнале «Октябрь» и почти одновременно вышедшая отдельным изданием.

Какова же она?

Повесть удивляет уже первой своей страницей. В небольшом лирическом предисловии, в котором автор рассказывает, как потянуло его туда, где он «долго жил мысленно, пока писал», как ему захотелось поглядеть героиню повести, «увериться, что жива душа ее», в этом предисловии, между прочим, говорится: «Бывает так, что среди мути раздражения, скуки, нудных, мелочных забот вдруг помахает тебе ветка, вся в серебряной шерстке инея. И неведомо как затронет эта ветка лучшую струну в душе твоей, и запоет она бог знает о чем... И долго будет петь. Ты только охраняй эту струну, гони от себя раздражающее комарье мелочей».

Сквозь манерность этого пассажа просвечивает вполне определенная мысль: раздражение против «нудных, мелочных забот», «комарья мелочей», которым противопоставлены ветка «вся в серебряной шерстке инея» и «лучшая струна в душе твоей...». Этот так решительно взятый тон поражает тем более резко, что мы ведь открыли по-

весть писателя, дорогого именно умением видеть, «взвешивать на очень тонких весах», как писал М. Щеглов, факты и события, «внешне подчас весьма непримечательные, даже заурядные», способного находить в них «внутреннюю поэзию, содержательность и важность». И вдруг — слова о раздражающем «комарье мелочей»...

Как бы то ни было, но эта нота в повести «Очарованная» на первой же странице взята, она уже звенит...

Молоденькая героиня повести появляется совсем просто и в то же время весьма торжественно. «Здравствуйте. Я Валя Чивилева, — говорит она серьезно и спокойно. — Мне нужен секретарь парткома Камышев». И ей отвечает также в тон: «Здравствуй, Валя Чивилева! Камышев буду я».

Валя — цветовод, она приехала из Харькова в Сибирь добровольно, она мечтает о работе потруднее — трактористкой, хотя водить трактор не умеет. «Ну, здесь тебе придется оставить свои желания, — пытаются остудить ее пыл. — Иди туда, где нужнее. Нам не хватает доярок, птичниц, животноводов». — «Но я хочу работать на тракторе, — твердо возражает Валя. — Я люблю машины». Этого оказывается достаточно, ее направляют в отделение совхоза, в село Журавка. «Журавка! Какое название!.. Журавка в лесу, на реке?» — спрашивает Валя. «И в лесу и на реке. А ты, Валя Чивилева, любишь лес и реку?» — «Как птица, я не могу жить без леса!» — отвечает Валя, берет свой чемоданчик и отправляется в село Журавка.

Так и шагает героиня И. Лаврова по повести. В Журавке ее сразу же определяют на курсы трактористов, через десять дней она блестяще сдает экзамен, ей дадут трактор, она отлично будет на нем работать: в тракторной бригаде к ней будут замечательно относиться, Виктор Кистенев полюбит ее. Кроме того, она вовлечет комсомольцев в работу по благоустройству села, будет конфликтовать с заведующим совхозным отделением Копытковым — пьяницей и никчемным человеком, развалившимся хозяйством. Потом Валя совершит подвиг: когда обгоревшему трактористу Стеблю понадобится операция по пересадке кожи, Валя, не задумываясь, попросит: «Возьмите кожу у меня! Возьмите!» Потом письма Вали старому харьковскому товарищу Грише, безнадежно в нее влюбленному, о совхозных делах напечатаны в «Комсо-

вольской правде», к ней придет всесоюзная известность, Копыткова снимут, в Журавку зачествят корреспонденты; потом... Да вот, собственно, и все. Приедет в Журавку уставший от работы над повестью автор для того, чтобы повидать Валу, чтобы «увериться, что жива душа ее», побывать «в сказке с маленькими чудесами» и отдохнуть от «комарья мелочей»...

Сама тема «Очарованной», ее сюжет успели стать за последние годы неким штампом: сколько было уже повестей о молодых людях, приехавших на работу из города в деревню! И всем им сначала трудно, потом становится все легче, потом приходит мастерство, потом приходит слава и любовь или сначала любовь, а потом уже слава.

Но давайте вчитаемся в повесть. Ведь известно, что и самый обычный сюжет под пером даровитого писателя может раскрыть жизнь во всей ее сложности и драматичности, а ведь Илья Лавров, несомненно, даровитый писатель.

Повесть написана о Вале. Все, что происходит, так или иначе с ней связано. Это она «очарованная», как говорит о ней один из ее товарищей — тракторист Валерий по прозвищу Стебель. «Быть счастливым — это ведь тоже талант! — разъясняет он. — Или свойство характера, что ли. Ведь Валюха наша, она... очарованная!.. Она же зачарована землей, лесом, полем, даже нами». Что ж, может быть, и правда, героиня повести Валя Чивилева — характер, увиденный писателем в жизни, им открытый? И анализ свойств и сути этого характера, его проявлений в различных ситуациях позволит нам разобраться в условиях и обстоятельствах, его сформировавших, поможет понять важные стороны нашей сегодняшней жизни?..

Мы знаем, что Валя — девушка, видимо, красивая. Автор не один раз восхищается ее глазами — «узкими, но очень длинными и лохматыми от ресниц». Мы знаем, что она человек искренний в своих отношениях с людьми, последовательный и упорный в однажды принятом решении, что это человек волевой и целеустремленный. Написала в дневнике: «Еду в Сибирь. Засажу города цветами». И добилась своего — поехала в Читку, преодолев недоумение однокашников и трудности устройства. Правда, мотивы, по которым это путешествие было совершено, не представляются серьезными. «Дикая,

загадочная Сибирь,— записывает она в дневнике.— Дикие, непроходимые леса на тысячи километров, озера, огромные реки, туманы, зори, дожди, непуганые звери, непролазные снега... И отважные, суровые люди. Вольная жизнь!» Скажем прямо, представление о Сибири и тамошней жизни у закончившей курс студентки Чивилевой весьма приблизительное, совсем как у заезжего иностранца. Но можно представить себе и такую инфантильность, и такую экзальтацию: «Девчата и хлопцы едут на Ангару, на Енисей, в Каракумы — строят города, гидростанции, а я корплю и корплю над учебниками. Мне даже страшно при мысли, что я все прозеваю».

Одним словом, перед нами милая, романтически настроенная девушка, мечтающая об экзотически «непуганых» краях, где живут суровые и мужественные люди. Но где же все-таки то неповторимое, ради чего Илья Лавров взялся за перо? Не станет же даровитый писатель просто так в который уж раз перепевать своих предшественников, рассказывая о столкновении розовой, ничего не знающей юности с суровой прозой жизни?..

«Очарованная» и правда повесть не о столкновении героини с жизнью. Валя Чивилева приехала в Журавку, заранее «очарованная» предстоящей ей деятельностью. Запас этих «чар» оказался так велик, что никакой реальности попросту невозможно было через них пробиться.

Она работает трактористкой, она не может не видеть, что люди живут трудно и в силу, так сказать, объективных причин и благодаря нерадивости пьяницы Копыткова. Одним словом, Валя должна была столкнуться, казалось бы, с реальной Сибирью. Изменилось ли в ней что-нибудь? Да нет, ничего не изменилось. То ей кажется, что она «летит», то она «беззвучно» шепчет строки из Фета, то слышит в душе «бурный, мятежный, призывный ноктюрн Шопена», а то просто кричит «в дрожащий дождь»: «Доброе утро, Заячьи пни!.. Доброе утро, Куба!»

Вообще чувства героини И. Лаврова проявляются странно, чаще всего слезами: она смотрит на реку — и «подкатывает что-то к горлу: не то рыдание, не то радостный крик»; она плачет, когда глядит на только что вспаханное поле: когда она «беззвучно шепчет» стихи, то «слезы просачиваются сквозь сжатые ресницы»; «она плачет и ра-

дуется» в своих письмах, «размышляя в них о жизни»; слезы вызывает у нее «призывный» запах облетающих листьев осины; она «все время кого-то любила, о ком-то тосковала»; то сердце у нее «наполнилось радостной жутью», то «затомилось, как будто полюбило и боялось потерять любимого»...

Что ж, можно (правда, уже с трудом) представить себе и такую степень никак не утихомиривающейся восторженной экзальтации. Валя, как сообщает автор, работает хорошо, с ее помощью в Журавке налаживается жизнь, крепнет хозяйство, что за беда, если она про себя что-то шепчет, и кричит, и плачет, тем более что и Фет, и Шопен, и Куба — все это свидетельство ее, так сказать, интеллигентности, духовности. Беда здесь в том, что «зачарованность» героини оказалась заразительной, она передалась и остальным персонажам повести, ее явно, как мы видим, не избежал и автор. Да и вся повесть И. Лаврова — это не реальная картина жизни, а как бы мир, опрокинутый в глазах «очарованной» Вали Чивилевой: сибирское село Журавка — это край «непуганых зверей», а жители Журавки не вполне конкретные сибиряки, а некие парящие в эмпиреях гимназисты. Во всяком случае говорят они поразительно ненатурально и выпендрено.

Несколько примеров. Валя и Виктор Кистенев столкнулись однажды у реки, а каждый из них хотел побыть в одиночестве. «Чего тебе надо?» — спросила Валя со злостью. — «Ничего, кроме зеленого безмолвия», — ответил Кистенев. А потом, уже познакомившись с Валей поближе, когда она как-то забралась к нему в кабину трактора, он заявил: «Я увезу тебя в эту рощу. Далеко увезу, к журавлям...»

Но у Виктора и Вали сложные отношения, они, таясь даже от самих себя, любят друг друга. Может быть, такая многозначительная безвкусица от неловкости, смущения? К сожалению, подобная претенциозность, выпендренность и создают собой общую атмосферу повести, становятся своеобразным выражением ее «философии». Вот ведь и пьяница Копытков, как можно понять автора, виноват главным образом не в том, что не смог должным образом организовать работу в отделении совхоза, а в том, что он, Копытков, не замечает окружающей его красоты: «Всю жизнь он жил среди цветов, птиц, восходов и зака-

тов, но пропускал их мимо глаз, ушей, мимо сознания и сердца. Для него что они есть, что нет. Он весь был поглощен сварями, неурядицами, грузовиками, удобрениями, запчастями. И многие чувства были для него неведомы. В основном он жил злостью, раздражением, боязнью, нерешительностью, гревогой. Одним словом, теми самыми «мелочными заботами» и «дрязгами», на которые, по мысли автора, обращать внимание не следует! Другое дело «положительный» тракторист Стебель — тот «хочет жить так, чтобы о нас оперу написали, черт побери!». Да и зачем думать о каких-то реальных неурядицах, удобрениях, запчастях? Ведь все и так само собой наладилось, стоило только Вале Чивилевой появиться в Журавке!

Авторитет «очарованной» героини повести растет от страницы к странице. На комсомольском собрании Валя, избранная комсоргом, ведет себя уже полновластной хозяйкой. Сначала Валя читает вслух анонимное письмо от некоей Ады: «Валентина! Прочитала в газете твои письма. Слушай, ведь все это притворство, поза, треп! Кого ты хочешь уверить, что ишачить на тракторе — счастье, что вкалывать в совхозе — дело молодых?..» Потом комсомольцы это письмо обсуждают. Свинарка Маша говорит: «Вы же читали в газете Валины письма. Помните, она писала: «По-моему, счастье — это не иметь, а создавать!» Да разве этой Аде понять такое счастье? Стоит Валька, смотрит на свое вспаханное поле и плачет. Где уж тут Аде понять эти слезы! Или вот, радость Вали оттого, что ей подчиняется трактор,— да разве дойдет эта радость до подобных пигалиц? Им и невдомек, что чувствует Валюша, когда встречается с облаками на дальних полях... или с дождиком, который ночью звенел по ведру. Помните, об этом есть в Валиных письмах?»

Валя сидит тут же, рядом, а ее уже цитируют: «помните, она писала...», «слезы Вали», «радость Вали», где там какой-то пигалице понять Валины чувства, переживания Валюши, когда она «встречается с облаками»? «Очарованная» Валя словно выросла в некоего божка, идола. Слушая это неумное славословие, она умело «направляет» разговор, думает: «Пора вмешаться», говорит то покровительственно: «Ты, конечно, перегнул», то сухо, катего-

рично: «Регламент... Голосование... Не всегда это нужно».

Когда ее подруга Тамара рассказывает ей о своей беде — ее разлюбил Шурка — и со слезами спрашивает: «Что же мне делать?» — Валя решает эту «чужую беду» с поразительной небрежностью: что делать? «Лететь!» И продолжает «строго»: «Не раскисай», «Не будь размазней», «Ну и дури!»

Чем дальше мы вчитываемся в повесть И. Лаврова, тем больше понимаем, что неприятно поразившее нас авторское предисловие с его брюзгливым раздражением против «мелочей» и «забот» — не случайная оговорка, не дань литературной красивости, а вполне органичное для повести отношение к жизни. Что там задумываться о всяких «неудачниках» — Валя-то знает: «Что бы ни было, а она своего добьется! Когда жизнь полна схваток, веселее бежит кровь, громче стучит сердце, острее радость, хмельнее горечь». Что там какие-то «бытовые дрязги» — «худосочная» ваша жизнь, человеки из всяких канцелярий, бухгалтерий, кабинетов, контор... — вторит Вале Виктор Кистенев. — Черт бы побрал этих людишек, сколько они придумали лишнего. Сами себя поработили всякими условностями и обязанностями».

А чего стоит такое снисходительное мышление героини повести о людях, по ее мнению, слишком много времени уделяющих своим личным огородам: «Мне жаль вас! Вы бедные, нищие!» Или такая ее барская реакция на протест многодетного тракториста против обезлички в оплате труда: «Хоть и понимала Валя эту проблему «пяти ртов», а все-таки ее корбило, когда все мерили только одним — рублем». Что ей «этот чертов рубль», «эти людишки», когда со всех концов страны идут к ней в Журавку письма, «с юга пришла посылка с лимонами, другая — с белыми астрами...».

В авторском послесловии к повести И. Лавров поделился с читателем историей возникновения замысла своего произведения. «Любимые герои» предыдущих книг «не полностью передавали то, что я чувствовал», а «хотелось описать человека, не только очарованного землей, но и украшающего эту землю, не только восхищенного наблюдателя, но и очарованного деятеля». Именно такой «очарованный дея-

тель» (вернее, деятельница) и выведен в повести И. Лаврова. Страшноватые, хотя и весьма знакомые качества демонстрируются здесь нам — пренебрежение к «мелочным заботам», раздражение прозаическими проблемами, бравая снисходительность «сильного человека»... Совершенно естественно, что подобное отношение к людям и к реальной жизни определяет и стилистику повести И. Лаврова. Именно отсюда вся эта ненатуральность, фальшивая литературная красивость, манерность, нарочитость, видная уже в цитированных нами отрывках, — следствие того самого «самовозбуждения», «поэтического гипноза», усыпляющего вкус и чувство меры, о чем писал когда-то М. Щеглов.

Размышляя о достоинствах и просчетах в первых книгах молодого рассказчика, М. Щеглов полемизировал с его критиками, обвинявшими рассказы И. Лаврова в семи смертных грехах. «Как бы с подчеркнутой последовательностью показывается в них обыденная жизнь рядовых людей — сторожей, продавщиц, парикмахеров, железнодорожных проводников, мелких служащих, — цитировал М. Щеглов одну из таких критических статей. — Но не это, разумеется, вызывает возражения (и на том спасибо! — М. Щ.); худо то, что герои И. Лаврова — люди маленькие в самом плохом смысле слова. Они неудачники с несложившейся жизнью, и почему-то (!) они

дороги автору именно жалкой своей судьбой и беспомощностью». Итак, «неудачник с несложившейся жизнью» — это и есть «маленький человек в самом плохом смысле слова»... — комментировал М. Щеглов эту статью. — По естественной логике, «большой человек и в самом хорошем смысле слова» — это счастливец с исключительно удачно сложившейся судьбой, преуспевающий, довольный обстоятельствами, спокойно идущий по головам, и уж, конечно, не «мелкий служащий!» Откуда такая спартанская закалка, такой культ удачи и пренебрежение к «неудачнику», к «беспомощности», к слабому или ослабевшему? «Почему-то неудачники дороги автору жалкой своей судьбой!» Но ведь следующая за сим ступень — это... «пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу!».

Как видим, М. Щеглов в свое время не только предостерегал писателя, но и защищал его от тех, кто видел задачи нашей литературы лишь в описании «битв героев и богов». Причем десять лет назад, когда И. Лаврова так серьезно и так доброжелательно предупреждали о грозящей ему опасности, он был только «на полдороге», так сказать на перекрестке. Даровитый писатель много обещал. Жаль, что от этого перекрестка писатель пошел в сторону, противоположную той, куда звал его критик.

Ф. СВЕТОВ.



НОВЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ К РУССКОЙ КЛАССИКЕ

А. С. Пушкин. Борис Годунов. Иллюстрации Е. Кибрика. Детгиз. М. 1965. 159 стр.
Н. Гоголь. Петербургские повести. Иллюстрации В. Горяева. «Художественная литература». М. 1965. 275 стр.

Э то очень трудное и тонкое дело — сделать настоящие иллюстрации к хорошей книге, тем более к книге знаменитой, которая уже давно и глубоко живет в сознании людей и, безусловно, имеет свою традицию образа, а у некоторых читателей вызывает, может быть, и особые, личные представления.

Такая иллюстрация должна быть очень сложным явлением искусства, ее автор должен показать и тонкое понимание литературы, индивидуальности писателя, и глубокое ощущение жизни, современности.

Такие иллюстрации ничего общего не

имеют с теми поверхностными работами, сделанными в одной из стандартных манер, которые модны на сегодняшний день и которые связаны только со стандартом манеры, а не с образами той литературы, которую они хотят иллюстрировать.

В минувшем году вышли две очень хорошие, на мой взгляд, книги с иллюстрациями. Обе — русская классика, и обе иллюстрированы современными художниками. Это «Борис Годунов» Пушкина с иллюстрациями Е. Кибрика и «Петербургские повести» Гоголя, иллюстрированные В. Горяевым.

нии должен был пройти через несколько стадий — через живое чувство реальности и через смутную, туманную фантазию, через умное, далеко смотрящее воображение и через умение собрать все это воедино.

Мне, например, было бы трудно оторваться от этого снега под шинами, от силуэта живой толпы, от чоканья каблуков по плитам соборной площади, — все во мне заполнено этим современным духом. Бояре и старинные франты просто не поместились бы во мне.

Но настоящий большой иллюстратор, художник широкой и разнообразной темы, находит здесь свои образные и интересные пути.

Кибрик нашел, по-моему, очень современный, самостоятельный и тактичный ход. В его иллюстрациях к «Борису Годунову» нет стандартной модернизации, но нет и откровенно традиционного решения. Новизна этих вещей находится внутри них, что и делает эту работу по-настоящему серьезной.

Кибрик разделил все рисунки по их месту в книге и их композиционному смыслу. Все жанровые мотивы он вынес в небольшие, но очень сложные, содержательные композиции, — в них шумит народ, в глубине царских палат идет еле слышная беседа, падает снег на главы соборов, в польском парке спускается ночь.

Словом, в эти маленькие по размерам композиции вынесен широкий мир людей, природы, Москвы.

А на страничных рисунках, во всю половину, современным кинематографическим приемом крупного плана сделаны лица, лица, которые страдают, хитрят, мучаются — словом, живут.

Это получилось очень выразительно — большие лица и как бы удаленные композиционные картины дополняют друг друга, они придают всей книге движение — психологическое и пространственное.

Композиционные жанры в этой книге показали талант Кибрика как художника исторической темы, — мне кажется, они могут вывести его и к сложной станковой исторической картине. В этих вещах есть трудное умение компоновать толпу, ставить фигуры в интерьере, находить место людям в пейзаже — словом, это настоящие, хорошо решенные композиции.

Крупные планы, портреты сделаны очень серьезно. Нужно много перевидавать людей и много их перерисовать, чтобы добиться та-

кого отчаяния юродивого, такой хитрости самозванца. Путь к этому лежал, конечно, через бесконечное наблюдение людей, через то напряженное состояние ловца, который каждую минуту может поймать необходимое и каждую минуту ничего не ловит. И только потом, вдруг, среди мелькания многих и многих лиц видится то неповторимое выражение, которое сразу выводит к единственно верному образу.

Это и есть работа художника, и это очень трудная и очень интересная работа.

Крупные лица Кибрика в «Борисе Годунове» — это работа психолога и работа портретиста. И очень естественно, что после них Кибрик стал писать современные портреты.

Одно замечание. Больше всего удались Кибрику, как мне кажется, мужские характеры. Они решены у него превосходно. Единственный в книге женский портрет — образ Марины Мнишек, на мой взгляд, менее удачен. Ему не хватает и женской пластики, и женской психологии. Этот образ в отличие от мужских портретов получился и более сухим, и более схематичным.

В книге много еще и чисто книжных элементов: заставки, буквы, форзацы, супер, обложка. Все это получилось очень цельно. Жанровое и портретное соединилось с орнаментальным очень органично, и книга вышла серьезной, талантливой и красивой.

«Тысячи сортов шляпок, платьев, платков — пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие, узенькие талии никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина, потому что даму так же

легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским...»

«Но как только сумерки упадут на дома и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет».

Чудесные гоголевские слова! А вот отрывок — уже совершенно современный, из романа немецкого писателя Кеппена. Темы этих отрывков лежат где-то рядом:

«...люблю толчею и давку, прикосновения, взгляды, крики, хохот на Корсо и непристойности, которые мимоходом шепчут на ухо дамам, люблю равнодушную, пустую маску дамского лица, в которой немало порочного, люблю их ответы, их стыдливость, их жажду похотливых комплиментов — она затаена в их истинном лице, скрытом под светской личиной, и они уносят ее домой в свои женские сновидения; я люблю сверкающие выставки богатства, витрины ювелиров и птичьи шляпки модисток, я люблю маленькую гордую девушку с красным галстуком на площади Ротонды, люблю длинную белую стойку в баре «Эспрессо» с шипящей, брызжущей паром машиной, изготавливающей кофе, и мужчин, которые пьют его из маленьких чашек, горячий, крепкий, горько-сладкий; я люблю музыку Верди, когда она в пассаже на площади Колонны звучит из репродукторов телевизионной студии, отражаясь от оштукатуренных фасадов начала века, люблю виа Венето, все эти кафе на ярмарке тщеславия, их веселые стулья, их пестрые маркизы; я люблю длинноногих, узкобедрых манекенщиц и их волосы, выкрашенные в огненный цвет, их бледные лица, их большие, всегда удивленные глаза — это пламя, которое я не могу схватить...»

Эти отрывки, конечно, очень различны, и время в них другое, и города и чувства совсем другие. Но я привел их рядом потому, что убежден: для художника, который обращается к прошлому, это прошлое обязательно пройдет через современные чувства, через современную пластику.

И, чтобы по-настоящему ощутить гоголев-

ских кокеток с Невского, их надо увидеть в сегодняшних бледных, удивленных лицах, вроде лиц манекенщиц из романа, в обтянутых фигурах современных франтих с улицы Горького, в раскованности теперешней вечерней толпы, в серьгах и кольцах встречаемых нарядных девиц.

Мне кажется, что Виталий Горяев, иллюстрируя своего Гоголя, пошел именно этим путем — навстречу старине сквозь окружающую жизнь.

Горяев много и интересно рисовал в разных местах мира — в Москве и в Америке, во Франции и на Цейлоне. У него есть свой особый характер видения, свое определенное и напористое представление о жизни, свой способ изображения.

Гоголя много иллюстрировали, и иллюстрировали хорошо, иногда просто замечательно. Художники находили в Гоголе великолепный и очень разный материал для своих чувств: у одного Гоголь поворачивался доброй душой и улыбкой, у другого желчной и злой сатирой, иногда нарядностью, часто фантастикой, — эти разные чувства становились ключом и смыслом иллюстраций.

Горяев передал нам петербургского Гоголя, очень петербургского, элегантного, тревожного, острого и нервного.

Это ему прекрасно удалось.

Взявшись иллюстрировать Гоголя, Горяев оставил при себе всю остроту своего глаза, а в форме смело пошел навстречу Гоголю, найдя тот нервный, острый карандашный рисунок, который совершенно бы не годился ни для Америки, ни для Цейлона, но оказался вполне убедительным именно в гоголевских иллюстрациях.

Он очень современен, этот рисунок, но в нем есть почти неуловимый, но безусловно явный отзвук каких-то старинных набросков, осовремененных живою рукою.

Весь опыт современного рисования жизни оказался очень полезным для большой иллюстративной работы, а такт художника, его понимание литературы сумели все это переплавить в нечто совершенно новое и, по-моему, очень по-новому решающее Гоголя.

Я убежден, что только художник, живущий современностью, может по-настоящему иллюстрировать и Пушкина, и Гоголя, и классику вообще.

Для него классика — живая часть реаль-

ности, то, что читается, видится и чувствуется сегодня, и образы этой классики обязательно переплетены с живым дождем, который идет за окном, с красивым лицом женщины в метро, с бутылкой вина, которая

стоит на столе, с букетом цветов, который привезен из-за города.

Тогда классика становится живой, а ее ощущение современным.

Ю. ПИМЕНОВ.



ГОТОРН-РАССКАЗЧИК

Натаниель Готорн. Новеллы. Перевод с английского. «Художественная литература». М.—Л. 1965. 494 стр.

Романтизм — одна из самых интересных и богатых талантами эпох в истории литературы США первой половины девятнадцатого века. Недаром такой крупный исследователь этого периода, как Мэттиесен, назвал его «американским Возрождением». В самом деле, заслужившие мировую известность Ирвинг, Купер, По, Мелвилл и Лонгфелло, писатели двух примыкающих друг к другу поколений, впервые заставили скептических европейцев той поры поверить в существование «самостоятельной» американской литературы, вышедшей вместе с молодой республикой из-под власти Англии.

К числу этих писателей относится и Натаниель Готорн. До недавнего времени мы знали его лишь как автора романа «Алая буква» — книги, завоевавшей ему любовь читателей всего мира. Однако в историю американской литературы Готорн вошел не только как талантливый романист, стоящий где-то между Купером и Мелвиллом, но и как один из создателей «самого американского жанра» — «короткого рассказа», ничем не уступающий Ирвингу и По.

В жанре новеллы Готорн написал несколько книг. Первая из них, «Дважды рассказанные истории», вышла в свет в 1837 году. Рассказы, включенные в этот небольшой сборник, были в основном посвящены историческим событиям и часто носили полуфантастический-полуфилософский характер, отличавший прозу молодого Готорна. Читатели и критики тепло приняли книгу, и даже строгий и своевольный в своих оценках Эдгар По отозвался о ней с большой похвалой. Впоследствии Готорн не раз дополнял сборник, пока он не превратился в толстый двухтомник, называвшийся теперь «Снегурочка и другие дважды рассказанные истории».

Новая книга писателя «Легенды старой усадьбы» (1846), темами и идеями тесно

связанная с предыдущей, окончательно упрочила славу Готорна-рассказчика. Сюда вошли его лучшие фантастические новеллы «Молодой Браун» и «Дочь Рапачини», новеллы, по праву занимающие почетное место в антологиях американских рассказов девятнадцатого века. Кроме этих двух сборников, Готорн написал еще когда-то очень популярную, а ныне забытую почти всеми, кроме специалистов, «Книгу чудес» — вольный пересказ для детей мифов и легенд древней Греции.

Со многими рассказами, входившими в эти четыре книги, мы сможем теперь познакомиться, прочтя сборник новелл Готорна. А. Левинтон, составитель сборника, включил в него наиболее известные рассказы писателя разных лет, тем самым дав нам возможность получить довольно полное представление о творчестве Готорна-новелиста.

С первых же страниц однотомника Готорна перед читателем открывается окутанный дымкой таинственности мир давно ушедшей в прошлое пуританской Новой Англии. Странен и непривычен этот мир. В нем все как будто бы реально и вместе с тем полно условности и фантазмагорических превращений, характерных для романтиков, поэтизовавших старину.

Готорн обращается к истории Новой Англии, к прошлому своего родного Салема. Этот город после войны 1812 года постепенно утратил былую славу одного из важнейших портов Нового Света и стал приходить в упадок. Рассказы о прошлом немногих доживающих свой век очевидцев войны США за независимость постепенно превращались в легенды и семейные предания, которые и раньше в изобилии слагались в Салеме, цитадели пуританской Новой Англии. Многие из таких историй Готорн знал с раннего детства и не раз полусуто пытался убедить

свою сестру Элизабет, что все в них считает истинной правдой. Свой первый сборник рассказов писатель скромно назвал «Дважды рассказанные истории», желая этим подчеркнуть, что их сюжеты он часто заимствовал из богатого фольклора своего родного края.

Чернышевский как-то сказал, что после Гофмана не было рассказчика с такой склонностью к фантастическому, как Готорн. И в самом деле, в его рассказах живут и действуют «настоящие» ведьмы и колдуны, способные совершать различного рода чудеса, во власти которых навсегда смутить покой души человека, лишить его веры и надежды и «сделать мрачным его смертный час». Нечистая сила была неотъемлемой частью фольклора Новой Англии, к которому так часто обращался писатель. Ведь прошло немногим более века после окончания знаменитого процесса в Салеме, и народ не забыл страшное время охоты за ведьмами.

Однако странные, таинственные и рационально не объяснимые события происходят и во многих рассказах Готорна, не связанных с историческим прошлым Америки. В рассказе «Снегурочка» детям некоего мистера Линдси, торговца скобяными товарами, ничего не стоит вылепить из снега маленькую девочку, которая тут же начинает бегать и играть с ними. Таинственный художник («Пророческие портреты»), нарисовавший портреты Уолтера Ладлоу и его молодой жены Элинор, приобретает такую же «власть располагаться их судьбой, как и изменять композицию своих полотен», а старый доктор Хейдеггер («Опыт доктора Хейдеггера»), известный своими причудами, дает своим почтенным друзьям отведать «эликсир молодости», на время возвращающий им утраченную юность.

Готорн не раз повторял, что единственное, во что стоит верить, это «правда человеческого сердца», и отстаивал «полное право художника изображать эту правду при обстоятельствах, во многом обусловленных его свободным выбором и творческой фантазией». И нужно сказать, что Америка знает очень немногих писателей, которые могли бы соперничать с Готорном богатством воображения и игрой «творческой фантазии».

И все же «правда человеческого сердца» в книгах писателя всегда оставалась главной, подчиняющей себе все остальное. При-

чудливые узоры, которыми фантазия Готорна украшала рассказы о Новой Англии семнадцатого века, не могут скрыть реальности первой половины девятнадцатого века, философских и морально-этических споров современников писателя, да и самой «прозы жизни» бурно развивающейся Америки того времени. Выражаясь словами Готорна, описание прошлого в этих рассказах должно было лишь «помочь воображению найти путь к сердцу», открыть перед читателем дверь в таинственный мир аллегорий, созданный творческой фантазией автора.

Фантастическое, потустороннее — неотъемлемая черта этого мира, художественный прием, помогающий Готорну выразить свои идеи. Поэтому многие его произведения нельзя понимать буквально. Мысли свои он любил рядить в пестрые одежды символов и аллегорий, и фантастические истории со странными происшествиями как нельзя лучше отвечали этой цели.

Маленькая Снегурочка, растаявшая в теплой гостинной мистера Линдси, должна была символизировать романтическое искусство, не терпящее столкновений с филистерским здравым смыслом, а легенда о «Великом карбункуле», которая рассказывала о людях, одержимых идеей найти на склонах далеких и неприступных гор огромный драгоценный камень — символ богатства и славы, была аллегорическим приговором искателям счастья на Дальнем Западе США.

Пожалуй, ни у одного другого американского романтика интерес к нравственным проблемам (доставшимся в наследство от пуританской Новой Англии) не был так силен, как у Готорна. Грех тайный и явный, вина человека, вопросы, о которых велось столько споров среди искусных теологов колониальной Америки, занимали писателя всю его жизнь. К ним он обращается в одном из первых рассказов «Долина трех холмов», в них пафос его последнего законченного произведения — романа «Мраморный фавн».

К страшной мысли приходит молодой Браун, герой одноименного и, может быть, самого прославленного рассказа писателя. Увидев на шабаше ведьм всех, кого он с раннего детства привык считать образцом праведности и добродетели, и даже свою любимую жену, аллегорически названную Верой, отчаявшийся Браун теряет последнюю надежду. Отныне для него больше «нет добра на земле; и грех лишь пустое слово... зло лежит в основе всей человеческой приро-

ды... вся земля — не что иное, как единый сгусток зла, одно огромное пятно крови...»

Мрачный фатализм пуританской религиозной догмы, вера в неискоренимость зла, присущего оскверненной первородным грехом природе человека, были чужды Готорну, жившему в девятнадцатом столетии. Его скорее интересовало психологическое воздействие на душу человека «тайного греха» и связанного с ним чувства вины. Именно в этом и заключается одна из главных мыслей «Молодого Брауна». Наутро после страшной ночи Браун спрашивает себя, не было ли все случившееся лишь кошмарным сном. Но сомнения, раз закрывшись в его сознание, уже не покидают Брауна всю жизнь, лишая его счастья и радости и омрачая даже его последний смертный час.

Первая половина девятнадцатого века в Америке — время утопий. В эту пору учения Сен-Симона, Оуэна и Фурье нашли многих последователей и продолжателей за океаном, часто по-своему толковавших их мысли в условиях Нового Света. Не остались в стороне от этого движения и крупные писатели, подчас выражавшие свои надежды в форме утопического идеала. Мелвилл одно время был склонен противопоставлять европейской цивилизации идиллическую жизнь туземцев Полинезии, а Торо ушел от людей в лес, в хижину на берегу Уолденского пруда, «чтобы не оказалось перед смертью, что он вовсе не жил».

Готорн не разделял подобных иллюзий. Душному миру пуританской Новой Англии прошлого и «материалистическому» духу прогресса настоящего он противопоставлял веру в силу человеческих чувств, в силу любви, сострадания и помощи ближнему. Поэтому молодой Браун, поверивший «правде» пуританской религиозной догмы и разочаровавшийся в спасительной силе любви, осужден на добровольные муки вечного одиночества, одного из самых тяжелых наказаний в представлении писателя.

Готорна скорее привлекал идеал постепенного нравственного совершенствования отдельных людей. «Во всей истории не было случая, — сказал он как-то, — когда бы человеческая воля и разум осуществили какое-нибудь великое моральное преобразование методами, которые они выработали для этой цели, но в своем движении вперед мир на каждом шагу оставляет позади какое-нибудь зло и несправедливость, которые са-

мые мудрые из людей, как бы они ни старались, никогда не смогли бы исправить».

Смех — излюбленный художественный прием американских романтиков. В их произведениях можно встретить все его разнообразнейшие оттенки, начиная с мягкого юмора Ирвинга и кончая желчной сатирой Купера. И Готорн не был среди них исключением.

Скептически настроенный Майлс Кавердейл, герой «Романа о Блайтлейле», незримо присутствует на страницах многих рассказов Готорна. Находясь в стороне от действия, он может позволить себе относиться ко всему происходящему с должной долей юмора, казалось бы, не принимая ничего всерьез. Это он вышучивает простодушного Доменикуса Пайка («Гибель мистера Хиггинботема»), не умеющего держать язык за зубами и попадающего из-за этого в разные передряги. Он иронизирует над незадачливым Дэвидом Суоном («Дэвид Суон»), проспавшим на зеленой травке у ручья свою судьбу. Он грустно улыбается по поводу злоключений, выпавших на долю седого и старого Питера Голдтуэйта («Сокровище Питера Голдтуэйта»), питавшегося вздорными проектами и несбыточными мечтами. И он же подсмеивается над сказочно-романтическими чудесами в книгах Готорна, как бы говоря читателю, что, несмотря на весь их аллегорический смысл, они не больше чем сон, игра воображения.

Но мягкий юмор автора «Дважды рассказанных историй» не всегда был уж так безобиден. В рассказе о превращениях миссис Булфрэг («Миссис Булфрэг») смех Готорна звучит вызывающе громко, совсем как у Смоллетта, в духе которого написан этот фарс, считавшийся в свое время очень вульгарным и даже непристойным. Назидательная же сказка «Хололок» — едкая и язвительная сатира на модных велеречивых политиканов, представляющих из себя не что иное, как жалкое и истрепанное воронье пугало. И здесь смех Готорна напоминает дерзкий хохот Марка Твена, так не любившего своих «романтических» предшественников.

Готорна принято считать одним из самых оригинальных и законченных художников «американского Возрождения». Совершенство формы занимало его не меньше, чем Эдгара По, так много спорившего по этому вопросу, или Торо, семь раз переписавшего

своего «Уолдена». Однако не все творения Готорна одинаково удачны. Порой идеи в его рассказах заслоняли собою образы и действие, нарушая правду искусства. Такие произведения были полны скучных сентенций, напоминали собою воскресные проповеди.

В отличие от По Готорна никогда не привлекала сложная и запутанная интрига. Действия в его рассказах очень мало, некоторые из них, такие, скажем, как «Волшебная панорама фантазии» и «Дэвид Суон», просто статичны. С их героями не происходит ровным счетом ничего. Они лишь дают автору повод развить интересующие его мысли. И в этом их художественная слабость.

Неудача также постигла Готорна, когда он в «Книге чудес» попытался пересказать для детей греческие мифы. Яркая и солнечная древняя Греция не имела ничего общего с «мрачным» миром пуританской Новой Англии и была чужда дарованию писателя. А его стремление «одухотворить» мифы, убрав из них все казавшееся ему «скользкими» места, привело не только к

неуместному морализированию, но и порой до неузнаваемости изменило содержание самих мифов.

Однако в лучших произведениях Готорна, таких, как «Молодой Браун», «Дочь Рапачини» или «Алая буква», идеи органично вплетались в канву повествования, часто теряя свою однозначность и превращаясь в символы, меняющие свое значение по мере развития действия. Поэтому-то споры о значении некоторых аллегорий Готорна ведутся и по сей день, а о том, что же все-таки символизирует «черная вуаль священника» или «алая буква», написано много книг и статей.

В этих произведениях идеи не живут самостоятельной жизнью. Их трудно выделить из повествования, не нарушив гармонии целого, потому что Готорн добился здесь полного единства замысла и воплощения. Такие произведения принесли ему мировую славу, все более укреплявшуюся с течением времени. Именно в них и живет «правда человеческого сердца», сверкающая множеством своих красок.

А. ГОРБУНОВ.

★

Политика и наука

МОЛОДОСТЬ СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ

Товарищи в борьбе. Письма соратников В. И. Ленина. 1896—1900. Красноярское книжное издательство. 1965. 252 стр.

В книге сто левяносто писем. Авторы их, во всяком случае большинство, по праву названы соратниками В. И. Ленина: В. К. Курнатовский — один из ближайших его учеников; А. А. Ванеев, В. В. Старков, Г. М. Кржижановский, А. С. Шаповалов, М. А. Сильвин — деятельные участники «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»; П. Н. и О. Б. Лепешинские, муж и жена, — сблизилась с В. И. Лениным в ссылке и стали там марксистами.

Письма самого Ленина и письма к Ленину в книгу не вошли. (Они цитируются по мере надобности в примечаниях, чтобы пояснить те или иные места в письмах его друзей.) Но о Ленине все время идет речь. Он — центр политической ссылки. К нему в Шушенское едут за советом, за помощью, чтобы обменяться мнениями о злободневных политических новостях, обсудить сложную теоретическую проблему, совместно продумать планы дальнейшей

борьбы. Или просто для отдыха, для душевной беседы в гостеприимной семье, где друга всегда ждет радушный прием. О встречах с Владимиром Ильичем рассказывают друг другу, пишут близким в Россию, спешат выполнить его поручение — достать нужную книгу, журнал. Его часто называют с любовью «Старик», хотя он и не был старше своих друзей. «Я видел, наконец, тайгу, — пишет жене В. В. Старков, — и видел в нескольких шагах!! Лице-зрел на фоне шушенской природы Старика (одно это что-нибудь да значит!)». М. А. Сильвин просит невесту выполнить поручение В. И. Ульянова — зайти в Подольске к А. И. Елизаровой, — «которому я много обязан в своем духовном развитии». «Что касается наших умственных интересов, — пишет В. К. Курнатовский, — то они по-прежнему сосредоточиваются пока на выяснении (или вернее — на «желании выяснить») отношения неокантианства к исто-

рическому материализму и на полемике против Бернштейна. Владимир Ильич писал, что должен скоро получить новую книгу Каутского против Бернштейна.

А вот из других писем: «Мой Васюточка, съезди к Старiku обязательно, если ты это еще не сделал. Ты у него хоть немного развлечешься и скоротаешь время» (А. М. Старкова — мужу). «Сегодня получили письмо от Владимира Ильича, в котором он зовет к себе всю минусинскую братию (тебе есть особое приглашение) и вышлет даже за нами тройку. По всей вероятности, поедет большая компания. По письму Старика видно, что он думает и надеется провести время с треском: коньки, шахматы, пение, пляс, ружье — вот главные занятия. Так и пишет, что надо же «встряхнуться» (В. В. Старков — жене, перед масленицей).

Они все были молоды в ту пору — Ленин и его товарищи. А. А. Ванев узнал тюрьму в двадцать три года, Г. М. Кржижановский — и того раньше. Их письма адресованы близким людям: родным, мужу, невесте, жене, лучшему другу. Это интимные письма. О самом сокровенном и о мелочах повседневного быта. Письма людей яркой индивидуальности.

Анатолий Ванев — Толя — стремительный и упорный, многогранный и страстный, жадный к жизни. «Никогда не сомневайся в моей бодрости, жизнелюбии, даже, если хочешь, жизнелюбии...» — писал он близкому другу. — Да знаешь ли, я ожидал здесь даже мертвые камни!» Пожираемый чахоткой, почти на краю могилы он все еще верил, что останется жить, строил планы.

Василий Старков — Базиль — такой же многогранный, но более уравновешенный. Его лиризм сейчас, быть может, покажется двадцатилетним сентиментальностью («Вот то место под деревом, куда мы в самом начале уединялись для чтения. Каждый читал про себя (помню твой серьезный вид за Каутским) и в то же время наполовину подсознательно наслаждался присутствием другого...»), но совсем не сентиментальный, с чувствами глубокими, заботливыми и деловитыми.

Глеб Кржижановский — аналитик, прирожденный ученый, сердце подчинивший уму.

Сгинут одни, на их место — другие
С лозунгом встанут — «вперед!».

И сразу вслед за этим двустихьем: «Жизнь, милый друже, не поэзия, а лаборатория будущего, наша задача — быть честными, сведущими химиками».

Все они разные, казалось бы, совсем непохожие. А высечены из одного камня — бескомпромиссные демократы, с глубоким сознанием долга. Люди одной веры.

Учиться, учиться, не терять времени — звучит как рефрен едва ли не во всех письмах. Почтой и с каждой оказией приходит в таежные села множество книг, журналов, газет. Земские статистические издания и обзоры кустарных промыслов шлют и везут не только в Шушенское, но и Старкову. Один просит достать Писарева, Добролюбова, Пыпина. Другому необходимы учебники химии, высшей математики. Часто упоминаются книги Каутского, Бернштейна, Бебеля, Плеханова. Выписывают Туган-Барановского, Чупрова, Янжула, Струве. Нужны работы по истории Парижской коммуны и по истории США, книги Семейского. Просят достать Рикардо и Адама Смита. Обмениваются мнениями о книгах по астрономии и о «Происхождении видов» Дарвина. Ванев просит достать текст «Слова о полку Игореве» и «Моление Даниила Заточника»: «Первый мне хочется освежить в своей памяти (это любимое мое произведение русской старины), а вторым в подлиннике я еще не знаком». Он же в другом письме: «Я хотел бы прочитать Беранже в подлиннике». Читает Золя, Шекспира, Тургенева, Тютчева. Восхищаются Бальзаком, спорят о «Шагреневой коже». «Здесь мы читали Пикквика», — вспоминает Старков. «Я принялся за Штаммлера», — пишет Курнатовский. Какое многообразие интересов, вкусов!

Но основа основ — Маркс. В. В. Старков пишет жене: «Капитал» получил... с удовольствием перечитаю новое издание... Прочел кое-какие статейки в последних книгах «Научного обозрения» и «Русского богатства», в которых трактуются вопросы, разработанные Марксом во II и III томах. И мне после этого сильно захотелось проштудировать скорее их». О ссыльном рабочем Смирнове, прибывшем из Екатеринослава, пишет мужу А. М. Старкова: «Очень молодой и очень образованный, много прочитал (главное, с толком) и хорошо усвоил. Прочитал и 2-й том Маркса! Каково?» А. С. Шаповалов, тоже рабочий, пишет о себе: «Прочел книгу Каутского против Бернштейна.

Когда прочту III том [«Капитала»], то засяду за «Аграрный вопрос». Чем более читаешь Маркса, тем более он нравится».

Революционеров высылали в Сибирь, чтобы оторвать от народа. Но и в самой глуши они успевали бросить семена революционных идей. Так было и раньше, и в конце века, когда новое поколение ссылных впервые прокладывало дорогу марксизму в захолустья Сибири. Одних только книг марксистских сколько было завезено! А живое общение с теми, кто приехал сюда вместе с Лениным! Их глубокая убежденность в правоте начатого дела, человеческое обаяние привлекали к себе сердца людей. Тогда-то и закладывались основы большевистских организаций Сибири, уже через несколько лет, в 1905 году, показавших свою силу.

Есть много хороших книг о политической ссылке конца XIX века. Но ошибется тот, кто скажет: здесь все уже исследовано, описано во всех деталях. Письма, о которых сейчас идет речь,— новый интереснейший источник, часто более достоверный, чем многие воспоминания, особенно написанные спустя десятилетия.

Как же донесен до читателя этот источник?

Составитель сборника и автор вступительной статьи Г. Е. Хаит сделал полезное дело. «Письма,— пишет он,— выявлены мной в семьях А. М. и В. В. Старковых, О. Б. и П. Н. Лепешинских, С. И. Радченко, Г. И. Окуловой...» Шесть писем взято из фондов Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Кроме того, включено шесть писем В. К. Курнатовского, «частично опубликованных в книжке Е. И. Окуловой» о Курнатовском в 1948 году, и шестьдесят шесть—А. А. Ванеева из сборника его писем, изданного в Горьком в 1962 году (публикатор Н. А. Забурдаев). Относительно последних сказано, что они заново прокомментированы и сверены. Н. А. Забурдаев дал лаконичные примечания. Г. Е. Хаит почти все дословно воспроизвел и добавил новые, более развернутые, частью исследовательские. Что же касается самих писем, то из публикации Н. А. Забурдаева он без достаточных оснований исключил восемь писем и в нескольких случаях сделал купюры, не обозначив этого. Следов сверки с оригиналом писем нельзя установить. Изменения пунктуации и транскрипции

сделаны применительно к нормам, принятым ныне.

Письма в книге не группируются по годам, а помещены в хронологическом порядке, что помогает восприятию общей картины. Публикуются они с сокращениями. Это оправдано и типом издания, и характером самих писем. Но, к сожалению, археографические «отточия» неотличимы от авторских многоточий.

Некоторые примечания нуждаются в большей ясности. Вот несколько примеров.

А. А. Ванеев перед отправкой в Сибирь пишет из тюрьмы: «Меня уже окончательно снарядили в путь. Знала бы ты, крузина, какую массу белья, одежды и прочего заготовили мне! Одна тройка весом в три пуда. В ней можно смело совершить путешествие до самого полюса и не замерзнуть». В письме звучит надежда на предстоящее улучшение условий жизни в ссылке по сравнению с тюрьмой и желание успокоить близких. А в примечании сказано только, что «всем членам «Союза борьбы», ссылаемым в Сибирь, были пошиты одинаковые костюмы из грубого сукна». Деталь характерная, но кто же снабдил высылаемых всем необходимым?

К фразе: «Жалобу в окружной суд подали» — дано примечание: В. В. Старков «за самовольную отлучку с места водворения в г. Минусинск, согласно составленному протоколу, переданному мировому судье, был приговорен последним к аресту». Но енисейский губернатор на основании жалобы В. В. Старкова (написанной при участии В. И. Ленина) сделал выговор минусинскому исправнику, заметив, что «при первом нарушении Старковым «Правил о политическом надзоре» Вы должны были сделать ему должное внушение, а при повторном — подвергнуть аресту на 3 суток» (далее приведена ссылка на архив). Сведения интересны во многих отношениях, но нечеткое изложение фактов вызывает вопросы: какой документ цитируется в начале примечания — жалоба, написанная при участии В. И. Ленина, или выговор енисейского губернатора? Какое решение вынес окружной суд? Почему жалоба в окружной суд попала на рассмотрение губернатора? Или В. В. Старков подал не одну, а две жалобы? Тогда возникает новый вопрос: какая из них написана с помощью В. И. Ленина?

В другом примечании сказано, что некий мемуарист «назвал «Вольное экономическое общество» одним из центров борьбы социал-демократов и народников в 90—900 гг.». О каких мемуарах идет речь? Кто их автор? Опубликованные мемуары надо назвать, а для неизданных следует дать ссылку на архив. Она здесь была бы уместнее, чем, скажем, во вводной статье при попутном упоминании о широко известных обстоятельствах трагической гибели Марии Ветровой.

Недоразумение произошло с комментированием фразы из письма А. А. Ванесва: «Просил Лидию Осиповну сходить к Горемыкину и вообще добиться во что бы то ни стало изменения «установленного порядка» свиданий». Н. А. Забурдаев сделал здесь два примечания: «Ее фамилию установить не удалось» и (о Горемыкине): «Царский министр внутренних дел». Г. Е. Хаит тоже дает два примечания: «Цедербаум (сестру Ю. О. Мартова)» и «Иркутский генерал-губернатор, в будущем царский министр внутренних дел». Фамилия Цедербаум установлена, вероятно, правильно, а о Горемыкине правильно сказано у

Забурдаева: было два Горемыкина — Александр Дмитриевич, иркутский генерал-губернатор, и Иван Логинович, министр внутренних дел. Эти должности они занимали, когда Ванеев давал поручение по вопросу, входившему, конечно, в компетенцию министра.

Некоторые примечания рецензируемого сборника можно понять превратно. Например, о С. Е. Лионе сказано, что он «московский адвокат, неоднократно привлекавшийся по политическим делам». Уместнее было бы сказать «выступавший»: ведь он, надо думать, защищал политических, а не привлекался к суду в качестве обвиняемого.

Порою примечания представляются излишними. Можно было бы, например, не объяснять общеизвестное русское наречие «зело».

Но все это мелкие погрешности в хорошей книге. Она увлекает, заставляет задуматься. Это книга о молодости больших людей, о начале больших свершений.

*Проф. А. ГУКОВСКИЙ,
доктор исторических наук.*

★

НОВАЯ НАУКА — БЕРЕСТОЛОГИЯ

В. Л. Янин. Я послал тебе бересту... Издательство Московского университета. М. 1965. 192 стр.

Когда во второй половине XIX века усилился и вступил в новую фазу своего развития интерес к социальной истории человечества, пески Египта стали дарить нас открытием все новых и новых папирусов, на которых оказались записаны самые разнообразные, считавшиеся ранее неинтересными документы — арендные договоры, купчие, поручные записи, денежные отчеты, разнообразные частные письма и даже списки заключенных в тюрьмы. Тысячи ученых — филологов и историков — стали заниматься ими пожизненно и увлеченно. Новая наука была названа папирологией.

После второй мировой войны в силу ряда причин усилился интерес к многотысячелетней истории Малой Азии и к истории раннего христианства. И вот в 1947 году в районе Мертвого моря была найдена первая группа знаменитых пергаментных рукописей, названных по месту их находки в пещерах Кумрана «кумранскими». Их со-

держанием заинтересовались ученые во всем мире, появились даже журналы, печатающие статьи только о кумранских рукописях. Возникла новая наука — кумранология.

Открытия приходят тогда, когда их нетерпеливо ждут, когда в них остро нуждаются. Это не мистика, это закон, объясняемый особенностями человеческого внимания.

Так случилось и с открытием берестяных грамот. Те источники, которыми мы обладали до сих пор по истории феодальной Руси XI—XV веков, давали нам одностроннюю и неясную картину русской жизни. Русские летописи и немногие официальные документы, художественные и церковные книги рисовали нам жизнь с официальной точки зрения и далеко не полно. Люди еще не привыкли интересоваться обыденным, тем, что не изменяется у них на глазах. Мы не знали многое о том, что было самым

обыкновенным: о том, как люди одевались, что ели, какова была их денежная система во всех ее сложных деталях, не знали о занятиях людей в обычной обстановке, о том, что думали люди по тому или иному поводу. Нужны были источники, которые позволяли бы нам подглядеть за людьми прошлого в их неофициальной обстановке и будничной деятельности. Сколько раз мечтали мы взглянуть на людей древней Руси через какую-нибудь волшебную щелочку: такие ли они, как и мы, как жили они в своих резко отличных от наших условиях — в «тех» избах, в «тех» социальных условиях, среди «тех» исторических событий?

В 1947 году появилась увлекательнейшая книга Б. А. Романова «Люди и нравы древней Руси». Эта книга пыталась представить обычную жизнь челядина, смерда, закупа. Она как бы подглядывала за ними, подслушивала их мысли. Б. А. Романову пришлось отступить в этой книге от строго научного метода. Он стал в известной мере художником. Он поднялся почти до визионерства. Существовавшие в его время исторические источники не позволяли ему проникнуть в мысли и чувства рядового человека древней Руси. Ведь не случайно, что самое слово «смерд» официальные источники — летописи — употребили на всем своем протяжении всего два или три раза.

И вот в 1951 году совершилось открытие совершенно нового вида исторических источников, лишенных всякой официальности и литературной церемониальности, — источников непритязательных, а потому и правдивых, обыденных, а потому и важных, массовых, а потому и безошибочных. Они тем драгоценнее для нас, что их выбрасывали в древней Руси как ненужные. Они имеют тем более непреходящее значение, что запечатлели все преходящее, часы и минуты в жизни людей, мимолетные события. Они, как кадры киноленты, зафиксировали человека древней Руси в какие-то доли минуты его жизни. Но этих кадров много, они сопутствуют многим его шагам, и вот в исследованиях историков они позволяют, как на экране, увидеть повседневную жизнь рядового человека. Люди, которых мы увидели в этих берестяных грамотах, не были «историческими деятелями», от которых мы, по правде говоря, порядком устали. Они не становились в позы, не говорили пышных, затверженных фраз, которые

с такой подобострастной охотливостью запечатлели в своих записях придворные летописцы.

Когда в среду 26 июля 1951 года работница археологической экспедиции в Новгороде Нина Федоровна Акулова показала начальнику своего участка Гайде Андреевне Авдусиной маленький свиток бересты, на котором она увидела буквы процарапанного текста и они обе вместе пошли с этой берестой к руководителю экспедиции профессору Артемию Владимировичу Арциховскому, — тот сразу оценил значение сделанного открытия. Новый вид найденного документа мог быть массовым, распространенным. На нем могли записываться разные «пустяки» — совсем, однако, не пустячные для историка. Береста хорошо сохранялась в новгородской сырой почве. Надо было искать и искать. Находки пошли навстречу поискам. Теперь этих берестяных грамот уже более четырехсот. Открытия идут с такой последовательностью, что историки могут уже планировать приблизительное их число, которого они достигнут при продолжении раскопок в будущем.

Сейчас берестяные грамоты увлеченно изучаются во всем мире. Статьи с толкованиями берестяных грамот выходят в Советском Союзе, США, Польше, Финляндии, Швеции, Англии, Мексике, Японии...

Открытие берестяных грамот в Новгороде — одно из значительнейших событий советской науки; оно выходит далеко за пределы археологии и истории, привлекая внимание представителей самых разнообразных дисциплин. Языковеды приобрели в берестяных грамотах новые материалы для изучения русского языка древнейшей поры — причем материалы, в которых историки русского языка больше всего нуждались, — по истории деловой и народной речи. Литературоведы, несомненно, приобретут, а частично уже приобрели в берестяных грамотах материал для суждения о проникновении литературных мотивов в широкие массы. В грамотах возможны элементы народной сатиры, находки небольших памятников демократической литературы, отражение ересей, о которых мы сейчас имеем одностороннее представление. Фольклористы, имеющие сейчас крайне ограниченный материал для суждения о фольклоре древней Руси, найдут в берестяных грамотах пословицы, поговорки и загадки, а может быть, и более крупные произведения народного

творчества. Новые материалы получили историки педагогики (учебные упражнения на бересте и учебные пособия), палеографы, специалисты по исторической географии, истории права, истории медицины, истории техники и т. д. Как источник демократического происхождения по преимуществу, берестяные грамоты для всех этих дисциплин дадут ценнейшие сведения главным образом о народе — о его классовой борьбе, о его идеологии, о его быте, о его языке и пр.

Значение берестяных грамот как исторического источника исключительно велико еще и потому, что этот вид источника может бесконечно пополняться. Это особенно ценно сейчас, когда сохранившиеся пергаментные и бумажные рукописные богатства древней Руси в значительной степени сконцентрированы в немногих рукописных хранилищах и более или менее изучены.

Книга молодого выдающегося ученого — историка и археолога В. Л. Янина «Я послал тебе бересту...» — больше, чем книга, популяризирующая новую науку берестологию. Когда за популяризацию бересты тонкий специалист, он не только излагает выводы, к которым пришли другие исследователи, он вводит читателей в исследовательскую лабораторию, рассказывает о бытовой и малозаметной стороне научной работы, вводит читателей в атмосферу науки. И вместе с тем популярная работа позволяет ему строить выводы и обобщения, сделать которые он лишен возможности в своих частных исследованиях. Суммируя, автор популярной работы намечает перспективы науки. В этом случае стирается грань между обобщающим исследованием и популяризацией. Популярная книга крупных ученых — это одна из форм, помогающих ученому уяснить себе с полной отчетливостью существо изучаемой проблемы, это перегруппировка войск перед новой битвой, важный этап в развитии самой науки.

В. Л. Янин — автор обширного и блестящего исследования «Новгородские посадники» (Издательство МГУ, 1962). Частично эта книга строится на новых материалах, которые дали ему берестяные грамоты. Естественно, что и в своей книге «Я послал тебе бересту...» он останавливается прежде всего на той группе берестяных грамот, которые связаны с решением ряда вопросов истории новгородского посадничества. Из отдельных грамот, найденных на участке,

наследственно принадлежавшем одной из посадничьих семейств Новгорода, В. Л. Янин строит целый детективный роман, с увлечением читающийся и вводящий в курс многих вопросов новой науки — берестологии. Книга В. Л. Янина имеет своего рода скрытый сюжет, за которым раскрываются разные аспекты изучения берестяных грамот. В том, как этот сюжет развивается, как постепенно в действие вводятся все новые и новые лица — авторы грамот и лица, в них упоминаемые, — сказывается литературный талант В. Л. Янина.

В сущности, В. Л. Янин рассказал нам не только то, как связались между собой «сюжетно» отдельные грамоты, но и свою исследовательскую работу по их историческому истолкованию. В книге есть двойная сюжетная линия, двойная увлекательная интрига. Поэтому у меня нет претензий к автору, что он не раскрыл в своей книге и другую романтику — романтику лингвистического истолкования грамот. Для того, чтобы показать эту сторону берестологии на том же уровне, на котором показана романтика труда археолога и историка, нужно непременно быть лингвистом. Будем надеяться, что и среди лингвистов найдется свой В. Л. Янин...

Изучение берестяных грамот стало особой наукой, в которой принимают участие сотни ученых. Автор прекрасно делает, что упоминает в своей книге всех тех, кто находил грамоты, принимал участие в раскопках. Сама книга В. Л. Янина посвящена тем, кто копал вместе с ним и добывал грамоты из-под земли.

Но при чтении книги В. Л. Янина создается впечатление, что грамоту верно читают сразу же после того, как ее нашли в раскопе и выпарили в горячей воде. На странице 42 есть даже такой снимок: группа молодых людей, наваливаясь друг на друга, склонилась над столом, на котором лежит береста. Подпись под этой фотографией такая: «Грамоту читают...» На самом деле грамоты читают много лет, читают в разных странах мира, читают, обложившись словарями, справочниками, грамматиками, картами. Это сложнейшее дело, в котором тоже есть свои сюжетные линии и свои интригующие моменты. До истинного смысла очень многих грамот доходили далеко не сразу. Здесь возникали и продолжаются споры. И хотя бы сказать об этом, назвать по именам ученых, исследующих и устанавли-

ливающих самый текст грамот, было бы тоже важно и интересно.

В одной из берестяных грамот (№ 10) был найден первый литературный текст — текст из апокрифа о всемирном потопе. Сперва грамоту толковали как фольклорную загадку. Раскрыла источник текста член-корреспондент АН СССР В. П. Адрианова-Перетц в своем письме к академику М. Н. Тихомирову. А вот что речь в грамоте № 19 идет о реке Водле — это определил в своем частном письме ко мне пенсионер В. М. Глухов из города Красный Сулин. Частные письма в истории толкования берестяных грамот сыграли выдающуюся роль в нашей науке. В этих письмах, которые писались первым издателям и исследователям берестяных грамот самыми разнообразными людьми, сказался подлинный коллективизм науки.

Толкование грамот продолжается. Не все бесспорно и в тех прочтениях и переводах, которые предлагает В. Л. Янин. Вот, например, в той же грамоте № 10, которую я упоминал выше, В. Л. Янин так толкует слова «сам ним везе грамоту непсану»: «сам к ним везет грамоту написаную». Но к кому «к ним»? Об этом нет ни слова в грамоте. Да и что удивительного, что посол «сам» везет грамоту; почему это надо было отмечать особо? Между тем слово «ним» следует понимать как «нем» — немой. Слово «нем» писалось через «ять», а в новгородском диалекте «ять» и «и» взаимозаменялись. Текст надписи такой: «Есть градъ между нобомъ и землею а к ному еде посолъ безъ пути. Самъ нимъ везе грамоту непсану». Перевод: «Есть град между небом и землей, а к нему едет посол без пути. Сам немой, везет грамоту написаную». Разгадка следующая: град — Ноев ковчег, посол — голубь, выпущенный Ноем, голубь «нем», он летит без пути, написаная грамо-

та — масличная ветвь, которую он несет в ковчег Ноем как весть того, что потоп проходит и оказалась земля. И ведь это чтение было предложено еще А. В. Арциховским. Почему же от него надо было отказаться?

Другой пример: грамота № 46. Она заключает в себе шутку. В ней сказано, что ее писал «невежа» под диктовку «недумы», а кто ее читал... (здесь незакончено). Речь, следовательно, идет о трех людях. Но В. Л. Янин разделяет слово «недума» — «не дума» (не думая) и переводит так: «Невежа написал, не думая показал, а кто это читает...» Между тем «недума» — существительное, хорошее, старое слово, и означает оно не то чтобы совсем дурака, но человека, который не утруждает себя думанием.

Стоило бы упомянуть в книге и о том, что полемика вокруг того, женщина или мужчина «Гостята» — автор грамоты № 9, — схватила собой ученых разных стран. В зависимости от того, признать ли Гостяту женщиной или мужчиной, резко меняется смысл грамоты, в обоих случаях одинаково интересный.

Но все это, в общем, мелочи. Мелочи потому, что нельзя охватить в одной книге всего многообразия вопросов и аспектов, под которыми изучаются и будут изучаться берестяные грамоты. А книга, о которой идет речь в данной рецензии, — несомненно, хорошая книга, интересная, талантливо написанная, вводящая читателя не только в материалы, темы и выводы науки, но и в самую атмосферу исследования, атмосферу археологических открытий — одних из самых замечательных открытий наших дней.

Д. ЛИХАЧЕВ,

*член-корреспондент
Академии наук СССР.*

★

ПРЕЖДЕ ВСЕГО — ЧЕЛОВЕК

А. М. Омаров. Техника и человек. Социально-экономические проблемы технического прогресса. Политиздат. М. 1965. 272 стр.

Французский журналист Жан Пьер Салтан побывал на Ростовском заводе сельскохозяйственных машин и ознакомился там с условиями труда. Вот несколько его наблюдений:

— Я знаю темп французских заводов:

чем современнее завод, тем более быстрый, более изматывающий темп работы на нем... Медицинские отзывы доказали, что нервное истощение рабочих, подчиненных подобному ритму, вызывает широкое распространение во Франции таких болезней, как язва же-

лудка и бессонница; врачи сигнализируют опасность... В Ростове ничего подобного.

Два мира.

Конечно, у рабочего на полуавтоматизированной установке завода «Фиат» в Турине совсем иное отношение к технике, чем, скажем, у оператора Воскресенского химического комбината.

В часы трудового процесса молодой туринаец, правда, тоже сидит в удобном кресле. Его работа, в противоположность тяжелому труду сталевара, протекает без малейшего физического напряжения. Он управляет различными устройствами, наблюдает за разноцветными световыми сигналами и двумя вращающимися циферблатами. И все же непрерывно и внимательно следит за всеми параметрами процесса производства (а их четырнадцать!) нелегко. Темп неразрывно связан с ритмом машины: когда она работает на самой большой скорости, четырнадцать рабочих тактов происходят за две секунды. Медицинские исследования показали, что через месяц совершенно здоровый рабочий начинает страдать от нарастающего нервного переутомления.

Примерно через семь месяцев наступает, обычно тут же, на работе, тяжелый нервный припадок, и молодой человек сваливается на четверть года в постель.

А как управляет сложным технологическим процессом (скажем, на печи обжига серного колчедана) оператор Воскресенского химкомбината?

Он сидит за журнальным столиком в зоне отдыха, спиной к пульту. Читает книгу или любуется рыбками в аквариуме. Из радиоприемника, скрытого в пульте, течет спокойная музыка. Если на пульте изменились показатели индикаторов информации — значит, надо быстро вмешаться в технологический процесс. Звучит зуммер. Зона отдыха темнеет, а в рабочей зоне вспыхивает свет. В тот же миг выключается радиоприемник. Оператор переходит к ярко освещенному пульту, чтобы устранить перебой в технологии. Потом снова освещается зона отдыха, опять звучит мелодия.

Об этих удобствах, или, как принято теперь выражаться, о комфортной среде, позаботилась наша эргономика, инженерная психология — составная часть научной организации труда. НОТ, как известно, получает все более широкую «прописку» на крупных предприятиях страны.

Итак, в одном случае техника выглядит

злой мачехой, а в другом — доброй матерью. В первом случае натиск автоматизации воспринимается тружениками как катастрофа. Нависает страшный вопрос: кто устоит перед ней? Ведь, как признает американский экономист Стюарт Чейз, «это — одно из немногих бедствий, которое народ не может терпеть неограниченное время».

В другом случае — растет производительность, особенно на конвейерно-поточной линии. И сопровождается это облегчением и оздоровлением условий труда. Ведь темп действий рабочего определяется у нас не ритмом машины. Напротив, темп машины устанавливается в зависимости от физиологических возможностей трудового человека. Словом, прежде всего человек!

Поэтому на сборочных конвейерах машиностроительных предприятий продолжительность отдельных операций, как правило, не менее 0,8—1 минуты, а скорость движения конвейера — не более полутора метров в минуту. На нашем производстве утверждается тот «психологический климат», который делает труд не только производительным, но и привлекательным. Все это, как мы говорили, сфера забот технической эстетики, инженерной психологии, физиологии, комплекса НОТ.

Эти проблемы актуальны. Им посвящается исследование экономиста А. Омарова. Но начинается его работа не с этого.

Автор обращается к капиталистической действительности, где взаимоотношения техники и человека складываются в условиях жесточайшей эксплуатации рабочих. Он рассказывает о границах применения новой техники при капитализме, о безработице и ее последствиях в современных условиях, о буржуазных программах «полной» занятости и о капиталистической рационализации.

Эти разделы книги базируются на обильных статистических источниках, материалах социологических разведок, данных прессы.

Генеральный вывод этой части сводится к тому, что «в капиталистическом обществе технический прогресс влечет за собой увеличение доли самодеятельного населения, составляющего промышленную резервную армию безработных, и населения, занятого в непродуцирующей сфере. Одновременно возрастает удельный вес населения, вообще не принимающего участия в общественно-полезном труде и ведущего паразитический образ жизни».

Познавательный интерес книги в другом — в рассказе о социалистической системе хозяйства, обладающей огромными преимуществами в использовании достижений науки и техники.

Напомним — и это отмечалось на сентябрьском (1965 года) Пленуме ЦК КПСС, — что современная научно-техническая революция выдвигает на первый план такие вопросы, как технический уровень, качество, надежность продукции, эффективность ее использования. На эти стороны производства перемещается сегодня центр тяжести мирного экономического соревнования социализма и капитализма.

Не все эти вопросы — в поле зрения исследователя. Он, скажем, касается ряда причин, сдерживающих развитие техники. При этом в первую очередь, естественно, возникает вопрос о границах, целесообразных пределах ее внедрения. Этот вопрос, как и многие другие, нельзя решить, игнорируя критерий экономичности. Вот показательный пример.

В свое время на Горьковском автозаводе была внедрена автоматическая линия по изготовлению ротора рулевого управления машины «волга». Она обошлась в девяносто тысяч рублей при условно-годовой экономии в четыре с половиной тысячи. Выгодно ли это? Ведь такая линия окупится лишь в течение двадцати лет. Не дешево обошлась и автоматическая линия зубчатых колес на заводе «Красный пролетарий». Только через одиннадцать лет она окупит себя.

В подобных случаях народное хозяйство не только ничего не получило, но и потеряло известный экономический ущерб.

В чем же беда? Да в том, убедительно подчеркивает автор, что при внедрении новой техники ее создатели больше всего заботились об экономии живого труда и вообще не считались с затратами, которых потребовало создание новых технических средств. А без обоснованного расчета экономической эффективности вообще невозможен выбор правильного направления автоматизации.

Экономический анализ явлений — сильная сторона книги. Там, где автор как бы оперирует экономическим скальпелем, обнажается суть вещей.

Показатели эффективности новой техники нередко искажаются из-за несовершенства цен на оборудование. Ведь часто бывает, что проектные организации исчисляют цены

на оборудование по аналогии с оборудованием, изготовлявшимся ранее: если машина производительнее прежней в два раза, то соответственно повышается и ее стоимость. Но в действительности предприятие-потребитель, заказавшее оборудование по чертежам проектной организации, платит заводам-поставщикам в несколько раз дороже проектной цены. Словом, цена на оборудование растет быстрее, чем его эффективность. Не ясно ли, что цены должны точнее отражать действительные затраты труда на изготовление изделий?

Многие недостатки в конструировании и эксплуатации техники объясняются тем (это широко показано в книге), что до сих пор у нас нередко пренебрегают систематическим анализом эффективности осуществленных технических решений.

Нет надобности доказывать, что новая техника призвана обеспечивать производительность на уровне лучших образцов. К сожалению, этот принцип торжествует далеко не всегда. Псковский машиностроительный завод несколько лет назад освоил выпуск на первый взгляд высокопроизводительных прядильных машин.

Однако металлоемкость и энергоемкость старых в десять раз меньше, чем новых. Да и стоимость их в несколько раз ниже. Добавим, что пять старых машин обслуживает всего одна работница, а к трем новым поставлены две работницы. Если бы все старые машины заменить новыми, то при одинаковой площади цех потерял бы не менее двадцати процентов своей мощности. Интересно знать, кому нужна такая «новая» техника?

Нередко машина устаревает морально еще до ее освоения (так случилось, например, с ровничной машиной для льна типа Р-192Л). А бывает, что устаревают и проекты целых предприятий.

К чему мы ведем эту речь? Нам кажется, что в работе А. Омарова ценен показ именно того, как тщательный экономический расчет словно прожектором освещает наиболее рациональный путь в конструировании новой техники.

Казалось бы, кто сейчас возьмется оспаривать строгую необходимость тщательного экономического расчета в создании и внедрении новой техники?

А ведь в некоторых научно-исследовательских институтах еще живуче представление, будто есть такие темы исследований,

которые вряд ли вообще можно экономически обосновать. Скажем, в научно-исследовательском институте технологии автомобильной промышленности расчеты ожидаемой экономии присутствовали только в половине работ, предназначенных для тематического плана. И все-таки это был шаг вперед: семь лет назад в плане того же института вообще не было ни одной экономически обоснованной темы. К тому же многие технические решения, которые сулили явную выгоду, оставались вне поля зрения ученых.

Мы знаем, что на темпы технического прогресса влияют материальные стимулы. Их применение, как говорилось на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС, не только создаст условия для подъема индустрии, но и повысит заинтересованность коллектива и каждого работника в результатах своего труда. Книга выиграла бы, если бы в ней шире рассказывалось о материальном стимулировании труда в стране.

Прямой результат технического прогресса — перемены в общественном разделении труда. Читатель с интересом познакомится и по достоинству оценит интересные статистические данные, показывающие, что в капиталистических странах Западной Европы и в Японии четко наметилась тенденция к снижению квалификационного уровня рабочих. Чем это обусловлено? Неужели особенностями современного технического прогресса?

Нет, доказывает Омаров. В действительности декалфикация рабочих при капитализме — это следствие не автоматизации производства, а ее ограничения, итог частичной автоматизации. В этом случае человек «встраивается» в систему автоматических машин. Высокий темп и повторяющиеся, однообразные движения. Конечно, все это не требует высокой квалификации.

Действительная автоматизация способствует формированию всесторонне развитых людей.

Книга «Техника и человек» рождает глубокие раздумья о труде в наш век электроники, которая дает широчайший выход агрегатам различного назначения — от полностью автоматизированного завода до ведущего научные изыскания электронного мозга.

Паровой двигатель, положивший начало промышленному перевороту, в сущности, был куда более скромным изобретением, чем электронно-вычислительная машина, начинающая новую промышленную революцию. И есть немало профессий, к которым вообще невозможно подготовить человека сразу каким бы то ни было специальным обучением, если у него нет на то особых, необходимых для этого индивидуальных качеств. Представьте себе хотя бы профессию оператора, управляющего вычислительной машиной. Тут ведь предусматривается анализ множества данных, поступающих от управляемого объекта, и та быстрота реакций, которая потребна для принятия мгновенных и точных решений.

Огромную роль приобретает сейчас научная организация труда, в частности инженерная психология, исследующая физиологическую деятельность человека на производстве. Рассказ об этой проблеме в книге далеко не полон. За ее пределами остался и тот ценный опыт НОТа, который накопили в последние годы многие крупные предприятия. Хотелось бы, чтобы и раздел о технической эстетике был значительно расширен.

Несмотря на эти пробелы, работу Омарова читаешь с интересом и пользой; в авторе видишь толкового исследователя, которому доступно умение просто и убедительно рассказывать о сложных вещах.

А. ГИНЕВСКИЙ.

★

МЕЖДУ ДОМЫСЛОМ И НАУКОЙ

И. И. Левитан, Г. М. Морозов. Заводу — полвена. Краткий очерк истории ордена Ленина государственного оптико-механического завода. Л. 1965. 207 стр.

Г. Борисов, С. Васильев. Станностроительный имени Свердлова. Л. 1962. 351 стр.

Ф. В. Федосеев, К. П. Кучепатов, Ю. Н. Зуев. Завод имени рабочего Егорова. Л. 1962. 143 стр.

И. М. Франтишев. Ленинградские краностроители. О прошлом и настоящем Ленинградского завода подъемно-транспортного оборудования имени С. М. Кирова. 1853—1961. Л. 1962. 351 стр.

М. С. Якерсон, В. А. Цыбульский. Знамя труда. Краткий очерк истории ленинградского арматурного завода «Знамя труда». Л. 1960. 208 стр.

Истории фабрик и заводов посвящены в нашей стране многие сотни книг. Только за послевоенное время выпущено около трехсот новых работ в этой области, а не-

сколько десятков переиздано. Можно говорить уже о целой отрасли научно-популярной публицистики, имеющей свои жанры, специфику, свои достижения и недостатки.

Скажем сразу же, что именно недостатки этого жанра очень волнуют нас. Книги по истории фабрик и заводов как бы стали литературой второго сорта и для историков, и для литераторов, и, увы, для читателей.

Они загромождают книжные склады, пылятся на полках магазинов, лежат штабелями где-нибудь в задней комнатке завкома, если выпущены на средства завода как «заказное издание». В чем причина этого?

У нас в Ленинграде в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина карточки на советские книги по истории фабрик и заводов занимают почти целый ящик систематического каталога. Значительная часть трудов, изданных за последние двадцать лет, — это книги о ленинградских предприятиях. Но то, что мы будем говорить об этих изданиях, во многом относится и к книгам, вышедшим в свет в Москве и других городах Союза.

Первое, с чем сталкиваешься, перелистав подряд рецензируемые книги, — это заметное стремление приукрасить, расцветить историю своих предприятий, громко заявить о революционном прошлом именно данного завода. Авторы непременно ставят рабочих «своего» завода в центр важнейших исторических событий.

Об участии рабочих в демонстрации 9 января 1905 года говорится в четырех названных книгах (нынешний ГОМЗ был основан только в 1914 году). Но только об участии в этой демонстрации рабочих завода имени Егорова действительно имеются достоверные данные. Авторы же остальных книг выдают возможное за действительное. А в книге «Ленинградские краностроители» демонстрация 9 января изображена в виде вымышленных диалогов вымышленных лиц. Этот сомнительный литературный прием никак не может восполнить отсутствие какого бы то ни было фактического материала.

Как правило, общими словами описывается и участие рабочих в революционных событиях 1917 года. Это тем более досадно, что по ряду предприятий сохранился богатый архивный материал. Так, ведомости на выдачу заработной платы красногвардейцам завода Лангензипена («Знамя труда») могут рассказать читателю больше, чем придуманные диалоги, с помощью которых авторы показывают участие рабочих в февральской революции, демонстрации 18 июня и т. п. Подобные диалоги, не подкрепленные

документальным материалом, основная форма изложения материала о событиях 1917 года и в книге И. М. Франтишева.

Такие приемы подрывают доверие ко всей книге, к ее документальной основе. А вот факты, свидетельствующие, что вагоностроители стойко сражались с войсками Керенского — Краснова 29—30 октября, что рабочие завода Лангензипена прошли с винтовками почти по всей Украине в декабре семнадцатого — январе восемнадцатого года, а красногвардейцы Северо-Западных мастерских охраняли всю Балтийскую дорогу, — должны быть отражены. О подлинных фактах из истории заводов — и только о них — нужно писать: именно они имеют научное и воспитательное значение.

Невозможно написать историю крупного коллектива, не говоря о людях, не рассказывая биографии тех, чья деятельность особенно тесно связана с заводом. Авторы понимают необходимость этого. Книги по истории предприятий буквально пестрят фамилиями. Директора, конструкторы, известные новаторы производства, герои Отечественной войны перечисляются с протокольной сухостью, им не дается характеристик, их жизненный путь неизвестен. И потому герои этих книг не остаются в памяти читателя. Невозможно, например, проследить преемственность директоров предприятия на протяжении всей его истории. (Подробнее рассказывается лишь о тех, которые руководят предприятиями в момент выхода книги.) Несколько больше узнает читатель о руководителях ГОМЗа — особенно из очерка о бывшем слесаре и матросе И. А. Уварове, директоре завода с 1932 по 1939 год.

В книгах по истории фабрик и заводов совершенно необходимы, на наш взгляд, данные о росте предприятий. Однако мы далеко не всегда находим такие сведения. Авторы приводят примеры об отдельных заказах или конкретных программах, но эти примеры являются лишь частными иллюстрациями. Из многих книг читатель так и не узнает о численности и составе рабочих.

Изучение истории фабрик и заводов имеет в нашей стране давнюю традицию. Еще до революции издавались капитальные работы по истории казенных заводов, имелась даже своеобразная «история бизнеса» — исторические очерки о частных предприятиях, акционерных обществах. Но только после 1917 года стало возможным перевести

изучение истории капиталистических предприятий в России на подлинно научную основу. Не стало «коммерческой тайны», история завода становилась в первую очередь историей его рабочего коллектива, а не хозяев. Уже в середине двадцатых годов Общество историков-марксистов развернуло под руководством Н. А. Рожкова монографическое изучение истории Трехгорной мануфактуры в Москве, Николаевского судостроительного завода. Историки стали разрабатывать на основе фабричных архивов такие вопросы, как рост оборота, структура капиталов, состав и положение рабочих, их материальное положение, участие в революционном движении.

Постановление ЦК ВКП(б) о создании истории фабрик и заводов (1931 год) имело громадное значение для развития этой своеобразной отрасли исторической науки. Впервые было обращено внимание на изучение советского периода истории предприятий. Вместе с тем тезис о «научно-художественном» произведении как основном жанре книг по истории фабрик и заводов привел на практике к снижению научного уровня книг. Появилась опасная тенденция «оживления» рукописей диалогами, рассуждениями вымышленных персонажей и пр.

Эта тенденция стала особенно заметной с середины пятидесятых годов, когда выпуск книг по истории фабрик и заводов резко увеличился. Высокие научные требования, с которыми подходили к этой работе историки двадцатых годов, по существу забыты, особенно при освещении советского периода истории предприятий. Создается впечатление, что забота о «художественности» стала для авторов основной. И вот в книгу вводятся описания природы: дождь, слякоть, снег, яркое солнце, «по-весеннему нарядные улицы» и пр. Очень однообразны описания рабочих трущоб в дореволюционный период или нового строительства в наши дни. Нередко «художественную форму» придают рукописи малоквалифицированные люди, «литобработчики», запись которых носит грубый, топорный характер, рассчитанный на самого непритязательного читателя. Работа их нередко сводится к введению диалогов, образов безымянных «старых рабочих» и «работниц», контрреволюционного вида «пожилых господничков» и т. п.

Совершенно недопустимо, когда сложные

периоды в истории советского рабочего класса показываются приблизительно, облегченно, когда реальная история заменяется «лихой литературщиной». Стоит привести пространный, но, по нашему мнению, весьма выразительный пример такого рода.

И. М. Франтишев описывает тяжелое состояние завода в годы разрухи. Глава начинается с описания следующей сцены (хронология здесь не присутствует, но, по-видимому, речь идет о 1920 году): «Старший бригадир, обращаясь к заведующему паровозоборочной мастерской Стефановскому, сердито сказал:

— За такую адскую работу старые хозяева магарыч бы поставили. Ведро водки, не меньше. А с вас что взять? Хорошо бы хоть по осьмушке хлеба! Изголодался народ, подкрепиться не мешает.

— Сделать что-либо не в моих силах, — ответил Стефановский. — Вот разве товарищ комиссар...

Туманов (комиссар завода. — С. С., В. С.), стоявший рядом со Стефановским, недовольно нахмурился. Ох уж этот интеллигентик! Не решается прямо и честно сказать людям правду в глаза. Комиссар не стал тешить рабочих напрасными надеждами. Он не Тит Титыч, у которого амбары ломятся от хлеба.

— Очень трудно в Питере с продовольствием, — сказал Туманов. — Привезут хлеб — увеличим паек. А пока нужно крепиться. Кончится война, тогда и заживем по-настоящему.

Бригадир широко улыбнулся...» — и конфликт был исчерпан.

Вряд ли есть необходимость критически комментировать этот отрывок — фальшь его очевидна. К сожалению, такие примеры получили опасное распространение.

Нам представляется, что научная общественность должна решительно высказаться против придания подобной «художественности» книгам по истории фабрик и заводов. Ее, вероятно, не одобрит и писательская общественность. Пути облегчения формы лежат, как нам кажется, не в введении упоминавшихся выше примитивных литературных приемов, а в широком использовании ярких документов, воспоминаний, стенограмм. В них авторы найдут и прямую речь, и диалоги, и описание города, и даже погоды.

В каком же соотношении должен находиться общенсторический материал и исто-

рия самого предприятия? Несомненно, что предпочтение должно быть отдано фактам из истории предприятия. Книги, где конкретный материал служит лишь привеском, иллюстрацией к общей схеме истории нашей страны, никому не нужны. Подлинный научный и общественный интерес представляет история любого предприятия, отразившая его неповторимый путь, преломившая через судьбы его людей судьбу всей страны. Точно так же надуманными являются попытки излагать историю предприятия в соответствии с общенациональной периодизацией. Этапы развития данного предприятия могли не совпадать с этой периодизацией, за исключением, конечно, периода Октябрьской революции и национализации.

Выше уже говорилось о стремлении авторов книг обязательно «украсить» историю своего предприятия участием его коллектива в том или ином выдающемся революционном событии. Эта же тенденция заметна и при изложении истории предприятия в советское время. Вот как говорится о XVI съезде партии в книге И. М. Франтишева «Ленинградские краностроители»: «Вместе со всеми делегатами Иванов (маляр завода.— С. С., В. С.) с большим подъемом проголосовал за резолюцию», а дальше следует длинная цитата из резолюции съезда. Так важное событие в жизни страны «увязывается» с историей завода. Между тем задача заключалась в том, чтобы на конкретных примерах показать начало социалистического соревнования на заводе, к развертыванию которого и призывал съезд.

Хочется обратиться к авторам с призывом: не надо ничего придумывать, не надо украшать историю предприятия известными событиями. Вдумчивый анализ фактов полезнее общих слов. Надо идти от частного к общему, а не от общей схемы к конкретному материалу.

Несколько слов о читателях книг по истории фабрик и заводов. Идея «научно-художественной» книги исходила из того, что исторический очерк о конкретном заводе вызовет общий интерес и, следовательно,

приобретет широкий круг читателей. Однако на практике именно из-за низкого литературного качества книг по истории фабрик и заводов широкий читатель отворачивается от них.

Книгам по истории фабрик и заводов надо вернуть право быть «историями», то есть правдиво написанными, основанными исключительно на фактах рассказами о жизни завода и фабрики. Именно историчность, документированность приведут к книге широкого читателя, интересующегося прошлым нашей родины, жизнью его народа.

Из-за плохого быта, обусловленного низким качеством книг, издательства неохотно печатают труды по истории фабрик и заводов. Тогда администрация ряда предприятий идет на выпуск подобных книг так называемыми заказными изданиями. А это в свою очередь снижает требовательность к рукописям, придает узковедомственный характер самой книге. Из пяти работ по истории фабрик и заводов, намеченных к выпуску в Ленинграде в 1966 году, две готовятся как «заказные издания», в ориентировочном плане 1967 года — таких семь из одиннадцати. А ведь даже крупный завод вряд ли сможет обеспечить распространение нескольких тысяч экземпляров. Да и только ли на рабочих данного предприятия должны быть рассчитаны такие книги? Если подходить к ним только с точки зрения «внутреннего потребления», то достаточно размножить на ротаторе или издать в заводской многотиражке материал «для беседчиков и пропагандистов». Едва ли книгу по истории завода следует рассчитывать только на рабочий коллектив данного предприятия.

Повышение качества книг по истории фабрик и заводов делает их незаменимым источником при изучении истории нашей родины, а следовательно, их будут покупать и использовать историки, преподаватели, студенты.

**С. СЕМАНОВ,
В. СТАРЦЕВ,**

кандидаты исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

МАДЛЕН РИФФО. От вашего специального корреспондента... Предисловие Этьена Фажона. Издательство «Правда». М. 1965. 456 стр.

С титульного листа этой книги глядит прелестное, совсем юное лицо. Это портрет французской поэтессы Мадлен Риффо, сделанный Пабло Пикассо в 1944 году — в том самом году, когда Мадлен Риффо, участница Сопrotивления, застрелила на улице гитлеровского офицера. В застенках гестапо ее подвергли страшным пыткам и приговорили к смертной казни. Освобожденная повстанцами, Мадлен вернулась в свою студенческую боевую группу. В августе 1945 года она была награждена Военным крестом с пальмовой ветвью.

Война закончена. Но Мадлен Риффо снова в строю. На этот раз — с иным оружием в руках. Перед нами избранные очерки, статьи, корреспонденции Мадлен Риффо, которые писались в течение двадцати лет по горячим следам военных действий во Вьетнаме, Алжире, Тунисе, Бизерте и передавались по телефону и телеграфу в редакции «Юманите» и «Ви увриер».

«Тяжкий долг всякого журналиста, достойного этого имени, — говорит Мадлен Риффо, — быть свидетелем преступлений и разоблачать их». И Мадлен Риффо верна этому долгу. Она никогда не бывает лишь свидетелем событий, но всегда активно в них участвует. Ее книга — обвинительный акт оккупантам всех мастей. Каким презрением клеймит она тех, кто «во имя защиты народа от коммунизма и в соответствии с христианскими идеалами» (формулировка одного из ответственных деятелей Пентагона) сбрасывает тонны взрывчатки и напалма на мирные селения Вьетнама!

Подробно описывает Мадлен Риффо трагические события, которые она своими глазами видела в оккупированных странах. Но в ее книге присутствует и светлое начало... Захватчикам противоборствует народ, и как много встречаем мы в этой книге ярких примеров их мужества и человечности, их неистребимой веры в победу.

«Теоретики «особой войны», — говорит она, — с самого начала недооценивали один решающий фактор — народ Южного Вьетнама, против которого они затеяли войну...» Два месяца провела Мадлен Риффо в джунглях Южного Вьетнама, прошла под бом-

бами сотни километров пешком вместе с одним из подразделений армии национального освобождения. Там, в джунглях, она видела радиостанцию, глубоко запрятанную под землей, типографию, прекрасную больницу, лабораторию, школы по подготовке врачей, сестер и санитарок. «В наши дни в Южном Вьетнаме джунгли не здесь, — приводит Риффо слова одного из вьетнамских врачей. — Они в Сайгоне. Здесь, в лесу, я пользуюсь богатством, которое никто и никогда не сможет купить даже за доллары, — братством людей...» Чувством братства, верой в силы угнетенного народа проникнута вся книга Мадлен Риффо.

Сейчас, когда к братской солидарности с героическим народом Вьетнама призывают миллионы голосов советских граждан и людей доброй воли во всем мире, книга Мадлен Риффо, этот страстный и волнующий документ борьбы народа за свою независимость, — особенно близка нашему читателю.

Е. Городецкая.

★

И. В. ШАУРОВ. 1905 год. Воспоминания участника революции 1905—1907 годов. «Мысль». М. 1965. 263 стр.

Восемнадцатилетним юношей И. В. Шауров вступил в большевистскую партию, стал членом Воронежского, а затем Петербургского комитетов РСДРП, был делегатом V съезда партии в Лондоне.

От мемуариста нельзя, да и не нужно ожидать сугубо исторического исследования. Личные впечатления о людях и событиях прошлого, неповторимый колорит эпохи, детали и подробности, которых мы никогда не смогли бы почерпнуть из документальных источников, — вот что прежде всего ищет читатель в мемуарной литературе. Многое из рассказанного И. В. Шауровым имеет не только читательский, но и значительный научный интерес. На наш взгляд, особенно ценны в этой связи сведения о первой конференции военных и боевых организаций РСДРП в ноябре 1906 года. Автор называет имена участников этой весьма важной конференции, дает им запоминающиеся характеристики, рассказывает о спорах и принятых решениях.

В воспоминаниях И. В. Шаурова мы видим всю сложность борьбы, ошибки ее участников, острее политические дискус-

сни. Говорит ли он о спорах с эсерами или анархистами — он дает своим тогдашним противникам объективные характеристики, рассказывает о совместных действиях большевиков с другими левыми партиями, что было весьма характерно для первой русской революции. И В. Шауров не фильтрует имена тех, с кем его сталкивала судьба, а называет всех, независимо от их дальнейшего пути.

Рассказывая о своих встречах с В. И. Лениным, автор избегает стандартных образов и находит живые, характерные детали и эпитеты.

В упрек издательству следует отметить такой существенный недостаток, как отсутствие примечаний. Современному читателю необходимо дать пояснения, когда упоминаются, например, капитан Кладо или писатель Амфитеатров, весьма популярные в свое время. Столь же нужны комментарии к биографиям таких известных в свое время деятелей партии, как В. Невский, Н. Рожков и другие. Научное комментирование воспоминаний имеет в советской историографии хорошие традиции (назовем в этой связи хотя бы работы А. Шилова). Этим опытом необходимо воспользоваться нашим издательством в их сегодняшней работе. Остается пожалеть также, что книга очень скупо иллюстрирована.

С. Николаев.

★

Генерал-майор Г. А. ВЕЩЕЗЕРСКИЙ.
У хладных скал. Воениздат. М. 1965.
149 стр.

Карельский фронт долгое время — приблизительно с конца сорок первого года до середины сорок четвертого — был классическим позиционным фронтом. Он был недвижим. Шла борьба лишь за отдельные высоты. Активными были снайперы, разведчики, лыжники, порой артиллеристы.

Между тем бойцы этого фронта удостоились медали «За оборону Заполярья» — награды, которая стоит в одном ряду с медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»...

О тягчайших условиях, в которых жили и воевали бойцы Заполярья, единственного в истории фронта, пролежавшего за Полярным кругом, повествует книга генерал-майора Г. А. Вещезерского. Он командовал 52-й стрелковой дивизией, о которой на Карельском фронте ходило много рассказов.

Это бойцы 52-й остановили на реке Западная Лица продвижение гитлеровцев, рвавшихся к Мурманску. Долина, где происходил один из ожесточеннейших боев, была даже названа Мертвой — там в рукопашных схватках пало много наших и немцев. В тех местах прославились офицеры Худалов, Коротков — впоследствии генералы, комсомольская батарея лейтенанта Лысенко, пулеметчик Никитин и многие другие герои.

Воевать приходилось в очень трудных условиях. Для того, чтобы подвезти боеприпасы и продовольствие, бойцы прорубали дороги в четырех-пятиметровых снежных пластах; машины шли по таким дорогам с зажженными фарами. Не легче было добывать топливо. Приходилось обкапывать до корня жалкие заполярные березки: это был адский труд. И каждая березка давала два-три полнца. Но бойцы не только мужественно преодолевали все эти тяготы, но и храбро воевали. Это был фронт ежедневно жестокого человеческого напряжения.

Старый, ныне отставной, генерал Георгий Александрович Вещезерский — один из героев заполярной эпопеи, к сожалению, еще не нашедшей достойного воплощения в художественной литературе. Он пишет скромно, сдержанно, даже сухо, как и подобает военному человеку, привыкшему к стилю боевых донесений. При этом сам остается в тени; на первом плане его повествования — бойцы и командиры, многим из которых он дает краткие, но выразительные характеристики. Обилие таких характеристик не должно пугать: больше того — оно представляется принципиально важным для военно-мемуарной литературы. Война массового героизма, какой была минувшая Отечественная, отмечена великим множеством подвигов. Думается, что мы до сих пор знаем лишь малую часть героев (ведь одних погибших на войне двадцать миллионов!). И потому каждое, даже краткое упоминание прежде неизвестного имени очень важно для живущих, для полноты нашего представления о войне, наконец для истории.

А. Кондратович.

★

Е. МАТЕЕВ. Международное социалистическое разделение труда и народнохозяйственное планирование. «Экономика». М. 1965. 92 стр.

Автор этой книги — известный болгарский экономист, член-корреспондент Болгарской Академии наук — выдвигает на обсуждение советских читателей (книга написана на русском языке) ряд серьезных проблем, связанных с путями дальнейшего совершенствования и повышения эффективности материального производства мировой социалистической системы в целом.

Как рассматривать эту систему: как сумму экономик отдельных стран или как сложившийся единый организм со всеми его сложными политическими и экономическими связями? Если принять первую точку зрения, то для того, чтобы добиться наибольшей эффективности социалистического производства, достаточно будет мер, которые уже проводятся сейчас или будут проведены в ближайшее время в рамках отдельных стран. Однако автор считает, что верным является второй взгляд на мировую социалистическую систему. Поэтому, чтобы социализм в полной мере начал использовать свои преимущества в экономическом соревновании с капитализмом, недостаточно огра-

ничиться совершенствованием организации и управления производства в рамках национальных экономик. Необходимо также повысить эффективность международного социалистического сотрудничества, ускорить процесс специализации и кооперирования в рамках Совета Экономической Взаимопомощи.

Одним из важнейших путей совершенствования организации и управления единой экономической системы социализма Е. Матеев считает перерастание национального планирования отдельных стран в единое межнациональное планирование. Элементы такого планирования уже существуют в практике координации народнохозяйственных планов стран — участниц СЭВ. И переход от отдельных национальных планов к общему для этих стран плану является, по мнению автора, необходимым и неизбежным процессом. Он обстоятельно доказывает необоснованность каких бы то ни было опасений, что такое единое планирование может в чем-либо нарушить национальный суверенитет социалистических стран.

Не всегда, однако, точка зрения Е. Матеева совпадает со взглядами многих экономистов в СССР и в других социалистических странах. Например, вопрос о том, что положить в основу научно разработанной цены на социалистическом рынке: стоимость или цену производства? Нужна ли мировой социалистической системе своя база международных цен? Эти вопросы не являются надуманными или узкотеретическими. Всем известно, какое огромное внимание уделил проблеме научно обоснованных цен сентябрьский Пленум ЦК КПСС.

Книга Е. Матеева во многом дискуссионна. И она, несомненно, вызовет серьезный интерес в научных и самых широких читательских кругах социалистических стран.

С. Бессонов,
кандидат экономических наук.

★

В. А. БРЫКИН. Африканский дипломат в ООН. «Международные отношения». М. 1965. 240 стр.

«О чем думал африканский представитель на XV сессии Генеральной Ассамблеи в ту короткую минуту молчания, которой открываются по ритуалу ежегодные сессии ООН? Проходили ли перед его мысленным взором тени предков, угнанных из родных мест плетью работорговца и нашедших смерть на дне Атлантического океана, в болотах Миссисипи, или же он вспоминал свои детские годы, когда видел обычно сапог колониального солдата и не осмеливался поднять глаза к ослепительному солнцу, а может быть, он вспоминал недавние дни, когда пересекал Атлантику уже свободным человеком по пути в Нью-Йорк на сессию ООН», — пишет автор, бывший свидетелем и участником дипломатической борьбы вокруг одного из самых животрепещущих вопросов современности — вопроса о ликвидации колониальной системы империализма.

Книга ведет читателя в зал заседаний Ассамблеи, в различные комитеты ООН, в делегатский бар — «делегит-лаундж», где происходят кулуарные беседы и переговоры. Читатель как бы наблюдает за тонкостями и хитросплетениями дипломатии, за острой борьбой, которую дипломаты африканских государств, опираясь на поддержку стран социалистического содружства, ведут за укрепление национальной независимости и окончательное уничтожение позора колониализма, за решение проблемы всеобщего и полного разоружения и обеспечения мира.

Интересны страницы, где говорится о том, как в стенах здания ООН на берегу Ист-Ривер молодая дипломатия Африки сталкивается с реакционной буржуазной дипломатией Запада.

Запад ведет «сражение за Африку», стремясь во что бы то ни стало сохранить там свое влияние. США, например, за последние годы значительно усилили свою «просветительную» деятельность в этом районе. Помимо госдепартамента и других государственных учреждений, в этой деятельности участвуют сто семьдесят три университета и научных учреждения, двести три миссионерских агентства, двести двадцать три частные компании.

Автор не умалчивает о непоследовательности дипломатии ряда африканских стран, колебаниях, а иногда и компромиссах, на которые они идут с империалистами. «Скрещивая клинок в дипломатических дуэлях с опытными бойцами старого мира», — пишет автор, — африканский дипломат одерживал победы, когда отстаивал интересы народа, которого он представлял. Он терпел поражение, когда его действиями руководили другие интересы — чуждые Африке, ее чаяниям».

Книга проникнута верой в правоту и конечную победу великого дела, которое отстаивают социалистическая дипломатия и дипломатия молодых национальных государств.

А. Степанов.

★

ИРИНА ВЕЛЕМБОВСКАЯ. Лесная история. Повести и рассказы. «Советский писатель». М. 1965. 206 стр.

Громыкает ковшами драга, надвигается на самый прииск, на старательский поселок в сотни две домов, раскинувшихся на каменистом берегу быстрой мутной реки; стучат топоры в вековом бору; стелятся ночные туманы над затерянными среди полей деревнями. Жизнь, которая здесь течет, — повседневную жизнь старателей, лесорубов, механизаторов, земледельцев хорошо знает Ирина Велембовская. Об этом и первая ее книга — сборник рассказов и повестей.

Писательницу интересуют прежде всего люди, их психология, внутренний мир, семейные отношения, проблемы морали и быта. Судьбы, о которых она рассказывает, трудные, осложненные пережитками прошлого, тяжкий груз которого — стяжатель-

ство, эгоизм, стремление жить только для себя, властвовать над другими — неизбежно стравливает с себя человек нового, советского общества.

Трагична история бывшего красного партизана Ивана Казанцева в повести «Дороже золота». Как, когда свернул он с правильного пути, пошел навстречу своей гибели? Об этом задумывается его сын Борис, на этот вопрос стремится ответить и автор. Тогда, видимо, и оступился Иван впервые, когда, выбранный первым председателем старательской артели на прииске, возомнил себя царьком, упиваясь властью над людьми, говоря: «Моя артель, мои рабочие»; когда осенью тридцать седьмого года, струсив, покривил душой, побоялся сказать правду о своем бывшем командире, безупречном коммунисте Василии Пузыреве, и тем предал его, обрек на гибель; когда из-за того же подлого страха отказался от сына-фронтовика, побывавшего в фашистском плену, когда наконец из-за отцовской жестокости не выдал другого сына, шалопая Яшку, утаившего банку с платиной. И тем самым стал соучастником кражи. Много мутной накипи в исковерканной жизни Казанцева. Но берет верх глубинное, человеческое. Перед смертью он находит в себе силы вырваться из западни прошлого.

Преодолевая в себе эгонистические, индивидуалистические чувства и плотник Логин Широков в рассказе «Лесная история». Порывает с мужем, совхозным механизатором с кулацкой психологией, молоденькая Маня в повести «За каменной стеной».

Разные человеческие судьбы проходят перед нами в рассказах и повестях Ирины Велембовской. И если не найдешь здесь острого сюжета, яркости красок, то подкупает убедительность мотивировок поступков людей, искренность, правдивость.

К. Бродер.

★

АНАТОЛИЙ МАРКУША. Дайте курс. «Молодая гвардия». М. 1965. 222 стр.

Несколько лет назад Детиздат выпустил книгу Анатолия Маркуши «Вам — взлет!». Автор не случайно выбрал заглавием своего произведения команду, услышав которую летчики дают двигателям полный газ, разбегаются по взлетной полосе и уходят в воздух. Познавательное и воспитательное переплеталось в книге так тесно, что даже при желании трудно было бы отделить их друг от друга (как, впрочем, трудно это сделать и в жизни).

И вот сейчас перед нами новая книга того же автора — «Дайте курс». Что ж, все идет правильно — после того, как самолет взлетел, ему положено ложиться на курс.

«Дайте курс» очевидным образом продолжает линию книги «Вам — взлет!». В первой книге автор обращался к тем, «у кого не доросли тогда еще ноги до самолетных педальей». Прошло несколько лет — ноги доросли, и он разговаривает со своим повзрослевшим читателем более серьезным тоном,

затрагивает более сложные, волнующие юношество темы, не боится оставить своему читателю что-то для дальнейших самостоятельных размышлений.

Трудно дать точное определение жанровой принадлежности этой книги. В сущности, каждая из ее глав — отдельный очерк. Тут и биографический очерк о судьбе хорошего летчика и хорошего человека, командира корабля Василия Ивановича Тонушкина. И исторический очерк «Небо без ангелов» — о примечательных, хотя и малоизвестных фактах мировой авиационной летописи (на мой взгляд, это самая удачная глава книги). Тут и очерк-репортаж о рейсовом полете, в котором участвовал автор, на Ту-114 из Хабаровска в Москву. Здесь и откровенно информационный очерк «Вопросы и ответы», построенный на подлинной переписке с читателями, в котором, однако, автор не просто дает справки, а многое объясняет, пресекает иные распространенные недоразумения, а главное — учит своих молодых корреспондентов думать самостоятельно.

Да, очень разные эти главы. Разные и по содержанию, и по замыслу, и по стилю изложения. Но неожиданно все они, собранные вместе, хорошо укладываются в единую книгу. Несколько особняком в этом отношении стоит, пожалуй, лишь глава «Наука обыкновенная, веселая и грустная»: в составляющих ее рассказах — своего рода мозаике из аэродромного фольклора — идущая не от литературы, а от жизни достоверность ощущается меньше, чем в остальных главах.

Стремясь к образности, красочности, оригинальности изложения, автор иногда впадает, на мой вкус, в некоторые излишества, вроде тирады о целовании рук (и не только у милых дам, но и у... авиационных механиков) или уподобления первого самостоятельного вылета молодого летчика первому признанию в любви, что, кстати, было уже не раз сказано, причем далеко не в лучших образцах литературы. К счастью, таких чужеродных вкраплений в книге очень немного. Не они определяют ее облик.

Думается, что в несколько необычном, но очень интересном и нужном жанре, начатом книгой «Вам — взлет!» и продолженном книгой «Дайте курс», и лежит главное, самое перспективное направление творчества Анатолия Маркуши.

★

М. Галлай.

РЮРИК ИВНЕВ. Избранные стихи. «Художественная литература». М. 1965. 202 стр.

В 1917 году нарком просвещения А. В. Луначарский пригласил в Смольный представителей интеллигенции, которые пожелали бы сотрудничать с молодой советской властью. Пришли: А. Елок, В. Маяковский, В. Мейерхольд, Н. Альтман и Рюрик Ивнев (Михаил Александрович Ковалев). Позже Ивнев стал секретарем Луначарского.

Так он связал свою судьбу с революцией. Это не было только порывом. Уже в 1912 году, несмотря на свое увлечение мо-

дернизмом в литературе, Ивнев печатался в петербургской большевистской газете «Звезда». В 1911 году он послал свои стихи Блоку. Тот ответил юному поэту довольно суровым, но значительным письмом. Блок писал: «Кто прозорлив хоть немного, должен знать, что в трудный писательский путь нельзя пускаться налегке, а нужно иметь хоть в зачатке «Во Имя», которое бы освещало путь и питало творчество».

Рассматривая ныне «Избранные стихи» Рюрика Ивнева, мы можем сказать, что все его творчество было во имя человечности.

В стихах, написанных до революции, поэт гневно противопоставлял веселье богачей голоду и отчаянию рабочих окраин: в умирающем на панели нищем он видел родного человека, мимо которого равнодушно проходят люди с портфелями и «ветер шевелит трехцветным флагом».

Поэту всегда было дело до людей и, главное, до судеб своей родины.

Весь твой я, илюкочущий Смольный,
С другими — постыдно мне быть!

Ивнев много ездил по родной стране, плавал и в Тихом океане. Он знал Кавказ и Дальний Восток и на Камчатке и всюду находил красоту. Иногда его зарисовки поверхностны, стих не достигает большой выразительности, но всегда произведения его искренни, а порой останавливают внимание лиризмом самых образов — таково, например, его стихотворение «Баладжары» с его «мальчишеской луной», «затерянным вокзалом» и утверждением: «Мир не заперт на засов».

Книгу свою Р. Ивнев посвятил памяти матери. И, бережно откладывая эту книгу, хочется привести простое и лаконичное стихотворение поэта:

Мальчик крикнул: «Мама! мама!»
Мать ответила: «Сейчас!»
Слезы брызнули упрямо
Из моих потухших глаз.

В этот вечер полувечерний
Вдруг, наперекор судьбе,
Я, пятидесятилетний,
Позавидовал тебе.

Надежда Павлович.

★

ЮРИЙ ВОИЩЕВ. Я жду отца. Повесть. Центрально-Черноземное книжное издательство Воронеж. 1965. 88 стр.

«Карточки, продуктовые карточки! Вы еще не забыли их?» — спрашивает у своих сверстников Сережа Васильев, герой повести молодого писателя Ю. Воищева «Я жду отца», и сам же решительно заявляет: «Не верю, что вы забыли. Их нельзя забыть...» Он прав, действительно невозможно забыть ни карточек, ни света коптилки, ни гаданий об отце, в смерть которого так не хочется верить, ни холода нетопленной комнаты, ни барахолки, на которую отнесли последние

вещи, чтобы поменять их на кусок хлеба, ни вкуса этого востанного хлеба или драников, приготовленных изобретательной бабушкой из картофельных очисток. Все это и многое другое навеки осталось в памяти поколения, чьим детством была война.

Война и лишения обнажили жизнь до самой ее сути, сделали ее понятной даже детям. «Мне было девять лет, — вспоминает герой повести. — Я не помнил вкуса пирожных и других невероятно вкусных вещей. Я не хотел их. Я хотел простого, черного... дышащего хлеба». И став взрослым, он же говорит: «Есть милые банальности: солнце — теплое, хлеб — вкусный, вода — сладкая. И я никогда не боюсь сказать банально...» Не боится сказать так, потому что уже с детства знает истинную, а не временную цену тепла и хлеба, потому что вкус хлеба, сладость воды, благодать тепла для героя не слова, заурядные и избитые, а конкретная, ошутимая реальность, от которой — он это отлично знает — зависит жизнь и смерть человека.

Таковыми же реальными для Сергея являются понятия добра и зла, справедливости и подлости, ибо в годы войны моральные качества человека с железной неизбежностью становились его поступками. И если отчим Сергея, Николай Палыч, философствует: «Жизнь — это шашки. Доска в клеточку. А мы — фигуры. Пешечки. Но стремимся вылезти в дамки», — то для героя вполне понятен тайный смысл сказанного. Он умеет увидеть наглядное подтверждение подобной «философии» в факте существования таких людей, как сам Николай Палыч или как «толстый майор», который «и на войне-то не был. А так, присидел в тылу, пока другие воевали».

Но ни тяжести и лишения, вызванные войной, ни несправедливость, встреченная уже в детстве Сергеем, не испугали и не озлобили его, не сделали его душу эгоистичной и черствой. Стремление к добру, пожалуй, самое ценное из того, что вынес Сергей Васильев и многие его сверстники из своего военного детства.

Повесть «Я жду отца» автобиографична. Люди, о которых рассказывает автор, хорошо знакомы ему. И досадно, что Ю. Воищев, умеющий так верно передать детали быта, точно воссоздать картину жизни в только что освобожденном от врага, разрушенном войной городе, — в создании образов героев, в изображении их отношений не всегда идет дальше отдельных верных штрихов. Поэтому порой там, где должен быть характер, получается каталог примет, где должен быть портрет — дан эскиз. Эти недостатки рождены, думается, неопытностью автора, первая работа которого тем не менее интересна и обещающа.

Г. Макаров.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Азбука экономики колхоза. 352 стр. Цена 61 к.

Н. Байбанов. О государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1966 год. Доклад и заключительное слово на седьмой сессии Верховного Совета СССР шестого созыва 7 и 9 декабря 1965 года.

Закон Союза Советских Социалистических Республик о государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1966 год. 48 стр. Цена 5 к.

Биографии песен. 144 стр. Цена 20 к.

Е. Босняцкий. Улица, двор, квартира. Очерки. 240 стр. Цена 21 к.

Вечно живой. Воспоминания современников о Владимире Ильиче Ленине. 368 стр. Цена 69 к.

С. Выгодский. У истоков советской дипломатии. 352 стр. Цена 1 р. 28 к.

В. Гарбузов. О государственном бюджете СССР на 1966 год и об исполнении государственного бюджета СССР за 1964 год. Доклад и заключительное слово на седьмой сессии Верховного Совета СССР шестого созыва 7 и 9 декабря 1965 года.

Закон Союза Советских Социалистических Республик о государственном бюджете СССР на 1966 год.

Постановление Верховного Совета СССР об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета СССР за 1964 год. 40 стр. Цена 4 к.

А. Злобин. Дорога в один конец. 224 стр. Цена 20 к.

А. Комаровский. Месяц в директорском кресле (Деловой дневник). 88 стр. Цена 10 к.

Краткий словарь по этике. 544 стр. Цена 68 к.

Ленин в нашей жизни. 416 стр. Цена 85 к.

А. Леонтьев. Язык и разум человека. 128 стр. Цена 11 к.

Ю. Мадер. Сокровища «черного ордена». Документальный рассказ. Перевод с немецкого. 208 стр. Цена 32 к.

Мир капитализма. Справочник о капиталистической экономике. 352 стр. Цена 76 к.

К. Непомнящий. Повесть о Хулиане Гримау. 88 стр. Цена 11 к.

Память сердца. Воспоминания участников антифашистского Сопротивления в Европе. 96 стр. Цена 13 к.

Светом ленинских идей. Рассказы о соратниках и современниках В. И. Ленина. 512 стр. Цена 1 р. 3 к.

М. Сидоров. Как человек стал мыслить. 144 стр. Цена 13 к.

Ю. Согомонов. Добро и зло. 96 стр. Цена 11 к.

Солдатские письма. Сборник. 480 стр. Цена 53 к.

Столицы стран мира. Политико-экономический справочник. 316 стр. Цена 1 р. 7 к.

С. Тонарев. Религия в истории народов мира. 624 стр. Цена 1 р. 29 к.

П. Тольятти. Избранные статьи и речи. Том I (1923 год — октябрь 1956 года). 952 стр. Цена 1 р. 72 к. Том II (Декабрь 1956 года — 1964 год). 988 стр. Цена 1 р. 76 к.

Ф. Федоренко. Секты, их вера и дела. 360 стр. Цена 57 к.

А. Яковлев. Призыв убивать (Американские фальсификаторы проблем войны и мира). 104 стр. Цена 13 к.

«МЫСЛЬ»

Аграрные реформы в развивающихся странах и странах высокоразвитого капитализма. 279 стр. Цена 1 р. 4 к.

Г. Андреев. Христианство и проблема свободы. 166 стр. Цена 52 к.

В. Асмус. Проблема интуиции в философии и математике. 312 стр. Цена 1 р. 3 к.

М. Бур. Фихте. 166 стр. Цена 20 к.

Л. Демин. За Татарским проливом (Сахалинские очерки). 102 стр. Цена 22 к.

С. Дзержинская. В годы великих боев. 447 стр. Цена 98 к.

Земля и люди. Географический календарь. 1966. 303 стр. Цена 1 р. 46 к.

Ю. Кашин. Сенегал. 133 стр. Цена 23 к.

Ю. Кочеврин. Малый бизнес в США. 165 стр. Цена 53 к.

В. Кудров, Г. Шпилько. Темпы и пропорции общественного производства в США. 238 стр. Цена 89 к.

В. Моисеев. Центральные идеи и философские основы кибернетики. 325 стр. Цена 1 р. 13 к.

Проблемы развития коммунистического сознания. 198 стр. Цена 71 к.

Н. Пуховский. О мире и войне. 192 стр. Цена 73 к.

Развитие сельского хозяйства и сотрудничество стран СЭВА. 348 стр. Цена 1 р. 26 к.

А. Фадеев. Россия и народы Северной Азии. Вклад русского народа в экономическое и культурное развитие Сибири. 95 стр. Цена 12 к.

Э. и Ф. Шрейдер. Ля Тортуга. От Аляски до Огненной Земли. 247 стр. Цена 79 к.

Язык и стиль. Сборник. 239 стр. Цена 87 к.

Н. Яковлев. Народ и партия в первой русской революции. 392 стр. Цена 1 р. 34 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Абашидзе. Палестина, Палестина... По следам Руставели. Стихи. Перевод с грузинского. 36 стр. Цена 13 к.

В. Авдеев. Дорога в Сокольники. Повесть. 316 стр. Цена 61 к.

М. Ауэзов. Крутизна. Повесть. Рассказы. Очерки. Перевод с казахского. 280 стр. Цена 62 к.

Х. Байрамунова. Исповедь. Стихи. Перевод с каракаевского. 108 стр. Цена 15 к.

С. Ботвинник. Ночные поезда. Стихи. 124 стр. Цена 21 к.

А. Деметьев. На новом этапе. Статьи о литературе. 508 стр. Цена 1 р. 12 к.

А. Евтых. Улица во всю ее длину. Роман. 440 стр. Цена 88 к.

А. Еринеев. Весны возвращаются. Стихотворения и поэма. Перевод с татарского. 140 стр. Цена 18 к.

А. Илизди. Природа художественного таланта. 535 стр. Цена 96 к.

М. Исаковский. Стихотворения. 512 стр. Цена 93 к.

В. Каверин. «Здравствуй, брат. Писать очень трудно...» Портреты, письма о литературе, воспоминания. 256 стр. Цена 39 к.

С. Кадырзаде. Черемуха. Повести и рассказы. Перевод с азербайджанского. 290 стр. Цена 42 к.

Р. Ким. Школа призраков. Повести. 264 стр. Цена 36 к.

Киргизские рассказы. Сборник. Перевод с киргизского. 312 стр. Цена 50 к.

Л. Кондырев. Эхо. Стихи. 220 стр. Цена 26 к.

С. Маршак. Лирические эпиграммы. 96 стр. Цена 25 к.

Михаил Кольцов, каким он был. Воспоминания. 328 стр. Цена 93 к.

Б. Можаяв. Полужоно-поле. Повесть. 259 стр. Цена 42 к.

Молодой Ленинград. 1965. Альманах. 236 стр. Цена 78 к.

Б. Овсейн. Сеятели не вернулись. Роман. 312 стр. Цена 45 к.

Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке. Сборник 5. 500 стр. Цена 1 р. 8 к.

Е. Ржевская. Берлин, май 1945. Записки военного переводчика. 276 стр. Цена 38 к.

Р. Рождественский. Радиус действия. Новые стихи и поэма. 221 стр. Цена 50 к.

Я. Ругоев. Ледоход. Трудные годы. Сказание о карелах. Диалог в стихах. Перевод с финского. 244 стр. Цена 87 к.

П. Семьинин. Прометеява цепь. Поэмы. 116 стр. Цена 36 к.

Л. Сенэш. Небо остается синим. Рассказы. Перевод с венгерского. 296 стр. Цена 42 к.

Н. Сидоренко. Эта незапамятная ночь. Лирика. 72 стр. Цена 11 к.

В. Солнцева. Заря над Уссури. Роман. 772 стр. Цена 1 р. 38 к.

А. Сурцов. Голоса времени. Заметки на полях истории литературы. 1934—1965. 495 стр. Цена 1 р. 3 к.

А. Трубникова. Командировка в 13 век. 352 стр. Цена 44 к.

Фадеев. Воспоминания современников. Сборник. 560 стр. Цена 1 р. 12 к.

М. Цветаева. Избранные произведения. 812 стр. Цена 1 р. 35 к.

А. Шамилов. Дорога к счастью. Роман. Перевод с курдского. 464 стр. Цена 88 к.

М. Щеглов. Литературно-критические статьи. Из дневников и писем. 440 стр. Цена 1 р. 2 к.

О. Щербановский. Не оставляй надежды. Роман. 408 стр. Цена 73 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Андреев. Партизанские рассказы. Перевод с болгарского. 144 стр. Цена 22 к.

Ч. Ачебе. Покоя больше нет. Роман. Перевод с английского. 208 стр. Цена 49 к.

М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 523 стр. Цена 1 р. 30 к.

Х. Беленьо. Зеленая луна. Роман. Перевод с испанского. 223 стр. Цена 59 к.

И. Бехер. Любовь моя, поэзия. О литературе и искусстве. 560 стр. Цена 1 р. 29 к.

В. Бляйн. Избранное. В переводах С. Маршак. 184 стр. Цена 29 к.

Ш. Бодлер. Лирика. Переводы с французского. 188 стр. Цена 31 к.

Ф. Гарсиа Лорна. Лирика. Переводы с испанского. 184 стр. Цена 43 к.

И. Гусейнов. Телеграмма. Родные и чужие. Повести. Перевод с азербайджанского. 240 стр. Цена 40 к.

В. Девекин. Эрих Вайнерт. Критико-биографический очерк. 151 стр. Цена 25 к.

Испанская новелла XX века. Перевод с испанского. 592 стр. Цена 1 р. 16 к.

Кубинская новелла XX века. Перевод с испанского. 515 стр. Цена 1 р. 58 к.

Ф. Кузнецов. Журнал «Русское слово». 399 стр. Цена 95 к.

Я. Ланкутис. «Человек» Э. Межелайтиса. Перевод с литовского. 100 стр. Цена 18 к.

Литература и современность. Сборник 6. Статьи о литературе 1964—1965 годов. 408 стр. Цена 1 р. 2 к.

Л. Мартынов. Стихотворения и поэмы. В двух томах. Том первый. 408 стр. Цена 63 к.

Том второй. 336 стр. Цена 67 к.

Г. Натрошвили. Смерть беззаботного человека. Рассказы. Перевод с грузинского. 216 стр. Цена 48 к.

Обнаженные ритмы. Негритянские мотивы в поэзии Латинской Америки. Перевод с испанского и португальского. 220 стр. Цена 35 к.

Платон. Избранные диалоги. Перевод с древнегреческого. 443 стр. Цена 73 к.

А. Платонов. В прекрасном и яростном мире. Повести и рассказы. 631 стр. Цена 1 р. 19 к.

А. Пэнн. Сердце в пути. Стихи. Перевод с иврита. 168 стр. Цена 43 к.

Рассказы писателей Пакистана. Перевод с урду. 295 стр. Цена 73 к.

Б. Рейзов. Творчество Вальтера Скотта. 499 стр. Цена 1 р. 26 к.

М. Светлов. Избранные произведения. В двух томах. Том первый. 296 стр. Цена 52 к.

Том второй. 223 стр. Цена 52 к.

К. Хосе Села. Апельсины — зимние плоды. Рассказы и очерки. Перевод с испанского. 296 стр. Цена 56 к.

С. Скляренко. Владимир. Роман. Перевод с украинского. 496 стр. Цена 1 р. 6 к.

М. Фераун. Земля и кровь. Роман. Перевод с французского. 256 стр. Цена 56 к.

Э. Фининберг. Стихи. Перевод с еврейского. 143 стр. Цена 42 к.

Шолом-Алейхем. Неунывающие. Рассказы. Перевод с еврейского. 383 стр. Цена 1 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Алдан-Семенов. Семенов-Тянь-Шанский. 304 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 62 к.

Б. Бхаттачария. Музыка для Мохини. Роман. Перевод с английского. 288 стр. Цена 71 к.

А. Горбовский. Человек человеку. О культуре поведения. 144 стр. Цена 24 к.

А. Кривель. Молодость древней земли. 160 стр. Цена 26 к.

А. и О. Лавровы. Солдаты в синих шинелях. Повесть. 176 стр. Цена 32 к.

А. Лебедев. Чаадаев. 272 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 58 к.

Марио Варгас Льюса. Город и псы. Роман. Перевод с испанского. 312 стр. Цена 1 р. 9 к.

Ю. Мартыненко. Лента длиною в жизнь. 208 стр. Цена 43 к.

Ю. Мелентьев, В. Червяков, А. Шмаринов. Вежливость и родительный падеж. Очерки. 144 стр. Цена 70 к.

В. Мери. Манильский канат. Повесть. Перевод с финского. 128 стр. Цена 20 к.

Л. Мери. В поисках потерянной улыбки (Дневник путешествия к 160-му меридиану). Перевод с эстонского. 320 стр. Цена 60 к.

В. Радец. Он был сильнее. Документальная повесть. Перевод с немецкого. 384 стр. Цена 73 к.

Б. Ручьев. Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.

В. Санги. Ложный гон. Роман и повесть. 208 стр. Цена 44 к.

В. Смилга. В погоне за красотой (О математиках). 240 стр. Цена 39 к.

В. Собно. Суровый друг. Роман. Перевод с украинского. 256 стр. Цена 52 к.

Е. Суворина. Ксана Муратова, фронтная артистка. Повесть. 256 стр. Цена 51 к.

Фантастика. 1965. Сборник. Выпуск 3. 224 стр. Цена 53 к.

А. Чертков. Очерки современной бурсы. 192 стр. Цена 29 к.

Эврика, 1965. Сборник. 368 стр. Цена 65 к.

«НАУКА»

Н. Анисимов. О материалистических традициях в индийской философии. Древность и раннее средневековье. 260 стр. Цена 83 к.

В. Аранин. Индонезийские языки. 152 стр. Цена 54 к.

Е. Бертельс. Избранные труды. Навои и Джами. 498 стр. Цена 2 р. 67 к.

Библиография Афганистана. Литература на русском языке. 272 стр. Цена 1 р. 56 к.

Библиография Индии. Дореволюционная и советская литература на русском языке и языках народов СССР, оригинальная и переводная. 608 стр. Цена 3 р. 60 к.

Б. Гусейнов. Поэты Ирана о Советском Союзе. 310 стр. Цена 80 к.

История Второго Интернационала. Том I. 380 стр. Цена 2 р. 20 к.

История европейского искусствознания. Первая половина XIX в. 327 стр. Цена 2 р. 77 к.

Ю. Келдыш. Русская музыка XVIII века. 463 стр. Цена 3 р. 13 к.

Б. Кирдан. Украинский народный эпос. 352 стр. Цена 1 р. 9 к.

Ленинская дипломатия мира и сотрудничества. 247 стр. Цена 77 к.

П. Либеров. Памятники скифского времени на Среднем Дону. 112 стр. Цена 63 к.

Литература о странах Азии и Африки. Ежегодник. 1962 г. 276 стр. Цена 1 р. 60 к.

Маяковский и проблемы новаторства. 288 стр. Цена 94 к.

В. Нионов. Введение в топонимику. 180 стр. Цена 57 к.

Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (XVIII—XX вв.). 500 стр. Цена 2 р. 20 к.

Общеславянский лингвистический атлас. 172 стр. Цена 66 к.

Октябрь и гражданская война в СССР (Сборник статей к 70-летию акад. И. И. Минца). 527 стр. Цена 2 р. 28 к.

Очерки истории народной Польши. 583 стр. Цена 3 р. 48 к.

Рабочий класс и технический прогресс. 362 стр. Цена 1 р. 65 к.

Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. 463 стр. Цена 2 р. 67 к.

Русские художественные промыслы. Вторая половина XIX—XX вв. 266 стр. Цена 1 р. 53 к.

Современная философская и социологическая мысль стран Востока. 242 стр. Цена 93 к.

Суп и солнце. Новеллы иракских писателей. Перевод с арабского и курдского. 88 стр. Цена 21 к.

Теория литературы. 504 стр. Цена 2 р. 40 к.

Толстой и зарубежный мир (Литературное наследство, т. 75). Книга I. 624 стр. Цена 3 р. Книга II. 614 стр. Цена 3 р.

В. Чертихин. Идеология современного православия. 136 стр. Цена 21 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Алдан-Семенов. Ветры в березах. Стихи. 104 стр. Цена 15 к.

Н. Анисимов, В. Дмитриев. Ленинский путь интенсификации. 232 стр. Цена 31 к.

В. Апресян. Дороги и годы. Роман. 448 стр. Цена 89 к.

Г. Беленький. Не обворуй себя. Повести. 176 стр. Цена 23 к.

И. Герасимов. Далекая Вега. Роман. 232 стр. Цена 51 к.

Ю. Герман. Я отвечаю за все. Роман. 856 стр. Цена 1 р. 48 к.

В. Гроссман. Осенняя буря. Рассказы. 80 стр. Цена 10 к.

Е. Долматовский. Из жизни поэзии. 256 стр. Цена 40 к.

В. Драгунский. Сегодня и ежедневно. Повесть. 144 стр. Цена 28 к.

В. Каверин. Открытая книга. Роман. 792 стр. Цена 1 р. 34 к.

М. Молочко, А. Молова. Тебе, моя жизнь. Повесть. 176 стр. Цена 43 к.

В. Панова. Сестры. Рассказы. 184 стр. Цена 27 к.

К. Симонов. Каждый день — длинный. Из военных дневников. 160 стр. Цена 21 к.

Н. Тарасеннова. Еще один день... Рассказы. 132 стр. Цена 16 к.

Д. Терещенко. Встреча с любовью. Лирика. 112 стр. Цена 16 к.

В. Тонких. Совсем чужие. Повесть. 112 стр. Цена 15 к.

Л. Уварова. Наш общий друг. 56 стр. Цена 5 к.

И. Шнейдер. Встречи с Есениным. Воспоминания. 104 стр. Цена 27 к.

«ТАШКЕНТ» (ТАШКЕНТ)

Зульфья. Живой дождь. Лирика. Перевод с узбекского. 126 стр. Цена 34 к.

О. Южнов. На дорогах минувших лет. Записки старого журналиста. 59 стр. Цена 11 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

И. И. Виноградов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин**

Редакция. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 10/II 1966 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 11/II 1966 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
А 10012. Зак. 126. Тираж 150.600.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636